

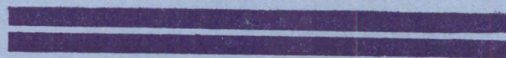
||
1
||

НОВОБЫИ МИР

НОВОБЫИ
МИР

|| 1977 ||

1



1977



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 1

Январь, 1977 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ — Навстречу славной годовщине	3
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВИЧУ КАТАЕВУ	5
ВИКТОР БОКОВ — Новые стихи	6
МАРИЯ ПРИЛЕЖАЕВА — Осень, повесть	11
МИХАИЛ ЛЬВОВ — Портрет, стихи	77
МАРИЭТТА ШАГИНЯН — Человек и время, воспоминания. Часть пятая. Москва-маленькая	79
НИКОЛАЙ САВОСТИН — БАМ, стихи	135
ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА — Волоколамская осень, стихи	138
ЧАРЛЬЗ П. СНОУ — Хранители мудрости, роман. Перевели с английского И. Гурова и О. Кругерская	141
ПУБЛИЦИСТИКА	
П. БОРОДИН — На главных рубежах технического прогресса	184
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
М. М. ГРОМОВ — Через всю жизнь	194
МАРИЯ БАЛАНИНА — Устремленный к звездам. К 70-летию со дня рож- дения академика С. П. Королева. Литературная запись и примечания Александра Романова	215
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ГОРЬКИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ	230
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Алла Марченко. «Стал он кликать золотую рыбку...».— У. Гуральник. Пер- вая книга критика.— Олег Ефремов. Уроки великого режиссера.— П. Ба- лашов. Логика трудных решений.	253
<i>Политика и наука</i>	
Ю. Шарапов. Преемник первого чекиста.— Валентин Зорин. Не точка и не в конце.— Г. Ашян, Р. Додельцев. Процесс разрядки и идеологическая борьба.	270

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ: Лев Разгон.— Юрий Коринец. Володины братья. Повесть. ♦ Ст. Золотцев.— Вадим Ковда. Полустанок. Стихи. ♦ Н. Миловинова.— А. И. Шифман. Толстой — это целый мир. Очерки и рассказы. ♦ Н. Литвинец.— Райнер Мария Рильке. Лирика. ♦ А. Майкапар.— Ромен Роллан. Последние квартеты Бетховена. ♦ И. Верховский.— Основы марксистско-ленинской теории культуры. ♦ И. Забелин.— Воронежские дали. ♦ А. Нуйкин.— Мир вокруг нас. Беседы о мире и его законах. ♦ Г. Резниченко.— А. П. Романов. Ракетам покоряется пространство	279
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

НАВСТРЕЧУ СЛАВНОЙ ГОДОВЩИНЕ

Шестьдесят лет — ровно столько сравняется в наступившем году Советскому государству. «Шесть десятилетий — это меньше, чем средняя продолжительность жизни человека, — сказал Л. И. Брежнев, завершая Отчетный доклад ЦК КПСС XXV съезду. — Но за это время наша страна прошла путь, равный столетиям». Этот путь был освещен гением Ленина, по этому пути нас вела партия, основанная великим вождем трудящихся.

Советский строй, без которого никто не мыслит из нас своего существования, рожден Великой Октябрьской революцией. От нового, ленинского уклада жизни неотделима многонациональная советская литература. Она развивается в неразрывной связи с народом и партией. Лучшие наши писатели создают произведения, достойные великого времени, в котором мы живем.

Журнал «Новый мир» ставит своей задачей выполнять требования, предъявляемые к литературе широким читателем. Редакция стремится найти произведения, в которых вырисовывался бы образ советского человека — творца и созидателя коммунистического общества. Вместе с мастерами литературы значительную роль в создании такого образа может сыграть творческая молодежь. На всех этапах советской литературы она смело бралась за генеральные проблемы жизни, решая их дерзновенным и талантливым пером. Достаточно вспомнить пример «Разгрома» Александра Фадеева и «Донских рассказов» Михаила Шолохова. Первое совещание молодых писателей, созванное ЦК ВЛКСМ и СП СССР в 1947 году, выдвинуло большой отряд молодых прозаиков, поэтов, драматургов, пришедших в литературу прямо с полей сражений Великой Отечественной войны. Многие из них стали сейчас широко известными писателями. Последующие совещания также пополнили литературу новыми и яркими талантами.

Недавнее постановление ЦК КПСС поднимает работу с творческой молодежью на более высокий уровень. Руководствуясь партийными решениями, журнал «Новый мир» широко откроет свои страницы талантливым молодым писателям.

Многонациональный характер советской литературы неизменно находил отражение в журнальной практике «Нового мира». Мы и впредь будем печатать лучшие произведения писателей братских республик о героическом прошлом и славном настоящем нашей родины.

Советский читатель не хочет стоять в стороне от острых международных проблем. Они ярко освещаются в молодых литературах развивающихся стран Азии и Африки. Там происходят события, имеющие огромное значение для будущих судеб мира. Редакция постарается обеспечить появление новых произведений новых писателей из этих далеких регионов.

XXV съезд начертал огромную программу коммунистического строительства, призвал народ к выполнению обширных планов новой пятилетки. Журнал «Новый мир» в стихах и прозе, очерках и статьях расскажет читателю о героических делах советского рабочего класса, колхозного крестьянства, трудовой интеллигенции.

Шестидесятилетие Октября советский народ встретит в пору своей зрелости, сплоченный ленинской партией, в неостановимом движении к коммунизму. Наша литература, литература Горького и Маяковского, полностью включена в этот величественный процесс. Говоря образно, одной из ее «ста партийных книжек» всегда будет «Новый мир».

Сергей НАРОВЧАТОВ.



Валентину Петровичу КАТАЕВУ

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» СЕРДЕЧНО ПРИВЕТСТВУЕТ ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВИЧА КАТАЕВА В ДЕНЬ СЛАВНОГО ЮБИЛЕЯ ТЧК ЖЕЛАЕТ СТАРЕЙШЕМУ И ЛЮБИМОМУ СВОЕМУ АВТОРУ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ ТЧК ПУСТЬ «СЫН ТРУДОВОГО НАРОДА» ЖИВЕТ В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ НОВЫХ РОМАНОВ ЗПТ РАССКАЗОВ И ПЬЕС ТЧК ПУСТЬ НИКОГДА «ТРАВА ЗАБВЕНЬЯ» НЕ ТРОНЕТ «СВЯТОЙ КОЛОДЕЦ» ТВОРЧЕСТВА ТЧК ПУСТЬ ВЕЧНО «БЕЛЕЕТ ПАРУС...» НЕУДЕРЖИМОЙ КАТАЕВСКОЙ ВЫДУМКИ ЗПТ НЕПОДВЛАСТНОЙ ВРЕМЕНИ ТЧК «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»

Редколлегия «Нового мира».

ВИКТОР БОКОВ



НОВЫЕ СТИХИ

ЗИМНЯЯ ПЕСНЯ

Снегири мои красногрудые,
Хорошо ли вам на снегу?
Если холодно, если голодно,
Вы не бойтесь, я вам помогу.

Клен, снегами засыпанный наглухо,
Хорошо ль на ветру-то стоять?
Ты моя деревенская азбука,
По которой учился читать.

Родниковая быстрая реченька,
Хорошо ли тебе подо льдом?
Потерпи, это дело не вечное,
Рухнет скоро холодный твой дом.

Муравейник, веселое зрелище,
Где вы спрятались, муравьи?
Летом все вы на солнышке грелися,
Как теперь-то вам, други мои?

Зимка-зимушка, вдовушка снежная,
Овдовила ты лодку мою,
Обезлюдил пристань прибрежную,
Все равно о тебе я пою!

ВЬЮГА БЕЛОГРИВАЯ

Вьюга белогривая,
Где твой конный двор?
Кто тебя на улицу
Со двора увел?

Конокрадам на руку
Ночь была глуха.
Кражи не заметили
Сони-конюха!

Вьюга белогривая,
Кто тебя запряг?

Кто с тобой отчаянно
Залетел в овраг?

Кто ремненным кнутиком
По тебе стегнул?
Кто взметнул над рощею,
Кто к земле пригнул?

Не стучи копытами,
Стой, не шевелись,
Я тебе советую:
В дом родной вернись!

Вьюга белогривая,
Мы тебя простим,
Овсецом на радостях,
Сеном угостим!

СОЛНЦЕ

Солнце утром хочет встать,
Поскорей росой умыться
Не затем, чтобы блистать,
А затем, чтобы трудиться.

С ним-то я давно знаком,
Мне оно не прекословит.
Это солнце с рыбаком
На Камчатке рыбу ловит.

Не оно ль от чешуи
Все серебряное стало?
Не оно ли: «Не шуми!» —
Шторму в море приказало?

И унялся дикий шторм,
Скандалист дальневосточный.
Солнце спрашивает: «Что,
Нагулялся, парень?» «Точно!»

Солнце — мастер горновой,
Токарь, слесарь, ткач фабричный.
Нет работы черновой
Для него. Вот это Личность!

* * *

Как переносите возраст преклонный
В век наш атомный, электронный
Люди, которым за шестьдесят?
Слишком вам выпало трудностей много,
Слишком крутая была дорога,
Слишком смертелен был ваш листопад.

Как вам в заливы речные глядится,
Как отдыхается возле морей,
Как вам спится, как дома сидится
В тихом шелесте календарей?

Отдыхайте! Вы заслужили
 Тем, что шли по тропе трудовой,
 И не бойтесь, что вас окружили,
 Вы в окружении жизни самой!

ГОЛОСИСТЫЙ ОЗОРНИК

В балалаечке моей
 Поселился соловей,
 Голосистый озорник,
 Я давно к нему привык.

Балалаечка моя
 Приютила соловья,
 Соловей не спит всю ночь,
 Он поет, и я не прочь!

Балалайка, трень да брень,
 Сердце звуками задень,
 Разожги, раскочегарь,
 По тоске струной ударь!

Балалайка, семь досок,
 Развеселый голосок,
 Голос — в песню, ноги — в пляс,
 Вот мы! Все тут! Знайте нас!

ПРИТЧА

В чем мудрость жизни, кто мне объяснит? —
 Спросил я у себя однажды в трансе.
 Когда сапог твою ступню теснит,
 Ты забываешь о большом пространстве.
 А мудрость жизни в том, чтоб снять сапог
 И не бояться никаких дорог!

В ШАХТЕРЫ

Шахтеру Б. Гневу

— О чем ты задумался, друг,
 Под вывеской «Зал ожиданий»?
 Вокзалы — они для разлук,
 Дороги — они для свиданий.

Куда ты?
 — Маршрут мой далек, —
 Ответил мне прямо и смело. —
 В Донбасс добывать уголек!
 — Ну что же, хорошее дело!

Стоял предо мной богатырь,
 Собой заслонив семафоры.
 Равнинная курская ширь
 Его снарядила в шахтеры.

Он был коренаст, сероглаз.
Я мерил могучую спину
И думал: «Подвинется пласт,
Увидев такого детину!»

ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ

После болезни все кажется новым,
Полным прелести и обаянья:
Звезды, которые светят над кровом
Через неведомые расстоянья.

Лица людей в тесноте эскалатора
Или в отдельной влиятельной ложе
Кажутся истинными талантами,
Все как один на великих похожи!

Что происходит? Какое явление?
Я не профессор, но дам объяснение:
Как заболеем — со всеми прощаемся,
Поздоровеем — ко всем возвращаемся:

К людям знакомым, к службе, к деяниям,
К солнцу, что снег растопило на крыше нам,
К полузабытым на время желаниям,
Самым несложным и самым возвышенным!

ИВА

Когда грустит над речкой ива
В семье речного лозняка,
Я думаю: несправедливо
Ее обидела река.

Подмыла желтые корни,
К земле пригнула в ледоход.
Природы тонкое творенье
Вот-вот в пучину упадет.

Вот-вот погибнет это чудо,
Круг жизни ива завершит.
И грустно ей, что ниоткуда
Никто на помощь не спешит.

Вот-вот седые волны спрячут
Сплетенье веток и корней.
И над рекою чайки плачут,
Печалься именно о ней!

* * *

Чуть колышется штора,
Ветерок со двора.
Встал и думаю: «Что я
Днем-то делал вчера?»

Ничего не припомню,
Как и не было дня.
Будто все на земле
Обошлось без меня.

Значит, можно
Из этого мира уйти,
Если в прожитом дне
Ни следа не найти?



МАРИЯ ПРИЛЕЖАЕВА

★

ОСЕНЬ

Повесть

1

Ровно в семь трезвонил будильник. Пронзительно, на всю трехкомнатную квартиру с ванной, стенными шкапами и прочими современными удобствами.

Анна Георгиевна вскакивала первой. Всунув ноги в тапочки возле кровати, открывала настежь окно.

— Подъем! Раз—и, два—и! Вдох—выдох!

Старая няня, крупная старуха с большим носом, похожим на руль, и крошечным пучочком изжелта-белых волос на макушке, оставляла кашу довариваться на маленьком огне и, шаркая шлепанцами, шла из кухни к Ляльке.

— Вставай, подымайся книжку учить, ум точить,— низким голосом, сильно окая, приговаривала она, застегивая на Ляльке платье и перевязывая ленточками метелки над ушами.

Игорь Петрович, досыпавший последний сон в обнимку с подушкой, шумно всхрапнув напоследок, откинул одеяло.

— Привет! — сказала Анна Георгиевна.

— Да здравствует день, солнце и богиня Афродита в халате,— ответил муж.

— Игорь, не шалопайничай с утра. Раз — и, два — и! Лялька, становись на зарядку!

Через полчаса, одетые, умытые, они сидели в кухне за квадратным столом в красную и белую шашечки и, как добрая наиболее благоразумная половина человечества, ели кашу из овсяных хлопьев. Игорь Петрович кончил, подмигнул Ляльке. Лялька радостно улыбнулась во весь рот без двух передних зубов:

— Папа, ты что?

— Показательный завтрак перед трудовым днем образцово благополучной семьи.

— Идейной,— вставила Анна Георгиевна.

— Под руководством нашей просвещенной, политически выдержанной, морально устойчивой мамы.

— Наперекор легкомумству отца,— подобно мячу в волейболе вернула Анна Георгиевна.

— Мама, что такое легкомумство отца?

— Попалась, Егоровна,— хмыкнул Игорь Петрович.— Выкручивайся.

— Чего же выкручиваться? Скажем прямо: беспорядок, ветер в голове... правда, не всегда.

— Ага, с оговорочкой.

— А я все равно люблю папу,— сказала Лялька, потянувшись, прильнула розовой щечкой к щеке отца с каштановой полосой бакенбарды.

— Папа, ты добрый-предобрый!

— Эко дите смышлено, что ни скажет, рублем подарит,— растрогалась нянька. Постучала по столу костяшками пальцев: — Не сглатить бы.

— Результаты твоего идейного воспитания, Анна! — засмеялся Игорь Петрович. — Нянюшка, стол из пластмассы, а от глаза по дереву надо стучать, и не сверху, а понизу.

— Что такое от глаза?

— Лялька, няня шутит. И папа шутит. И я шучу.

Ровно в восемь они втроем были на улице. Сентябрьское утро с высоким куполом неба ясно и чисто. Во дворе на аккуратных клумбах пестро цвели георгины. Довольно гулили голуби, перебирая коротенькими лапками.

Игорь Петрович на ходу развернул свежую «Правду», пробежал заголовки, сунул в портфель.

— Ма! Па! А наш второй лучше всех в школе, у нас фулиганов нет, и ябед нет, и четыре отличника. Папа, а отличники все только девочки.

— А ты?

— Римма Федоровна говорит, не хватает сознательности.

— Вот те на! Мама такая сознательная...

В двух кварталах от дома Лялька махнула, прощаясь, рукой и свернула в тупичок, где, замыкая его, стояло четырехэтажное серое здание с широким подъездом и вывеской. Не читая вывески, можно было догадаться, что это школа. Лялькина школа номер один в центре города, сооруженная по типовому архитектурному проекту, подобно всем школам во всех городах Советского Союза.

— Эй, Лялька! Подтянись в смысле сознательности! — крикнул отец.

Дальше, до бульваров, они пошли вдвоем. Бульваров в их городе три — липовый, дореволюционных времен и два, продолжающих его, молодых, где вперемежку стоят липы и клены, тихие березки, тонкие осины с дрожащей листвой.

Бульвары — любовь и гордость города. Безобразничать на бульварах не позволено никому, во всяком случае на глазах у народа. Даже среди молодых бородачей с гривами до плеч редко кто кинет на песчаную дорожку окурков. Как из-под земли вырастет дюжий дружинник или какой-нибудь старожил, ревнитель городской красоты и порядка.

У бульваров им расходиться. Игорю Петровичу вправо, он поспешает почти бегом, чтобы в срок успеть на работу. Анне Георгиевне не к спеху, до девяти время есть. Она любит в любую погоду медленно идти бульварами и думать. Или не думать, а просто идти. С ветки беззвучно сорвется лист, плавно покружит в воздухе и ляжет на песок дорожки. Клены льют желтый свет. В городе много кленов, оттого полна золотом осень.

Минуту они постояли. Он, высокий, темноглазый, с пушистыми баками вдоль смуглых щек. Стандарт? Может быть.

«Мой милый «стандарт» в модной замшевой куртке с карманами и кармашками, застежками-«молниями». До чего же фасонист, притом что на серьезной работе!»

— Игорь, а хорош ты у меня,— любуюсь им, сказала Анна Георгиевна.

— Егоровна, и ты у меня неплоха,— в тон ей ответил муж.

— До вечера, Игорек.

— До вечера, но не до самого позднего. В кино французский фильм. Поглядим?

— Поглядим.

Они разошлись.

«Так и живем,— думала Анна Георгиевна, медленно идя бульварами, радуясь свету солнца сквозь шатры кленов, вдыхая острый, чуть горький запах осени.— Человек редко говорит о себе: я счастливый. Оттого, что всегда хочет больше? Или из суеверия, чтобы не спугнуть? Или счастье, как здоровье, не замечают? Я тоже боюсь сказать вслух, но про себя... Милый, мне нравится, что ты меня называешь Егоровной, что ты легкий, беспечный, а в главном серьезный,— все в тебе нравится. Дом, семья, интересная работа — чего же еще?»

Но тут какое-то тревожное чувство тихонько поднялось в ней и постучало: взгляни. И она поглядела в сторону, где, отделенная от главной аллеи рядом молоденьких деревцев, тянулась узкая боковая аллея. Так и есть. Вот уже несколько дней она встречала здесь или на следующих бульварах пожилую женщину. Простоволосая, в светлом пальто спортивного покроя, коричневых туфлях на низком каблучке, эта женщина напоминала отслужившую службу спортсменку, какую-нибудь бывшую звезду баскетбола. А что? Приехала на покой в их ничем не примечательный, сравнительно тихий районный город. Чего не случается в жизни?

Отчего-то Анну Георгиевну беспокоит замкнутый вид спортсменки, хмурость глаз, глядящих вдаль, не замечая никого вокруг.

Анна Георгиевна легко общалась и сходилась с людьми и привыкла почти всегда в ответ встречать дружелюбие, а тут отчего-то не решалась подойти.

Спросить бы: я вижу, с вами неладно. Может быть, надо помочь? Или я ошибаюсь?

Вообще Анну Георгиевну тянуло так или эдак познакомиться с женщиной, каждое утро последнее время встречавшейся ей на бульваре.

Но что-то ее останавливало.

2

В середине прошлой зимы в школу номер один, что стоит в тупичке недалеко от бульваров, явилась посетительница лет сорока пяти, с подстриженными, слегка вьющимися рыжеватыми волосами. Впрочем, рыжеватость не составляла отличительной черты ее внешности, ибо большинство женщин ее возраста и старше красились в тот же цвет за отсутствием других колеров в городских парикмахерских. Более отличала ее тщательно маскируемая начесанными прядками досадно ранняя лысинка на затылке.

Пришедшая была одета в коричневый шерстяной костюм с ярко-оранжевой блузой. Гройной ряд янтарных бус укрывал начавшие обозначаться морщинки на шее.

Шли уроки. Учительская, обставленная несколькими небольшими полированными столиками, длинным столом посредине и шкапами для учебных пособий вдоль стен, была пуста. Но услышав вошедшую, из смежного с учительской кабинета показался директор.

— Надежда Романовна!

— Здравствуйте, Виктор Иванович,— отвечала она.— Выгодная у вас резиденция: в коридор ход и в учительскую ход, бдительное око нарушения там и тут не пропустит.

— Пожалуйста! — почтительно, несколько старомодным жестом пригласил директор гостью в кабинет.

— Пока уроки, можно и здесь. Здесь солнце,— возразила она.

— Вы правы, а в моей выгодной, как изволили заметить, резиденции хоть с утра зажигай электричество. Хорошо ли здоровье, Надежда Романовна?

Они уселись за длинный стол с краю, друг против друга. Надежда Романовна перебирала янтарные бусы на шее.

— Здоровье прекрасно, Виктор Иванович. А разговор предстоит серьезный.

— Слушаю,— насторожился директор.

— Вы в школе этой всего второй год?

— Да,— еще более насторожился директор. «Ведь знает. Зачем спрашивать о том, что известно?»

— Отличие от прежнего порядочное? — продолжала она.

— Что говорить! — возбужденно воскликнул Виктор Иванович.— Окраина, новостройки, ямы, глина, неубранность. Или центр. Какое сравнение?

— И коллективом довольны?

— И коллективом доволен.

Она помолчала, перебирая янтарные бусы. Он с беспокойством хмурил брови. Чем дольше длилось молчание, тем спокойнее хмурились брови директора.

— Дело в том,— наконец заговорила она,— коллектив у вас приличный, но... слишком женский. Монастырь... выражаясь языком устарелых понятий.

— Надежда Романовна! — искренне изумился директор.— А в других школах? Во всех школах то же. Статистика показывает: восемьдесят процентов учителей — женщины. Факт. Где вы наберетесь мужчин? Мужчины в учителя не идут. Мужчины в кибернетике, атомных институтах, самолетостроении...

— Да. Но... выражаясь языком поэзии, кто ищет, тот найдет.

Он, не понимая, куда она клонит, в удивлении на нее глядел.

— Я не от себя, Виктор Иванович. Руководство считает... Но ближе к делу. По предварительному распределению молодых специалистов из областного педвуза в наш район к будущему учебному году направляется несколько человек. Так вот один словесник, способный, почти отличник... Так вот руководство рекомендует его в вашу школу. Его. В вашу. Школу,— чеканя слова, повторила она.

Он в растерянности потер лоб.

— Но у меня нет вакантных мест. Своим учителям не хватает часов.

— На окраине перегрузка, у вас недогрузка. Все только в центре желают работать. Негосударственный подход,— внушительно возразила она.

— Пошлите его на окраину.

Она откинулась на спинку стула и, ухватив в горсть и туго затянув на шее янтарные нити, долго молча глядела на него.

«Ну и дурак!» — отчетливо прочитал он в ее тяжело остановившемся взгляде.

— Руководство рекомендует... вам понятно?

Постепенно он начинал понимать. Он закусил губу, чтобы не выдать вслух негодования. Черт бы побрал руководство! Дергают, требуют. Приказ за приказом. Разумеется, этого пижона, который и до диплома еще не дотянул... они не имеют права ему приказать при отсутствии свободных мест в школе. Но... То-то и дело что «но»...

Он пожал плечами:

— Не знаю, где найти выход.

— Я затем и пришла, чтобы вместе...— смягчилась она, ложась грудью на стол, чтобы быть к нему ближе.— Виктор Иванович, я ваш друг. Я хочу вам только хорошего. В вашем положении, когда вы всего второй год директорствуете в лучшей школе города...

— Но какой выход? Выход?

Зазвенел звонок к концу урока, и сразу школа вся загудела, топот десятков ног донесся из коридоров в учительскую; учителя входили один за другим с журналом или кипой тетрадей, кивали, здороваясь с Надеждой Романовной.

Вошла пожилая учительница в темном платье, ладно сидящем на ее статной фигуре.

— Представьте, товарищи, что со мною было! — ни к кому не обращаясь, смеясь, говорила она.— Представьте, веду на полном подъеме урок, по ходу дела надо почитать из Белинского, хватать очки, а их нет. Заметалась, туда-сюда. Ребята углядели: что вы? Очки, говорю, потеряла. Они как грохнут!

— Как грохнут? — преувеличенно удивляясь, с холодком спросила Надежда Романовна.

— А так. Раскохотались. Да хором: вон очки, вон у вас на цепочке висят. И верно, висят. Я эту цепочку недавно завела, еще не привыкла... Беда мне с очками! То и знай что ищу. Да что я! Про то, как бабушки теряют очки, сто раз в детских книжках написано.

— Не все. Не всегда,— возразила Надежда Романовна, поведя на директора настойчиво что-то подсказывающим взглядом. Он отмолчался.

«Увиливаешь? Рано ли поздно заговоришь, голубчик»,— внутренне усмехнулась она.

И грустно сочувствуя:

— Склероз, Ольга Денисовна. Неизбежное явление в ваши годы.

— Так уж и неизбежное?

— С природой не поспоришь. Вон в журнале «Здоровье» пишут: свежий воздух и покой. Единственно лечит: свежий воздух, душевный покой.

3

Итак, приказ. Без печати и штампа, даже вовсе без бумажки, где несколько лаконичных слов, не допуская возражений, диктуют... Впрочем, подобного рода приказы в печатном виде не отдают. Их отдают устно. Через доверенное лицо. Без свидетелей.

Виктор Иванович сидел за письменным столом в своем неудобном и темном директорском кабинете. У него не было привычки шагать при обдумывании острых ситуаций подобно сегодняшней, когда непременно надо принять то или иное решение.

Сутулясь, с нахмуренным лбом, он сидел неподвижно, и только длинные крепкие пальцы время от времени отбивали по столу сердитую дробь. То или иное решение? Черта с два! Решение одно. Какого-то юнца со студенческой скамьи, наверное стилиягу, пижона, мамень-

киного, вернее папенькиного сынка, протеже, а может быть, родственника нашего прямого начальства надо устроить в школу номер один.

Виктор Иванович даже тихонько простонал, вспоминая, каких усилий стоило ему добиться директорства в этой школе, где учительский коллектив, традиции, репутация лучшей в городе были созданы до него, не его трудами, и где он получил благоустроенное жилье в первом этаже вместо прежней одной комнатухи на всю семью в коммунальной квартире. А в перспективе жилищный кооператив в центре города, в районе бульваров. Виктор Иванович стукнул кулаком. «Черт! Черт и дьявол!» — выругался директор.

Никогда ничто не давалось Виктору Ивановичу даром или хотя бы легко. Всего добивался тяжким трудом. Если бы только трудом!

Всякий раз, когда приходилось идти на сделки с совестью, Виктор Иванович страдал. А приходилось. Не постоянно, а приходилось. Виктор Иванович мучительно помнил все эти случаи. Значит, не совсем угасла совесть? Почему угасла? Чепуха! Другие и не на такое идут. И ничего. Сходит. Да еще в почете, продвигаются, повышаются, уважаются. А он, интеллигентик, хлюпик, несмотря на солидную фигуру, плотные плечи, благообразно-спокойную физиономию, — он помнил все случаи и обжигался стыдом.

Вот... например... а... и вспоминать тошно. Вот, например, батюшки мои! Лет двадцать тому, другой давно позабыл бы, а он все держит на сердце. Он был молод, холост, свободен, в сущности, ни от кого не зависим, когда его послали обследовать преподавание одного чудака старикана, биолога, о котором (Виктору Ивановичу было это известно) в роно сложилось неблагоприятное мнение. В ту пору кукуруза была «царицей полей». Надо же было тому старикану (Виктор Иванович как сейчас видит его — в потертом пиджачишке, высокий, костлявый, с растрепанной шевелюрой и какой-то сумасшедшинкой в запавших глазах), надо было этому одержимому пуститься при постороннем рассуждать о вреде распаивания окских заливных лугов. Да как! С дрожью в голосе, почти со слезой. Он, видите ли, родом оттуда, ему жаль заливные луга на Оке; он, видите ли, считает кукурузу южной культурой. Скажите, какой сельхозминистр отыскался! Ты — учитель и обязан давать учащимся сведения в объеме программы и освещать соответственно установкам данного времени.

Виктор Иванович присутствовал наблюдателем на уроке один. Можно бы промолчать в роно об антикукурузных настроениях чувствительного биолога...

После он всячески старался его избегать, но, как ни старался, встретил однажды у входа в кино. Виктор Иванович хотел вильнуть в сторону, старик заступил дорогу.

— Молод еще, а уже доносчик, да усердный.

Старик сказал тихо, даже без гнева, скорее печально, но вокруг услышали. Виктора Ивановича хлестнуло, как плетками, несколько взглядов... И тогда, и потом, и сейчас он избегал признаваться даже себе, что это были за взгляды.

Он резко поднялся и вышел в учительскую. Погруженный в размышления, пропустил звонок к большой перемене и застал в учительской спор. Спорили сидевшая за своим столиком Ольга Денисовна и молоденькая учительница математики Маргарита Константиновна.

— Конечно, вы знаете литературу глубже меня, но я не понимаю:

неужели так уж совсем нельзя отступить от традиции классики? — горячилась Маргарита Константиновна, стоя возле столика Ольги Денисовны. — Конечно, Толстой — гений, но нельзя повторять даже Толстого.

— Не надо повторять, — с улыбкой отвечала Ольга Денисовна. — Толстого и захочешь — не повторишь. Да только, я думаю, новизна не в приемах и стиле. Жизнь диктует новизну.

«Не может без университетов», — хмуро подумал Виктор Иванович.

Где-то в глубине души, он чувствовал, в нем нарастает раздражение против Ольги Денисовны, но хитрил с самим собой, не вдаваясь в анализ причины.

— Очки не потеряли, Ольга Денисовна? — деланно усмехнулся он. Математичка удивилась:

— При чем очки?

— Вчера надо мной пошутили они с Надеждой Романовной, — без обиды сказала Ольга Денисовна.

Математичка еще удивленнее вскинула узенькие брови:

— Надежда Романовна умеет шутить? Вот уж не знала!

— В своем духе. Открыли во мне склероз, подняли на смех.

— Какой уж смех? Тут не до смеху, — буркнул директор.

На столике перед Ольгой Денисовной лежала стопка тетрадей.

— Можно? — спросил он и, не дожидаясь ответа, взял верхнюю. Зачем? Ни за чем. Просто так. Впрочем, в качестве директора, понятно, он всесторонне интересовался педагогическим процессом в своей школе. Он бегло просмотрел в тетрадке сочинение, написанное аккуратным девчоночьим почерком. Вернулся к прочитанному, перечитал внимательно. В третий раз вслух.

«... Мне не нравится Чацкий. Хотя Грибоедов хочет показать, что он умен, на самом деле этого нет. Разве умный человек мог полюбить Софью? Кто такая Софья? Пустышка, жалкая бессодержательная барышня. Умереть можно от скуки, как она играет в молчанки с Молчалиным. И Чацкий не видит ничтожества Софьи? Где же его ум? Есть пословица: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Если Чацкий хочет выбрать Софью в подруги, недалеко он ушел от нее!

Еще пословица: «Не мечите бисер перед свиньями». Перед кем мечет Чацкий свой гнев? Перед фамусовыми, скалозубами, хлестаковьями? Он должен презирать их и гордо молчать. Нет, Чацкий не мой любимый герой».

— Уф! — громко выдохнул Виктор Иванович, прочитав страничку из сочинения восьмиклассницы Ульяны Олениной. — Что это? Как вы это назовете? — с искренним недоумением спрашивал директор, держа тетрадку, с превеликой осторожностью отстранив от себя, будто гранату, которая вот-вот взорвется.

— По-моему, Ульяна самостоятельно думает, — сказала Маргарита Константиновна.

— Я поставила ей пятерку за самостоятельность думания, — подтвердила Ольга Денисовна.

— Вижу. И считаю нигилизмом вашу пятерку, — резко возразил директор. — Во всяком случае, способствованием нигилистических мыслей в учащихся. Есть учебник, уважаемая Ольга Денисовна. Учебник обязателен для учителей и учащихся, уважаемая Ольга Денисовна.

Он кинул тетрадку на стол с таким видом, будто и держать-то ее ему отвратительно.

Ольга Денисовна молча положила тетрадку поверх стопы и молча ушла из учительской, потому что звонок уже звал на уроки. Следом за ней быстрым шагом вышла математичка. И другие учителя, подхватывая свой классный журнал и книги, расходились по учебным кабинетам.

«Вольно или невольно она насаждает скептицизм и критиканство»,— подумал директор.

— Вы правы,— как бы подслушав его мысли, поделилась задержавшаяся дольше других учительница истории Марья Петровна, лет пятидесяти, полненькая, неумоимо разговорчивая, любившая по каждому поводу высказывать свое мнение.— Ольга Денисовна — хороший педагог, а по головке гладит фрондеров и разных там философов в смысле «фи». А ведь хороший педагог.

— Вы думаете? — неопределенно усмехнулся директор и, сутуля плечи, тяжелой походкой пошел в кабинет к телефону.

— Виктор Иванович! — слышался в трубке сладкий голос Надежды Романовны.— Ну как? Что новенького?

— Рано еще быть новенькому,— почти грубо ответил он.

— Напрасно нервничаете, Виктор Иванович. Я доложила начальству. Полное одобрение. Как сказал один поэт: молодым у нас дорога, старикам почет. Вопрос решен. Никаких колебаний, Виктор Иванович. Действуйте, Виктор Иванович. До встречи.

Она повесила трубку.

Виктор Иванович закурил. Он курил редко, лишь в чрезвычайных случаях. В горле запершило, он раскашлялся, чихнул, чертыхнулся и погасил папиросу.

Некоторое время стоял с брезгливым выражением лица. Внезапно, что-то решив, какой-то не своей, крадущейся походкой вернулся в учительскую, огляделся. Никого. Все на уроках. Он подошел к столу Ольги Денисовны, схватил кипу ученических тетрадей, отнес в один из шкафов у стены, задвинул дверцу и, так же крадучись, пошел к себе почему-то на цыпочках.

У двери стал. Бледный.

— Нет! Не могу! — вырвалось хрипло.— Не желаю быть круглым уж подлецом.

Он кинулся назад, к шкафу. Но в эту минуту в учительскую явилась математичка Маргарита Константиновна, стремительная, как всегда оживленная.

Директор охнул почти громко. Она в удивлении молчала. Что-то странное, жалкое показалось ей в позе и виде директора, будто застигнут в чем-то дурном. Она так и подумала: «Будто застигнут».

— Что с вами? — спросила она.

— Ничего. А... почему вы не на занятиях?

— У меня пустой час. Я побывала у Ольги Денисовны в своем классе, у нее на уроке.

Он круто, начальственно, как иногда это делал, повернулся к ней спиной и ушел к себе в кабинет.

Вчера она задержалась дольше обычного. Был литературный кружок, они обсуждали одно удивительное произведение. Обсуждали? Нет — спорили, восхищались, делились мыслями.

Два вечера она читала им «Белый пароход» Чингиза Айтматова. Читала Ольга Денисовна хорошо. Знала это свое уменье и любила чи-

тать ребятам вслух. После начинался разговор, иногда долгий, трудный, равнодушных не было — то и дорого Ольге Денисовне, что эти чтения и разговоры захватывали и будоражили всех.

Ульяна Оленина говорила медленно, с усилием, будто думала вслух. Отчаяние в ней вызвал «Белый пароход»!

— Если прочитаешь книгу и чувствуешь тоску?

— Смотрите! — ринулся в спор Женя Петухов. — Ей надо, чтобы в книгах писалось только о радостях и голубых небесах.

Худошавый подросток с ярко-синими глазами и круто изогнутым светлым чубиком на лбу произнес свысока:

— А о чем же у нас пишутся книги? Соц-оп-ти-мизм.

— Гарик Пряничкин в своем репертуаре, — небрежно кинула Ульяна. И Женьке всерьез: — Но если после книги не хочется жить?

— А я после «Белого парохода» еще сильнее возненавидел гадов и кулачье! — пробасил Женя Петухов, аккуратненький, ухоженный мальчик, у которого в его пятнадцать лет ломался голос, то срываясь на девчоночий дискант, то гудя, как из бочки.

— Где ты взял кулачье в наше время?

— Она не видит! — сорвался Женя на дискант. — А мешчане? Хапуги?

— Наша Ульяна Оленина не знает хапуг. Хапуги — проклятое прошлое. Наша Ульяна Оленина вступила в полный коммунизм, жизнерадостно шагает каштановой аллеей и нюхает розы, — так же свысока выговорил Гарик Пряничкин.

— Бросьте! Я читаю «Белый пароход» и мучаюсь... он меня мучает.

— В том и суть. Значит, не хочешь и не будешь мириться со злом. В этом и суть, — сказала Ольга Денисовна.

Она любила их споры и не жалела времени на такие вечера и беседы, вот уж не жалела ничуть! Ее восьмиклассников хлебом не корми — дай только пофилософствовать. Нередко Ольга Денисовна узнавала и слышала от них неглупые речи, но спокойно выслушивала иной раз и «завиральные» идеи, от которых Марья Петровна приходила в ужас:

— Кошмар! Чего только они у вас не мелют! Предсказывают кончину Земли. Из-за того, что наша советская наука планирует повернуть течение сибирских рек, будто бы вращение земного шара изменится и... А все за граница, буржуазная информация, а вы, Ольга Денисовна, вместо того чтобы пресечь, позволяете рассуждать обо всем. На что уж Гарик Пряничкин нигилист, на моих уроках не пикнет. А у вас...

Ольга Денисовна вела старшие классы, в этих же классах Марья Петровна преподавала историю. Слишком обыкновенны и нравоучительны были ее уроки и никогда не дальше учебника. Потому, являясь в кабинет истории, ребята со скукой в глазах лениво рассаживались по местам, вмиг улетучиваясь, едва слышится звонок к концу урока.

Марью Петровну терзала зависть к учителям, кого ребята окружали в перемены, забрасывая вопросами, ходили по пятам, как за Ольгой Денисовной. Что они в ней нашли? Разве что вольности всякие им спускает? Либерализм. Подыгрывает.

Но в глубине души Марья Петровна знала: не в том причина успеха Ольги Денисовны. Не «либерализм», не «подыгрывает», а влюбленность в литературу и какая-то свобода, естественность пленяли в ней учеников и не учеников. Марья Петровна потихоньку старалась перенять у соперницы манеру держаться, кое-чему подучиться, но дар есть дар, а коли нет дара, так нет. Марья Петровна не считала себя бездарной, однако чужие таланты уязвляли ее. Она чувствовала удов-

летворение, выискивая какой-нибудь недостаток в Ольге Денисовне. Выискивание недостатков стало потребностью, вошло в привычку. С темной ревностью она следила за каждым шагом Ольги Денисовны.

— Разумеется, Ольга Денисовна — отличнейший педагог, но...

— Что но?

— Слишком уж мнения о себе высокого.

В учительском коллективе Ольгу Денисовну уважали, критические суждения о ней отвергались, да Марья Петровна и не решалась их громко высказывать. А директор был новым человеком в школе, и, как заметила Марья Петровна, независимость преподавательницы литературы не очень пришлась ему по душе. Он предпочитал другие характеры, более покладистые и послушные.

Когда Марье Петровне удавалось побеседовать с директором наедине, как-то так нечаянно получалось, возьмет и заведет речь об Ольге Денисовне, выложит что-нибудь, что директору не очень понравится.

— Удивляюсь гордыне ее, Виктор Иванович! Никогда не зайдет к вам посоветоваться.

— У Ольги Денисовны своего опыта хватает,— сухо отрезал Виктор Иванович.

— Так-то так...

Ее маленькое нападение не всегда попадало в цель, и тогда Марья Петровна на всякий случай старалась загладить вину перед Ольгой Денисовной, сказать что-нибудь ей приятное, но та сдержанно отмалчивалась. Отношения между ними: не мир — не война.

Вчера после кружка Ольга Денисовна не зашла в учительскую за тетрадями, решив заняться проверкой сочинений сегодня, благо уроков в этот день у нее нет. Сняла пальто, пригладила перед зеркалом волосы, все еще пышные и густые, но от седины потускневшие, и направилась к своему столу проверять сочинения восьмиклассников на тему «Как я отношусь к Чацкому». «Кстати, напрасно я вчера не сказала Виктору Ивановичу, что Ульяна хоть и своим умом дошла до критики Чацкого, а ведь у нее единомышленник есть, не такой категоричный, однако с Чацким спорит. Кто бы, вы думали! Иван Александрович Гончаров! И Пушкин Чацкого не очень-то жалует».

Но что такое? Где тетради? Тетрадей на столике нет. Она окинула взглядом чужие столы. На некоторых лежали учебники, книги, тетради, но не ее. Бросило в жар. Она испугалась. «Что со мной происходит?» Схватилась за цепочку очков на груди, проверить, здесь ли? Здесь. Что с ней происходит, потеряла тетради. «Неужели вправду потеряла? Пойдите, вчера был кружок. Так. После кружка... неужели я так увлеклась, что взяла тетрадки домой и забыла, что взяла? Пойдите, после кружка я вышла из школы вместе с ребятами... Нет, я не заходила в учительскую».

— Товарищи, что у меня случилось, пропали тетради,— жалобно сказала Ольга Денисовна, когда учителя сошлись на перемену.

— Как пропали? Кому они нужны, ваши тетради?

— Поищите хорошенько, может, в кабинете оставили.

— А ребята не могли созорничать?

— Что вы! Над кем другим, но не над Ольгой Денисовной!

Такие реплики посыпались со всех сторон, сочувствуя Ольге Денисовне, но не утешая. Директор, который в перемены имел обыкновенные заглядывать к учителям, не вмешивался в обсуждение, но Ольга Денисовна чувствовала на себе его осуждающий и выпытывающий взгляд, и у нее падало сердце, странно падало сердце. Как в яму.

Перед самым звонком, как обычно куда-то спешащая, по горло занятая, вбежала Маргарита Константиновна.

— У Ольги Денисовны пропали тетради,— сразу обрушились на нее.

Она стала с разбегу, словно перед ней внезапно опустили шлагбаум.

— Кажется, телефон? — прислушался директор.

Никто не слышал телефона, а он услышал и с озабоченным видом удалился.

Маргарита Константиновна тихими шагами, будто не решаясь, подошла к учебному шкафу, отворила дверцу.

— Тетради? Вот.

Она взяла из шкафа и держала стопу тетрадей, на лице ее было смятение. Вчера здесь, у шкафа, она застала директора и поразила его жалкой растерянности.

— Загадка,— непонятно протянула Маргарита Константиновна.— Драматургия.

— Что вы там о драматургии! — воскликнула Ольга Денисовна.— Товарищи, подумайте, зачем я их туда упрятала? Когда? Убейте, не помню,— удивленно восклицала она.

Математичка медлила отдавать ей тетрадки, тихо подошла. Кажется, хотела что-то сказать. Колебалась. Сказать? Нет?

Если бы она видела точно. Она не видела точно. А если ей только представилось, чего и близко не было? Она смутилась, покраснела. И не сказала.

Но Ольга Денисовна была так довольна, что тетради нашлись, что даже не заметила какие-то там оттенки в выражении лица Маргариты Константиновны.

Ольга Денисовна проверяла сочинения; отзвенели звонки, кончились занятия, школа умолкла. У нее медленно двигалось дело, отвлекали невеселые мысли. «Что же, в самом деле, неужто так вот и подступает старость со своими сигналами? Динь-бом-трах! Приближаемся к конечной остановке. Сходить».

Она не услышала, как возле очутился директор. У него не было постоянной походки. Он топал тяжело, и тогда его солидная фигура казалась приземистой. Или вдруг, как сейчас, подходил неслышно и вкрадчиво.

— Не очень расстраивайтесь, Ольга Денисовна,— сказал директор.— Закон природы, ничего не попишешь.

И у Ольги Денисовны опять упало сердце как в яму.

С тех пор в душе поселилось беспокойство. Кошмары преследовали ее во сне. Она просыпалась разбитой. И все чего-то ждала нехорошего. Будто туча нависла и грозит. И грозит.

Директор не разговаривал с ней на людях. Ольге Денисовне стало казаться, он ее избегает. Издали она ловила на себе его выпытывающие и жалеющие взгляды. Эти непростые взгляды, какие-то намеки и охи Марьи Петровны, дурные предчувствия, сжимавшие сердце, особенно в бессонные ночи,— все это делало жизнь Ольги Денисовны тревожной и трудной.

Она замечала, историчка стала чаще бывать в кабинете директора. Ольга Денисовна не могла знать, какие разговоры велись у них за закрытой дверью.

Но болезненная мнительность, угнетавшая ее последнее время, не давала покою: что-то часто тянет Марью Петровну к директору. «Ну, часто! — спорила она со своими жалкими подозрениями.— И пускай. Мне-то что? Какая забота?»

Однако странно, почему историчка то и дело заботливо осведомлялась:

— Как здоровье, Ольга Денисовна? Склероз лечите? Виктор Иванович переживает.

— Переживает? А может, и вас мое здоровье волнует?

Ольга Денисовна всем существом, почти физически ощущала фальшивость забот Марьи Петровны.

Она не могла удержать насмешки. Напрасно. Полненькое, немного уже тяжелеющее, но молодежавое лицо Марьи Петровны вспыхивало, казалось, тронь спичкой — зажжется.

— Озлоблена наша Ольга Денисовна, — делилась Марья Петровна с директором.

— Ну? — хмуро спрашивал он.

— Жизнь на исходе. Эгоизм старческий изо всех сил за жизнь цепляется, а она на исходе... Отсюда и злится.

— Не петляйте, Марья Петровна. Выкладывайте.

— Ах, язык не поворачивается. А с прежним руководством как дружила! Ах, Виктор Иванович, зачем я вас только расстроила? Что мне со своей откровенностью делать?

— Пустяки! — обрывал директор, не поняв до конца, но учуяв неместное для себя в намеках болтливой Марьи Петровны.

Заноза в сердце засела. Чем дальше, больней. С каждым днем не любовь его к Ольге Денисовне росла.

А ну ее к черту! В самом деле пора ей на печку. Он обдуманно вел свою линию, время от времени уверяемый инспектрисой Надеждой Романовной, что руководство в курсе. То есть не в курсе подробностей, но важен результат. Государственный подход к распределению кадров — вот что требуется в первую очередь. Вам понятно, Виктор Иванович?

Однажды он встретил Ольгу Денисовну в коридоре. Никого не было рядом, он строго спросил:

— Вы исполнили мое поручение?

— Какое поручение? — ужаснулась она.

— Как какое? — строже нахмурился директор. — Нет, это становится... Это... — Он не договорил.

Ольга Денисовна давно не ловила на себе его жалеющий взгляд. Должно быть, ему все ясно. Безнадежно. Ольга Денисовна жила с чувством близкой беды. Скоро грянет. Что грянет?

С кем посоветоваться? Товарищи среди учителей есть, и немало. Порядочные, честные, преданные школе люди, но ее только шокола с учителями и объединяла. Она не была компанейским, как говорится, человеком. В гости не ходила, к себе гостей не звала. Разговаривать любила о работе, учениках, литературе и тут становилась красноречива и интересна, а к «светским» разговорам ни вкуса, ни способности. И прочее, бытовое — в каком магазине получено импортное, почем на рынке говядина, кто женится, кто развелся и так далее — все эти простые житейские вопросы не были ей близки.

Потому некоторые говорили об Ольге Денисовне: не от мира сего. Или: в работе передовая, а жить не умеет.

И Ольга Денисовна не знала, не решалась, с кем посоветоваться. Да и что рассказать? На людях директор ничем ее не попрекнул, был как со всеми. Товарищи еще и посмеются: ничего нет, Ольга Денисовна, одно воображение ваше.

Между тем она чувствовала его нарастающую враждебность к себе. И не обманывалась.

— Ольга Денисовна! — догнал как-то директор, когда она шла

в кабинет литературы и русского языка, где со стен на учительницу и учеников глядели мудрые очи Пушкина, Белинского, Толстого, Достоевского, Чехова... На окнах цветы. В светлых шкафах, изготовленных для школы номер один шефом — производственным комбинатом, книги, пособия, пластинки, диапозитивы, киноаппарат. Телевизор новейшей марки возле доски. Не случайно школа носит п е р в ы й номер. Оборудована — дай бог столичной. — Ольга Денисовна! — догнал возле кабинета директор. — Я хотел, гм... да. Хотел вас просить помочь в одном деле. Хотя, гм... пожалуй... — он оборвал себя.

И стоял. И глядел. И она глядела на него, будто ждала приговора. — Нет, кого-нибудь другого попрошу...

Сказал и оставил ее, как всегда последнее время, прибитой.

Никогда раньше у Ольги Денисовны не дрожали руки. Сейчас — раскрывает журнал, а руки дрожат. И голос осел. Она видела, ребята в удивлении смотрят на нее. И даже, казалось ей, реже обращаются с вопросами, как будто теряют к ней интерес.

И вдруг — и это было не воображаемое, а действительное, на самом деле, — вдруг она забыла название статьи Добролюбова, с которой хотела познакомить ребят. Забыла. Начисто. Забыла имя Добролюбова.

Это продолжалось несколько секунд, наверное, не дольше минуты, когда горло заперла спазма, недохнуть. Огромным усилием воли Ольга Денисовна взяла себя в руки, вспомнила название статьи и сносно провела урок.

А затем — и это уже, конечно, истерика в результате бессонных ночей — пришла в кабинет директора. Он как будто ее поджидал.

— Садитесь, Ольга Денисовна! Я давно хотел поговорить с вами, давно замечаю. Что поделаешь, Ольга Денисовна!

Все-таки, должно быть, он человечный, как сочувствует, как приветливо встретил!

Он разжалобил ее своими участливыми словами и тоном. Она всегда была чувствительна, разжалобить ее не стоило ничего: поговори только ласково.

— Не знаю, что и делать... — снова осипнув от подступивших слез, начала она.

— Да, я вижу, все видят, — подхватил Виктор Иванович. — Возрастная болезнь, Ольга Денисовна, никого не минует. Тяжело, понимаю, весьма тяжело. Но школа... общество... требуют...

Он что-то лепетал, бормотал, бегал глазами, а она все не догадывалась, куда он гнет. Все еще слышала в его лепетании участие и ожидала совета.

— Посоветуйте, Виктор Иванович. Может быть, к врачу обратиться? И сплю я плохо... Что делать?

— Ольга Денисовна, какой в вашем положении вы можете совет ожидать? Наше государство гуманно. Ведь не будете вы спорить, что закон о пенсии есть прекрасное свидетельство гуманности нашего советского общества, нашей заботы о старости?

Так в темноватом, неуютном кабинете директора впервые было произнесено слово: п е н с и я.

В этом году школьные занятия после каникул начинались в первый день недели — понедельник.

Утренний город похож был на движущийся сад или какое-то театральное действие. Из подъездов и калиток выходили девочки в бе-

лых фартучках и мальчики с белыми подворотничками. И несли цветы. Лиловые астры, царственные, будто вылитые из воска гладиолусы, бордовые гвоздики, осенние розы застенчивых скромных окрасок.

Особенно трогательны казались малыши-первачки. Девочки, осознавая важность момента, несли букеты благоговейно, правда, стараясь не прижимать к груди, чтобы не зазеленить фартук; мальчишки тащили охапки цветов, как веники, только что не под мышкой.

Взрослые при виде детей улыбались. Можно подумать, все хмурые люди в этот день куда-то исчезли из города. Остались одни добряки, которым милы взволнованные, озабоченные ребячьи рожицы, цветочное шествие и тихие желтые бульвары, придающие родному городу свою особенную красоту.

В бывшем восьмом «а», теперь девятом, учителей, как и в других классах, ожидали букеты более или менее равноценные, однако два выделялись — самые богатые, пышные, нарядные для Ольги Денисовны и Королевы Марго.

Королевой Марго была Маргарита Константиновна.

Порядочно лет назад весь город с невероятным азартом, правдами и неправдами добывался, добывал и читал «дефицитный» переводный роман «Женщина в белом». Еще раньше с таким же азартом, взахлеб читались тома «Саги о Форсайтах». И хотя произведения эти отнюдь не равнозначны, мода на них была одинакова. Все ломилось за книгами: некоторые — чтобы прочитать, другие — поставить на книжную полку для украшения комнаты, как ставится на тумбочку ваза.

Нынче в моде стал роман Александра Дюма.

— Знаете что, — сказала однажды Маргарита Константиновна, — в Москве организован обмен макулатуры на книги. Между прочим, при везении можно раздобыть Дюма.

— А зачем им макулатура? — спросил Женя Петухов, любивший во всем добираться до сути.

Неожиданно Маргарита Константиновна обнаружила познания в этом вопросе и, не пожалев оторвать от урока математики десять минут, подробно изложила ребятам, в чем дело.

— Представьте, на каждого жителя в нашей стране уходит в год пять деревьев. Представьте, чтобы выпустить для вас книги, тетради, делать вот эти школьные парты, строить дома, надо в год вырубить пять деревьев на каждого. Представьте, пять деревьев на каждого! — почти с ужасом повторила учительница. — А кто из вас посадил за свою жизнь хотя одно дерево, ну-ка? Ты? Ты? Никто. Так вот если ты, ты или ты, — она указывала пальцем, — соберешь и сдашь государству шестьдесят килограммов макулатуры — все равно что вырастил дерево — сосну, ель, дуб, лиственницу. Сколько вас? Тридцать восемь! Я тридцать девятая. Читайте, мы посадим тридцать девять деревьев!

Она так их разагитировала, что все спешно принялись собирать старые газеты, брошюры, пакеты, бумажные коробки и т. д.

Обещанный Маргаритой Константиновной Дюма особенно подогревал усердие ребят.

В один прекрасный день Маргарита Константиновна возглавила группу учеников, нагруженных едва не тонной отжившей бумаги, и отправилась с ними на электричке в Москву. Часа через два они стояли у пункта сбора неподалеку от Третьяковки, в которой бывали с Ольгой Денисовной, после чего на кольцевом автобусе «К» поехали в книжный магазин и — счастливицы! — вечером возвращались домой с единственным раздобытым экземпляром романа Дюма «Королева Марго».

Всю дорогу из рук в руки передавалась довольно толстая книга в сером коленкоровом переплете с золотым тиснением имени автора

и названия романа и изящным и странным силуэтом королевы Марго.

Книгу читали по очереди. Вот тогда-то руководительница класса и получила прозвище Королева Марго. Ей не замедлили сообщить об этом на одном из уроков.

— Не пойдет! — категорически отрезала она. — Королева Марго — коварная женщина.

— А красивая!

— Королева Марго деспотична.

— А красивая! — возразили ей радостным хором.

— Жестокая, — спорила учительница.

— Красивая! — твердил класс.

— Ну, так и быть, — сдалась учительница, порозовев от смущения, не уверенная, педагогично ли она поступает. — Пусть будет по вашему. Тем более что Горький тоже сочинил себе Королеву Марго. Прочитайте «В людях», там многое найдете...

Учительница математики и вправду была хороша. Высокая, стройная, с прямыми до плеч волосами, в модной, под мужскую рубашку, блузе в голубую полоску, с широкими обшлагами и отложным воротничком, в синей юбке и синем кожаном жилете, она восхищала девочек «стилем». Мальчишкам тоже нравилась привлекательная внешность учительницы, но вслух они ценили в ней образованность. «Интеллектуал», — говорили о ней.

Это что? В представлении старшеклассников школы номер один это значило — знать чемпионов по футболу и шахматам; всех, наших и не наших, космонавтов; лауреатов международных музыкальных конкурсов; быть в курсе научных открытий в объеме статей и дискуссий популярных молодежных журналов.

Старшеклассники были поражены, когда оказалось, что математичка довольно прилично играет в шахматы и судит со знанием дела о Фишере, что, будучи москвичкой, знакома (правда, по чистой случайности) с одним из братьев Старостиных и на московском стадионе Динамо и в Лужниках видела немало выдающихся матчей и может о них рассказать; слушала в консерватории Эмиля Гилельса, Святослава Рихтера, Козловского и других знаменитых артистов.

Ого! Ребята, даже Гарик Пряничкин, чьих ниспровергательных идей панически боялась Марья Петровна, прониклись уважением к математичке. Но все же решили ее испытать и, специально выискав в астрономическом журнале вопрос с заковыркой, обратились к ней с одной лишь целью увидеть, как она себя поведет. Она повела себя так, как только и могло ребятам понравиться. Ответила просто:

— Ребята, не знаю. — Без суеты и хитростей, не боясь уронить авторитет. — Не знаю. Поищу, если уж непременно вам нужен ответ.

Итак, в первый день школьных занятий Королеве Марго был вручен прелестный букет. Цветы для Ольги Денисовны пока были спрятаны в парту Милы Голубкиной, невысокой плотной девочки пятнадцати лет, с упрямым взглядом, почти всегда без улыбки, отличницы и старосты класса. Ей и надлежало преподнести учительнице цветы.

В перемену после двух часов математики девятиклассники понеслись в кабинет русского языка и литературы. Они топали, как стадо диких бизонов. Так неслись с этажа на этаж все остальные ребята. От чего школьники не шли нормальным шагом в очередной кабинет, а мчались с угорелым видом, кидали сумки и портфели у двери, а затем начинали толкаться и волтузить друг друга — объяснить можно лишь избытком юной энергии. Так и объясняли педагоги суматоху при переходе классов из одного в другой кабинет, что при бесспорных до-

стоинствах кабинетной системы обучения являлось некоторым его недостатком.

Обычно кабинет для уроков отпирает учитель, но Мила Голубкина, инициативная особа, взяла в учительской ключ сама, и девятиклассники расселись по местам, ожидая Ольгу Денисовну, а Мила Голубкина положила розы на учительский стол.

Звонок едва отзвенел, когда в кабинет вошел директор и следом за ним незнакомый молодой человек, порядочно упитанный, несмотря на молодые годы, с девичьей ямочкой на подбородке и светлыми слегка навывкате глазами. Женя Петухов, сосед по столику Ульяны Олениной, довольно громко шепнул:

— Это еще что за субъект?

— Представляю вам нового учителя,— обычным авторитетным тоном произнес директор.

— У нас по расписанию литература,— сказал кто-то.

— Представляю вам нового учителя по литературе и русскому языку Павла Игнатьевича Утятина.

— Хи-хи! — послышалось за ученическими столиками.

А Гарик Пряничкин почти вслух:

— Утя! Утя!

Не Пряничкину бы насмеяться над фамилией нового учителя! Гарик сам терпел от неблаговзвучности, прозаичности и даже несколько смешноватого смысла своей фамилии. Быть бы Царевым, Гималаевым, на худой конец Доброхотовым.

В младших классах дразнили: Пряничкин, дай пряничка!

Он с малолетства был силен и ловок и дубасил всех, кто рисковал оскорбить его честь. Потом он нашел другую защиту своей чести. Открыл в Большой Советской Энциклопедии близкие себе по звучанию и внешнему смыслу фамилии: троих Прянишниковых. Почти Пряничкины. Он выбрал из них живописца. Передвижник, академик Петербургской Академии художеств. Чуть не полторы страницы отхватил в Большой Советской! Не отхватил, потому что давно нет в живых,— отвели, еще почетней!

Гарик внимательно познакомился с репродукциями нескольких картин Иллариона Михайловича Прянишникова, представленных Большой Советской. Его не трогала живопись этого художника. Но признан, значит, прославлен в энциклопедиях. Гарик щеголял Прянишниковым, будто состоял с ним в родстве. И так много о нем говорил, что прослыл знатоком живописи, будущим искусствоведом, вторым Стасовым. Так вот он, Гарик Пряничкин, и приклеил на первом же уроке новому преподавателю кличку Утя.

Бедный Павел Игнатьевич, нелегко ему будет избавиться от мгновенно прилипшего прозвища. Он покраснел, как девчонка, круглые щеки стали похожи на два розовых яблока.

— У нас учительница Ольга Денисовна,— сказала Ульяна.

Хихиканье смолкло.

— Где Ольга Денисовна? — спросил кто-то вслед за Ульяной.

— Мы хотим, чтобы нас учила Ольга Денисовна.

— Молчать! — прикрикнул директор.— Молчать,— повторил спокойно, когда класс затих.— Ольга Денисовна ушла на пенсию. Она старая и больная. Наше государство и общество покоят старость.

— Она не очень старая,— возразил класс.

— Отчего нам не сказала, что уходит на пенсию? — спросила Ульяна Оленина.

— Я вам говорю.

— Отчего она не пришла к нам проститься?

— Этого я не знаю. Ваш новый учитель — Павел Игнатьевич. Вы

не малые дети и должны понимать, должны создать новому молодому учителю атмосферу, обстановку...

Директор произнес недлинное, подходящее к случаю вступительное слово. И оставил класс и учителя.

— Здравствуйте, ребята,— улыбнулся учитель. Улыбались губы, в глазах было смятение. Он поправил галстук и никак не мог перестать улыбаться. Все видели — он безумно смущен и боится их, учеников девятого «а». — Наша тема сегодня...

Но тут Ульяна Оленина поднялась, медленно подошла к учительскому столу, взяла букет белых и красных роз.

— Эти цветы мы хотели подарить Ольге Денисовне.

Учитель жалко мигнул, улыбка сползла с его вздрагивающих губ.

— Цветы не для вас, для Ольги Денисовны,— при полном молчании класса повторила Ульяна.

6

Летние⁴ месяцы, как обычно, Ольга Денисовна провела у двоюродной племянницы, фельдшерицы детской амбулатории в большом селе на высоком берегу Волги.

Как обычно, ходила с ребятишками племянницы в лес за грибами и ягодами, варила варенье, солила волнушки и рыжики. Вечерами, сидя на скамейке под окнами дома, наблюдала жизнь села. Вела разговоры. Читала.

Охотней газеты. Всю жизнь истово любила и знала художественную литературу, а сейчас отчего-то поостыла к романам и повестям. «Наверное, случайно мне попадаетея не очень удачное или душа охладела», — думала Ольга Денисовна, помня кипения страстей на своем литературном кружке.

Говорят, нынешние школьники чаще скептики, малoverы, «тургеневых» не признают, вместо любви у них секс, вместо идеалов — замши, джинсы, дубленки, всяческий модный вздор.

Нет, Ольге Денисовне в ее общении с ребятами сквозь внешнюю развязность, несносную бездарь жаргона — закадрил, вреднячка, дико нравится, ах, здорово, в смысле колоссально, — сквозь мнимую или действительную лихость открывалось то чистое и самолюбиво застенчивое, что и есть юность, которую она любила.

Должно быть, надо владеть особым ключом, чтобы в ином лохматом подростке, запертом на замок от любопытствующих вопросов и взглядов, или, напротив, «отрицателе»-краснобае (их-то пуце всего боялась Марья Петровна) открыть глубоко упряманное настоящее.

Должно быть, Ольга Денисовна владела тем ключом, сама иной раз не ведая, почему в одном случае действует так, а в другом эдак, чтобы растить в своих учениках настоящее.

«Жизнь движется. А нынешнее лето из особых особое, — думала Ольга Денисовна, сидя на скамейке у дома, с тихой грустью глядя на багровый закат. — Особое лето. В Финляндии идет небывалое за всю историю всех государств совещание о судьбах Европы. Тесная, маленькая Европа! Одна водородная бомба, и тебя нет. Нет с твоими музеями, прекрасным искусством, твоими народами». Ольга Денисовна привыкла, узнавая что-то интересное, представлять, как будет делиться с ребятами. В такой день откладывались в сторону планы, программы. Иногда (это уже сущая крамола!) отменялась даже контрольная.

Она входит в класс, или теперь вместо класса кабинет русского

языка и литературы, и ребята, хитрецы, мгновенно угадывают — опроса не будет, учебники прячутся в стол. Ребята не знают, о чем она будет говорить. Но уж конечно не о поведении, дисциплине, успеваемости и прочих абсолютно необходимых вещах.

— Вдумайтесь, ребята! Впервые за все существование человечества собрались правители и представители стольких стран дать торжественное слово: не воюем, никогда. Вы не знаете, ребята, что такое война. Пусть будет, чтобы никогда не узнали. И слушайте... — тут она понижала голос, потому что подходила к тому, что ее особенно трогало — по натуре она была лириком и не только в искусстве и в вопросах политики искала и находила лирическое, — слушайте, ребята, это победа разума. Верные, большие слова! Победа разума. Если бы разум всегда побеждал!

— Если бы... — иронически повторил Пряничкин.

— Надо всем смеяться, Гарик, — серьезно и грустно сказала она. ...Но тут Ольга Денисовна обрывала свои мысленные речи. Ведь она не учительница больше. И первое сентября, которое уже не за горами, для нее будет обыкновенным днем, ничем не отличаясь от других...

Лето шло к концу. Племянница и ее муж, тракторист, приглашали остаться у них насовсем. «Оставайтесь, тетя Оля. Скучно там вам одной-то?»

Но Ольга Денисовна за десятилетия привыкла к своей комнате на втором этаже старинного особняка против бульваров, любила свой город, где прожила почти всю жизнь. Одной весной против ее окна в кустах защелкал соловей. Заблудился, должно быть, чудак. Городские жители, затаив дыхание, слушали соловьиные раскаты и свист. А он пощелкал вечера три и улетел. Черемуха цвела на бульваре, и тогда даже в комнату наплывал ее густой аромат. Потом тротуары и подоконники заметало сугробами тополиного пуха. Но больше всего Ольга Денисовна любила оранжевый, тихо сияющий свет осенних бульваров. И шорох листьев, когда ветер несет их вдоль дорожек и швыряет вверх золотыми фонтанами.

Она возвращалась с Волги, когда березы и клены начинали желтеть. В комнате, несмотря на зашторенное окно, мебель становилась седой от пыли, и Ольга Денисовна сразу принималась за уборку. Так бывало всегда, многие годы.

Сейчас было не так. В разгар уборки Ольга Денисовна бросила тряпку, села на диван и, сплетя пальцы, спросила отчаянным шепотом:

— Что же, что же со мной?

И в летние месяцы на Волге думалось об этом. Почти неотступно в голове стояла эта мысль, но не так остро, приглушенная расстоянием, быть может. А сейчас словно нож между ребер.

«Я сдалась, — думала Ольга Денисовна. — Слабая, другая еще поборолась бы».

Те четыре месяца перед ее уходом на пенсию повторялись в памяти день за днем, будто вчера. Может быть, она вправду больна, но болезнь болезнью, а суть в том, что он ее выживал. Она анализировала прошедшие месяцы, вела страстное следствие, припоминала каждое слово, взгляд, намек, всю сложившуюся тогда обстановку, и вывод получался один, горький и странный, — он ее выживал. Он делал это так хитро, что никто не догадывался. Многие учителя замечали ее невеселость, необычную скрытность, но не понимали: откуда? отчего?

А она, растерявшаяся, утратившая былую уверенность, самолюбиво молчала. Зачем она молчала?

Поддалась его внушениям, что пора на покой. Ее место ждуют молодые. Нет! Она не должна была соглашаться с такой постановкой вопроса. Устраивайте молодых, но не за мой счет. У нас нет безработицы. Всюду объявления: нужны, нужны работники всех специальностей, и учителя тоже. Устраивайте, а меня не трогайте. Чувствую еще силы в себе. Пожужу выходить на пенсию. Не желаю покоя. Что это такое, этот ваш покой? Зачем он мне? Не уйду на пенсию.

Так она могла бы сказать.

Что он ответил бы? Он не посмел бы ее уволить, да ему и не дали бы! Но как оставаться работать, когда за каждым твоим шагом следит недобрый пытающий взгляд, каждое твое слово ловит настороженное ухо? Слабая. И годички подошли... Она и вправду стала все что-то терять, забывать, тосковать...

Можно было попроситься в какую-нибудь школу-новостройку. Город растет, на окраинах, может быть, даже и нужда в учителях. Но при мысли о новостройке в ней поднималась темной бурей такая гневная гордость, какой она и не подозревала в себе. Из своей школы, где проработала столько лет, проситься в другую? Проситься?! Нет.

«Стоп, стоп, Ольга Денисовна! Собственно, кто вы такая, чтобы так уж вами дорожить? Хорошая учительница? Это — да, не споришь».

Но прежний директор, добрый, чуть ироничный (два года назад схоронили), говаривал: «Вы, Ольга Денисовна, хорошая учительница, да по теперешним требованиям некоторых качеств вам не хватает. Не хватает вам практической сметки — раз. Общественной жилки — два. К примеру, на учительской конференции о своем педагогическом опыте выступить. На торжественном собрании слово о задачах и о чем-нибудь таком произнести. Докладывать, показываться на глаза руководству... — Он шутливо диктовал ей программу, которой сам никогда не следовал. — Днюете и ночуете в школе, Ольга Денисовна, на школу всю себя тратите. А другое...»

Другого у Ольги Денисовны не было. Не депутат, не заслуженная. А могло бы? Могло бы, да не было.

За такими размышлениями Ольга Денисовна незаметно для себя засиживалась над брошенной тряпкой до прихода с работы соседней, и комната оставалась небранной, потому что соседка Нина Трифонова, продавщица галантерейного магазина, едва заявившись домой, уводила ее на общую кухню чаевничать, ужинать и «делиться о жизни», Ольга Денисовна давала себя уводить. Раньше все занята, занята, теперь время беречь незачем.

— Вам картошку чистить, — командовала Нина Трифонова, — а я скоренько антрекоты поджарю, Вовка голодным волчищем вернется, сей минут подавай, а то гаркнет, сердце в пятки уйдет.

Вовка, муж, пятидесяти пяти лет, электромонтер жэка, всей округе известен был услужливостью и незлобивым характером, так что «гарканье» его было чистой фантазией Нины Трифоновны. У них не было детей, все нерастраченное материнство Нина Трифонова отдавала своему седеющему, насквозь прокуренному Вовке, обихаживала, холила, поила, кормила, и жили они, как говорится, душа в душу. Раньше Ольга Денисовна не ценила рядом с собой это маленькое, тихое счастье, даже слегка пренебрежительно относилась к нему, привыкнув и любя говорить с учениками на литературном кружке о других чувствах и образах, красивых и ярких, «Незнакомке» Блока, Настасье Филипповне Достоевского, Аксинье Шолохова...

Теперь, проводя за общим ужином вечер с соседями, она грелась

возле их тепла, как путник, застигнутый ночью, греется у небольшого костерика...

Нина Трифоновна была великой охотницей посудить об удачах и бедах, горях и радостях ближних. Самой ближней была соседка по коммунальной квартире Ольга Денисовна, в судьбе которой произошел крутой поворот. Нина Трифоновна видела, учительница сникла, с каждым днем гаснет, и жалела ее.

— И что это, Ольга Денисовна, без причины голову вешаете? Не с чего вам голову вешать. На прожитие пенсии довольно? Обувка, одежда, мебелишка кое-какая есть, на пропитание в ваши годы много ли надо? Значит, довольно. Чего ж вам? Наработались, Ольга Денисовна, хватит. Не все государству да государству, для себя хоть маленько пожить.

Муж, после сытного ужина удовлетворенно пуская из папиросы колечки сизого дыма, развивал противоположную точку зрения.

— Несознательные твои взгляды, Нина, отсталые. Жизнь тогда есть полная жизнь, когда в ней содержание.

Нина изумленно шлепала себя по коленкам ладонями:

— Содержании! Это что? Цельный день за прилавком стой, это тебе содержание? Да бог с ним! Да спасибочка! Не. Я, как до пенсионных лет доживу, в тот же месяц на заслуженный отдых.

— А дальше?

— А дальше попервоначалу примусь за ремонт. Всю как есть квартиру, включая места общего пользования, своими руками подниму до зеркального блеска. Ремонт кончу, хлам разбирать. С хламом расправлюсь — то на тряпки, то чинить, то старьевщику...

— Нынче старьевщики вывелись,— спорил муж.

— Ладно, придумаю что ни то. А после обеда в киношку.

— Одна?

— А хоть и одна? А вечером тебя дожидаюсь с работы. В комнате чистенько, на столе вкусненько.

— Непередовые у тебя, Нина, взгляды.

Нина Трифоновна заливалась тоненьким смехом.

— Гляньте, Ольга Денисовна, а у самого глазки замаслились. Кто из мужиков не желает, чтобы жена полностью при нем состояла, себя не делила, его одного обихаживала?

Муж пускал из папиросы темный клуб дыма и, следя, как он растекается и тает под потолком, задумчиво говорил:

— Так нет у нее ни мужика, ни детей, никакой тетки-калеки, за кем бы ухаживать.

Нина Трифоновна смолкала, словно устыдившись чего-то. Молча убирала посуду, искоса поглядывая на учительницу. Никого у Ольги Денисовны. Ни мужа, ни детей, ни тетки-калеки.

7

Все еще не веря глазам, она без конца перечитывала путевку в дом отдыха Рабпроса (профсоюза работников просвещения) на южном побережье Крыма. Едет к морю, на юг! Она, Ольга Денисовна, учительница, не знавшая никуда дорог, кроме Волги,—милой Волги, но никуда, кроме Волги, один раз в году, в летние месяцы.

Море. Какое оно?

Ольга Денисовна лежала на верхней полке купе в жестком вагоне; вагон качало, потряхивало; Ольга Денисовна смотрела в окно на летящие мимо сиренево-желтые степи; чистенькие украинские мазан-

ки в вишневых садах; клубящиеся, как белые дымки, облака в светлом небе — знойно, южно.

На юг! В Крым! К морю!

Когда после поезда на крутом повороте автобуса у Байдарских ворот оно сверкнуло спящей голубизной, скрылось за уступом скалы, снова сверкнуло и больше не уходило, распахиваясь все шире, сияя горячее и ярче,— Ольга Денисовна замерла. Вокруг в автобусе громко восхищались: ах! ох! чудо! Ольга Денисовна молчала.

Она была одинокой учительницей и с горечью думала о себе: старая дева. Она стеснялась выражать свои чувства, даже высказывать о чем-нибудь мнение — ей представлялось, все только и думают и говорят о ней: «Вон старая дева». Она боялась грубости и насмешек, всюду подозревала насмешки и оттого жила замкнуто, сторонилась шумного общества, да никто в шумное общество ее и не звал. Постепенно в ней усиливались унылость и одиночество. Только в школе она оживлялась.

И здесь, в доме отдыха, не умела сразу себя перестроить и в первый день отправилась к морю одна. Небольшой поселок, где расположился их дом отдыха, в те годы был заселен негусто, просторный пляж был малолюднен. Ольга Денисовна убрела подальше от людей. Мелкая галька, еще прохладная после ночи, каменно шумела под ногами; море с тихим плеском набегало на берег. Не выразимое словами чувство изумления и счастья поднялось в ней. Она шла и глядела, глядела на сияющую синеву, где вспыхивали, ускользали, вновь серебрились искры солнца и света, и давно позабытый детский восторг бытия бурно пробудился в ее душе.

И тут она увидела его. Он крупными шагами шел пляжем ей навстречу, и Ольга Денисовна не смутилась, не замкнулась, как обычно с нею бывало при первых знакомствах или неожиданных встречах. Сейчас не имело значения, кто он, откуда, что подумает о ней, как на нее поглядит. Сейчас было море и волшебно вернувшееся из детства и юности, всю ее озарившее чувство свободы и счастья.

— Хорошо? — спросил он.

— Хорошо.

— Тоже впервые?

— Впервые.

— Тогда посидим.

Она засмеялась:

— Почему «тогда»?

Они сели близко у моря. Набирали горсти гальки, сыпали между пальцами, снова набирали, сгребали в кучки. И говорили. С удивлением Ольга Денисовна узнала, что Николай Сергеевич — ее земляк и даже ехал в одном с ней вагоне в соседнем купе, тоже по путевке союза Рабпроса, хотя не имеет прямого отношения к школе, а работает заведующим городской опытной ботанической станцией.

Вот и сказала общественная ограниченность Ольги Денисовны. Не слышать про городскую ботаническую станцию! А чем они там занимаются? Как чем?! Выращивают морозосуховетроустойчивые сорта декоративных растений для украшения города, сельских клубов и так далее, а кроме того, Николай Сергеевич еще специально изучает лечебные свойства трав. Возможно, это редкое в наше время занятие станет его второй профессией или даже основной, все может стать. Как много мы потеряли, забыв народное знание даров земли, таких простых! Трава? Подумаешь, мудрость. А ведь мудрость.

Так он рассуждал. Они сидели под горячим солнцем, разувшись, (он засучил до колен полотняные штаны), море тихо накатывало и ходило им ноги, а он все рассказывал о своих травах, и Ольге Дени-

совне ужасно понравилось, как он увлечен. Сколько ему может быть лет?

Потом они разговаривали о своем городе и, конечно, бульварах, обсуждали театральные гастроли, пьесу «Перед заходом солнца», которую оба видели в Москве, говорили о книгах Фейхтвангера и Эренбурга и о том, что коричневая чума фашизма — позор XX века.

Когда солнце поднялось выше и стало здорово припекать, они купались. Врозь, отгороженные выступом скалы друг от друга. И Ольга Денисовна, кинувшись в воду, долго плыла, тихонько смеялась, а внутри у нее тоненький звоночек звенел: «Море, море, море!»

Досыта наплававшись, так что слегка закружилась голова, она вышла на берег и ладонями (забыла захватить полотенце) медленно обвела голые руки, грудь, бедра и с какой-то незнакомой ликующей радостью ощутила свое молодое, сильное, гибкое тело.

Вечером они снова вдвоем ушли к морю. Но он уже не рассказывал о ботанической станции и не говорил о том, как мерно дышит море, как таинственно лиловой завесой укутались горы и даже не сказал: «Ты мне нравишься», а молча привлек и стал целовать, и она снова чувствовала пьянящую радость, которая была сильнее ее рассудка и воли.

«Что это? — думала она ночью, не смыкая глаз, бесшумно лежа на узкой кровати. — Ведь это пошлый курортный роман. Как я могла!»

Она скорчилась под простыней, стиснув зубы от стыда...

«Мой первый поцелуй... в первый же день, не узнав. На тебе... подали милостыню. Он не уважает меня, не может уважать. Завтра же наотрез».

Но утром он так просто к ней подошел позвать на пляж, что ее ночные терзания и страхи рассеялись без следа. Никогда ни с кем не было ей так молодо и радостно. А если это и есть ее счастье?

Через несколько дней он перебрался за ее стол, где, кроме Ольги, сидели еще три девицы, которые потеснились для Николая с таким шумным гостеприимством, что она вдруг почувствовала к ним неприязнь. Ко всем троим сразу. И вообще... Она оглянулась. Как много женщин! Вон та, смуглая как индианка, с раскосыми глазами и родинкой на щеке...

Но Николай сразу после завтрака увел Ольгу к морю. Три девицы отправились на пляж сами по себе.

Все дни Николай не оставлял ее, они были вместе. Иногда забрав у сестры-хозяйки дневное пропитание сухим пайком, уходили на много километров по берегу, до поздней ночи, или в горы с ночевкой в случайном туристском лагере, или в чьем-то сараюшке, или прямо под открытым небом.

— Ты моя первая, — однажды сказал Николай. И словно удивился: — Почему ты? Именно ты? — Засмеялся. — Не знаю. А здорово, что мы встретились. Да?

Он был ботаником, а любил стихи.

— Читай Блока, — иногда просил, нет, приказывал он. Вообще у него был повелительный тон. — Читай Блока.

Она знала все на свете стихи — Блока, Ахматовой, Тютчева.

— Хочешь Лонгфелло?

Если спросите — откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долин...

Утром их будило солнце.

— Два первобытных человека на прекрасной земле,— говорил Николай.

Они вдвоем входили в пустынное море.

— Ты, оказывается, замужем,— полуспрашивая, сказали Ольге соседки по комнате и столу.

— Да,— коротко ответила она.

Она не сошла с кем из соседей, ни с кем не откровенничала, и Николай справедливо заметил:

— В тебе ничего бабьего.— И похлопав по плечу:— Типичный свой парень.

Ее задело это «свой парень» и похлопыванье по плечу. Она хотела быть женственной и, как тогда, в первый день, подумала с ужасом: «Курортный роман. И ему двадцать пять. Всего двадцать пять. И он моложе своих двадцати пяти лет».

Оставались сутки до отъезда. Он молчал. Неужели не понимает, не ей же спрашивать: «Как мы будем? Что дальше?»

Ее любовь была бурной и безрасчетливой, бесстрашной и робкой. Ее любовь не требовала ничего в ответ. Никаких обязательств. Только не оставляй меня. Не уходи. Дай мне любить тебя.

«Типичный свой парень». При воспоминании об этих мимолетных брошенных словах ее душа гасла, будто сморщивалась. Впрочем, она и вправду разглядела в зеркальце несколько тоненьких ниточек у себя от глаз к вискам, пока еще не очень заметных.

А может быть, у нее будет сын? Если бы, если бы послала судьба!

Они возвращались с курорта в четырехместном купе, и попутчицы, отдыхавшие в том же доме Раброса, наперебой ухаживали за Николаем. Болтали, веселились всюду, а она держалась как бы в стороне, и ее вымученные попытки принять участие в их веселье никуда не годились.

Николай проводил ее до дома. В те годы соседками Ольги Денисовны в коммунальной квартире были две одинокие пожилые сестры — одна фармацевт, другая лаборантка в поликлинике. Обе вышли в переднюю, церемонно поздоровались.

— С приездом, курортница. И вам здравствуйте,— сказала фармацевтка Николаю.

А потом Ольга услышала разговор на кухне, громкий, может быть, намеренно для нее.

— Кавалера наша тихоня в Крыму подцепила,— говорила лаборантка.

— Они затем на курорты и ездят,— отвечала фармацевт.

Ольга легла на диван, лежала без движения.

Николай пришел через день, спокойный, с ясным взглядом, как тогда, в первую встречу у моря, и она, обессиленная, упала в его руки, прижалась всем телом. И он снова похлопывал ее по плечу и утешал:

— Потерпи немного, поживем пока так. Надо подготовить мать. Я единственный у нее, любит, ревнивая...

Здесь, дома, Ольга впервые почувствовала себя женой. Как нравилось ей хлопотать, готовить ужин, накрывать на стол, слушать его торопливые новости, накопившиеся на работе за месячный отпуск, и вдруг, внутренне ахнув от счастья, до боли обвив его шею руками, целовать, целовать. И он, захваченный ее взрывом, отвечал ей и говорил изумленно:

— Мы не виделись вечность.

А всего один день.

Утром Николай раньше ее ушел на работу, и Ольга услышала из кухни:

— Нынче вон как, приходящий муженек-то. Видно, по закону не у всякой выходит.

Теперь соседки только так и называли Николая и вечерами с бессовестным ехидством допытывались:

— Запирать дверь на крючок или ждешь своего?

Ольга отвечала раздельно:

— Не за-пи-рать.

Долго готовилась к встрече с невесткой ревнивая мать Николая. Месяц, два, три, полгода.

А город-то не очень большой. И фармацевт с лаборанткой не только на кухне обсуждали незарегистрированную связь учительницы с заведующим опытной ботанической станцией, и Ольга Денисовна ловила во взглядах педагогов и даже, казалось ей, учеников нечистое любопытство и пряталась как могла от людей.

Наконец Николай позвал ее к матери. Ольга видела, он как-то особенно внимательно посматривает на нее, как бы заново оценивая со стороны. «Нервничает, боится, понравлюсь ли матери. Что ж? Естественно. Хочет, чтобы понравилась матери». Но почему-то было не очень спокойно, и она со страхом предстала пред очи высокой худой старухи с острыми плечами и прямой, негнущейся спиной. «Очи» холодно разглядывали ее, и Ольга смешалась, не зная, как себя вести, что говорить, и рассердилась на Николая: неужели не догадывается, как ей неловко, не поможет, нечуткий! А старуха после каких-то незначащих фраз проговорила сквозь зубы:

— Я вас по карточке знаю. Там вы совсем молоденькая...

— Мама! — с укором остановил Николай.

— Что — мама? Я про то, что Ольга Денисовна...

— Зови ее Олей, мама.

— Вроде неудобно по первому знакомству без отчества, да и не девочка.

— Я говорил, мама, да, она старше. Ну и что?

— Коленька, а я говорю: кто тебе по душе, та и мне по душе.

— Bravo! Полный контакт. Оля, садись сюда, — повеселел и захоптал Николай. — Мама, я стол накрою, не беспокойся. Оля, я живо. Здорово, что наконец я тебя к нам привел.

Он выбежал на кухню, вернулся со стопкой посуды, принялся накрывать на стол, чуть не выронил тарелку, подхватил на лету, подмигнул Ольге.

— Только я по своей прямоте, если что вижу неладно, промолчать не стерплю, — медленно заговорила мать.

— Что, мама, неладно? — напряг брови сын.

— На побегушках видеть тебя мне все равно что по сердцу ножом. Он у меня холеный, — обращаясь к Ольге, тем же ровным голосом продолжала она, — сама недоем, недосплю, а ему и обед и покой.

— Что вы хотите? — резко бледнея, еле сдерживаясь, чтобы не вскочить, не убежать, спросила Ольга.

— А то, что больно скоро вы кухарничать его приспособили.

— Ма-ма! — тихо, грозно произнес Николай.

Она поглядела на него с удивлением, как бы не узнавая. Помолчала. И миролюбиво:

— Ну и ну! Уж и пошутить нельзя. Свои люди, прятаться не к чему.

Николай обрадовался, что мать пошутила, но напряженность осталась. За столом все чувствовали себя скованно. Было скучно. Ни-

колай старался, но не мог быть тем живым, простым и милым, каким его Ольга знала. Старуха молча, нехотя ела, гостью не потчевала. Потом длинно и нудно принялась рассказывать, как растила сына одна, без мужа, всю жизнь ему отдала, работала по две смены на складе приемщицей, отказывала себе во всем...

— Спасибо вам,— сказала Ольга, разом прощая ей уколы и недоброту.

Старуха вдруг как бы вся напряглась, худая, длинная, с прямой спиной и острыми плечами.

— Не для вашего «спасибо» старалась, мадамочка.

— Нет, это уж слишком! — в ярости заорал Николай.— Я тебя просил, мама, сдержи свой жестокий характер.

— Жес-то-о-кий? Вона как, сынок! Вон как, Ольга Денисовна, и не хозяйка еще, а уже клин промежду матерью и сыном вбиваешь.

— Что ты, мама? — изумился Николай.— Ольга при чем?

— При том, что все ее хитрости вижу насквозь.

— Хватит! — оборвал Николай.

Отодвинул тарелку, встал. Не спеша, без слов, с угрюмым лицом набил портфель бумагами, тетрадками, втиснул смену белья, сунул зубную щетку в карман.

— Идем, Ольга. Мама, прощай.

Дорогой молчали. Ольга видела, у него дергаются губы, ходят на скулах желваки. Когда пришли домой, сказал хмуро:

— Она такая. С этим, Оля, придется мириться. Она верно, всю свою жизнь мне отдала. А характер... Не сердись, Оля, на маму. Оценит тебя, как узнает.

Но его старая мать была из породы кремней. Не позвала, не пришла, не прислала приветов.

Через полгода началась война. Николай ушел на фронт и не вернулся.

У Ольги Денисовны не осталось от него сына. Ни дочери с ясным взором, как у отца...

8

Накануне они были у Ольги Денисовны. О том, что они к ней собираются, случайно узнала Марья Петровна. Ее урок был последним, кто-то после звонка проболтался. Марья Петровна задержала класс.

— Ребята! — Ее поленькое розовое лицо приняло выражение многозначительности.— Ребята! Напрасно вы это надумали, не советую.

— Почему, Марья Петровна?

— Вы молоды, вам не понять... перемена жизни. Лишние переживания... Не стоит волновать. Не советую.

— Что-то тут не так,— вызывающе громко сказала Ульяна Оленина.

Марье Петровне казалось, в этой девчонке жило бунтарство. Темно-серые продолговатые глаза, черные летящие брови, твердая линия алого рта — все в ее внешности было броско, обращало внимание. Эта девчонка нарочно делает все наперекор общепринятому. Даже ее две толстые косы, завивающиеся локонами почти у пояса, казались Марье Петровне наперекор. Другие девочки носят волосы распущенными по спине и плечам, как нынче принято, а у этой — косы, дивитесь. Она перекинула одну на грудь и накручивала локон на палец.

— Мы хотим разобраться, и если там неладно...

— Ульяна Оленина,— перебила Марья Петровна,— помни, кто твой отец, не забывай о его положении.

Отец Ульяны Олениной, фрезеровщик на самом крупном в городе электромеханическом заводе, депутат Верховного Совета РСФСР, если бывал недоволен чем-то в поведении дочери, говорил:

— Помни, чье имя носишь.

...Когда ожидали первого ребенка, отец мечтал о сыне. Заранее и имя было облюбвано сыну — Олег, в честь Олега Кошевого. Отец любил еще не родившегося сына, гордился им. Для него перечитывал, почти назубок знал «Молодую гвардию», самую необыкновенную из прочитанных книг, от которой сердце гудело набатом.

Он так твердо уверился в рождении сына, что когда на свет явилась красненькая, сморщенная, писклявая девчонка, ужасно расстроился, несколько дней и глядеть на дочь не хотел.

Потом они с матерью долго решали, как ее назвать: Любкой Шевцовой или Ульяной. Любок, правда не Шевцовых, в городе было порядочно, Ульян не встречалось. Будет одна. И стала в доме расти дочь Ульяна.

Иные соседи во дворе удивлялись: выкопали имечко. А отец в подходящих случаях ей говорил:

— Помни, чье имя носишь. Тебе зазря его дали?

— Не зря,— поправляла мать (она была библиотечаршей и постоянно поправляла отца).— Не зря. И вообще, Ульяна, брось бузотерить.

— Бузотерить, это что? Бороться за справедливость — бузотерить, по-твоему?

Мать Ульяны — человек, может быть, лишку осторожный, более всего опасалась критической болтовни, на которую современные ребята так падки. Фронтеры! Наболтают по глупости лишнего, а виноваты отцы. Им, деткам, что! Они несовершеннолетние, их недовоспитали, за них семья да школа в ответе. Чепуха! И не детки уже, до паспорта недалеко, соображать давным-давно научиться пора бы.

Такие истины осторожная Ульянина мать частенько ей проповедовала, на что Ульяна обычно насмешливой скороговоркой отвечала:

— Мамочка! Учусь, учусь соображать!

Отец не донимал ее наставлениями. Он вел разговоры всерьез.

— О справедливости спрашиваешь? Скажу. Твое имя Ульяна. Примеривайся, как поступила бы Она в наши мирные дни.

— В наши мирные дни сложных ситуаций не бывает?

— Случаются.

— Тогда как?

— А голова и сердце зачем у тебя?

Таким был отец. Ульяна не знала, какой он на работе, с посторонними людьми, рабочими и начальством. Дома он был молодцом. Маму Ульяна тоже любила, но ее осторожность и благоразумные речи вызывали в ней желание сопротивляться и спорить. Если бы не отец, спорам не было бы конца. Отец в некоторых отношениях был строг, даже суров, слово его было законом:

— Матери не прекословить.

Ульяна старалась не прекословить.

— Значит, папа, будем действовать, как стала бы Она. А ты даже не спросишь, в чем дело.

— Захочешь, сама скажешь.

— Скажу. Только после. Когда разберемся.

Итак, после уроков, забежав на полчаса домой пообедать, ученики девятого «а» (больше девочки) отправились к Ольге Денисовне. Возглавлять депутацию должна была староста класса Мила Голубкина, но в последний момент отказалась.

— Если бы официально, учителя бы попросили, а так от себя..
Я староста все-таки...

Ульяна махнула рукой:

— Иди, зубрила, зубри.

— И уйду, если меня оскорбляют.

И ушла. Зашагала, неся в правой руке туго набитый портфель, размахивая левой, как солдат, что говорило о твердом и энергичном характере старосты класса.

— Я не с ней. Сам по себе.— И Пряничкин тоже ушел.

— Примерная и отрицатель сомкнулись. Единый фронт! — крикнула Ульяна вдогонку.

— У тебя жутко выразительные глаза, когда сердисься. Чаше сердись,— сказал Женька.

— Испытанный остряк девятого «а», хоть бы раз сочинил остроумное,— отрезала Ульяна.

Она разбушевалась сегодня. Или нервничала перед встречей с Ольгой Денисовной.

— Ребята! Девочки! Не хныкать. Не жалеть.

Хныкать и жалеть не пришлось: они не застали Ольгу Денисовну дома.

Дверь отворила соседка с компрессом на раздутой щеке — и вот чудеса-то! — девочки узнали продавщицу галантерейного отдела универмага Нину Трифо́новну.

— Здравствуй! Здравствуй! — затрещали девочки.— Оказывается, и вы тут живете.

Они с любопытством разглядывали заставленную шкафами темную прихожую коммунальной квартиры, высокие двери и лепку на закопченном потолке старинного дома.

— Нина Трифо́новна, а капроновые чулки в сетку к вам скоро поступят? — осмелела одна.

— А польские сумочки? — подхватила другая.

— А...

«Ну и нахалки! В дом к больному врываются, цельную ночь от флюса глаз не сомкнула, а они про чулки, не терпится. Вы за кого меня принимаете? Что я — спекулянтка, домой товары таскать?»

Но Нина Трифо́новна не успела выпустить на нахальных девчонок пулеметную очередь, Ульяна опередила ее, вежливо объяснив, из какой они школы и что их сюда привело. И Нина Трифо́новна оставила в стороне чулки и польские сумочки и обрушилась на нахальных девчонок по другому уже поводу.

— Заявились! Где ваша совесть? Нет Ольги Денисовны, нет и не будет. Кто из школы придет, велела сказывать всем, что уехала. Видеть никого не желает. Опостытели вы ей. Ни жалости к человеку, ни уважения. Э-эх вы! А еще ученики.

К ее удивлению, ученики не стали защищаться, переглянулись, помялись, а одна, с темно-серыми, как-то особо приметными глазами под черными шнурами бровей, видно, заводила у них, вежливо сказала:

— Мы поняли. Пожалуйста, передайте Ольге Денисовне привет от девятого «а». Пока. Ребята, пошли.

Ребята, вернее девчата (из ребят в этой компании был один Женька Петухов, за которым давно замечено, что он от Ульяны ни на шаг), хором повторили:

— Пока! — И ушли.

— А-ах! — ахнула вслед им Нина Трифо́новна.— Вот так бездушные! Какую себе смену растим, ай-ай, Ольга Денисовна, кого воспитали! Каменные. Так и скажу, бессердечных, Ольга Денисовна, вырази-

ли.— Так и решила, но **тотчас передумала**: — Нет, навру, что, мол, плачут, жалеют. Для утешения навру.

Между тем девятиклассницы плюс Женя Петухов довольно долго прохаживались по бульварам, всесторонне обсуждая происшедшее, и единогласно пришли к заключению: Ольгу Денисовну вытурили.

Вытурили. Открытие произвело на всех удручающее впечатление. Обсуждение прервалось, прохаживались молча.

— Ребята! «Честное комсомольское» помните? — спустя какое-то время спросила Ульяна Оленина.

Повесть «Честное комсомольское» они читали и обсуждали на литературном кружке, не подозревая, как скоро совпадут судьбы героя книги — учителя и реально существующей рядом с ними Ольги Денисовны. Тот был тоже хорошим учителем, того тоже вытурили, но там было к чему прицепиться — учитель глухой. А наша Ольга Денисовна? Нашу за что?

— Что будем делать?

— Действовать, — лаконично решила Ульяна.

— Точно по книге? — спросил Женька Петухов. И сам ответил: — Точно. Чем докажем воздействие книги на жизнь.

— В общем, будем действовать так, но с учетом индивидуальной обстановки, — как всегда разумно сказала Ульяна.

— А на ее место кого подсунули? Утю, а? — возмутился Женька.

— Положим, на Утю нападать пока не за что, — снова рассудила Ульяна. — А вот наша Королева Марго...

С этого и началось на уроке. Маргарита Константиновна вошла сдержанная, деловитая. Она умела иногда напустить на себя такую деловитость — не подступись! Девчонки **вмиг оценили** новый туалет — последний крик моды: **расклешенная полудлинная юбка**, синий джемперок и мечта всех учениц **от седьмого до десятого класса** — тонюсенькая серебряная цепочка на шее.

Встали:

— Здравствуйте.

Опустились. Женька Петухов **остался стоять**.

— Что ты, Женя?

— Вы нам Горького советовали **перечитать**, «В людях», то место, где о королеве Марго...

Женька охрип, споткнулся. Легкое удивление отразилось на лице Маргариты Константиновны. Женька продолжал хриповатым басом:

— Там королева Марго благородная, а некоторые, которых придумал не Горький...

Яростная краска хлынула на лицо и шею учительницы, она молчала, не совсем еще понимая, но подозревая **что-то дурное**.

— Там королева Марго человек! — **взвизгнул** дискантом Женя.

Несколько секунд была тишина. Маргарита Константиновна искала ответа. Все ждали.

— Не люблю околичностей. **Говорите прямо**, — наконец нашлась она.

— Правду-матку? — спросил Женя.

— Только.

Встала Ульяна, бледная, и громко, отчетливо произнесла такие слова:

— Вы, учителя, читаете нам лекции на разные высокие темы. Долг... честь... дружба. А вы, учителя, сами-то умеете дружить?

— Кто как, — ответила Королева Марго.

— Вы? — в упор спросила Ульяна.

— По-моему, да.

— Нам казалось, вы с Ольгой Денисовной вроде дружили.

— А! — начала понимать Маргарита Константиновна. — А-а,— протянула она и хотела что-то сказать, напрямик поделиться с ребятами, но тут произошло нечто невероятное!

— Вы ее предали,— услышала Маргарита Константиновна. И обмерла. Растерялась. Так растерялась, что не сумела с собой совладать.

— Врете! Клеветчете. Клеветники!

Она настолько не сумела с собой совладать, что стукнула кулаком по столу.

— Не стучите на нас! — крикнул Женька и стукнул сам.

А за ним — ужас, ужас! — весь класс заколотил кулаками, а учительница, стиснув ладонями щеки, глядела на них отчаянным взглядом. И надо же было случиться, что в это самое время вошел Виктор Иванович. Просто нюх ищейки у этого человека: чуть где скандал, он тут как тут. Кулаки смолкли. Внезапность появления директора смутила и отрезвила ребят. Он стоял у двери, широкоплечий и хмурый.

— Что у вас происходит?

Учительница отняла ладони от щек, отвела челку (ребята знали привычку Королевы Марго отводить челку на стороны, когда почему-либо ей приходилось туго).

— Что у вас происходит?

— Урок.

— Шутить изволите,— замораживая ее ледяным взглядом и тоном, промолвил директор.

— Видите ли, я хочу дать им понятие о том, что такое хаос, чтобы затем яснее объяснить, что такое порядок. Математика есть система и порядок.

Она несла явную несуразицу, но никто не фыркнул, напротив, всем стало страшнее.

— После звонка придете ко мне в кабинет,— приказал директор и, круто повернувшись, ушел.

Когда дверь за ним затворилась, учительница сказала:

— Я беру на себя узнать все о случившемся с Ольгой Денисовной, и вы убедитесь, что учителя тоже умеют дружить.

Она была оскорблена. В чем они ее заподозрили? Посмели! Юнцы! Вы умеете быть жестокими и несправедливыми, юнцы.

Она так разволновалась, что не могла вести урок. Надо обдумать, что произошло. Маргарите Константиновне казалось, между нею и ребятами царит полное доверие. И вдруг... заподозрить, что она предала Ольгу Денисовну! В чем? Она толком и не знает даже, что с Ольгой Денисовной. Ушла на пенсию. Правда, скоропалительно уж очень, неожиданно для всех. «Неожиданно, но когда случилось, ты, Королева Марго, всполошилась? Побежала разузнавать: что? как? почему? Выходит, правы твои девятиклассники. Чего же ты оскорбилась?»

Но все же вести урок сейчас она не могла.

— Я беру на себя узнать, что произошло,— повторила она.— Условие — вы не вмешиваетесь. А теперь откройте учебник на странице... и решайте самостоятельно.

Она отошла к окну, стала к классу спиной. За окном на школьном дворе оранжевыми кострами пылали осенние клены.

Блоковские часы Ольга Денисовна любила особенно. Она готовилась к ним с тем праздничным чувством, с каким в студенческие московские годы ходила в театр. В театре она жила, может быть, более реальной и, конечно, более полной и значительной жизнью, чем в дей-

ствительности. Любовь, ревность, гордость, грусть, восторг — все, чем поведуют артисты. Она не называла этих чародеев актерами. Артисты! Как возвышен их дар, какой могучей властью над человеческими сердцами они наделены!..

...Блоковские часы. А пушкинские, лермонтовские?.. Да что! Она любила все в школе. Вот входит в класс вся в предчувствии чего-то единственного. Им, своим сегодняшним ученикам, она открывает Блока впервые. Всегда впервые. И сама вместе с ними всякий раз переживает как бы первую встречу.

В портфеле изрядно потрепанная книга, «Сочинения Александра Блока», в бумажной синей обложке с изящным белым орнаментом. Не спеша, торжественно вынимает синюю книгу, память студенческих лет.

О весна, без конца и без края...

Последнее время директор Виктор Иванович, постоянно ею довольный, ставил Ольге Денисовне в вину, что она редко пользуется пластинками с записью выдающихся чтецов вроде Журавлева и прочих.

— Читаете сама? А для чего у нас кабинеты, оборудованные по последнему слову методики?

Ольга Денисовна не спорила. Зачем? Все равно не поймет, для чего ей надо читать Блока самой и при этом глядеть им в глаза.

А озеру — красавице — ей нужно,
Чтоб я, никем не видимый, запел
Высокий гимн о том, как ясны зори,
Как стройны сосны, как вольна душа.

Она часто читала им стихи, не входящие в программу. Прочтет и не объясняет. Поймут ли? Возможно, не все. Но что-то останется. Музыка слов. «Приближается звук. И покорна щемящему звуку, молодеет душа». Может быть, в них разбудится что-то, без чего жизнь была бы пуста и бедна. Батюшки мои! Если бы инспектор Надежда Романовна подслушала ее мысли и чтение не предусмотренных программой стихов!

— Вам задано было, друзья, выучить на выбор два стихотворения Блока. Скажи ты.

Встает девочка. Эдакая чернявая замухрышка на тонких, как палочки, ногах. Секунда молчания.

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.

Снова молчание. Ольга Денисовна не сразу его прерывает. Эту девочку про себя она называла «серединкой», что значит неоригинальна, обыденна.

— Почему ты выбрала именно эти стихи?

— Иногда хочется читать грустное.

Ольга Денисовна подходит, молча гладит курчавую потупленную голову. Она-то, учительница! Считала эту грустную чернушку обыденной!

— А ты, Елена Прекрасная, что прочитаешь?

Обыкновенно прозвища даются учителям. Здесь наоборот, Ольга Денисовна сочиняет им прозвища. Кого только нет в ее классах! Корольевич Елисей и Василиса Премудрая. Кошка, которая ходит сама по себе. Рассеянный с улицы Бассейной.

— А ты, слабый пол, что голову в плечи втянул, как черепаха? Давай-ка читай.

Встает парень, довольно-таки нескладный верзила, мнется, бормочет стихотворение.

— Что тебя тронуло в нем?

— Н-не знаю.

— Садись. Я на тебя и смотреть-то не хочу,— притворно, а может быть и не притворно, сердито отворачивается Ольга Денисовна.— Кто-нибудь выучил более двух заданных стихов?

Поднимаются руки. Одна, две, три... Вот это радость, плата за труд. Ульяна Оленина знает наизусть весь «Соловьиный сад».

.
Я забытое что-то ловлю
И любить начинаю томленью,
Недоступность ограды люблю.

Позвольте! Откуда взялась Ульяна Оленина? Блок — это десятый класс. Ульяне Олениной еще год до десятого.

И Ольга Денисовна никогда не придет к ним с потрепанным томом в синей бумажной обложке.

Проклятый склероз! У нее уже путается память, мешаются ученики, давние и недавние, и даже Блок понемногу отходит в туманную даль. Сейчас ее волнует не Блок, а другое.

Поверить нельзя, как изменилась ее жизнь! А главное — сама она за такой короткий срок, ничтожно короткий, стала совсем другой. Посторонний, может быть, еще не заметит, но она-то знает, стыдится в себе перемены и не может ничего поделать.

Утром сегодня вышла из дому едва не в слезах. Соседка Ина Трифоновна объявила, что скоро получают квартиру, однокомнатную, зато кухня большая, что твоя зала! И прихожая вместительная, одежный шкаф стеной. И санузел раздельный.

— Ольга Денисовна, родная ты наша, привалило нам с Вовкой! Поверить боюсь. Вовка божится, не нынче-завтра дают ордер.

Она ликовала, а Ольге Денисовне железным обручем зажало грудь, слова вымолвить не могла, с трудом заставила себя улыбнуться.

— Ваша дружба! Грош цена вашей дружбе, чужие, все чужие! — бормотала, шагая желтыми бульварами.

В мыслях она уже начинала приспособляться к их жизни свою. Сочиняла идеалы, как станет помогать им по хозяйству, они оценят, она им будет нужна. Жаль, нет ребенка, заделалась бы бабушкой. Она сочиняла что-то в облегчение своей одинокости, старалась вымыслами немного утешить себя.

Так нет, даже это вымышленное утешенье ускользает от нее! Она судила себя: «Эгоистка, радоваться бы удаче соседей, а я хнычу». Судила себя, а все равно обижалась.

Все время на кого-то обижалась. Или вспоминала прежние обиды. «Не стыдно ли Марье Петровне выживать меня из школы в угоду директору и Надежде Романовне? Думаете, не знаю, кто на меня наговаривал? И не по программе учу, и распустила ребят, панибратствуют, и то, и сё. Эх, Марья Петровна, вас не очень-то любят ребята, вот что я вам доложу».

Но ведь были в коллективе люди, кто встал бы горой на ее защиту, если бы она обмолвилась хоть словечком о том, что происходит. Что директор ее выживает на пенсию. Грозит и улещивает, взывает к совести (да, к совести: «Мы заедаем век молодым»), рисует картины ее будущего пенсионного спокойного и содержательного существования. Представьте! Городской учительский клуб, там вся культура: кино, лекции, цветной телевизор. Да что! Москва рядом. Насмотришься, наслушаешься, чего за всю жизнь не видала, не слышала. Иностранцы

туристы приезжают наши музеи и театры смотреть. И ты по всей стране поезжай. Так она себя убеждала. Иногда уверяла себя, что все так и есть. Логично. Директор хочет ей добра. Ей, и школе, и обществу.

Но постепенно начала замечать, что он все наедине ее убеждает, чтобы посторонние уши не слышали. Нет. Он просто-напросто хочет от нее отделаться.

А ты гордыня, Ольга Денисовна, самолюбие тебя съедает, стыдишься того, в чем для тебя стыда нет.

И уж если по правде открыто признаться: слабая ты.

Устав от ходьбы, Ольга Денисовна садилась на скамью. Горькое лицо, лоб изрезан морщинами, углы рта опущены — она будто видела себя со стороны, свою неприкаемую, жалкую старость. «Так жить нельзя! Какими-то маленькими мыслишками набита голова. Не смей! Учитесь властвовать собой, Ольга Денисовна».

Группка девушек с веселой болтовней проходила мимо скамьи. — Каждый день звонит, — щебетала одна. — Как вечер, так и звонит.

— А ты?

— Когда подойду. А то сестренку подошло соврать что-нибудь. Смехота!

— А он?

— Переживает! Умора!

«Нарядные! — думала Ольга Денисовна. — Пестрые, яркие. Бусы, клипсы, туфли на платформах; правда, уродство, зато модно. А я? Не теперешняя я, а давняя, в молодые годы. Где мои новые платья и модные туфли? Я за новое платье в милицию угодила».

Что-то в этом роде случилось давно, за несколько лет до войны. Пора бы забыть, почти и забылось, а теперь всплыло в памяти.

В ближнем магазине ширпотреба продавалась мануфактура по восемь метров на человека. Женщины в обшарпанных юбочках, скучных серых платках выстраивались в очередь на ночь. Переписывались, проверяли по списку, кто за кем стоит, знакомились, спорили, ссорились, мирились, а за полчаса до открытия магазина, когда у входа появлялся блюститель порядка — милиционер, разбегались прятаться в подворотнях, чтобы ровно в девять выстроиться в заученную наизусть очередь и, обхватив друг дружку за пояс, вступить в магазин как в святилище.

Смолоду, бывало, накатит на Ольгу Денисовну бесшабашная смелость, озорной протест против нехваток, нужды, стоптанных туфель, милиционера, от которого женщины шарахаются, будто в чем-то виновны, а он вышагивает индюк индюком, власть имущий индюк.

Что это в самом деле! Есть закон, что до открытия магазина нельзя стать в очередь? Где такой закон? Покажите. Она пришла за пятнадцать минут до открытия магазина и, к изумлению милиционера и прячущихся женщин, стала у запертого входа.

Разумеется, милиционер не мог стерпеть такое самовольство. Произошло объяснение. В результате Ольга Денисовна очутилась в милиции, обвиняемая в нарушении общественного порядка на улице, оскорблении милиционера при исполнении служебных обязанностей, в чем-то еще и еще. По счастью, начальник милиции оказался отцом одной ее ученицы...

История эта встала перед глазами, будто случилась вчера. Зачем ворошить давнее прошлое, страдать от бессилия, унижения, бедности, скажите, зачем? Однако Ольга Денисовна, теперешняя, хорошо одетая, шагая взад и вперед по бульварам, ворошила и недавнее и давнее, и рот кривила печальная, больная усмешка.

Усталая, она поздно вернулась домой. От чая и ужина у соседней отказалась. Ее раздражали их непрерывные разговоры о новой квартире. Она вся была погружена в себя, свои горести, чужое благополучие раздражало ее.

Посидела на диване. Впереди длинный вечер. И еще более длинная ночь. Когда она работала и без конца была занята, мечталось: почитать бы как-нибудь вволю, перечитать Достоевского. Теперь читай вволю, а не читается.

Она подошла к книжной полке, туго заставленной книгами. Наугад взяла одну. Вынула «Божественная комедия» Данте.

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу.

Поставила книгу на место. Прислонилась лбом к полке. Закрывает глаза.

Я очутилась в сумрачном лесу.

10

Центральная городская поликлиника помещалась в старом больничном здании прошлого века. Толстые стены основательной кладки, высокие сводчатые окна, подоконники едва не по метру шириной, какие-то допотопные шкафчики для лекарств, что-то вроде стойки, отгороженной резными перильцами, над которыми высилась голова пожилой регистраторши в белой шапочке, — все выдавало внешнюю старомодность центральной поликлиники. Правда, были заметны усилия хоть немного осовременить престарелое здание — портреты выдающихся деятелей партии и медицинской науки, плакаты и лозунги, призывающие население к охране здоровья, несколько цветочных горшков и стенная газета под заглавием «Советский медик» говорили о дне сегодняшнем.

Поскольку Ольга Денисовна жила в центре, у бульваров, естественно, сюда, в центральную поликлинику, и пришла.

Она не отдавала отчета, почему нынешним утром чувствовала себя бодрее и энергичнее обычного, почти как прежде. С удовольствием оделась, тщательно отгладив серый костюм и шарфик к нему цвета морской волны — по определению продавщицы галантерейного магазина Нины Трифоновны, хотя Ольга-то Денисовна знает, как разны бывают волны: вздыбленные, черные, грозные или небесно-лазурные, набегающие плавно на берег, перекатывая с тихим шуршанием гальку.

Ольга Денисовна заняла место против врачебного кабинета, на двери которого небольшая табличка под стеклом сообщала инициалы и фамилию невропатолога: И. П. Новосельцев. Фамилия показалась смутно знакомой. Впрочем, сколько фамилий, имен, лиц знает, помнит, полупомнит учительница за годы педагогической работы!

Тут она вдруг поняла, почему сегодня встала с постели не разбитой и вялой, а внутренне собранной, готовой действовать. А и действия-то: сходить к врачу всего-навсего. Малость, но все же занятие. Да, ей нужно занятие. И не какое-нибудь, а то дорогое ей дело, без которого нет жизни. Если бы не старость!

Она не чувствует старости. Если бы не склероз... Сегодня Ольга Денисовна проснулась с твердым намерением лечиться и вылечиться. А там поглядим. Сегодня она приняла решение: не хочу жить жалкой, ненужной. Если это болезнь, надо лечиться и вылечиться.

Врач что-то писал за столом. Не подняв головы, жестом пригласил ее сесть, продолжая писать, так что она имела время как следует его разглядеть. Чуть неприятно задел Ольгу Денисовну его пышущий здо-

ровьем вид, смуглый румянец на загорелых щеках с пушистыми бачками, яркий галстук под безупречно белым, туго накрахмаленным халатом. Пожалуй, он был слишком цветущ и красив, этот доктор, чтобы понять ее душевное смятение и обиды. Вот и сейчас она с обидой подумала, что он чересчур долго пишет, и даже мелькнула мысль: не уйти ли? Но он как раз кончил писать и, оторвавшись от журнала для докторских записей, весело полуспросил:

— Итак, Ольга Денисовна?

Прочитал в карточке ее имя, обращается по имени — вежливый доктор, уже хорошо.

— Профессия — педагог, — вполголоса проговорил он, пробегая ее карточку, и продолжал: — У меня впервые. Итак, на что жалуетесь? Впрочем, заранее знаю. Бессонница. Раздражительность. Вялость. Иногда подавленность духа...

— Всегда, — сказала она.

— Есть причины? — спросил доктор, с живым любопытством глядя на нее.

Нет, он слишком здоров, психически благополучен, чтобы разделить или хотя бы понять, как глубоко подавлен ее дух! Он взял молоточек, незнакомый Ольге Денисовне, потому что за всю свою жизнь она впервые встречалась с невропатологом.

— Пожалуйста, положите ногу на ногу. Так. Ничего, ничего, — негромко произнес он, когда от неожиданного удара молоточком по колену нога чуть подпрыгнула.

— Что за странные методы у вас! — рассердилась Ольга Денисовна.

— Судя по тому, что наши странные методы, — он повторил за ней устаревшее ударение в слове, — наши методы вам неизвестны, вы долго держались молодцом. Думаю, — продолжал он, щуя веселые глаза, — и сейчас ничего чрезвычайного. Нервишки немного расшатались, а у кого они не расшатаны? Но ничего чрезвычайного. Вы не называли причины, — осторожно напомнил он.

— Причины чего?

— Некоторой вашей раздражительности, дурного настроения, которое не в вашем характере, ведь да? Ведь вообще-то вы любите жизнь, дурное настроение не совсем обычно для вас?

— Дело не в настроениях, а в моей болезни, — сухо возразила она.

Нет, этот доктор слишком благополучен для нее. И уж конечно, она не будет посвящать его в свои обстоятельства. Но если ты доктор — лечи.

— Я очень больна, — равнодушно заговорила она, чувствуя: ничего из визита в кабинет жизнерадостного невропатолога не получится, никто ей не поможет, она на всем свете одна. Кто виноват? Неужели она сама виновата, что на всем свете одна? И не хочет никого. В том и есть ее тяжелая болезнь, что она одна и не хочет никого.

— Расскажите подробнее о себе, — попросил доктор, становясь серьезнее, внимательно вглядываясь в ее лицо с опущенными углами рта и веерочками морщин у глаз.

— У меня очень сильный склероз, мешает жить, не дает жить, гонит из жизни...

Голос Ольги Денисовны дрогнул, она закусила губу, чтобы удержать плач. Нет уж, пускаться в откровенности с молодым красивым мужчиной в докторском халате она не будет.

— Склероз, — повторила Ольга Денисовна, подавив плач.

— Кто вам внушил это? — участливо спросил доктор, беря ее руку. — Гм, пульс нормальный. Впрочем, дело не в пульсе. Итак, вы гово-

рите, склероз. Возможно. Даже вполне вероятно. Но вы говорите, сильный склероз. В чем он проявляется?

— Забываю. Не помню. Теряюсь...

Он придвинулся ближе и все внимательнее и участливей глядел на нее и начинал больше нравиться ей, и его пушистые бачки на загорелых щеках и яркий галстук уже не казались ей легкомысленными. Добрый, проникательный доктор.

— Не помните. А скажите, Ольга Денисовна, где вы были вчера? Что делали? С кем встречались? Расскажите весь свой вчерашний день.

— Да ничего особенного. Обыкновеннейший день.

— Вот и расскажите свой вчерашний обыкновеннейший день.

Она пожала плечами, снисходительно усмехнулась его наивному любопытству, не имеющему, как ей казалось, отношения к ее болезни.

— Ну, встала. Выпила чаю. Пошла на бульвары.

— Вспоминайте, вспоминайте, — подбадривал он.

Ольге Денисовне самой захотелось проверить себя, помнит ли она обыкновенное, вчерашнее. Если бы ее спросили о том, как когда-то давно ее потрясла синева, распахнувшаяся перед глазами на крутом повороте горной дороги, как потом она вышла на пустынный пляж и задохнулась от счастья, как они встретились и сидели босые у самого моря, а волны, накатывая, охладили им ноги...

...Когда пришло известие о гибели Николая, Ольга Денисовна не окаменела, как некоторые жены и матери, убитые похоронкой. Плакала. Дни и ночи... Дни и ночи переживала каждый час, каждый миг своего недолгого счастья...

Море. Бухта, охваченная полукольцом острых, причудливо очерченных гор с крутыми скалистыми склонами. Они бредут морем вдоль берега. И видят над горой против заката бледно-сиреневое небо. Молодая, но уже полная, медно-желтая луна невысоко поднялась над голубым морем.

— Смотри, — говорит он, — дорожка-то не серебряная, а золотая.

И верно, дорожка от луны золотая, сиреневое небо над горой все нежнее, а голубизна моря не дневная, неяркая, чуть приглушенная. Затем краски неуловимо быстро меняются. Лунная дорожка становится, как ей положено, серебристой; небо и море темнеют...

Он не объяснялся ей в любви. Только на прощанье сказал:

— Жди. И знай...

Что — знай? Она поняла. Она понимала его слова, полуслова и молчание.

Но почему-то тогда, в первые месяцы, вспоминала больше, чем счастье, свои вины перед ним. Ведь было счастье! А она вспоминала...

Зачем она допустила его разрыв с матерью? Он страдал. Навещал мать и возвращался подавленный. А она старалась развлечь его, развеселить. Ни разу не сказала: «Давай я схожу к ней. Упрошу. Умолю. Ведь вижу, ты мучаешься. Смирись перед ней для тебя».

Думала: «Смирюсь для тебя».

А все тянула, откладывала. Не успела.

...Что же было вчера? Доктор так заинтересованно ожидал услышать, что Ольга Денисовна разохотилась и стала рассказывать с воодушевлением, молодившим и поднимавшим ее. Да, это вчера ей вдруг живо представился ее бывалый блоковский урок, она наслаждалась, припоминая стихи, и чувство праздника на душе, и отклик ребят. Она не думала об отметках и успеваемости класса в такие часы, и ребята не думали. Директор Виктор Иванович осудил бы, но бог с ним, что ему Блок, у него другие заботы.

Да, вот так она и бродила вчера из конца в конец бульваров, часа три-четыре бродила. Пали желтые листья... Она устала, села на скамью. Мимо с беспечной болтовней пробежала группка нарядных девчат, а ей представилась своя собственная молодость. У нее не было в молодости нарядных платьев. Теперешние девушки думают, что магазины всегда были полны товаров и у нас, как у них, нынешних, водились на все сезоны разные сапожки и туфли, на весну одна пара, на осень другая. У меня на все сезоны была одна пара, вот так...

Ольга Денисовна все это рассказывала доктору. И о том рассказала, как вечером открыла Данте.

В общем, она довольно долго рассказывала, вчерашний день оказался большим. Доктор слушал не торопя, не перебивая.

— У вас святая профессия, — тронутая его вниманием, сказала Ольга Денисовна, — святая и вечная. Не отомрет, пока человечество живо.

— Подведем итоги, Ольга Денисовна, — выслушав ее рассказ, заключил он, в раздумье постукивая шариковой ручкой по ее карточке, где надлежало ему записать диагноз и назначение. — Склероз ваш — чистейшая выдумка. Для вашего возраста у вас завидно четкая память, ясность логики и суждений. Я и старой вас не назвал бы. И вы себе не внушайте, пожалуйста. Из головы выкиньте. С вашим склерозом еще четверть века жить да жить, да работать. Вы где работаете?

«Я... на пенсии», — хотела она сказать. А сказала:

— Безработная.

— Что-о? — удивился он. — В наше время? Что-то не слышал я о безработице. Скорее напротив, всюду требуются люди всевозможных профессий. Знайте, Ольга Денисовна, склероз боится труда. Если бы и был он у вас — небольшой, естественный для ваших лет, наверное, есть, — но если и есть, знайте: склероз боится труда и углубляется от бездействия. Верное лекарство от всяких склерозов — работа, деятельность, конечно не против воли, любимая. Почему вы безработная, Ольга Денисовна?

Этого она не захотела ему объяснять. Почему-то не захотела, хотя в конце концов расположилась к доктору.

Валериановый корень, таблетка элениума на ночь и... деятельность — такое назначение он ей предписал.

Она и без него знала: школа — ее лекарство. Но о школе она не обмолвилась. Может быть, придет к нему как-нибудь после. Он совестливый и умный доктор. Может быть, они что-нибудь вместе придумают.

Осень. Что это шуршит? Это листья шуршат. На бульварах в утренний час малоллюдно, почти пусто и тихо, оттого слышнее под ногами сухой грустный шорох. Ветви еще не голы, но листва поредела, бледное небо ясно глядит сквозь поредевшие листья...

— А у вас снова были, — встретила Нина Трифоновна. — Учительница приходила. Модная. С головы до сапожек что твоя киноактриса. И ребята были.

«Милая Ольга Денисовна, зачем вы нас избегаете, ведь вы намеренно прячетесь. Мы вас любим, скучаем. Не скрывайтесь от нас. Девятый «а», — прочитала Ольга Денисовна в записке, сунутой под дверь.

Вошла в комнату, села на диван, не снимая светлого пальто, в котором похожа была на спортсменку, бывшую звезду баскетбола или кого-нибудь в этом роде. Перечитала записку, покачала головой, грустно припомнила:

Сначала все к нему езжали;
 Но так как с заднего крыльца
 Обыкновенно подавали
 Ему донского жеребца,
 Лишь только вдоль большой дороги
 Заслышит их домашни дроги,—
 Постуцком оскорбясь таким,
 Все дружбу прекратили с ним.

Длинный звонок.

— Кто? — услышала Ольга Денисовна соседку, открывавшую в передней входную дверь.

И знакомый голос:

— Это я снова. Пустите. Я знаю, она дома. Не прячьте ее, не думайте, что ей на пользу, что вы ее прячете.

В комнату вошла Королева Марго.

11

Артем был бы вполне доволен работой и жизнью, если бы не одно обстоятельство, уязвлявшее его самолюбие, тормозившее профессиональный рост. Ему не давали расти. Да! Не давали расти. Если так будет продолжаться и дальше, какое будущее его ожидает? Разве что вконец подуреть? Годы без никаких впечатлений и встреч с новыми людьми хоть кого одурят. Правда, он работает всего второй год, но и за год можно бы себя проявить, если бы редактор не тормозил. Удивительнее всего, что редактор принял Артема на работу без всяких протекций. Ничего похожего на блаат и близко не было. Даже рекомендации не спросили.

Редактор посмотрел зачетную книжку студента второго курса пединститута.

— Учишься. Отметки хорошие. Гм. Пер-спек-тивно. (У него, как после Артем заметит, привычка произносить нараспев через каждую фразу: «Гм. Пер-спек-тивно».) А как совмещать будешь учебу с газетой?

Артем объяснил, что перейдет на вечернее отделение, что его влечет газетная работа, что он хочет самостоятельной жизни, испробовать силы.

И редактор распорядился зачислить Артема сотрудником по письмам в своей газете, благо должность оказалась вакантной. Но на этом и стоп. Артем усердно читал вороха посланий пенсионеров, студентов, рабочих, колхозников. Чаще шли жалобы на разные несправедливости и притеснения начальства, просьбы о жилье; иногда какой-то чудаки пришлет проект изобретенной им сверхудобной коляски для инвалидов, или усовершенствованной соковыжималки, или чего-нибудь в этом роде. И десятками, сотнями присылались стихи.

Артем читал, отвечал, мало-помалу набив руку, выработав несколько довольно шаблонных вариантов ответа, что облегчало работу, но не делало ее интересней. Когда среди десятков писем попадалось такое, что требовало вмешательства и публичного ответа газеты, редактор посылал кого-то выехать на место, вникнуть, разобраться и написать заметку, статью, фельетон, как подскажут маштаб и характер события. Кого-то, но ни разу Артема. Обидно? Конечно. Артем мечтал стать истинным газетчиком, то есть вторгаться в жизнь, видеть своими глазами, слышать своими ушами все ее достижения и недостатки, сложности и противоречия и писать об увиденном и услышанном во всю силу, чтобы редактор, откидывая седую прядь с высокого лба, удовлетворенно гмыкнул: «Гм. Пер-спек-тивно».

Этим утром, натолкнувшись на одно поразившее его письмо, Артем вскочил и в волнении помчался к редактору, решив просить, умолять, чтобы направили в командировку по взбаламутившему его донельзя письму не кого-нибудь, а именно его, Артема. Редактор упирился:

— Случай не столь исключительный. Если по каждому сигналу выступать, газеты не хватит. Ответ автору, и довольно. Да и рановато еще тебе спецкором...

Артем просил, умолял. Редактор уступил. Он был человеком не робкого десятка, не боялся рисковать. Тем более что риск небольшой, даже если корреспонденция не очень получится. Не получится, не будем печатать.

— Согласен, ехать тебе,— выслушав энергичные объяснения молодого сотрудника, согласился редактор.— Начинать когда-нибудь нужно? Начнем.

Надо сказать, что об одной детали, связанной с конфликтом, в котором нашему корреспонденту предстояло разобраться, он умолчал. Если бы Артем сообщил о том обстоятельстве, командировка, возможно, не состоялась бы. Но утаив одно, в другом, то есть в том, что сумеет отстоять правду, Артем был уверен, потому что знал: есть человек, который поможет ему ее отстоять.

Он сидел у окна электрички, везущей его к месту «одного происшествия», как сообщалось в письме, и его возбужденный ум рисовал самые оптимистические картины. Он беспристрастно, объективно вникнет в дело, руководствуясь комсомольскими убеждениями, здравым смыслом, борясь за добро против зла, и напишет... Он представлял полосу в газете или три колонки, что тоже эффектно. Представлял толпящихся на улицах перед витринами с газетой людей, негодование по поводу происшествия и одобрение в адрес его, автора статьи.

Молодчина, здорово выдал! Ловко бюрократа раздела. Убил наповал. Так и надо! Что ни говорите, а наше молодое поколение растет смелым, крылатым. Куда ни глянь, всюду на передовых позициях молодые. Космос? Не старикам же завоевывать космос? Физики-лирики, исследователи антарктид и океанских глубин, изобретатели, кто они? А? И в литературе, если вчитаться внимательнее. Классики? Честь и хвала им, кто спорит, советские классики сделали свое, исполнили миссию. А сейчас кто скажет новое слово, чьи книги рвут нарасхват? Чингиз Айтматов, Борис Васильев, Валентин Распутин, Фазиль Искандер... О-о-о! Сила. Племя молодое, талантливое...

Артем и не заметил, как причислил себя к племени молодому, талантливому, воображая свою будущую первую в жизни статью. Не заметил, что думает не столько о деле, разобраться в котором командирован областной газетой, сколько о славе, какую непременно принесет ему выступление в газете. Бывает, что газетное выступление грянет как гром. В один день газетчик становится известен всей стране.

В таких мечтаниях двухчасовая поездка на электричке пролетела для Артема почти незаметно, и под вечер в радостном ожидании предстоящих, вчера еще не подозреваемых встреч он перешагнул порог родительского дома.

— Артем! — хлопая в ладоши, запрыгала сестренка.

— Ох-ох-ох! Гостек дорогой, желанный, родименький! — низким голосом охала нянька.— Голодный небось, счас обед соберу. Наши-то все на работе да на собраниях, речи говорят, голосуют.

Она пошаркала шлепанцами в кухню разогреть обед. Лялька козликком скакала возле Артема, а он вмиг обежал новую трехкомнатную

квартиру родителей, узнавая низкие столики на тонких ножках, стулья, сервант, телевизор.

— Как у вас ново, красиво! — сказал Артем.

— А ты тоже наш, — ответила Лялька.

Конечно! Но все же это была квартира родителей. Артем жила здесь гостем, правда нередким, но все же только наездами. Когда три года назад родители переехали сюда из областного центра, он учился в десятом классе, там и остался кончать школу, поступил в институт, потом в газету.

— Отрезанный ломоть, — жалела нянька, вынынчившая Артема с первых дней его появления на свет. — У других, поглядишь, как деток-то берегут, у сынка плешью макушка сквозит, а его все поют, кормют, а нашего с рук спихнули — и без заботы.

Так она отчитывала родителей Артема. Те помалкивали. Спорить с нянькой опасно.

Артем открыл крышку пианино в кабинете отца, заиграл что-то бравурное, шумное, созвучное его приподнятому настроению.

— Артем! — узнала мать, еще за дверью слыша музыку.

Она целовала его, теребила густые пряди волос, отпущенных, как у всех современных юнцов, ниже ушей, не портя, как ей казалось, милое, родное лицо с расплывчатыми чертами и так любимым ею выражением ребяческой доверчивости и открытости.

— Дорогой ты наш, как я рада, как соскучилась! Ну, кажись, кажись, не похудел? Нет. А усы! Лялька, няня, взгляните на его усы, его каштановые усы! И замшевая куртка, ах-ах, щеголь, весь в отца. Ну, рассказывай, что у вас там в газете. Здорово тебе достается: и газета и учеба. Темка, ты редко нам пишешь, лентяй, ни о товарищах не расскажешь, ни...

Она не договорила, пытливо вглядываясь в его лицо, чуть порозовевшее от ее недосказанного, но угаданного им вопроса.

Разумеется, он влюблялся. И не раз и, казалось, навечно. Но рано или поздно наступало охлаждение, разрыв. Он не встретил еще свою Беатриче и был невинен, как отрок, и стыдился, и прятался грубых порою разговоров на любовные темы некоторых опытных или притворившихся опытными в отношениях с женщинами знакомых ребят.

— Сынище! — входя в дом, обрадовался Игорь Петрович, обнимая сына, раскачивая из стороны в сторону.

— Да миленькие вы мои, да хорошие, да полюбовные! — приговаривала нянька, вытирая фартуком большой, как руль, нос.

Словом, Артем попал под мирную отчую кровлю, где жизнь текла безмятежно, как в детстве. Все удачливы, веселы, счастливы.

— Выкладывай. Учеба? Служба? Успехи? Да или нет? — допрашивал отец, расположившись в кресле у письменного стола, аппетитно закуривая папиросу, смеющимся взглядом разглядывая сына: «Взрослеет. Уже не тот недавний юнец. Усы отпустил, ишь ты! И во взгляде что-то такое... А ведь, судя по физиономии, в чем-то подвезло...» — Какими судьбами до дому? — спросил Игорь Петрович.

— Командирован спецкором газеты! — стараясь не сиять, ответил Артем.

— Растешь, мальчуган. Егоровна, высоту сын набирает. А я, признаться, немного уже беспокоиться начал: не слышно нашего корреспондента А. И. Новосельцева. Начнешь печататься, подписывайся — Артем Новосельцев. Звучит. Анна, да? По какому делу прибыли, товарищ спецкор?

— Пока секрет, — пряча волнение, сказал Артем. — Мама, папа, не спрашивайте. Мне хочется самому, без помощи... Я так и вижу обста-

новку, действующих лиц. В общем, мне ясна ситуация, мотивы и выводы... —

— А вот это нельзя,— вмешалась Анна Георгиевна.— Принимать решение заранее нельзя. Все может оказаться другим, не так, как ты воображаешь.

— Не бойся, мама, буду объективен и мудр, как Соломон. Уверен, что ты меня поддержишь, мама, станешь целиком за меня.

— Увидим. Дело покажет.

Она снова запустила пальцы в его густые волнистые космы, потрепала.

— Подрос сынишка! Уже не сынишка, а целый сын.

— Мама, знаешь, как с командировкой получилось,— в порыве доверия сказал он, отвечая на ласку.— Разбираю письма, вдруг будто электрическим током: адрес на конверте обратный!

Артем умолк, на миг призадумавшись, нащупал в нагрудном кармане письмо. «Дать им прочесть? Может быть, дать?» Но нет! Хотелось самостоятельных наблюдений и выводов, без подсказок и взрослых советов. Хотелось эффекта. Конечно, в конце концов они все узнают. Завтра же все узнают, но пусть немного после того, как узнает и разберется во всем сам спецкор.

И он продолжал:

— Я к редактору. Сначала уперся, дело, говорит, не такое уж важное. А я: как же не важное, там семья, дом, говорю. Ну редактор и сдался, уж если, говорит, случай такой, поезжай. Надо когда-нибудь начинать, говорит.

— Что верно, то верно,— одобрил отец.— Под лежащий камень вода не течет.

— Отсюда вывод — лежачим камнем больше не будем,— заключил Артем, покрасневший от одобрения отца.

— Егоровна, наш сын растет. Только глупостей не наделай, смотри.

— Нет, папа, я расследую все и тогда уж посоветуюсь с вами и такую грохну статейку, что... ах! А сейчас не расспрашивай. Сначала сам хочу познакомиться.

12

Возле одного из новых домов на одной из центральных улиц города всегда можно увидеть несколько машин. Многолюдно, дверь подъезда то и дело открывается, впуская и выпуская посетителей,— здесь расположен горсовет со всеми его отделами.

Отделу народного образования принадлежат комнаты на втором этаже. Таблички на двери каждой крупным каллиграфическим почерком сообщают ее назначение:

Инспекторы
Материальный отдел
Расчетный отдел
Централизованная бухгалтерия горно
Инженер по технадзору
Секретарь горно

И рядом, в глубине коридора:

Зав. горно А. Г. Зорина

Сегодня завгорно принимает посетителей.

Обычно к концу этого дня у Анны Георгиевны голова идет кругом, хотя старший инспектор Надежда Романовна ни на полчаса не остав-

ляет ее одну и, правду сказать, здорово помогает, особенно в трудных случаях. А почти каждый приход посетителя — трудный случай. В одиночку не всегда и решишь.

Старший инспектор практична, находчива, умеет ладить с людьми. Анна Георгиевна дорожит ценными рабочими качествами своей первой помощницы, в чем характере уживались, казалось бы, совершенно противоречивые черты: властность и ласковость. Вернее, то властная (Анне Георгиевне иной раз покажется, даже до жесткости), то ласковая (тоже иногда чересчур).

Словом, не простушка, не вся на ладони, но к ней, Анне Георгиевне, внимательна до трогательности. А это тоже не минус.

«Анна Георгиевна, чайку вскипятить?», «Анна Георгиевна, что-то вы побледнели. Съездите домой отдохнуть, я побуду за вас». Или: «В гастрономе вчера селедки выбросили слабого засола. Я себе брала, вам прихватила килишко». Но это уж совсем ни к чему. «Категорически прошу вас, Надежда Романовна, никаких селедок, ничего этого. Категорически!» — «Анна Георгиевна, неужели у нас формальные отношения? Изо дня в день четвертый год вместе. Неужели вы за три года не проверили мои чувства? Я вам в матери гожусь, я вас как дочку люблю».

Она — это правда! — искренне привязана к Анне Георгиевне.

В матери, положим, не годится: самой не больше сорока пяти, а принарядится, подгримируется, и того не дашь. У нее слабость к нарядам и косметике, она еще не теряет надежд на любовь и семью. Или хотя бы поклонника, с которым можно бы показаться на каком-нибудь мероприятии в Доме учителя. Сходить в кино не с кем!

Год назад старшего инспектора Надежду Романовну оставил муж. Разрыв произошел грубо, скандально, оскорбительно для Надежды Романовны. Все гороно знало о случившемся. Обсуждали подробности, женщины шумно выражали сочувствие, что еще больше унижало ее. Стараясь казаться равнодушной, она отвечала, что сама бросила мужа: пьяница, опостылел!

Все знали, что это выдумка, и еще оживленнее шептались, пересудам не было конца. Анна Георгиевна старалась пригасить сплетни, удивляясь, как мало друзей у Надежды Романовны. А ведь деловита, энергична, участлива. Во всяком случае, к ней, Анне Георгиевне, участлива до трогательности, притом что сама несчастлива.

Анна Георгиевна всячески старалась скрасить безрадостную жизнь старшего инспектора хотя бы ответной ласковостью, благодарностью за работу. Старший инспектор привыкла к похвалам руководства.

...А день сегодня чудесный! Вчерашний неожиданный приезд Артема, загадочность его командировки, музыка, разговоры, рассказы, ужин всей семьей, и не в кухне за пластмассовым столиком, а в комнате, где две тахты служили постелями, а когда приходили гости, раздвигался обеденный стол, спальня превращалась в столовую, — весь вчерашний вечер, полный веселой суматохи, душевных разговоров и шуток, волновал и радовал Анну Георгиевну.

Не хотелось работать! Хотелось делиться с кем-нибудь счастьем, но не с Надеждой Романовной. Жестко рассказывать Надежде Романовне о недоступном ей.

Анна Георгиевна сказала только, что приехал Артем с каким-то интересным заданием от газеты и — какой же еще мальчишка! — держит в секрете.

— Как в секрете? От вас, **родной** матери? — изумилась Надежда

Романовна.— Вот детки, даже самые лучшие! Вырастают и порх из гнезда. И разумения свои, и дела. Так и утаил? Неужели?

Анна Георгиевна не разделила критического настроения старшего инспектора. Она понимала Артема. Держит в секрете, потому что вроде уже и взрослый, а в сущности еще мальчишка. Все они в этом возрасте рвутся к самостоятельности. Что ж, пусть пробует силы.

Склонившись над столом, Анна Георгиевна чертила на листе бумаги квадратики и кружки, делая вид, что занята, а сама слушала внутри себя радость.

Недолго ей дали порадоваться. Пришел посетитель, разумеется с жалобой. И как с утра началось, так и пошло.

Явился отец ученика десятого класса. Парень сломал ногу. Доктора уложили, грозят на полгода, не меньше. Раздраженный отец пришел обрушить гнев в первую очередь, конечно, на школу.

— Что за учителя у вас! Бездушные. Скоро неделя, как мальчишка учиться не ходит, а им хоть бы что! Никто и не хватится. Десятый класс — вы-то сознаете?

— Сознаем. В школе были?

— Был. Сказали, придут. Не идут.

— Так ведь еще недели нет, как занятия начались. А вы сразу в горно жаловаться.

— На них не пожалуешься, дело с места не сдвинешь. Мальчишка со сломанной ногой, а им хоть бы что! Не почешутся.

— Где вы работаете? — осведомилась Надежда Романовна.

— Рабочий. Кабы инженер или какое начальство, сейчас прибежали бы. Что им до рабочего классу, им чины да звания подавай.

— Ну уж, позвольте,— сухо прервала Анна Георгиевна.

«А ведь он наглец, этот папаша, в костюме, при галстукке, с рабочими руками и головой мещанина. Как он смеет оскорблять учителей? Сам, наверное, пока все в порядке, в школу и не заглянет».

— Кого из учителей сына вы знаете ближе?

Замешательство. Посетитель мнется, отводит в сторону глаза.

«Так и есть. Назвал бы хоть кого-нибудь, хоть из приличия. Нет».

Разговор мог обернуться неприятно, но вмешалась Надежда Романовна. Она умела не возмущаться в самых опасных ситуациях, соблюсти хладнокровие и какими-то ласковыми словечками, улыбками, обещаниями погасить нависавший конфликт.

— Не волнуйтесь, товарищ, свяжемся со школой, мобилизуем учителей, мальчика не бросим, будьте спокойны.

На этот раз Анна Георгиевна была недовольна ее дипломатией и в душе бранила себя, что поддалась обыкновению старшего инспектора любыми способами отводить неприятность: «Тише, тише. Сора не выносить из избы».

Отец ушел, не согнав с лица хмурь, но удовлетворенный. «Проучили вас малость, а то ишь — как рабочий, так нос воротить».

Ушел победителем. А напрасно... Нахалам нельзя уступать.

Затем в кабинет завгороно буквально ворвался хорошо ей известный учитель физики, великолепный знаток предмета, умевший влюблять ребят в свою науку, преподававший ее много шире изложенного в учебнике, и при том вздорный склочник, отравлявший существование себе, всему коллективу, всему горно.

Больше часа обсуждалась очередная война физика с кем-то, кто за его таланты копает ему яму.

— Надежда Романовна,— уже усталым голосом от никчемности и пустоты разговора распорядилась завгороно,— сходите завтра к ним в школу, разберитесь, что там.

Словом, весь день был занят разбором различных малых и немалых, иногда серьезных, но чаще мелких событий и случаев.

— Ну и денек! — вздохнула Анна Георгиевна.

Но денек продолжался, и под конец вовсе нехорошая узналась история, сильно расстроившая и рассердившая Анну Георгиевну. Она говорила о ней по телефону, когда вошел Артем.

— Тёма! Здравствуйте, Тёма! — дружески приветствовала Надежда Романовна, знавшая его по приездам домой на праздники и каникулы.

— Здравсьте! — холодно бросил он и не сел, будто не заметил приглашения.

Стоял, опершись на спинку стула, и не глядел на нее.

— Что с вами, Тёма? — обеспокоилась она.

Поглощенная трудным телефонным разговором, мать поначалу не заметила странной угрюмости сына, так несвойственной его открытой и простоушной натуре.

— История! — кладя телефонную трубку, вздохнула она. — Тёма, хорошо, что зашел. Надежда Романовна, трудно поверить! Принимают девочку в комсомол, отличницу, во всех смыслах чудесная девочка! Вызвали на бюро и — подумайте, какая бессовестность! — томят у двери комитета, в коридоре, час, полтора. Потом секретарь, школьник же, девятиклассник (не старше шестнадцати, а уже бюрократ), вышел к девчонке: «Ступай домой, сегодня не успеем, вызовем после». Девочка на людях сдержалась, а дома в слезы. А после из-за экзаменов отложили прием до осени. Теперь зовут на бюро, а она ни в какую. Волновалась, готовилась, как на праздник... А теперь ни в какую. Вот формализм, так формализм. А учителя были где? А мы? Вот о чем, товарищ спецкор газеты, надо писать бы.

Артем молча, исподлобья глядел на мать. Только теперь она заметила его недружелюбие.

— Тёма, что-то случилось?

— Мне надо поговорить с тобой наедине.

Его тон и ответ показались ей грубыми и обидными для Надежды Романовны.

— Если о деле, можешь говорить сейчас, обычно мы сообща решаем дела.

— Наедине.

Мать удивленно, не понимая, смотрела на сына. Он молчал.

— Тогда ступай домой. Кончу работу, поговорим дома.

Он повернулся уйти.

— Артем! — все более удивляясь, окликнула мать. — Ты не простился с Надеждой Романовной.

Он оглянулся через плечо, кивнул. Как кивнул! Мать похолодела от его кивка.

— Боже мой, что с ним такое? — испуганным полупшепотом спросила старший инспектор после ухода спецкора газеты.

— Извините, — растерянно ответила мать. — Что-то, должно быть, его огорчило. Извините, Надежда Романовна.

Не укладывается в голове! Хорошую учительницу вынуждают уйти на пенсию, вместо нее назначают другого учителя, знакомого завгоруно Анны Георгиевны Зориной, матери Артема. Так прямо спецкору и сказали: по рекомендации завгоруно.

До сего дня Артем о матери знал: справедлива. Именно это качество он уважал в ней более всего. Второе — добра.

Когда в областном центре мама работала методистом Дома учителя, учителя толпами валили в ее кабинет и сплошь и рядом домой, без боязни выкладывая неудачи, заботы и нужды. Мама если и не знала, что посоветовать, то хоть выслушает, хоть посочувствует.

Отец сердился:

— Покоя нет! Когда это кончится? Анна, ты превращаешь дом в учреждение. Мало тебе службы?

— Игорек, — мягко возражала она. — Учителя такой народ, что нельзя быть с ними формалистом. И так уж бюрократили школу. Планы, планы, отчеты, бумаги.

— Не на войну ли с бюрократизмом поднялась?

— Что смогу.

— Что ты сможешь на своей тихой должности, Анна?

Мать старалась переменить тему:

— Игорек, раздобыла тебе важную книгу «Некоторые вопросы психотерапии». Новинка.

— Спасибо. К твоим способностям да побольше бы житейской хватки, Аня. Никто твой идеализм не оценит, — так обычно заключал споры отец.

Однако оценили. Назначили Анну Георгиевну заведовать горно, правда, в районном, но довольно большом городе с перспективами роста. Это уже работа ответственная.

— Смотрите, пожалуйста, выходит в руководители наша мать, — шутил и удивлялся отец. — Егоровна, справишься?

Она улыбнулась:

— Боишься?

— Как-то не представляю тебя чиновником, женушка.

— А непременно надо быть чиновником?

— Богиня Афина, спустись с Олимпа, оглянись на нашу грешную землю.

Она шутливо грозила пальцем:

— Давай-ка без аллегорий.

У каждой семьи свое лицо, своя обстановка. Речь не о сервантах, полотерах, сервизах, вазах чешского стекла — речь о нравственной обстановке. Посторонний взгляд не сразу ее уловит, но поведение отцов и детей в обществе решительно направляется ею. В хорошей семье плохие дети редки. Они могут вырасти не очень умелыми, не очень волевыми и сильными — и, конечно, эти свойства характера с отрицательной частицей не крупными достоинствами не назовешь, — но они, дети умной, честной семьи, не вырастут плохими людьми. Как нужны нашему обществу хорошие люди! Может быть, более всего нам нужны хорошие совестливые люди! Потребуют обстоятельства — хороший человек сумеет стать и сильным и смелым.

Так размышляла Анна Георгиевна. Она еще не догадывалась, в каких рискованных обстоятельствах оказался ее сын Артем.

Он заперся от старухи и Ляльки в кабинете отца, упал в кресло и, опершись на письменный стол, сжав кулаками виски, думал, думал, думал о матери. Артем не задавался вопросом: «Какая у меня семья? Похожа на другие или сама по себе? В чем сама по себе?» Но образ дома благодарно и нежно жил в сердце.

Он любил мать. Все было в ней ясно. Она серьезно судила о жизни. Артем любил говорить с ней о серьезном.

Отец посмеивался над их философствованиями. Кроме медицинской литературы, на письменном столе отца постоянно лежал оче-

редной детективный роман. Отец смотрел телевизор, решал все кроссворды, какие попадались на глаза, и не имел склонности рассуждать на отвлеченные темы.

Что касается Артема, «философствования» более всего и сблизали его с матерью.

С отцом отношения были другими. Отец был веселым, шутивным человеком, отчасти даже гулякой, но в меру — веселость и легкость сочетались в нем с благоразумием. Вот, например, он приучил всех домочадцев к утренней физзарядке, приохотил к лыжным походам, летним вылазкам по грибы, словом, всякого рода укрепляющим здоровьем занятиям. «В здоровом теле здоровый дух» — это мудрое изречение, начертанное едва ли не метровыми буквами, он вывесил на стене своего кабинета и неукоснительно ему следовал.

...Артем думал о матери. Могла она не знать о выдворении против воли на пенсию учительницы и устройстве на ее место молодого Утятина? Если бы кого-то другого. Но Утятина!.. Артем его знал. Правда, бегло, мать Утятина работала когда-то вместе с мамой в областном Доме учителя и приходила к ним в дом, и Артем помнил их телефонные разговоры по разным деловым вопросам.

Не случайно появился на горизонте Утятин. Мама рекомендовала его по знакомству.

Неужели все было так, как Артем узнал от посторонних людей?

Первым человеком, с кем спецкор областной газеты встретился в школе, был худощавый, стройный блондин с ярко-синими глазами и выписанным на лбу в виде узенького полумесяца светлым чубом.

«Кабинет истории» — прочитал Артем табличку на двери, возле которой тот стоял.

— Выгнан с урока?

— Удален, — поправил Гарик Пряничкин.

— Причина?

— Задал неуместный вопрос.

— Именно?

— Спросил Марию Петровну, как она относится к произведению Окуджавы «Похождения Шипова, или Старинный водевиль».

— А она не читала?

— Уи, — играя синими глазами, по-французски ответил юнец, — Мария Петровна оскорбилась: «Разыгрываешь! Окуджава — гитарист, пишет песенки для гитары, сама слушала пластинку. А водевили в наше время не печатают».

— И такие суждения бывают, — усмехнулся Артем. — А Ольга Денисовна?

— Фью-ють! Хватились. «Иных уж нет, а те далече». Скинули Ольгу Денисовну.

— Отчего?

— Не пришлась ко двору. А вам зачем? Впрочем, мне безразлично. Ольга Денисовна про-про-прошлый век. За деталями обращайтесь к Королеве Марго. Она в курсе. Что до меня, я музейными древностями не интересуюсь.

«Типик», — подумал Артем.

Однако, встретив «типика», удаленного с урока истории за неуместный вопрос, спецкор газеты между прочим выведал два важных факта. Первый. Ольга Денисовна не пришлась ко двору. По мнению школьников, Ольгу Денисовну «скинули». Что и требовалось доказать. О чем и сообщалось в письме, подписанном учительницей М. К.

Второй важный факт: учительницу М. К. ребята называют Королевой Марго.

Воображение Артема заиграло, рисуя обольстительный образ!

Но что воображение, что самая богатая фантазия по сравнению с правдой жизни? Она, эта правда, явилась Артему в виде легкой девушки в полудлинной юбке колоколом и белой кофточке с воланами и черным бантиком; волосы прямыми прядями спадали ей на плечи — XIX век и что-то ультрасовременное уживались в ней с покоящей прелестью.

Артем остолбенело уставился на Королеву Марго.

Она, приказав ученикам продолжать писать контрольную, не закрыв для наблюдения за ними дверь в кабинет математики, вышла в коридор и, выслушав сумбурную, может быть слишком эмоциональную, речь спецкора газеты, ответила:

— Да, Ольгу Денисовну выжили. Почему? Директору понадобилось устроить своего протеже, что ли.. Ребята видят. Мы убиваем в ребятах веру в справедливость. Развращаем ребят. Не говоря, что учительница несчастна, страдает...

Артем слушал, соглашался, негодовал. Но в процессе беседы выяснилась деталь, вернее сокрушительное обстоятельство, поколебавшее пафос рождавшейся в голове Артема статьи в защиту справедливости.

Невольно Артему вспомнилась ирония синеглазого блондина по поводу древностей. Артем без иронии думал: когда пожилая учительница уходит на пенсию, а молодой парень идет ей на смену, скажите, в чем несправедливость? Где? Старость есть старость. Биологическая трагедия и... ничего не поделаешь.

— Ольга Денисовна не хотела уходить, ее выжил директор. Я подозревала, но... смутно, не верила своим догадкам. Как я ругаю себя, что не вмешалась тогда, не помогла Ольге Денисовне. Не поймала директора. Его надо было поймать, вы понимаете? И еще инспектриса. Есть у нас такая кикимора, рыжая... Сдирижировала инсценировку добровольного — в кавычках! — ухода. Вам понятно, товарищ спецкор?

Прелестная Королева Марго! С ее прямыми до плеч волосами и челкой, которую она отводит на обе стороны и при этом строго и требовательно глядит на спецкора.

— Но ей действительно время на пенсию...— беспомощно лепетал Артем.

— Ну и что! Ну и что! Она моложе вас, вы рядом с ней осторожный, пугливый старик! — отрезала Королева Марго и захлопнула перед его носом дверь в кабинет математики.

Директор был третьим свидетелем по вопросу о «происшествии в школе номер один», как назвала уход на пенсию Ольги Денисовны в письме в газету математичка М. К.

Артем сознавал, что допустил тактическую ошибку, обратившись к Королеве Марго раньше, но был достаточно дипломатичен, чтобы не проговориться об этом директору. Однако дипломатии его не хватило скрыть от Виктора Ивановича, что именно знает он об уходе из школы старой учительницы.

Неважным спецкором оказался Артем Новосельцев! Такому ли корреспонденту поручать расследование сложных ситуаций, где требуется максимум смекалки? Он выложил напрямик, да еще именуя себя в третьем лице множественного числа, что «нам сообщили, учительница Ольга Денисовна не по своей воле вышла на пенсию. Ее вынудили, мы точно это знаем. И по какой причине, и кто, и зачем допустил несправедливость по отношению к талантливой учительнице — мы все знаем!»

Артем выпалил залпом известные ему факты, улики и доказательства и ожидал.

В школе тихо. Идут уроки.

Они говорили в пустой учительской, директор и он.

Виктор Иванович медлил с ответом, в раздумье выстукивал по столу шариковой ручкой какой-то бодрый мотив.

— В нашей школе учится Ляля Новосельцева, дочка, хм... вы не родственник? — спросил он.

— Абсолютно нет, не имею представления, — соврал Артем, не отдавая отчета зачем. Просто какая-то интуиция подсказала: соври.

— Ни капли правды, ни намек на истину в сведениях, которыми кто-то вас вооружил, — без тени волнения начал директор. — Именно вооружил, так очевидна тенденция. Вас настроили обличать и разоблачать. Кто-то намеренно извратил факты. Ольга Денисовна подала заявление об уходе на пенсию. Годы. Естественно? Вам сколько? Двадцать? Объясните, товарищ спецкор, в чем дело? Областная газета командует корреспондента. Повод? Учительница уходит на пенсию. Где конфликт? Где нарушение законности? Seriously вас прошу, объясните.

Он бросил шариковую ручку, сложил руки на животе, директор школы номер один, солидный респектабельный мужчина интеллигентной располагающей внешности, и с любопытством глядел на Артема. Он казался не злым, даже добрым, во всяком случае ничуть не раздраженным вмешательством корреспондента в дела школы.

Артем почувствовал: почва колеблется у него под ногами. «Да, если бы не обратный адрес, если бы письмо пришло из Коломны или какой-нибудь Кинешмы, помчался бы я вникать в обстоятельства ухода на пенсию учительницы? Нет. Неэффективное дело. Я загорелся, потому что...»

В дверь постучали. Вошел молодой человек, светловолосый, светлоглазый, с девичьей ямкой на подбородке.

— Добрый день, Виктор Иванович, я.. вы приглашали заходить... я просто так, поделиться, — промямлил он и, увидя Артема, в удивлении: — Новосельцев!

— Утятин! — так же удивленно ответил Артем.

— Вы знакомы? Отлично! — обрадовался почему-то директор. — Стало быть, все в порядке, — проговорил он, довольное потирая руки, улыбаясь неясной улыбкой. — Поделиться? — приветливо переспросил он Утятина. — Ступайте уж, ступайте, беседуйте с другом. Наши школьные дела не убегут, с утра до ночи с нами.

— До свидания, — вежливо простились с директором нечаянно встретившиеся в его кабинете знакомцы и вышли.

— Артемка! Мы с тобой мало общались, а здесь, на чужбине, я тебя прямо в охалку готов заграбастать, — возбужденно говорил Утятин. — Знаю, ты там у нас в газете подвизаешься. Где логика? У тебя здесь семья, жилье — и тебя оставляют в области. У меня там семья, дом, девушка — отсылают в район. Где логика?

— Тебе что, неважно здесь? — спросил Артем.

— Вовсе бы швах, если бы не твоя мать. Загнали бы куда-нибудь в дыру, куда Макар телят не гоняет.

— А что мама? — дрогнувшим голосом спросил похолодевший Артем.

— Как что? Всё. Устроила в центре города.

— Она? Тебя? Моя мать?

— Да. А что? Что ты скис? Не буквально сама. Инспектрису мобилизовали. С ребятами у меня пока неладно, признаюсь тебе. Дьяволята какие-то, советские варианты Тома Сойера. Так бы и от-

лупил. Домострой бы на них! — Он протяжно вздохнул, мигнув короткими ресницами. — Ладно, хныкать не будем, поглядим, как дальше пойдет. Три положенных года как-нибудь протрублю и — домой. Главное, знаешь что — не жениться. То есть не в том смысле, конечно, ты понимаешь, а в смысле — не регистрироваться. Холостого меня, когда отработаю срок, на родительскую площадь пропишут, с женой ни за что, ищи свою крышу. Такие порядочки, да. Эх, Тёма, придется тянуть лямку. А все-таки, пожалуйста, передай Анне Георгиевне от меня и мамы спасибо. Все-таки это лучший вариант, что со мной...

— Мне сюда, — сворачивая в первый попавшийся переулок, то-ропливо сказал Артем. — Срочное дело. Опаздываю. До свиданья. Прощай.

14

Стиснув кулаками виски, он сидел за письменным столом отца над пустой страницей. Как писать статью? Что главная виновница происшествия в школе номер один его собственная мать, действующая через подчиненных ей лиц? Так?

С другой стороны, что чрезвычайного случилось? Смена поколений. Во всем мире на место старых приходят молодые. Естественно.

И дальше. Кто-то должен направлять и регулировать распределение кадров или как это там называется? Расстановка и регулирование кадров — одна из обязанностей матери. Если здраво судить, есть, скажите мне, происшествие?

Артем схватил карандаш и лихорадочно написал: «Есть происшествие или нет?»

Дальше мысли его опять побежали вразброд. Еще вчера с каким жаром он мечтал о своей первой корреспонденции! Где его тщеславные грезы прогреметь, именно прогреметь, меньшее не представлялось!

Если происшествие было, кто главный виновник? Как ни верти, прямо или косвенно, главная виновница — мама. Неопровержимая улика — Утятин. Мамин знакомый. Для его устройства надо было вытеснить другого.

«Уважаемые читатели! Мне трудно рассказывать вам о происшедшем событии, потому что главное действующее лицо, виновное в совершенной несправедливости, — моя собственная мать, заведующая гороно, депутат горсовета, член партии Анна Георгиевна Зорина», — написал Артем. Написал и охнул.

Нет! Он не может поднять руку на собственную мать, если даже она тысячу раз виновата. «Нет, что это я! Что я наговариваю? Справедливая, ласковая мама моего детства, ты ни при чем. Утятин врет, что ты устраивала его таким нечестным тайным способом. Королева Марго ошибается. Королева Марго порох — пых, и взорвалась. Сейчас побегу к Ольге Денисовне, сейчас, сейчас все разъяснится, что она сама захотела уйти, никто не думал ее выживать, а тем более завороно».

Он вскочил, готовый опрометью мчаться к Ольге Денисовне. И вообще, с ума он своротил, уселся писать о беде человека, не увидев, не расспросив, не узнав. Он вскочил.

Но вернулись с работы родители. Обыкновенно Игорь Петрович возвращался раньше, сегодня задержало собрание. Они пришли почти одновременно. Мама, заметно встревоженная встречей с Артемом в гороно. Отец, как всегда, жизнерадостно громкий.

— Строчишь? — весело прогремел отец, входя в кабинет. — Строчи, строчи. Или уже?

— Нет,— буркнул Артем.

— Отчего такой мрак? А-а, понимаю. Муки творчества. Ничего, товарищ спецкор, поднатужимся, подредактируем, добьемся конфетки.— Он щелкнул пальцами: — Кон-фет-ка! Впрочем, нет, полная ума и темперамента, обличающая или напротив статья. Артем Новосельцев. Звучит? Давай рассказывай. Егоровна, слушаем.

— В чем дело, Тёма? — спросила мать.

— Плохое дело,— буркнул Артем.

— Тёма, голубчик, объясни...

«Мама, неужели ты так ужасно умеешь притворяться? Так искусство? Но что это я! Она ведь не подозревает даже, о каком деле я говорю».

Он отрывисто спросил:

— Учительницу Ольгу Денисовну из школы номер один знаешь?

— Ты странно держишься, Тёма,— удивленно сказала мать.

Она была грустна и беспокойна, и у Артема защемило сердце от жалости и убийственного разочарования в матери. Он жалел и не прощал.

— Слышала...— припоминая, с запинкой ответила мать,— да... слышала, хорошая учительница, а внешность не помню. Должно быть, не видела близко. Тёма, несколько десятков школ только в городе. Конечно, хорошую учительницу должна бы знать ближе.

— Как, ты сказал, учительницу зовут? — заинтересовался Игорь Петрович.

— Ольга Денисовна.

— Она что, не работает в школе?

— Работала. Теперь нет.

— Гм.— Игорь Петрович хмыкнул.— Гм.

Закурил. Он запомнил ту старую учительницу, державшуюся с подчёркнутым достоинством и даже высокомерием, что не очень свойственно учительницам, казалось ему. Что-то с ней не совсем ладно, чутьем угадал он. Но не стал углубляться. В обязанности его не входило выяснять личные обстоятельства больных, а, кстати, она вовсе и не больна.

Но Тёмка на что-то напал. Что он там откопал, дурень? При чем тут мать?

— При чем мать? — холодно спросил сына Игорь Петрович.

— При всем,— отрезал сын.— При том, что старую учительницу выживают из школы, внушают болезнь, устраивают на ее место...

— Постой, что ты мелешь? — удивилась мать.

— Павку Утятину забыла? — все горячее распаляясь, продолжал допрашивать сын.

— Не забыла,— пожала она плечами. И, поясняя, мужу: — Сын моей сотрудницы по областному Дому учителя. Окончил институт, прислали сюда. Я еще и повидать его не успела, не знаю, как он у нас приживается в школе. Няня говорит, на днях заходил, нас с тобой не застал. Тёма, так что же?

— Что ты намерен писать, товарищ спецкор? Кого собрался рабоблачать? Уж не мать ли? — о чем-то догадываясь, с усмешкой спросил отец.

— Я еще не видел Ольгу Денисовну. Увижу, если подтвердится, расскажу все как есть. Прятать виновных не буду. Не буду! — с дрожью в голосе крикнул Артем.

— Анна, ты понимаешь, что с ним творится? — поразился отец.— Анна, что ты молчишь?

— Слушаю.

У нее стал вдруг совсем подавленный вид. Что-то в ней изменилось, уже не тревога, а страх глядел на Артема из глаз матери.

— Происшествие или нет? — допрашивал сын.

Отец уничтожающе фыркнул:

— Выеденного яйца не стоит твоя история, Тёмка. Выискал сюжетики, эх ты! Провалилась статья, никто не напечатает — печатать-то нечего. Не станешь же ты разоблачать собственную мать... если она и допустила какую-то, ну... — он искал подходящее слово, не нашёл, — да что, ни черта она не допустила! А если бы был не Утятин, а какой-нибудь Иванов?

— Тогда другое.

— Почему другое, глупая твоя башка?

— Для Иванова не стали бы отправлять хорошую учительницу в музей древности, а для Утятина отправили, потому что он мамочкино протеже.

Как язвительно прозвучало это «мамочкино протеже».

— Мама, мне надо знать одно: ты хотела устроить Утятина?

— Да, хотела послать на работу.

— Все! Мне ничего больше не надо. Все. Все.

Он схватил листок, зачеркнул название, написал новое: «Происшествие в школе номер один».

— Не ждал, не ждал, не ждал! — обхвативши ладонями голову, раскачиваясь всем туловищем, испуганно твердил он. — От кого другого, а от тебя, мама...

— Истерика, — пренебрежительно бросил отец. — Слушай, а как же тебя послали спецкором по делу, к которому имеет отношение твоя собственная мать? Завгороно? Твой редактор должен бы сообщить, неудобно посылать сына по делу...

— Я скрыл от редактора, — густо краснея, прервал Артем.

— Дай-ка статейку, — сказал отец.

Артем машинально протянул отцу листок, где, кроме заглавия, и написана-то была всего одна первая мучительная фраза. Игорь Петрович без слов разорвал лист на мелкие клочки, кинул в корзину под стол.

— Надо быть круглым дураком или карьеристом, чтобы заварить эту кашу. Из-за кого? Из-за какой-то старухи, которой давно пора на печку греть кости. Надо было сдать письмо в архив. Вы, газетчики, на все письма мчитесь с проверкой? Черт знает, поглядите на этого остолопа: первая командировка и — куда? По какому поводу? Судить собственную мать.

— Я был уверен, мама не виновата, даже в голову не приходило про маму! — бурно прервал Артем.

— Она действительно не виновата, — с холодным спокойствием ответил отец. — Анна, что ты молчишь?

— Слушаю.

— Так вот, не очень умный наш сын, — продолжал Игорь Петрович, — представляешь ли ты, какие последствия могла иметь твоя дикая статья, если бы появилась на свет? Подумаешь, разоблачения! Вон в газете «Труд» и не такое печатают. А здесь что? Собственно, что? Что? Старой учительнице предложили на пенсию. Так ведь это закон. Ни один более или менее соображающий читатель и не подумает сочувствовать. Но твоя статья, если бы появилась на свет, — сенсация. Сын разоблачает собственную мать — вот ведь изюминка в чем. Шумиха обеспечена, да какая! Завгороно, депутат... Анна, что ты молчишь?

— Слушаю.

Она повторяла, как автомат, одно слово, и теперь Артем совсем не узнавал маму — у нее было чужое лицо, наглухо замкнутое.

— И Ляльке не поздоровится, задразнят,— продолжал Игорь Петрович.— И в меня рикошетом. Словом, мальчишка, и думать не смей. Вернешься в газету, доложишь — существенного не нашел. Много шуму из ничего. Иди. Проветри мозги на воздухе.

Артем выбежал стремглав. Слышно было, грохнула в передней входная дверь. И Лялькин зов:

— Тёма, куда? Я с тобой, Тёма!

— Дурак! — фыркнул Игорь Петрович.

В ожесточении смял папиросу о пепельницу, пригасил, закурил другую, нервно пуская темные витки дыма. Сел в кресло. Анна Георгиевна как, войдя, стала у двери, так и стояла.

— Сядь.

Она покачала головой. Нет. Она казалась раздавленной. Он поразился, до чего она казалась раздавленной!

— Вот что, Анна, прошу тебя, не паникуй. Не вижу никаких криминалов. Ты ни при чем. Инспекторша твоя ни при чем. И директор. Господи боже, старой учительнице предложили на пенсию, так ведь не до ста же ей занимать место? А молодым дорогу надо давать? И вообще... Единственно неприятно...

Он поскреб в досаде затылок.

— Что еще? — испугалась Анна Георгиевна.

— Ничего, решительно ничего. Суший пустяк! — засмеялся Игорь Петрович так естественно, что Анна Георгиевна не стала допытываться о его пустяке. Он ведь юморист — заметил что-нибудь в Тёме. Всегда заметит смешное.

Она скрестила на груди руки, крепко держась одной за другую, и неподвижно стояла у двери.

«Каждую мелочь готова раздуть до трагедии, бывают же люди!» — раздраженно подумал Игорь Петрович.

Но у него все же немного скребло на душе. Принесла нелегкая к нему на прием ту учительницу! Ведь здоровешенька. Они все, пенсионеры, от безделья копаются в себе, несуществующие болячки отыскивают. Но неприятно то, что если кто-то вышестоящий, у кого может на Анну быть зуб, или завистник какой-нибудь, недоброжелатель — их на каждом шагу — раздуют историю, распознают, что учительницу отпустили, гм... между нами признаемся, не отпустили, а, по всему видно, выпроводили на пенсию по болезни, а она здоровешенька... Он ведь и на приеме сказал: вам работать да работать.

«Надо же было мне, остолопу, записать в карту... в случае скандала побегут справки наводить, а я черным по белому, гм... Недальновидным я товарищем оказался, Егоровна, признаюсь».

Он не признался, конечно. Жизнелюбие и оптимизм доктора Игоря Петровича Новосельцева подсказывали ему, что все так или иначе обойдется. «Анну уважают, не станут из-за какой-то старухи съедать. Главное, выработать тактику».

— Идем обедать,— со здоровым аппетитом позвал Игорь Петрович жену.— Нянька, наверное, изворчалась. Голоден, как слон, корми скорее слона, или сейчас тебя слопаю.

На двери кабинета завгороно вырванная из тетрадки, косо приколотая страница лаконично объявляла: приема нет.

Сотрудники отдела, за две-три минуты или вовсе впритык являясь на службу, удивленно перешептывались: «Когда вывесили объявление? Кто? Должно быть, сама. С чего бы?»

Никто не знал. Может быть, только старший инспектор.

Задолго до начала работы Анна Георгиевна была в своем кабинете. Шагала от стены к стене. Присядет. Встанет. Снова шагает. Одна.

Всего лишь вчера, рисуя в блокноте квадраты и кружки, притворяясь, что занята делом, она слушала внутри себя радость. Приехал Артем! Взрослый сын. С ответственным поручением, что прямо так и было написано на его расплывшемся от удовольствия и гордости лице.

Она понимала его воодушевление, рой мыслей, гнев, самолюбивые надежды. И самолюбивые надежды, да. Кто не хочет успеха? Он приехал с честными намерениями постоять за правду и, если удастся, смело исполнить свой самостоятельный долг, и люди заметят, и в журналистике появится новое имя — Артем Новосельцев.

Пожалуй, вчера, с его каштановыми усиками, так аккуратно и вместе щегольски выведенными двумя узкими полосками над губой, его широко распахнутыми, почти ребяческими глазами, отражавшими бурю чувств, каплями пота от переживаний на лбу, Артем открылся матери глубже, чем раньше. Правдивый, мечтательный и... немного тщеславный. Ну и что?

Анна Георгиевна взглянула в окошко.

Ранняя осень мазок за мазком, как художник на холст, кидала буйные краски в темную зелень сада, куда выходило окно кабинета. Посреди еще густолистных, легко тронутых желтизной стариков длинный кленок, вытянувшись, как мальчишка, пламенел, источая яростный свет. День начинался празднично, ярко, а сердце все сильнее болело и ныло. «Тёмка, тебе наговорили дурного о матери, ты и поверил. Правдивый и в других лжи не видишь, а как же во мне, своей матери, так сразу и разуверился?»

— Можно? — послышалось вкрадливо в полуоткрывшуюся дверь.

— Придете в назначенный час, Надежда Романовна.

Назначенный час близился, и Анна Георгиевна в пустом кабинете заняла свое место во главе не очень длинного стола, где обычно велись заседания, склонилась над бумагами, подготовленными старшим инспектором для подписи. Машинально листала бумаги, не вчитываясь.

Первым пришел спецкор Артем Новосельцев. Сел в углу, возле кадки с пальмой, острые, как лезвия ножа, листья которой казались вырезанными из зеленой гляцевитой бумаги, достал блокнот, уткнулся в него, не глядя на мать. Тогда завгороно, нажав кнопку электрического звонка на столе, вызвала в кабинет старшего инспектора. Надежда Романовна неслышно вошла. Бессонная ночь оставила следы на ее хотя и подкрашенном, но осунувшемся и измятом лице. Она была все в том же коричневом вязаном костюме с оранжевым джемпером, и янтарные бусы оставались неизменны, только Надежда Романовна теребила их чаще обычного, что выдавало смятение духа старшего инспектора.

Виктор Иванович известил ее о причине приезда спецкора, оказавшегося сыном завгороно.

«Юнец! Прискакал. Не спросив броду, сунулся в воду. Невдомек, что мамаша команду давала. Теперь гадает, как выпутаться. Спокойствие, Надежда Романовна, и выдержка. В крайнем случае... рекомендация сверху была? Но учтите: сошлемся только в крайнем случае, Надежда Романовна».

Он внушал ей спокойствие тем уверенным, почти властным тоном, как обычно держалась с ним она. С ним и другими руководимыми ею товарищами.

Всю ночь старший инспектор решала, как вести себя на предстоящем разговоре. И не решила.

Между тем приглашенные собирались на совещание. Впрочем, секретарь роно, юная девица с подсиненными веками и искусственной проседью в волосах банально русого цвета, приглашала по телефону не на совещание: «Анна Георгиевна — неофициально — просила зайти».

Пришел директор. В пестрой сорочке, отглаженном темно-сером костюме, желтых летних туфлях. И не подумаешь, что провинциал! Приоделись наши учителя. Нынче редко встретишь учителя в потертых брючишках, тем более учительницу в пережившем моду платье.

Директор приветствовал завгороно почтительно, но с подходящим к его положению достоинством. Однако когда вслед за ним появился известный всему городу депутат Верховного Совета фрезеровщик Павел Васильевич Оленин, которому завгороно быстро поднялась навстречу, протянув руку, зовя сесть с собой, как бы в президиум, директор внутренне сжался. Приход депутата представился ему подозрительным. Пугающие предчувствия ознобом побежали по телу. О депутате директор был много наслышан, разного от разных людей. Одни говорили: «Правильный человек». А что значит правильный? С какой стороны поглядеть: для кого правильный, а кому наоборот. Другие откровенно ругали: «Депутат! Пятый год жилья дожидаемся. У самого квартира небось». Третьи: «Мастер — золотые руки. В чужие государства оленинское мастерство возили показывать. И там оценили. А что касается депутатства — старается для народа, так ведь ежели в чем нехватка, как ни старайся — не расстараясь».

Тут дверь распахнулась и непривычно шумно для такого солидного учреждения, как горono, ворвалась запыхавшаяся математичка Маргарита Константиновна.

— По-моему, у вас уроки, — нахмурился директор.

— Я потом наверстаю упущенное.

Директор намерен был предложить учительнице немедленно вернуться к занятиям в школе, но, к величайшему его удивлению, завгороно, не обратив внимания на его слова, жестом пригласила ее остаться, подрывая тем в глазах всех присутствующих его директорский авторитет, грубо нарушая трудовую дисциплину. И это завгороно! Хорошенький пример подаете, товарищ завгороно!

А учительница как ни в чем не бывало подседа к спецкору, и они сразу пустились шептаться.

«Эге-ге-ге! Что-то здесь происходит», — озадаченно подумал директор.

— Товарищи, начнем, — объявила завгороно, — Маргарита Константиновна, вы?

Директор опешил. Почему она? Начиналось с загадки.

— Да, конечно! — живо согласилась учительница.

Встала. Выронила из записной книжки на пол шариковую ручку, спецкор проворно нагнулся поднять, подал ей. Она непринужденно кивнула, словно знала спецкора не со вчерашнего дня, а всю жизнь.

«Эге!» — встревоженно подумал директор; противновато засосало под ложечкой. Дальше он все сильнее тревожился и к концу речи уже до глубины души ненавидел модную выскочку. «Всего год и учительница, а форсу, а важности! Противная девчонка! Лезет на скандал. Выгурят из школы, ей что! Ей и лучше. К какому-нибудь ответственному в секретари проберется, а там от жены уведет, а там машина, дача, рыбалка... Чего ей еще?»

Так, полный желчи, он изничтожил Королеву Марго, а она тем временем излагала происшествие в школе номер один, и директор,

пораженный, узнал, что она и есть автор письма, из-за которого весь сыр-бор загорелся. Не подозревал, проворонил письмо! А если бы и подозревал? Как пресечь? На почту не побежишь остановить, не гоголевские времена. Как остановишь?

Дальше директор вовсе остолбенел, услышав до невероятности дерзкий выпад учительницы против него и начальства.

— Виктор Иванович потому пошел на выживание Ольги Денисовны...— Учительница на секунду запнулась, не дольше секунды, и, смело глядя в глаза Анны Георгиевны, слушавшей с печальным вниманием, продолжала без запинки: — Вы, Анна Георгиевна, дали знак, то есть приказ, негласный, но для подчиненных обязательный, и наш директор исполнил его, и все это знают.

«Проклятая девчонка! — ненавидел директор.— Толкает на крайности. Надо спастись. Не рухнуть бы в пропасть».

Он боялся пропасти из-за присутствия депутата. Он почти был уверен: все обошлось бы испугом, покаянием и всеобщим прощением, не будь депутата. Не вообще депутата, а именно нашего, вполне конкретного, загадочно молчаливого товарища Оленина, о котором рассказывают, что он, как танк на войне: ни вправо, ни влево, все прямо да напролом...

Надежда Романовна всплеснула руками:

— На кого наговариваете, Маргарита Константиновна! На кого поднимаете руку? Товарищ завгороно безупречна.

Надежда Романовна туго затянула янтарные бусы на шее, задыхаясь от любви и обожания завгороно.

Пока девчонка-учительница произносила свою обличающую речь, Надежда Романовна прозрела и вдруг поняла, что ее ночные страхи были напрасны. Как бы ни повернулось, завгороно останется завгороно, а стало быть, и она, старший инспектор, при ней. Ничто не грозит нашей безупречной Анне Георгиевне. А депутат здесь зачем? Старший инспектор поняла его появление здесь диаметрально противоположно директору. Не страх, а надежду внушил ей приход депутата. Зачем завгороно его позвала, руки распахнула навстречу? Эх, Тёмка, сосунок, и эта интеллектуалка, как нынче их называют, слепые котята — вот кто вы!

Вслух она высказалась по-другому. Но горячо:

— Товарищи! У нас еще не бывало, мы не припомним такого справедливого завгороно...

— Надежда Романовна, я не давала вам слова,— сухо остановила завгороно.

— Молчу, Анна Георгиевна, но обидно же, больно. Нет, не могу молчать, вы уж простите... Товарищи, все было не так. Маргарита Константиновна, стыдно! Вы питаетесь сплетнями. Анна Георгиевна и не думала мне ничего поручать. О молодом Утятине слова не было сказано.

— Неправда. Было сказано об Утятине,— так же сухо возразила Анна Георгиевна.

— Но что! Но как! Было сказано, что из области присылают молодых специалистов. А как попал Утятин в школу номер один, понятия не имею.

— Я не сошел с ума? — бледнея до зелени, прохрипел Виктор Иванович.— Вы же сами и утверждали его, когда весной проверялось штатное расписание вот в этом самом кабинете.

— Утверждала,— почти радостно согласилась старший инспектор.— Анну Георгиевну в тот раз Москва в министерство затребовала. Нагрузку учителей на нынешний год по вашей школе, Виктор Ива-

нович, утверждала я, верно, а что конфликт у вас с Ольгой Денисовой из-за Утятина вышел, в первый раз слышу.

— Ну уж если до такого дошло... ох!

Директор откинулся на спинку стула, страдальчески скривил лицо, схватился за грудь.

Молчание. Пауза. Анна Георгиевна опустила глаза, Королева Марго, напротив, безжалостно, в упор наблюдала. Депутат оставался спокойным.

— Если так, Надежда Романовна, — собрался с духом директор, — скажу прямо: с Ольгой Денисовой у меня был принципиальный конфликт из-за несхожести педагогических взглядов. Ольга Денисовна не то что стара, хуже — устарела. Кабинетный метод обучения — не по ней. Радиофикация урока — не по ней. Кинофильмы как один из методов освоения литературы не признает. У нас великие актеры на пластинках записаны, а нашей Ольге Денисовне и Качалов не нужен, она сама Пушкина им преподносит. А болтунов расплодила! Ребята ей такое плетут, уши вянут. Причем, заметьте, с другими учителями не позволяют критических разговорчиков. А у Ольги Денисовны это, видите ли, «воспитание самостоятельности мышления», ну... и старческий склероз плюс к тому в полном разгаре.

— Нет склероза! — крикнула Королева Марго, топнув ногой, что уж со всех точек зрения не очень прилично. — Я специально была в поликлинике, спросила в регистратуре показать карту Ольги Денисовны. Там черным по белому: практически здорова. Вы ей внушали, вы ее выжили. Вам Уятин из гороно подсунули, а вы и рады стараться.

— Не рад. Выполнял приказание.

Снова пауза, полная тишины, мертвой тишины. Но теперь Анна Георгиевна не опустила глаз и, хладнокровно выдержав паузу:

— Если бы вам приказали украсть, пойти на подлог?

— Он и пошел на подлог! — крикнула математичка. — Пропавшие тетради, Виктор Иванович, помните?

У нее вырвалось про тетради. Она строго-настрого запретила себе говорить о тетрадях, потому что все-таки не была твердо уверена, что директор их спрятал. Слишком подло даже для того маленького человечка, что скрывался за представительной внешностью директора школы. Слишком уж подло! Но сейчас, нечаянно проговорившись, она по его заматавшившим глазам, багровым пятнам, окатившим лицо, поняла, что не ошиблась. Тогда, в учительской, он спрятал тетради Ольги Денисовны, чтобы показать, что она от склероза почти из ума выживает.

— Не помню пропавших тетрадей, — оправившись от испуга, металлическим голосом ответил директор. — Что касается Ольги Денисовны, уход на пенсию есть право советского труженика. Заслуженный отдых, а не то, что вы, Маргарита Константиновна... «выжили!» Как язык повернулся? Осторожнее, Маргарита Константиновна, словами бросайтесь. Пенсия по старости есть завоевание советского строя. Гордиться надо. И ценить.

Он умолк, тяжело дыша, словно тащил в гору воз.

— Товарищ спецкор, — предоставила слово Артему его мать, и, как ни старалась казаться спокойной, видно было, что страшно волнуется, оперлась подбородком на сплетенные пальцы, вытянулась, напряглась как струна. Со вчерашнего вечера она не видела Тёму. Вернулся поздно, утром чуть свет снова ушел. С кем он был? Наверное, с этой красивой учительницей. Тёма! Что ты скажешь, Тёма?

Он долго не мог начать говорить. Мясся, краснел. Боже, какой еще мальчишка, школьник! «Милый мой, бедный мальчишка!» — думала мать.

— Говори же! — торопила учительница, и по тому, как она глядела на него с насмешливой ласковостью, мать поняла, он ей нравится, и почувствовала нежность к этой умненькой девушке, своему прокурору.

Как нескладно, некрасноречиво говорил Артем! Нет, оратора из него не получится. Прямо косноязычный какой-то.

— Я вчера был уверен... вчера, да... сегодня я... не очень... если окажется... все равно я решил... вчера я начал писать, сегодня решил, если даже мама виновата, не буду писать. Мама не виновата! — выкрикнул он.

Заключение было неожиданно, никак не вытекало из всего предыдущего и из его собственных слов. Он повторил упрямо и твердо:

— Не виновата.

— Правильно, Тёма! — обрадовалась Надежда Романовна и снова хлопнула в ладони и незаметно подмигнула директору.

— Товарищ спецкор,— поправила мать.

— Правильно, товарищ спецкор!

— Писать статью буду я,— дерзко перебила Королева Марго.— Напишу, что думаю обо всем, и пошлю в газету. Может быть, в «Комсомольскую правду». Ясно, Артем не будет публично судить свою мать. Напишу статью я.

— Позор! — упавшим шепотом выдохнула Надежда Романовна. Почему никто не реагирует? Молчат, как в рот воды набрали.

Но в это время депутат, безмолвный за весь разговор, спросил:

— Мой черед?

И Надежда Романовна затрепетала в волнении, понимая, что близится развязка. Разумеется, депутат обелит завгороно. Зачем и приглашен? Они с Анной Георгиевной на школьной комиссии горсовета встречаются, Анна Георгиевна не нахвалится им. «Фрезеровщик, а в рассуждениях о воспитании молодежи другому педакадемику не уступит». Анна Георгиевна — идеалистка. Всюду ей мерещатся положительные образы. Впрочем, депутат по внешности действительно смахивает на академика: один лбина чего стоит, огромный, как лопата, взгляд острый, и насмешечка блуждает у губ. Этой насмешечки Надежда Романовна побаивалась.

— Кратко скажу,— начал Оленин.— Проводили педагоги на пенсию товарища. Скажем точнее: проводов не было. Отпустили на пенсию. Вроде все в норме, по закону, кроме того, что провода позабыли устроить. Шито-крыто получилось! И торопливенько... Знаю от дочери и товарищей ее. Наши ребята со всячинкой, а когда до серьезного дойдет, по справедливости судят. А слышали, как о таких происшествиях Владимир Ильич говорил? Формально, говорит, правильно, а по существу издевательство. Пригвоздил: из-де-вательство. И тут — вроде пенсия благо, а выходит, и благо можно во зло повернуть.

Надежда Романовна обмерла, услышав такой убийственный разговор, скрепленный суждением Ленина, и в трепете ожидала, что будет дальше. Директор снова дотемна позеленел.

— Вы и повернули во зло,— продолжал депутат, с убийственной презрительностью обоих их оглядев.— Не издевательство разве? Хороший педагог, советский человек, для нее в работе вся жизнь, и силы при ней, и способности, а ей нет работы. Лишили. Зачем? Здесь говорили. Повторять не стану. Скажу только, как называется это «зачем». Протекционизм. Скверное словечко, а на практике того хуже, и с этим порочным явлением мы ведем и будем вести без пощады борьбу. Пусть про то знают людишки, кто о своей карьере и выгоде больше, чем о деле, заботится. Пусть те людишки знают, что совет-

ское общество не на словах, и правила жизни у нас советские, то есть живем по совести, а у кого совесть уснула, тем с нами не по дороге. Пусть делают вывод, пока не вовсе опоздали.— Он помолчал и несурово Анне Георгиевне: — Как вы о своей ошибке мыслите, товарищ завгороно?

Он удивительно угадал задать ей вопрос! Всю ночь, все утро и сейчас, слушая выступления, она думала, спрашивала себя: в чем я ошиблась?

Ребята и молодая учительница не в том винили ее, в чем она была виновата. Ни намек не давала она устроить знакомого парня на место старой учительницы. Протекционизма с ее стороны не было. Что же было, отчего произошла вся эта плохая история? Целых три года она, руководитель большого дела, не сумела заметить, что рядом услужливый, льстивый, неискренний, хитрый чиновник, жизненный девиз которого — угождать. Не всем — начальству угождать: «Анна Георгиевна, чайку горячего! Анна Георгиевна, на вас лица нет, отдохните».

Эх ты, руководитель, подхалимство приняла за симпатию! Жале-ла, что брошена мужем, страдает. Жалей, а улыбкам и льстивым словечкам не поддавайся. Знай, кто с тобой рядом, кому доверяешься. Ведь она со своей робкой и фальшивой душонкой так поняла, что ты с ней заодно. И про Утятину-то как она поняла? Как приказ поняла. Исполнять кинулась. Любими средствами исполнять тайное распоряжение начальства. Оно чем потаеннее, тем важнее, тем доверия к подчиненному больше, что на ушко отдано приказание. Исполнять, исполнять! Любими средствами.

Так что же это? Ошибка твоя, товарищ завгороно, или вина?

Анна Георгиевна не стала говорить вслух, о чем думала всю тяжелую ночь. Не стала изобличать инспектрису с ее преданным взглядом, осунувшуюся и постаревшую за час разговора, ни директора, который все мученически морщил лицо, крепко притиснув руку к груди. Не от слабости она промолчала о них. Оттого, что не хочет делить с ними вину, не хочет переложить на них хотя бы часть своей ошибки-вины. Она, Анна Георгиевна Зорина, отвечает за все. И будет сама находить и создавать новые отношения с людьми, с которыми и дальше работать. И исправлять зло не с кем-нибудь, с ними. Поэтому она вслед за депутатом сказала кратко:

— Утятина в качестве педагога не знала, он еще никакой педагог, вырастет, надеюсь. Нам нужны учителя, я его назвала потому, что мать его знала и за ним плохого не знала. А вот что не проверила, как дальше закрутится, плохо. Получен урок. И задача. Урок запомним. Задачу будем решать.

Вот и все.

— Нелегонькая задача, Анна Георгиевна,— с участием сказал депутат.

—И решать как, не знаю,— грустно вздохнула она.

На что он ответил:

— Если сразу решение дано — и задачи нет. Для того и задача, чтобы решение искать.

— Леди и джентльмены, до звонка остается двадцать минут,— проверяя ручные, на широком браслете часы, привычно небрежным тоном произнес Гарик Пряничкин.— Продолжаем ждать?

— Продолжаем,— не сдалась староста класса Мила Голубкина. В отсутствие учительницы в кабинете математики, понятно, стоял.

галдеж, но не слишком шумный, в рамках допустимого. Кто листал очередной номер журнала «Юность», кто подзубривал задание на завтрашний день, там решали кроссворд, те играли в фантики — наивная потеха малышей, благополучно дожившая до девятого класса, — и за всем этим слегка взбаламученным морем, не давая ему сверх меры разбушеваться, наблюдала, стоя за учительским столом, Мила Голубкина, каждого держа в поле зрения. Характер есть характер. Мила Голубкина уродилась с твердым характером.

— Ребята! Двинем всем классом в гороно, — вдруг сказал кто-то, захлопывая приключенческий роман. — Станем грудью за Ольгу Денисовну.

— А что? И верно. Выскажем коллективное мнение учеников.

— Ребята, а ребята! Напишем петицию.

— Чепуха, не пройдет. Мы не английский парламент. Наше оружие — устное слово.

— Вообще безобразия, ребята, сидим как ни в чем не бывало, ведь знаем, что приехал газетчик, в гороно обсуждают письмо Королевы Марго, а мы сидим, паиньки, детки...

— Верно, ребята, пошли!

Класс зашумел. Один за другим поднимались, хлопали крышками столов.

— Спокойно! — повысила голос староста класса Мила Голубкина. — Там без нас разберутся.

— Леди и джентльмены, тем более нам здесь нечего ждать, — твердил свое Гарик Пряничкин. — Она не придет.

— Ладно, — неожиданно сдалась Мила Голубкина.

Она испугалась, вдруг ребята и верно двинут всем классом в гороно, поднимут гвалт. А спросят с нее.

— Ладно, расхлдимся, — согласилась староста класса. — До звонка десять минут. Совещание там, наверное, кончилось, но к чему Королеве Марго приходить под самый звонок? Расходимся, ребята, по домам. Тихо, не топать. Я отвечаю. Не подводите, ребята.

В ней жил инстинкт благоразумной практичности, в этой нешумной, уверенной, не ведавшей сомнений и колебаний пятнадцатилетней общественной деятельнице.

Девятиклассники улетучились из школы так быстро, ничем не нарушив порядка, что Мила Голубкина удовлетворенная пошагала домой, спокойно радуясь жизни.

Ульяна и Женька, как всегда, вышли вместе. Впрочем, они близкие соседи, почему бы им не возвращаться вместе из школы? Некоторое время шли молча.

— Что у них там, а? — задумчиво спросила Ульяна.

— Борются за правду. Королева Марго не подведет. Обещано — сделано. Не подведет.

— Мой отец тоже, — слегка смущаясь и краснея, сказала Ульяна. — Отца пригласили в гороно.

— Твой отец мировецкий мужик, — сказал Женька.

— Да, — согласилась она.

В суждениях ребят об отцах нередко слышалось: прошлый век. Тот же двадцатый, но уже прошлый. Папы и мамы, вы поколение послевоенных лет. Вы ютились в подвальных этажах и в коммунальных квартирах, ели впроголодь, что дадут по карточкам, вы думали словами и мыслями очередного номера газеты. А мы хотим думать своим умом. Глядеть своими глазами.

Примерно так рассуждали некоторые ребята, гордясь и щеголяя независимостью и смелостью мысли. Громче всех Гарик Пряничкин. В рассуждениях Гарика была ухмылка, неприятная Ульяне. Ей каза-

лось, что, слушая Гарика, она изменяет отцу. Она не желала изменять отцу. С Гариком против отца? Ни за что! Но не всегда хватало находчивости вступить с Гариком в спор. Уж больно он был языкастый, приметливый ко всяческим недостаткам, которые конечно же есть. Из школы выставили Ольгу Денисовну. Что выставили, ребята были уверены: не угодила директору, так считали они. А Марья Петровна у директора ходит в любимчиках. Марья Петровна, как и староста их класса Мила Голубкина, ни в чем не сомневается, ничто ее не смущает, не вызывает вопросов. Невозмутимость булыжника.

На уроках во время объяснений учительницы ребята нередко всем классом следили за ней по учебнику.

— Во дает! Слово в слово! — почти громким шепотом восхищался кто-нибудь.

Марья Петровна не слышала. Она умела не услышать то, что ей было невыгодно. А после урока юрк в кабинет директора.

— Освещает обстановку, — говорил Гарик Пряничкин.

Ольга Денисовна не юркала в директорский кабинет. И что же? В нетях.

— Заключаем, — усмехался Гарик, — такова жизнь, детки. Жизнь сложна и противоречива, детки.

— Товарищ депутат, объясни, — спрашивала Ульяна дома отца. — Ведь он верно говорит, жизнь сложна и противоречива. А мне не хочется с ним соглашаться.

Отец отвечал:

— В собственный пуп смотрит твой Гарик. Ни до чего ему дела нет, лишь до себя. Одно на уме: давай, давай! А красивые слова, что с них? Дунь — и рассеются. Как дым.

— Товарищ депутат, когда вы были молодые, вы были лучше нас? — спрашивала Ульяна, готовая услышать: «Да уж, получше. Ни джинсов, ни мини, ни косм до плеч. Своим горбом, вот этими лапами страну из руин поднимали и подняли...»

Что-то в этом роде ожидала услышать Ульяна.

Отец отвечал:

— Лучше вас не были. По-своему и плохие и хорошие были. А вы против нас другие.

— Какие мы другие?

Сложный вопрос, сразу не объяснишь. Отец не брался все объяснять.

— Жизнь полегчала, вы побогаче нас, когда мы молодыми были, живете, — говорил отец. — Образованность куда выше нашей. В Москве в Третьяковку помнишь очередь? Сколько часов продежурили? А к нам из столицы театр на гастроли придет, без моего депутатского билета сунься-ка, ночь прстоишь.

— Папка, не привирай, много ты меня своими депутатскими привилегиями балуешь?

— Не много. И того бы не надо. Я о том, что к культуре у нынешней молодежи тяги больше, если внимательно на жизнь поглядеть. Но и к пивнушкам и ресторанам тоже замечается тяга, это уж минус. Этого минуса у вас, нынешних, больше, чем было у нас, таиться не станем. Тут не прогресс. Да еще старичков-ворчунов развелось среди молодежи. Двадцати не исполнилось, на папашиных хлебах, своей копейки не заработал, а оратор! а прокурор! Всё и всех подряд судит. Я таких сорняками зову. Сорняк, он сапальный, в глаза так и прет. И вроде, кажется, много его. Больше, чем на самом деле есть. А есть. Но знаю, и ты, Ульяна, знаешь: не дай бог стряется над государством беда, война грянет или что там еще, — подниметесь, как мы поднимались.

— Точно, товарищ депутат! Ты у меня знаешь кто? Настоящий человек, как сказал писатель Борис Полевой.

Между тем Женька давно безмолвно кидал на Ульяну смущенные взгляды.

Она заметила наконец. Вернее, заметила давно, но сделала вид, что только сейчас.

— Слушай, вот эти твои...— Она вынула из школьного портфеля листок.— Твои так называемые стихи. Думаешь, не углядела, как ты их мне сунул. А и не увидела, все равно догадалась бы. «Луизе де Лавальер»,— с насмешливой торжественностью начала она и продолжала читать на ходу:

Я вам решил письмо послать,
Страдал, не зная, как начать.
Так много хочется сказать,
Так много мыслей, а слов нет.
Пожалуй, все-таки начну,
Начну о том, как один раз
Я захотел увидеть вас,
Пришел к калитке вашей
И получил немой отказ...

Она оборвала чтение и расхохоталась.

— Где ты нашел калитку? Какая калитка? На одной площадке живем. Увидать захотел? В школе каждый день видимся. «Преданный вам Рауль, виконт де Бражелон»,— прочитала она подпись под длинным столбцом рифмованных строк.— Рауль! Высмеяли бы ребята, если б узнали.

— Не говори никому! — испугался он.

— Непременно развоню на всю школу. Эх ты, Рауль! Ужасно плохие стихи, не сердись, Рауль. Ведь сочинения ты пишешь прилично. Ольга Денисовна зря не похвалит.

— Я пошутил,— конфузливо бормотнул Женька.

— Шути лучше прозой.

— Отдай мои ужасные, плохие стихи.

— Нет уж, спрячу на память... для смеху.

Она сунула листок в портфель.

— Ромео и Джульетта семидесятых годов двадцатого столетия не в силах закончить любовный дуэт,— догоняя их, продекламировал Гарик Пряничкин.

— Если до Шекспира дошло, так ты у нас Полоний почище шекспировского,— отрезал Женька.

— Элементарно и непохоже,— без гнева возразил Пряничкин.

— Трижды, четырежды Полоний!

— Хоть сто! Непохоже. Где ты видел, чтобы я пресмыкался? Сгибал спину? Лебезил? — надменно бросил Гарик, выше вскидывая красивую голову.

— Ты внутри лебезишь, а надо будет...

— Женька, оставь, не наускаивай,— примирительно сказала Ульяна.— Ребята, не надо. Серьезный день, решается судьба человека. Больше. Решается, есть ли правда на земле.

— Ха! — не засмеялся, а язвительно выговорил Гарик.

— Чего гочешь? — охрипшим басом возмутился Женька.

— Гогочут гуси. Есть ли правда на земле? Ха! Решают, как все, всегда, везде. Живем в джунглях по законам джунглей.

— Что это?

— Сильный ест слабого, дабы существовать. Слабак, сторонись. Сильный идет, прочь с дороги!

— Сильный. Не спорю,— до отчаяния его не любя, притворно смиренно согласился Женька.— Пряниками отъелся. Пряничкин, дай пряничка.

Это была давняя, с первых классов, злая дразнилка, доводившая до бешенства Гарика. «Пряничкин, дай пряничка!»

Теперь они почти взрослые и, конечно, не позволяют себе глупое ребячество — дразнилки. Кроме того, Гарик действительно начитан, умен и остер. Глупо дразнить его «пряниками», не вяжется. Но до сих пор малейший намек на будничность, лишенный всякой поэтичности, смешноватый смысл его фамилии — его, выдающегося в школе интеллектуала,— ничтожный намек приводил Гарика в сумасшедшую ярость.

Он сдержался, хотя грудь буквально ломило от боли и злобы. Он ответил уничижительно:

— Ты, Петух, человек третьего сорта.

Он на голову выше Женьки, тонкий, гибкий. Красавчик. Спортсмен. Притиснулся к Женьке плечом. Они шагали плечо к плечу.

— В сторону, слабак,— теснил Пряничкин Женьку. И по словам: — Тре-тий сорт.

— А-а-а!

Красавчик спортсмен не успел отстраниться, Женька размахнулся и изо всей силы шмякнул портфелем его по лицу. Тот побелел. Белые губы сошлись в тонкую черточку, синь в глазах полиняла — слепые бельма глядели на Женьку. Ульяне вообразилось, что-то острое блеснуло в руке.

— Не смей! — закричала Ульяна, кидаясь между ними.

Гарик хотел ее оттолкнуть, а Женька не помня себя снова с размаху ударил его. Еще, еще. Неизвестно, что было бы — наверное, дикая драка. Но тут на всю улицу затрепал милицейский свисток.

Милицейский с подобающим милицейскому положению достоинством не спеша пересекал улицу, направляясь к ним. У Пряничкина часто, с хрипом поднималась грудь, но стеклянный синий блеск возвращался в глаза. Не отрывая стеклянного взгляда от Женьки, он сказал тихо:

— Встретимся. Встреча произойдет без свидетелей.

— Не смей,— так же тихо ответила Ульяна.— Не будет встречи без свидетелей. Я не позволю.

— Джульетта в роли Жанны д'Арк,— усмехнулся он.

— Не будет встречи без свидетелей,— повторила она.

— Адью,— кивнул синеглазый и свободно, легко проследовал мимо милиционера, полушутя отдав ему честь.

— Воспитанный парень,— одобрил милиционер. И Женьке строго: — Ты чего его лупил? В отделении побывать захотелось?

— Дружеская шутка,— сказала Ульяна.— Женька, айда.

Они вступили на бульвары. Сентябрьские бульвары, полные очарованной тишины, с бесшумно опадающими на красноватый гравий дорожек желтыми листьями. Тихий свет осени встретил их на бульварах.

— Хочу жить, а не влачить существование,— угрюмо пробурчал Женька.

— Похвально,— отшутилась Ульяна.— Но с чего это вдруг?

— Я мужчина. Я должен тебя защищать, а не ты меня.

— Так уж получилось, Петух. Отец меня мальчишкой воспитывал. Отец мне с детства все твердил да твердил: будь достойна имени Ульяны Громовой. Не так это легко. А разве ты, Петух, сплеховал? Ты на высоте был, Петух.

— Ух, гад! — просипел он.— Мне кажется, такие должны быть

уродами, чтобы по морде сразу можно узнать, каков он и кто. А он красавец. Несправедливо распорядилась природа.

— Женька, а помнишь, что говорил о красоте Лев Толстой? Кого красит улыбка, тот красив. Вот и ты... Женька!

Он поднял голову, услышав какую-то новую, звенящую ноту в ее голосе, увидел отвагу в ярких строгих глазах.

— Ты что? — тревожно спросил он.

— То. Непонятно?

— Не... не знаю.

— Я в тебя влюблена.

Он молчал.

— Не веришь? Другой что-то ответил бы. Как-то, что ли, откликнулся. А этот истукан истуканом. А я в него влюблена!

Она остановилась, он тоже стал, пораженно, в немоте глядел на нее. Она чуть приподнялась на цыпочки и поцеловала его. На улице, среди бела дня, на глазах у людей. Не где-нибудь в Париже или каком-нибудь развращенном Стокгольме — у нас, в районном центре, на бульварах девчонка-девятиклассница целует мальчишку! Да что ж это делается! А если бы увидела Марья Петровна? Что сказала бы Марья Петровна?

17

— Мама! Я дубина, дубина, дубина!

Он стоял против нее в конце продолговатого стола, вытянув руки по швам, провинившийся школьник, стыд и раскаяние кричали из его испуганно расширенных глаз.

Разговор кончился, все разошлись, кроме спецкора. Да еще выглядывала из-за кадки с остролистой пальмой математичка М. К. Вдруг она сорвалась с места, подскочила к Артему, взяла за руку.

— Не сердитесь на него, Анна Георгиевна. Его ошеломили факты, другими словами — Утятин. Все от Уяткина. Мы и не предполагали о вас. Я, например, винила директора, хотя подозревала немного, что-то вертелось, но... словом, Утятин так представил, будто вы главный инициатор всего. Понятно, Артем был убит. Разум не мог спорить с фактами, а сердце не верило, вы понимаете? Ах, Анна Георгиевна, мы много пережили, и я свою статью не буду писать наобум. Мы с Артемом все строго продумаем, а у меня прямо груз с плеч, потому что если бы мать Артема...

— Девочка, я поняла,— сказала Анна Георгиевна, прерывая стремительный поток признаний и восклицаний Королевы Марго.— Поняла и рада. Подумаем вместе, как быть дальше. Союз?

— Союз.

Артем быстро обогнул стол, обнял мать, крепко поцеловал в висок. Так же быстро шагнула Королева Марго, но остановилась, залилась краской и вопреки врожденной отваге потупилась. И мать снова все поняла и обрадовалась налетевшему, как майский тютчевский гром, счастьем сына. Надолго ли? Если бы навсегда!

Они чтили, взявшись за руки, как теперь принято среди молодежи. Мать проводила их долгим взглядом. Ей все нравилось в девушке — легкость походки, прямые волосы, тонкие черты лица и даже дерзость ее нравилась.

— А я сегодня прогуляю весь день. Нам с Артемом о многом надо поговорить, такой уж день сегодня особенный! — обернувшись от двери, сказала Королева Марго.

«Собирается прогулять и докладывает об этом завгороно, разве не дерзость? Извините, прогулы я поощрять не намерена».

Но за ними уже захлопнулась дверь. Разумеется, Анна Георгиевна не побежала вдогонку. Она сама сегодня ушла с работы раньше обычного. Предстояло еще порядочно часов, звонков, приемов, всевозможных вопросов и прочего. А она ушла.

По городу гулял ветер. Качал на бульварах клены, березы и липы, плёскал из стороны в сторону ветви, срывал листья, швырял охапки ввысь, червонным ливнем осыпая на землю. Анна Георгиевна привычным путем шла вдоль милых осенних бульваров, и мысли о сыне не уходили из головы: «Вздорные подозрения принял за факт. Усомнился в матери. Как грустно. Но я не сержусь. Нетерпимая, нетерпеливая юность, я не сержусь! Сердцем не поверил, спасибо. Тёмка, ты встретил любовь. Будь счастлив и больше верь сердцу».

А всегда ли сердце верный судья? Вчерашний вечер с неотвязной тоской вспоминался Анне Георгиевне.

Нянька ждала в кухне ужинать.

— Итак, «инцидент исперчен», как мне выложил Тёмка,— сказал Игорь Петрович, занимая свое место за пластмассовым в разноцветные шашечки столиком.

— Не будем сейчас об этом,— ответила Анна Георгиевна, и муж, не настаивая, шутил с нянькой, веселил дочку, аппетитно поужинал.

Но в спальне, когда Анна Георгиевна, готовясь ко сну, расчесывала перед зеркалом рассыпавшиеся по спине волосы, снова начал:

— Все обернулось благополучно.

— Для кого благополучно? — резко спросила она.

— Для нас. Статьи не будет, скандала не будет. Сорвался Тёмкин дебют — переживет. Дождется другого, более серьезного случая.

— Случай был очень серьезный.

— Брось, Анна, преувеличивать. Правда, будь учительница склочницей, могла бы попортить нам нервы, но она в здравом уме, нормально порядочный человек.

— Откуда ты знаешь?

Он пожал плечами.

— Была у меня. Врачу достаточно одного приема, чтобы определить, истерик и псих перед ним или нет.

— Плохо у меня на душе,— после паузы сказала она.

— Экая дурацкая манера вечно все брать на себя, вечно винить себя, вечные недовольства собой, самоанализы, ты самоед, Анна. Надо выработать линию поведения, и точка. Директору разнос. Инспектрису прибрать к рукам. Усилить контроль. И точка.

— А учительница?

— Формально все в норме,— беспечно возразил Игорь Петрович.— А твое великодушие изобретет что-нибудь, чтобы ее и себя успокоить.

— Игорь! Какой ты иногда равнодушный. Любишь себя, свой дом, семью. А к чужим... ты не сделаешь намеренно дурного, но... тебе все равно, что с другими...

Он надулся. Он не раз убеждался, что у нее своя линия поведения, с его точки зрения, почти всегда непрактическая. Может быть. Он был беспечен и благоразумен, ее здоровый, сильный, жизнерадостный муж. Он был настолько здоров, что все беспокоящее и неприятное инстинктивно от себя отстранял.

Он надулся, ушел в кабинет. Она лежала на широкой тахте без движения, каменная.

Сна нет. Глаза не смыкались.

Она привыкла жить в двух планах. Общественный — где она самостоятельно мыслящая, отвечающая за все сама личность. Домаш-

ний — милый, уютный, беспечный, который мог быть только с ним, не мог быть без него.

Почему она не хочет обсудить с Игорем, что свалилось на них? Чутье, вернее опыт подсказывал: не надо, он не поймет. Ведь он сказал: ничего не случилось.

Анна Георгиевна не могла заснуть. Сон бежал от нее.

Через час или два он вошел, не зажигая электричества, тихонько разделся. Слышал он, что она не спит, окаменевшая?

«Моя богиня Афина», — привычно звал он, даже когда она спит, когда очень устала. Сегодня нет. Осторожно, стараясь не скрипеть пружинами тахты, улегся. Мгновенно уснул.

...Вот дом Ольги Денисовны. Старый купеческий особняк. Две кариатиды в греческих тогах поддерживают обращенный к бульварам балкон. Дверь почему-то оказалась не заперта, Анна Георгиевна вошла без звонка в полутемную, заставленную шкафами и разной домашней утварью прихожую, показавшуюся ей мрачной, особенно по сравнению с ее собственной чистенькой светлой квартиркой. И комната с высоким лепным потолком в одно окно была узка и длинна, видно было, что она лишь небольшая часть когда-то просторного и, наверное, эффектного зала, перегородженного и поделенного в первые годы советской власти на несколько тесных комнатушек. Потертый диван, выцветшие занавески, небранная посуда на столе и какие-то еще увлеченные наблюдательным глазом Анны Георгиевны признаки говорили о неуютном житье-бытье учительницы.

Так вот кто та спортсменка, «бывшая звезда», не раз встречавшаяся ей на бульварах! Дома она выглядела не так импозантно, за бывшую звезду, пожалуй, не примешь: унылость в лице и морщины густо набежали на лоб и к вискам.

— Садитесь, — пригласила Ольга Денисовна.

Они сели рядом на диване. Учительница молчала, не помогая пришедшей начать знакомство.

— Жаль, Ольга Денисовна, что мы не знали вас близко. Не судите меня слишком строго. Одних средних школ в нашем городе восемьдесят. А детские сады? А сельские школы!

— У вас большая работа, большая ответственность, — сдержанно ответила Ольга Денисовна.

Странно, что она не узнавала завгороно на бульварах. Впрочем, так была вся в себе, поглощена своими невеселыми мыслями, что ничего не замечала. Люди, жизнь шли мимо, не задевая ее.

— Будем действовать, Ольга Денисовна? — спросила Анна Георгиевна. — Вы хотите вернуться в свою школу?

— При теперешнем директоре нет.

— Вы считаете, его надо уволить? Куда-то перевести?

— Не хочу брать на душу грех.

— Пожалуй, такая позиция — непротивление злу.

— Не знаю. Не хочу брать на душу грех. Да и не станете вы его ни увольнять, ни переводить. Слова.

Анна Георгиевна вздохнула. Не слова. А где выход? Чиновник без сердца. С одним лишь соображен.ем, как прочнее закрепить свою карьеру. Добиться внешнего порядка и благополучия, иногда показного, ловкий, практический, найдет лазейку ускользнуть из трудной ситуации. Подыщет заслугника доказать, что и вины-то нет. Убил человека — вина, а тут что?

А что душу ранили? И не только учительнице? Ребята всё видят, всё знают, всё понимают. Если мы бессердечны, дано ли нам воспитывать большие чувства в учениках?

...Так как же с директором?

А старший инспектор? У этой другое оружие: улыбки и лесть.

Товарищ завгороно, открылись глаза? Идиллия кончилась? А жить надо, работать надо. Думай, думай, Анна Георгиевна.

— Ольга Денисовна! Зачем вы тогда не пришли ко мне? Расказали бы, что происходит. Заперлась в раковину, как улитка.

Ольга Денисовна, при появлении завгороно оскорбленно замкнувшись, сейчас внимательно на нее поглядела.

Моложава, привлекательна, взволнованна. Она права: если бы тогда побороться! Быть бы увереннее.

— Таких, как вы, надо защищать,— как бы слыша ее мысли, говорила Анна Георгиевна.— Вы не умеете отстранять плечом. И толкаться локтями.

— Не умею,— презрительно покривила губы учительница.

«И счастливой не умеет быть»,— подумала Анна Георгиевна, снова окидывая взглядом не располагающую к уюту, одинокую комнату. Только книги ее украшали. Грубо сколоченная, незастекленная полка сплошь занимала стену, маня пестрыми корешками книг. И крупное фото молодого человека с высокой шеей, чуть откиннутой назад головой, ясным, открытым лицом.

— Муж,— сказала Ольга Денисовна, поймав ее вопрошающий взгляд.— Убит на войне.

«Могла бы быть счастливой»,— подумала Анна Георгиевна.— Тридцать лет после войны, а все встречаешь жертвы».

— Подкралась старость. И окончателен приговор,— сказала учительница.

— Неправда! — бурно воспротивилась Анна Георгиевна.— Не приговор. Поглядите, осень. Вся горит, пылает, радуется, празднует. А если и ненастье, небо в тучах — все равно хорошо, все времена года прекрасны. Я знаю, все времена года хороши, в каждом своя сила и прелесть, Ольга Денисовна! Вы нужный человек, очень нужный,— просила, требовала Анна Георгиевна.— Вы талантливая учительница, но не тем только вы нам нужны. Ваше благородство нужно нам. Иначе,— она снизила голос, будто от кого-то опасного говоря по секрету,— иначе эти практические, с локтями человеки захватят наши позиции и поведут наших детей...

Возбужденная собственной фантазией, она рисовала поистине устрашающую картину будущности наших детей, если эти «человеки» безраздельно будут их вести к какому-то скучно-благополучному существованию, тихонькому, гладенькому, вместо поисков, риска, бурь и мечты. Вы согласитесь с этим, Ольга Денисовна?

Учительница молчала. Надо бы что-то сказать, а не говорилось, будто язык к нёбу присох.

Почему-то только теперь она заметила беспорядок в комнате и ужасно застыдилась. Взяла со стула брошенную кофтенку, сунула в платяной шкаф. На столе посуда, не убранная за несколько дней. Она взяла чашку. Анна Георгиевна живо принялась помогать ей собирать тарелки и чашки, приговаривая:

— У меня такой же характер. Когда решается что-то важное, перелом жизни намечился, тут на меня и нападает: мою, чищу, скребу. Это женское. Мужчина не станет.

— Да,— согласилась Ольга Денисовна.— Он,— кивнула на фото,— ничего не смыслил в хозяйстве. Примется помогать, то опрокинет, то разобьет. А что было однажды...— Она остановилась, не донеся до буфета тарелку. — Что было... Я беспартийная, но не думайте, в пред-рассудки не верю, а все-таки что-то есть... Тосковала я очень. И вот как солнечный день, вся природа красуется, а я слышу, он,— она кивнула

на фото,— грустно так мне говорит: «У тебя солнце, а меня нет». Меня нет, говорит... Но это после,— перебила она себя.— Я о другом. Я еще не знала тогда, что с ним на фронте. Утром проснулась, в окошко: тук-тук. Первый снег, все бело, светло, а в окошко: тук-тук. Синица на подоконник прилетела. Никогда не бывало, чтобы прилетала синица. И я сразу все поняла. В тот день или немного после принесли похоронку. Не похоронку, мы незарегистрированными жили, письмо принесли от товарища... Ах, для чего это я? И себе рану бережу и вас печалю. Сколько посуды накопилось невытой, просто срам!

Они понесли посуду на кухню, где их встретила сгоравшая от любопытства соседка Нина Трифоновна, разрядившаяся для неожиданной гостьи в импортную польскую или шведскую кофточку и сапожки на платформе.

«Вроде посветлела наша Ольга Денисовна»,— догадалась она, но допытываться не стала, а пригласила ее с гостьей чаевничать.

— Крепенького заварила, пожалуйста, сейчас Вовка придет, за тульскими пряниками побежал, он у меня сластоежка, да садитесь, он мигом примчит, оглянуться не успеет, слышь, по лестнице топают, милости просим, гости дорогие, садитесь.

Анна Георгиевна поставила посуду на стол, подошла к учительнице, обняла.

— Я вам рада.

— И я вам рада,— ответила учительница.



МИХАИЛ ЛЬВОВ



ПОРТРЕТ

В МОЛОДОСТИ

Носили строгие медали
На гимнастерках фронтовых.
В аудиторию кидали
Звенящий молодостью стих.
Чуть-чуть под классиков «играли»
На фотографиях своих.
А если вдуматься — игра ли?
Ведь мы же были дети их.
И этот молодости образ,
Быть может, сущность, не игра?
Души таинственная область,
Рывок в сегодня — из вчера?
О ты, орлиность глазомера,
И эта молния, и мера,
Не пропадай, не уходи,
Хотя б как замысел, как вера
Ты сохранись в душе, в груди.
Пусть жизнь те игры прекратила
И уточнила, кто есть кто,
В самих себя нас превратила,
Но это — тоже — кое-что!
Не будет преувеличением
Предположить и то опять,
Что станет с милым увлечением
Другая юность в нас играть...
И вспыхнут вновь аплодисменты,
И не прервется никогда
Та лента жизни и легенды,
Союз иллюзий и труда.

ЗАБОТЫ

Опять пришли и разбудили
Меня в ночи мои дела,
Сроднились так (не разлюбили!),
Со мной и явь и сны деля.
И если б в пору пробужденья,
Возле меня присев на стул,

Художник эры Возрожденья
Волшебно на меня взглянул —
Узрел бы он сквозь все завесы:
Вокруг неюного чела
Роятся ангелы и бесы
(И нет им счета и числа...),
Заботы, страсти, интересы,
Наметки, планы и дела...

...Я с тем незримым «ореолом»
И в ежедневщине кружу.
Не нахожу его тяжелым
И даже нужным нахожу.

ДРУЗЬЯМ

Памяти М. Луконина

В житейских дипломатиях нескладны,
Нежны, как дети, в дружбе и семье,
Вы были неизменно беспощадны
К великолепным рыцарям — к себе.

Никто из вас вовек не возвратится,
Но ваши лица чудятся кругом,
И сердце вновь, как раненая птица,
На обелиски рушится крылом.



МАРИЭТТА ШАГИНЯН



ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ

Воспоминания

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

МОСКВА-МАЛЕНЬКАЯ

Gesellschaft... (r) eine Anzahl Personen, die durch etwas Gemeinschaftliches verbunden sind...

Из старого словаря¹.

«Если мы удаляемся в уединение кельи, чтобы в глубоком созерцании, так сказать, в глубинах нашего мозга, отыскивать истинный путь, по которому мы завтра думаем шествовать, то при этом следует принять во внимание, что подобное напряжение мысли только потому может иметь успех, что мы уже раньше, быть может даже бессознательно, при помощи памяти, перенесли из мира в келью наш опыт и наши переживания».

Цитата из Дицгена, приведенная Лениным².

Два слова наперед

Мне пришлось начинать эту главу несколько раз, и я не уверена, что и это, шестое начало не полетит в корзину. Казалось бы, очень легкая глава, почти готовая в мыслях и в сердце и даже отчасти уже написанная лет десять назад, — портрет большого русского музыканта в рамке большой нашей дружбы. Но вот как возьмусь — придорожными столбами стоят мои э п и г р а ф ы. Они совсем о другом. Но они не случайны. Всякий раз перед рассказом об очередном этапе моего роста, независимо от главного содержания этапа, выходят из созерцательного тумана мыслей, словно резкие и твердые кристаллы гор сквозь клубящиеся облака, эти мои э п и г р а ф ы — стоят, и не уходят, и как будто напоминают мне очень важный эстетический закон: в оболочке сюжета должна лежать тема. И пусть читатель запасется терпением. Пусть он сквозь долгие рассуждения почувствует, как важно увидеть очертания этой темы сквозь увлекательные витки сюжета жизни. Ведь не зря же не только мы, грешные, а такой твердолобый король романа, как Вальтер Скотт, испещрял эпитафиями из старинных баллад свои сюжетные повествования; и не зря Пушкин ставил короткие, элегантные, неожиданные по своей как будто отдаленности от текста, навеки запоминающиеся эпитафии. Они говорят читателю: смотри себе под ноги, тут глубже, чем кажется!

¹ И. Я. Павловский. Немецко-русский словарь. Рига — Лейпциг. 1902, стр. 602 («Общество...»). Некоторое количество личностей, связанных между собой чем-то общим. Приведено как второй смысл слова «общество», находится с кем-либо в обществе. Также другие старые словари.

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 366 (Иосиф Дицген, «Мелкие философские работы»).

I

Всякий раз, въезжая в старую, прошлую Москву — и притом с любой стороны: с юга, с севера, с востока, с запада, — испытывали мы какую-то «климатическую» радость. Зимой она охватывала нас пухлым белоснежным покровом улиц, сугробами снега, почти не убравшегося, а только сметаемого дворниками, как скошенная трава, к тротуарам; и хотя этот снег был похож на сахарную пудру, но в отличие от сахара он имел запах усыпляющей свежести. С четырех часов зажигались редкие газовые фонари, но усыпляющая свежесть проникала запахом в ноздри, и ни в какой мороз не было чувства холода. Весной вкусно чавкали широкие «деревенские» копыта извозчиц клячи по коричневой жиже талого снега, оскальзываясь на обнаженных брызжаниках и обрызгивая пешеходов. Ломкий звон «сорока сороков» отдавал своей медью в необыкновенно чистом от дыма и всякой химии и необыкновенно, пленительно грязном от близости грязной земли и ее весенних брызг воздухе. Особом, неповторимом воздухе тогдашней Москвы, провинциального... так и хочется сказать «городиска», если вспомнить, по каким только улочкам не тащился тогда от вокзала извозчик. И возникало вместе с этим воздухом чувство родного угла, родины.

Я возвращалась из Петербурга измученная и постаревшая — словно вползала, как раненый зверь, домой, в родной город. Был ранний снежный декабрь 1911 года... Но сейчас — вместо продолженья, вместо подведения итогов всего испытанного в Петербурге — я хочу сразу же отклониться в сторону, опять окунуться в «апарты» (*à part*³), как назвал один умный читатель мои постоянные отклоненья в сторону. Когда хочешь освоить далекое прошлое, прибегаешь к помощи всего пережитого, всей панорамы жизни, — и чтоб рассказывать сейчас хронологически дальше, мне нужно перескочить на десять—двенадцать лет вперед, к опыту, пережитому мной уже в бальзаковском — почти сорокалетнем — возрасте, после Октябрьской революции.

Итак, я перепрыгиваю из конца 1911 года на десять—пятнадцать лет вперед, в советское время, в далекое от Москвы место, где вижу себя... вижу себя...

Как ясно я видела себя приехавшей из Петербурга в Москву — постаревшей, усталой, потерявшей веру! И даже наружно, глядясь тогда в зеркало по утрам, безжалостно именовала и чувствовала себя «старой девой». А тут, пережив свыше десятка лет (и каких лет!), я вижу себя молодой, почти юной, полной неукротимых сил, неизбывного, всепоглощающего интереса к жизни. Я вижу себя в далекой газетной командировке в тогдашнюю Армению — с хлыстиком в руке, в заимствованных у кого-то молодеватых, английского покроя бриджах для верховой езды, нетерпеливо разгуливающей ранним рассветным утром у дверей зангезурского укома (тогда еще были у нас не районы, а уезды), поджидая обещанного мне в укоме спутника.

По заданию московской газеты я должна была съездить и описать первое собрание женского актива за несколько десятков километров от уездного центра. Накануне мне нарасказали всякой всячины, а главное — о том, что поездка моя (в Сисиан) не без риска: «В дороге пошаливают».

Мне нравилось, что в дороге пошаливают. Обещанный спутник мерещился мне таким кавказским молодцом с ружьем за плечами, опутанным лентами и патронами, с кинжалом за поясом. И конь верховой... А на привязи у дверей укома подремывали две крестьянские лошадки под седлами, втягивая губами из подвязанных к ним мешков

³ Здесь — как бы отдельно, «отойдя в сторону» (*франц.*).

редкие овсинки. Мне как-то и в голову не приходило связать их со своей поездкой.

Открылась дверь. Я шагнула вперед. И — вместо мужчины с ружьем увидела хорошенькую молоденькую армянку в шелковой блузе, ажурных чулках, городских туфлях. К одной из кляч подставили ей табуретку, чтоб легче было взобраться в седло... Ехать с такой! Злобно, с нарочитой, показной лихостью я вскочила в свое седло и проделала на смиренной укомовской лошаденке все приемы заправского кавалериста: в левую руку уздечку, в правую хлыст, корпус чуть-чуть с наклоном вперед, ноги в стремях без нажима... И мы с ней тронулись в путь.

Первое время мы трусили молча. Потом, не вытерпев, я повернула к ней голову: «Вы дорогу знаете?» «Спросим». Даже дороги не знает! Мы ехали с ней почти весь день и к вечеру, усталые и голодные, благополучно добрались до Сисиана. Перед дверьми сельсовета ее уже ждали несколько человек, и пока она сошла с лошади, встряхнулась, остановилась, давая себе передохнуть, — нарядная и чистенькая, словно только что села в седло, — я, запыленная и злющая, отвела свою лошадь, привязала ее, раздобыла где-то в киоске свежий, ароматный чурек⁴ и двинулась за ней. Она вошла первая в тесно набитую женщинами комнату, и мы обе сели за стол президиума.

На встречу со своей завжен (заведующей женским отделом) — первую встречу — собрались чуть ли не все женщины села, даже бабки и молодухи со своими первенцами на руках, по старинному обычаю повязанные платками от уха до уха, чтобы не разговаривали перед мужчинами (армянское возрастное подобие чадры), девушки и девочки с открытыми лицами, одетые как на праздник, любопытные, чуть напуганные, — новая обстановка сельсовета с керосиновой лампой, с кумачом на столе, желтоватым стеклом городского графина, запотевшего от ледяной родниковой воды, воздух хоть и густой от множества дыханий, но ни на единый горсток не отравленный табаком... Мельком, искоса оглядев собравшихся, пока завжен еще только усаживалась на месте, я сунула ей отломленную половинку чурека — от доброты душевной, как думала про себя в то время. Но если б не чурек, а ядовитую гадючку протянула ей под столом, моя спутница не отшатнулась бы от меня сильнее и не оттолкнула бы мою руку более резко, чем она это сделала в ту же секунду.

Не буду подробно описывать это первое в моей жизни деревенское женское собрание в Армении — как крестьянки оживали постепенно от своей полуиспуганной-полулюбопытной оторопи, как начали отодвигать свои платки вниз, вниз, обнажая рты для ответов, как разглядывали свою молоденькую завжен, щупали на ней материал, шелк ее кофточки, трогали, переглядываясь, шерсть на юбке, и вдруг заговорили все сразу, слаженно, словно инструменты в оркестре после строя, — все это сейчас, когда живем мы уже скоро шесть десятков лет на советской земле и видели этих молодых собственными глазами — и на трибунах Верховных Советов, и на кафедрах школ, на эстрадах театров, на тракторах, у станков, в офицерских мундирах, со звездочками на груди, — все это сейчас знакомо-перезнакомо советскому читателю. Но — завжен — одна — остается в памяти.

И вот после собрания мы с ней вдвоем на сеновале, где нам устроили в Сисиане ночевку, — и я вижу ее бледную руку на серой ткани крестьянской простыни, дрожащую, словно на руле машины. Она жа-

⁴ Читавшие в рукописи эту главу убеждали меня, что «чурек» не армянское слово. Но я и не претендую тут на этнографическую или словарную точность. Для меня это был чурек — общевосточное обозначение хлеба определенной выпечки.

луется на мой вопрос: «Сама не знаю отчего дрожь какая-то пробирает и бессонница — не идет и не идет сон...» Обрадовавшись, что пришла минута откровенности, я обрушилась на нее: «Дрожь какая-то! Еще бы, не есть, не пить,— молодечество, для чего и кому это нужно? Почему вы хлеб отбросили, когда я давала?»

И тут она дала мне урок, который я никогда не забуду, полвека помню, хорошо осмыслила и хочу, чтоб читатели тоже его осмыслили. Завжен приподнялась с сеновала и удивленно посмотрела на меня: «Да как же это можно? Ведь мы были в обществе! Ведь если б я первый раз к ним и сразу за еду — какого же они будут мнения обо мне?!» В о б щ е с т в е! Для нее эта темная, невежественная бабья толпа с повязанными в знак молчания платками на губах, вот эта масса — для нее общество!

Я была воспитана в старом мире. Мне стукнуло тридцать лет, когда Великой Октябрьской революции было всего пять месяцев. И в эти годы в том кругу, где я жила и вращалась, «обществом» мы называли нам подобных по классу, по воспитанию, по языку, по традициям. Когда я назвала в двадцатых годах один из первых моих романов «Дама из общества», то героиня его принадлежала к тому общественному кругу, в который крестьянин не имел доступа,— была такая черта разделения в понимании слова «общество». И завжен, армянская интеллигентная девушка моего круга по воспитанию и общественному слою, всерьез, совершенно всерьез считала вот этих — ну совсем не нашего круга, чужих, из другого слоя — своим обществом! Я вдруг, именно вдруг, с яркой ясностью, как если б небо прорезала молния, поняла, что на историческую сцену пришел новый класс и новый класс принес с собой новое общество...

Это было как озарение. И, кстати сказать, этот урок ранних лет революции, полученный мной от молоденькой армянской завжен, недавно не поняли в одном нашем журнале, издающемся на нескольких языках. Когда по просьбе редакции я написала для них рассказ о моей завжен, весь глубокий смысл полученного мной урока в их переводе на немецкий язык попросту пропал, потому что переводчица перевела слово «общество», «мы были в обществе», немецким словом «собрание» (*Versammlung*), и когда я запротестовала, редакция устроила чуть ли не конференцию, на которой меня («невежду!») пытались вразумить все ее участники, убеждая, что «в обществе» нельзя перевести словами «in Gesellschaft», так как это может быть понято «в торговом обществе», вообще в каком-либо учрежденном обществе... А тут же, в той же редакции того же журнала, где работают переводчики-англичане, на английский мое выражение переведено было правильно «in Society», с тем же смысловым оттенком, как у меня. Я долго возмущалась, злилась, даже судиться хотела, пока не утешилась мыслью, что ведь их незнание, непонимание оттеночного смысла, ведущего к глубине полученного мной урока, факт, в сущности, даже положительный: они, видимо, просто его забыли, этот уже устаревший у нас оттеночный смысл.

II

Почему я привела для читателя этот «а парт», уже рассказанный мной в других местах? Потому что, подъезжая в декабре 1911 года к Москве, я думала о «родном угле», о «родине», о чувстве, продиктовавшем мне примерно в те годы строки из моей «Orientalia»:

Я знаю, мудрый зверь лесной
Ползет домой, когда он ранен...

Но взглянув на прошлое, чтоб продолжать писать о нем, я задала себе вопрос, которого в те далекие годы у меня не было и быть не могло: а что такое чувство родного угла, где его границы и чем эти границы, каким содержанием заполняются? Возвращение... Дом Феррари со всем, что было пережито в нем, уже отошел в прошлое. Мы с Линой стали больше зарабатывать, и вместо кабинки без окон, с раздвижной, как у вагонного купе, дверью в доме Феррари, мне предстояло жить в неведомом Дегтярном переулке, в большой комнате с окном на улицу, с нормальными столом, стульями, дверью в коридор. Но вот прошлое, такое родное, было в купе, и — как по-французски купэ (coupé⁵) — оно словно отрезано, ничем не соотносится с новой комнатой. Какой же «родной угол»? И была ли я, в сущности, коренной москвичкой?

Рождение, воспитание, образование, отчий дом — это да. В Москве, в Москве и в Москве. Но «отчий дом» со смертью отца — исчез. Исчезло все, что было связано с ним. Мебель, отцовская библиотека проданы, вывезены, розданы. Помню, как поразила меня встреча за столом с нашими московскими колечками для салфеток из желтоватой слоновой кости и хрустальными подставочками для ножей и вилок с головками младенцев на концах, затылками обращенных друг к другу, — привычное, московское, ежедневное при накрыванье на стол, — в чужом доме южного города. Мать увезла их с собой в свой родной город Нахичевань-на-Дону, где на армянском монастырском кладбище под старыми памятниками лежали ее предки и куда она увезла умирать и отца, уже смертельно больного...

«Отчего дома» не было. Я ехала из Петербурга, где общалась с самыми разными слоями населения, не в родной угол, а в знакомую, очень узкую московскую среду. В Питере — дворянский быт Уваровых, куда я ходила на урок; мещанский уклад квартиры, где я снимала комнату; строгая тишина читального зала в Публичной библиотеке, где я занималась; рабочая атмосфера Гагаринских курсов, где преподавала; мнимореволюционные и мниморелигиозные тайнства салона Мережковских; пролетарский дух моих подпольных рабочих-слушателей, в жилища которых я конспиративно ездила вечерами; наконец, разноклассовый кружок голгофцев с епископом Михаилом Старообрядческим во главе... А в Москве — нечто однотипное, давно знакомое: Высшие курсы, их профессора, лекции и семинары, курсистки-одноклассницы; старые подруги по гимназии Ржевской и новые, прибавившиеся к ним. И тот невидимый глазу, меловой круг, очертивший людей, с которыми я водилась, места, где бывала, интересы, со-общавшие всех нас, делавшие все включенное в этот круг моим «обществом». Одни и те же люди на концертах, выставках, в партере театров; знание друг друга в лицо, хотя и не всегда знакомство друг с другом; знание вкусов и возможного мнения каждого. Входившие в этот круг, может быть и бессознательно для них, считали себя «солью земли», обществом, представляющим собой всю Россию, создающим ее историю. Весь мир, как в игрушечном домике, вращался, казалось, лишь в стенах Психологического, Философского, Литературно-художественного кружков, «Общества эстетики», «Дома Песни» и так далее. И часть этих кружковцев была коренными москвичами.

В понятие «москвич» входило тогда не только рождение, воспитание, ученье. И даже не только «отчий дом», а такой отчий дом, где на полках библиотек имелись книги отца с матерью и бабушки с бабушкой, а иногда — изредка — и прапра, в деревянных или кожаных, с металлическими застежками переплетах, — книги осьмнадцатого века,

⁵ Coupé — отрезать, coupé — отрезано (франц.).

старинные журналы, объединенные по углам мышами,— все это от прабабушек и прадедов. И дома, где жили москвичи, были тоже коренные московские, с еще не стершейся надписью на воротах: «Свободен от постоя», старой-престарой архитектуры, когда городское жилье строилось на манер не слишком чувствительного перехода от поместья к городу; с большим внутренним двором, пахнувшим лошадиными стойлами,— в нем находились и конюшня для лошадей, и сарай для саней и колясок. Все это знакомо мне было еще с детства, когда у нас у самих были собственные лошади. Но вот еще не утерянная связь с деревней...

До сих пор стоит прочное здание «под пряник», с завертушками в «стиле русс», где жила тогда Маргарита Кирилловна Морозова. Я была знакома с ней через семейство Метнер и однажды, приглашенная ею к чаю, обратила внимание на необычное, не покупное в городе угощение к чаю — большие черносливы, начиненные по-домашнему медом с орехами. «Это из моей деревни», — сказала мне хозяйка, заметив мой любопытный взгляд. А в военные годы, когда стало туго с продуктами (четырнадцатый — пятнадцатый), из деревни Рахманиновых частенько доставлялось в город коровье масло, и пакет его хозяева посылали к тем же Метнерам... Но было все это позже. А вот непосредственно в год моего возвращения из Питера я запомнила только несколько чисто московских семей, куда была вхожа, и быт их резко отличался от петербургского.

В глубине большого сада, совсем по-помещичьи, жила семья очень известного в те годы доктора Майкова, изобретшего лекарство от склероза (его надо было впрыскивать, и носило оно его имя). На пасху их большая столовая, открытая для гостей, так и стояла открытой несколько дней даже в отсутствие хозяев. Дочь их, подруга моя по Курсам, частенько затаскивала меня в эту столовую подкармливаться — и чего только не стояло там на длинном, покрытом нарядной скатертью пасхальном столе: и тамбовский нескончаемый окорок, и пироги с курицей, грибами, луком, и самые разные рыбины, копченые и соленые, и горки раскрашенных яиц, и пирамиды сладкой творожной «пасхи», и куличи, тяжелые, желтые — с шафраном, цукатами... У другой моей подруги по Курсам, тоже коренной москвички, в зале — рядышком, словно супруги, — выткнув вверх черные лакированные спины, стояли два рояля, чтоб можно было большие симфонические вещи, переложенные для игры на двух роялях, без конца играть дочерям семейства и гостям.

В этом коренном московском окружении я очутилась отчасти потому, что уже была «автором», имела книгу стихов, и отчасти — по естественному продолжению гимназической и курсовой дружбы. Историко-философское отделение Курсов, не обещавшее по его окончании твердого заработка, не дававшее курсисткам определенной «специальности», было уделом девушек из семейств зажиточных. И девочки из гимназии Ржевской были тоже большей частью такого же круга.

В этом одном — почти единственном — кругу мне предстояло «вращаться». И если девочками мы с сестрой таскали в 1905-м с разрешения тетки старые ведра и матрасы на московскую баррикаду, то курсистками, кончая в 1911/12 году свои выпускные экзамены, дышали мы совсем другим воздухом — застойным «воздухом Москвы в ее прочно реакционном, хотя и считавшем себя либерально-передовым кругу. Я написала выше «почти единственном»... Но объяснить, что кроется за этим почти, надо опять, искушая терпенье читателя, счесть долго.

Есть в науке слово «ареал», его употребляют ботаники. Земля и

камни лежат; воды двигаются по прорытому руслу; растения — определенные виды их — «распространяются», их пространственное распространение (тавтологическое слово!) и называется ареалом — оседающим движением в определенных границах. Если давать детям образно-философский урок все большей и большей самостоятельности органического мира, сказать о тяжелых ножках у гусениц, которыми они уже сами осваивают пространство, но тоже в определенных границах, и легких ногах человека, которыми он может избородить всю землю, то получится ясная картина развязывания самостоятельности живого существа на земле, достигающего, казалось бы, полной своей свободы передвиженья у человека.

Но — действительно ли полной свободы? Он не лежит веками на одном месте, подобно вершинам гор; он не качается на длинном стебле, подобно цветку, пыльцу которого разносит в пространстве бабочка или пчелка; он не ступает мягкими лапами тигра в строение географическом ограничении, не перелетает крыльями птиц по тысячелетним, всегда определенным воздушным трассам. Он сам создает себе крылья, сам придумывает колеса, проникает в глубины океана, в вечную черноту космоса, вкапывается в недра земные, — и ноги носят его по дорогам и бездорожьям, по непроходимым джунглям, по пескам пустынь...

Казалось бы, нет у человека ареала, нет границ для жизни, — а между тем есть и у него свой «ареал», своя граница, есть по большому счету такая же своя прикрепленность, как у цветка на стебле, и нет совершенной свободы. Но этот «ареал» не измеряется линейкой верст, квадратными километрами. А измеряется тем самым кругом, в котором человек вращается. Его «ареал» социален. И статистика, группировка людей по расам, национальностям, религиям, классам и даже «внутриклассово» — по убеждениям, направлениям, по всему, что можно снять моментальной съемкой или определить по внешним чертам и знакам, — тоже оказывается иной раз лишь формальным пособием, не учитывающим человеческий опыт.

Читая книгу Дицгена «Мелкие философские работы», Ленин обратил внимание на такое место: «Если мы удаляемся в уединение кельи, чтобы в глубоком созерцании, так сказать, в глубинах нашего мозга, отыскивать истинный путь, по которому мы завтра думаем шествовать, то при этом следует принять во внимание, что подобное напряжение мысли только потому может иметь успех, что мы уже раньше, быть может даже бессознательно, при помощи памяти, перенесли из мира в келью наш опыт и наши переживания»⁶.

Даже в уединение кельи, а не только в замкнутый «ареал» круга!.. И опять нужно отклониться в сторону, привести пример. Совсем недавно один досужий «интервьюер» не для печати, а «так, для себя», задал мне вопрос: «Скажите, вы ведь одного круга, одного города, одного, кажется, возраста с Мариной Цветаевой — знали вы ее в молодости, общались с ней?» В том особенном социальном ракурсе, с которого я начала пятую книгу воспоминаний, это был для меня отнюдь не случайный вопрос. Вторично переживая прошлое, я словно вижу перед собой корректуру толстой книги моей Судьбы, положенную на стол мудрой рукой Времени. Тут многое заново продумывается, впервые понимается по-настоящему. Нуждается, как и всякая корректура, в остановке, пояснении, правке. Да, мы жили с Мариной почти одно-

⁶ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 366. Отмеченное Лениным при чтении книги И. Дицгена «Мелкие философские работы» место показывает, что в самой крайней изоляции от внешнего мира мозговая работа не порождается чистой абстракцией свыше, а использует «копилаку памяти», накопленный человеком предыдущий опыт.

временно в Москве, она была моложе меня только на четыре года. У нас было как будто много схожего: обе профессорские дочери, обе росли в «детской», почти всегда лучшей, «на солнечную сторону», комнате в квартире, отделенной от жизни родителей, с нянями, с «фрэйлен», или «мадмуазель», или «мисс» — позабытым сейчас у нас существованием «гувернанток», носительниц иностранного языка в доме. У обеих были сестры, участницы личной судьбы нашей (у меня одна, у Марины несколько). Наконец, обе начали рано писать стихи, обещая стать «поэтессами». Но при таком внешнем сходстве разница оказалась огромная, и притом разница в главном — в социальном положении, в опыте, в направлении жизни и как итог — в судьбе.

Марина Цветаева была как раз из «коренных москвичек», с «отчим домом» в Москве, с наследственным имуществом, родственниками по отцовской и материнской линии, с определенным социальным окружением ее отца, еще жившего и работавшего, — все это хорошо рассказано в воспоминаниях ее сестры Аси. Если считать, что в числителе той дроби, на которую похожа судьба человеческая, должна стоять личная одаренность, личный характер, накопление опыта, а в знаменателе — оседлость, прочное приращение к родной стране, то какой же бездомной, божемной, трагической оказалась ее судьба, подобная сорванному с клумбы цветку, поставленному срезанным стеблем в стакан со случайной водой, — и это несмотря на ее коренное, оседлое положение с детства! Скитанья, отрыв от родины в важнейшие исторические этапы ее становления, бесконечная трата творческой энергии на личное, только на личное, яркая острота этого личного в чувстве любви и отчаянья, влечения и отталкивания, словно пловец в лодке без весел, без паруса, один в океане, и это — при огромном таланте и тонком природном уме...

Мы не знали друг друга ни в детстве, ни в годы студенчества. Мы, кажется, даже ничего друг о друге не слышали. Мы встретились и познакомились с ней только в тридцатых годах, когда она вернулась на родину, — в столовой дома отдыха «Голицыно».

III

В ту раннюю советскую пору у писателей еще не было многочисленных «домов творчества», таких, как построенный по последнему слову бытовой техники в Дубултах, сроднившихся с нашей работой больших подмосковных Переделкина и Малеевки; уютного ленинградского Комарова и — любимого нами дворца на горе в Ялте, где так хорошо работается. Но тех из нас, кому тогда трудно было работать дома и кто вообще не имел у себя отдельной комнаты, «Голицыно» просто выручало. Это было небольшое здание на обыкновенной улице городского типа в поселке Голицыно по Белорусской железной дороге. Все в этом здании, как и вокруг него, было дачное по быту. Печи в каждой комнате. Их топили дровами. Каждую осень привозили эти «кубометры» дров, распиливали, складывали, и зимним утром, едва они разгорятся в печи, свежий синеватый дымок от них, чуть пережваченный морозцем, сразу настраивал на работу. Хозяйкой была Серафима Ивановна, у многих из нас оставшаяся в памяти этим светлым именем чего-то очень уютного, доброго и душевного.

Она как бы «наизусть» знала писателя в его, как обычно говорят, «специфике», заменяя этим цепляющимся словом длинное плавающее слово «особенность»: как и чем он дышит, как и что он пишет. Ее знание о нас и ее интерес к нам были настоящими. Очень настоящим в своем дачном понимании был быт дома творчества, быстро заменявший, когда свет погасал во всем поселке, электрическую лам-

почку керосиновой лампой «молния», всегда стоящей наготове, как и спичечный коробок. Воду накачивали на дворе в запасной бак на крыше. И, наконец, в кухне хозяйничала старых времен кухарка, с великой озабоченностью выпекавшая пироги и кулебяки.

Когда она, разгоряченная, входила в столовую, от нее веяло, как из печной духовки, неоспоримым запахом всего настоящего — коровьего, без примеси, масла, свежего мясного фарша, чистой пшеничной муки, — слитным запахом старых русских кухонь, резко отличавшимся от старых уличных запахов заграничной кухни с ее смесью маргарина, уксуса, суррогатов и несвежести. В этой голицынской столовой я и увидела впервые Марину Цветаеву, и — странно сказать — мне как-то сразу пришла в голову ничем с этой встречей не связанная разница двух кухонных запахов — нашего, голицынского, и чужого, замеченного мною еще в пятнадцатилетнем возрасте маргаринно-суррогатного и чуждо-табачного запаха на улицах Вены. Марина Цветаева — несмотря на приезд из «заграницы», несмотря на годы ее не здесь, а там — сразу воспринялась мной как настоящая. Но настоящая — из прошлого. Трудно было представить ее себе, как-то по-старинному, по-московски беспомощную, справлявшейся с заграничным бытом. Вся — старомосковская. В ее манере, к сожалению уже исчезающей, говорить с мягким «ш» вместо книжного «ч» («конешно» вместо «конечно»), в привычке медленности, невниманья к бегущим минутам, как если бы они подождут ее, пока она тратит их, наконец — во всем ее милом, ну по-московски милом, несколько небрежном в одежде, трудно определить, общем облике. Она не старалась казаться. Мы сразу нашли с ней не столько общую тему, сколько нормальную атмосферу профессионального общения, когда не нужно тянуть себя за язык, что сказать.

Я тогда только что начала переводить поэму Низами, «Сокровищницу тайн», труднейшую по своей незнакомой мусульманской мистике и терминологии, и просто не знала, как лучше к ней приступить. Цветаева, вернувшись на советскую родину, получила первую свою работу — переводческую. Кажется, ей дали переводить западных поэтов. Как-то совершенно искренно, по-товарищески я ей пожаловалась на свои трудности. Утром под дверью была просунута ко мне в комнату крохотная записка на желтоватом листике из старого, обтрепанного, заграничного блокнота, с круглыми отверстиями-дырочками вдоль полей. Хорошим ясным почерком с маленьким наклоном налево, простым карандашом, без подписи. Таких записочек сохранилось в моем архиве три. Не знаю, было ли их больше, верней — не помню. У нее была привычка, которую я считаю несчастной и тщетно стараюсь искоренять у своих друзей: ставьте, товарищи, даты на письмах! Цветаева ни на одной из записок дат не поставила. Но все они были, как и она сама, натуральны, причем натуральны по-старомосковски:

Милая Маризтта Сергеевна, сегодня Вы в моем сне мне упорно жаловались, что Вам все (каждая вещь) стоит 10 руб.

Проснувшись, я задумалась — дорого ли это или дешево.

2) Давайте мне Ваши темные места (Низами), я сейчас жду перевода и более или менее свободна. Дайте мне и текст и размер, но размер не нарисованный, а написанный — любыми, хотя бы бессмысленными русскими словами

Вот и вся записочка, даже без точки в конце, но она мне пришла по душе (приятно было, что я ей сразу же, после первой беседы, приснилась и что так это было профессионально сказано о «темных местах», словно руку протянула за моей рукописью, не допуская и мысли об отказе). И я в тот же день — вопреки десятилетиями выра-

ботанной привычке никому не показывать своих рукописей, да еще черновиков и в начале работы,— дала ей на отзыв свою тетрадку. Она ответила, опять запиской на таком же листике из блокнота, без обращения и снова без подписи:

Я бы не решилась изменить ударение амбра, особенно в рифме. В общем — очень хорошо, есть чудные места, но ужасны (не сердитесь!) субстанции и акциденции. Конечно, работа громадная: гора!

Ах, как мне жалко было мои субстанции и акциденции — ведь это были чуть ли не единственные западные островки в восточном океане мусульманства! Но совет Цветаевой был безукоризнен — и по прямоте и по верности. Он стал мостиком к большим с ней вечерним разговорам об эстетике перевода, о том, можно ли допускать неточности в переводе пейзажа, душевного движенья, абстрактной мысли, смысла, заложенного в содержании, если сама поэтичность, сама образность перевода, некий «влив», как, помню, она удивительно хорошо выразилась, влив самого себя, своей поэтической индивидуальности, оправдывает эту неточность, дает взамен авторского настроенья, только авторского,— аналог этого настроенья у переводчика, такой же высокий по качеству. Она считала даже, что без своего «влива» перевод может оказаться мертвым, да и вообще без него хорошего перевода не бывает.

Я спросила ее, не считает ли она такую замену чужого своим вне-исторической манерой перевода, отказом от полной и глубокой передачи того, что хотел сказать и сказал живой, исторический человек другого времени, другой судьбы, других идей и доверил их вам на своем родном языке, а вы доносите им сказанное, заменив его по дороге своим собственным, людям другой страны, другого языка и другой культуры. Она ответила словами: «А как же иначе? Снизить поэтическое качество его речи — значит, ведь тоже подсовывать свое неумение на место его огромного мастерства, то есть исказить, недо-давать, заменять и подменять».

Мы спорили не ожесточенно, искали вместе пути — но реальное бытие реального исторического человека и его реальной судьбы на земле было ей менее дорого, чем искусство, создающее образ. Кажется, именно тогда родилось во мне, хотя еще очень смутно, не только швейцеровское «уважение к жизни», но и сострадание (до физического сжатия сердца) к историческому «покойнику», забываемому теми, кто живет после него. Ведь все остается — материя, атомы, на которые она расплывается в прахе; а умирает только одно: индивидуальность. А ведь он жил именно этой индивидуальностью, неповторимостью... И в воскрешении исчезнувшего бытия, когда пишешь, лепишь, рисуешь его, самым важным казалось мне — схватить и передать именно это неповторимое, бывшее и оставшееся единственным, — индивидуальность. Впоследствии я именно так подходила ко всем своим историческим исследованиям, к монографиям, этюдам, литературным портретам людей, которые исчезли, умерли, но были... Как бы вторично рожать их — любовью и состраданием. Но Марина как будто верила в личное бессмертие по философу Федорову. И ей не казалось необходимым перевоплощаться в чужую душу, чужое мышление, чужой след, оставленный движением истории именно этим, а не другим человеком.

Подстрочники нравились мне иной раз больше стихотворного переложенья... Когда я призналась в этом Цветаевой, она ответила: «Мне тоже... но не всегда. Поэзии все-таки нужна поэзия». Но профессиональную точность, точность ритма она ценила высоко. Вспомнилось

мне еще одно ее высказывание. Толерантная и снисходительная, когда говорила о чужих вещах, она вся как-то вдруг подобралась, словно в атаку пошла и отповеди ждала, и твердым, решительным голосом отвергла бытовавшие у наших самых лучших, самых любимых читателями переводчиков размеры в переводе больших национальных эпосов: «Не то, не то — выдуманно. Гладко, как перчатка на руке, — ведь не посмеют они такими ритмически-гладкими строфами, таким выдержанным размером, как у лошади галоп, переложить, скажем, «Слово о полку Игореве». Сразу скажут знатоки, что это нельзя, не то, не тот склад. А разве таким складом пели казахи, калмыки, грузины? Вы представьте себе старинные уклады, инструменты, синтаксис древних языков — и пустите все это скакать по-русски, по гладкой дорожке, по струнке, — это фальшиво уже с самого первого начала!» Речь эту я запомнила почти слово в слово, но самой мне нравились выдержанные размеры у Липкина, Пеньковского...

Скоро беседы наши кончились. Марина Цветаева съехала в том же Голицыне из дома творчества в собственную комнату, снятую частным образом. Она взяла туда своего сына Мура, — и третью записку, опять на таком же клочке, тем же карандашом, также без даты и подписи, я получила уже оттуда:

Милая Мариэтта Сергеевна, я не знаю, что мне делать. Хозяйка, беря от меня 250 р. за следующий месяц за комнату, объявила, что больше моей печи топить не может — п. ч. у нея нет дров, а Сераф. Ив. ей продать не хочет.

Я не знаю, как с этими комнатами, где живут писатели, кто поставляет дрова??? Я только знаю, что я плачу очень дорого (мне все говорят), что эту комнату нашла С. И. и что Муру сейчас жить в нетопленной комнате — опасно. Как бы выяснить? Хозяйке нужен кубометр

Это был уже SOS. Без заключительной точки в конце. SOS, которым продолжалась и оборвалась ее жизнь в страшные годы войны. Кубометр я ей тогда выхлопотала, и она осталась у меня в памяти на пороге своей комнаты, худая, с платком на плечах, с коричневой впалостью под глазами — измученными жизнью, материнскими. Потерянная в своем внеисторическом бытии, слабо (физически слабо, словно сил не находя) негодующая на несправедливость человеческую («Как бы выяснить?»), недоумевающая сильно, удивленно, безнадежно («...кто поставляет дрова???» — с тремя вопросительными знаками) и такая потерянно-милая, простая по-старомосковски, — выпавшая из гнезда своего круга, из рамок своего общества, и не сумевшая прирасти к новой социальной действительности.

Я бесконечно жалею, что при эвакуации она не попала в уральскую группу писателей. Последней вестью о ней, уже после ее ужасной гибели, была открытка от Мура, посланная мне в Свердловск, с описанием, как «мать просила быть судомойкой, хоть прокормить меня...». Открытку я потеряла, цитирую по памяти, но запомнила, как сын написал не «мама», а «мать». Мало кто из эстетствующих поклонников Марины Цветаевой понимал, что она была матерью, очень большой и трагической матерью в эти последние бездомные годы своей жизни, быть может единственной реальностью, заполнившей ее сердце.

Часть тогдашних моих современников восхищалась не только «не нашим», «западным» звучанием ее стихов, но еще и не нашими, западными черточками ее внешнего облика — верней, западными остатками их — каким-то заносным, застиранным шарфиком вокруг шеи, с необычным рисунком, необычной по форме гребенкой в волосах, даже этим дешевым истрепанным блокнотиком и узким металличе-

ским карандашиком в ее руках,— у меня сердце сжималось от жалости, когда эти убогие следы недавнего прошлого (словно вода с ботинок наследила в комнате) бросались мне в глаза. Эта притягательная для любопытства некоторых «наследь», эта «заграничность» мира Цветаевой, из которого она только недавно прибыла к нам, казалась мне страшной уликой ее напряженно-трудной, беспомощной жизни на Западе. Жалость брала думать, что в важнейшие, величайшие периоды русской истории — она со всей своей яркой одаренностью очутилась вне их, не испытала их осмысленно, внутренне, вместе с народом. Жалость брала думать о потере ею того жизненного, с жизнью спянного времени, которое было историческим временем, и теряя его — теряешь кусок жизни, выпадаешь из народного опыта... Только много позднее, прочитав ее повесть «Сонечка», где голая, истерическая пустота времени дает до конца понять, как важно быть со своим народом в периоды великих перемен, я сформулировала для себя полное понятие материальной историчности Времени.

IV

Но в ту пору, с которой началась моя пятая книга,— декабрьское утро 1911 года — я далека была от всяких анализов «коренных» и не «коренных» москвичек и не думала о том, с чем именно вылезает на заснеженный легкой сахарной пудрой перрон московского вокзала, где в старой своей шубейке стоит с покрасневшим от ветра носом, поджидая меня, Лина (поезд, как обычно, пришел с опозданием). Я только чувствовала боль сердца — первую после смерти отца,— физическую боль сердца от опустелого места, где так еще недавно жила полнота любви. Со смертью любви болело ее опустелое место, как болит, вероятно, ампутированная рука у человека, когда ее уже нет.

Мы молча обнялись с Линой, вместе дотащили вещи до санок, утесненно влезли в них и поехали, обняв друг друга за спины, в узких московских санках по пухлому московскому снегу в новую для меня комнату «на Малой Дмитровке, в Дегтярном переулке, дом номер семь, квартира тринадцать», куда предстояло приходиться одной моей очень важной корреспонденции. Комната — не в пример нашей кабинке в Доме Феррари — была, как я уже сказала, светлая, с окном на улицу. Кажется, она была на втором этаже, куда приходилось подниматься из столовой наших хозяев. Я уже не помню хорошо ни этой комнаты, ни нашего в ней окруженья — у хозяйки было много жильцов. Но зато мы всё уже знали друг о друге, Лина и я. Прожив врозь почти всю зиму, мы с помощью еженедельных регламентаций не только жили, но как будто одним воздухом дышали с ней вместе. Когда я сразу, не успев оглядеться, сказала ей трагическим голосом: «Линуха, все кончено. Передо мной стена» — она сразу же это восприняла как пережитое сообщая и деловым голосом, без капли внешнего сочувствия ответила: «Вот и слава богу, что стена, значит, ты — у поворота, а раз у поворота — все будет по-новому». И Ленин ответ — тоже сразу — дошел до меня, как всегдашняя помощь.

В словах «слава богу, что стена» словно путь открылся. Время идет, оно не может не идти, оно не останавливается, и если идет очень долго по прямой — по все той же — дороге, то оно монотонно; и если все та же дорога несет разочарованье и боль, то боль и разочарованье продолжают до без конца и ничего тут нет хорошего. А вот если уже стена впереди — это слава богу. Чтоб идти дальше — времени, как воде, ведь течет же время! — надо обойти, обтечь стену стороной, направо, налево, но повернуть, и это будет поворот. А за поворотом хоть и снова дорога до горизонта, но уже не прежняя, а новая — новая

дорога жизни... Я всегда развивала, комментировала Лину мысль для себя, но Лина — первая — давала формулу. И видя, что я понимаю и мысленно расширяю ею сказанное, она добавила: «Ты свою любовь жалеешь, что она уйдет, но у тебя новые события за поворотом, новые люди и ты обязательно рада будешь, что ушла старая любовь...»

Много лет вспоминались мне Линыны слова. Я помнила их, когда в пятнадцатом году писала свои «Утешения» самой себе, и были там строки:

Не печалься над любовью-странницей,
 Что, как тень, пройдя по жизни, канет...
 Тень пройдет, а божий мир останется,
 И глазам в миру виднее станет.
 Сладок холод сердца разлюбившему!
 Он глядит, как в первый день творенья,
 Возвращенье памяти — забывшему,
 Ненавидящему — примиренью.

И сейчас, в 1976 году, когда ровно пятнадцать лет минуло, как ушла моя Лина, я помню их...

В Петербурге — в тесной ритмике постоянных моих работ — некогда было мне думать о музыке, а тем более помышлять о концертах. Как-то раз, когда я вышагивала вдоль Фонтанки свои километры до особняка Уваровых, вдруг, словно теплой волной по морозу, донеслось до меня музыкальное, почти птичье, щелканье. Это шарманщик, уже почти исчезнувшее и позабытое явление столичных улиц, но еще как-то и где-то возникавшее уникальным анахронизмом, стал крутить ручку своей шарманки на «Дунайских волнах». И я вдруг остановилась как вкопанная (кто пустил в ход это бессмысленное выражение? потому что вкопать что-то «вдруг» — невозможно!). Я остановилась как вкопанная в острой тоске по музыке, напльвшей издалека, напмнившей, как нужна она людям... и тотчас рванулась, возмещающая потерянную минуту быстротой, чтоб не опоздать на урок.

А в Москве, в Дегтярном переулке, первое, что поднесла мне Лина к приезду, были два билета «за колоннами», на симфонический концерт в Благородном собрании. Уж не помню, на какое число. Помню только, что в программе была Четвертая симфония Чайковского... Я не очень любила Чайковского. В моих «Воспоминаниях о Рахманинове», давно напечатанных и во многом уже устаревших, подробно рассказано о вкусах и философских рассуждениях музыкальной молодежи, среди которой я тогда «вращалась». Мы понимали музыку как проблему культуры, тесно связанную с исторической эпохой, с социальной, политической, нравственной жизнью народа. И Чайковский для нас не был в особенной чести из-за его нечеткой общественной позиции, из-за отсутствия у него «платформы», а Скрябин, наоборот, «не был в чести» за наличие у него «мистико-теософской», наивной для нас «платформы», казавшейся нам — своей смешной немного претенциозностью — «словесной дешевкой». Но за всем этим молодым умничаньем студенток первых на Руси Высших курсов, кончавших первый на Руси философский факультет для женщин, крылась простая, даже простодушная любовь к музыке и Чайковского и Скрябина, прорывавшаяся в непосредственном наслаждении на концертах. Дирижировать Четвертой симфонией должен был Рахманинов. Счастье — снова услышать музыку, снова побыть в атмосфере музыки — было так огромно, что Ленин подарок, два этих билета «за колоннами», обещавших, кроме счастья, тяжесть трехчасового стоянья на ногах, был настоящим, строгим критерием нужды моей в музыке, необходимости ее для меня.

Не будучи профессиональной музыкантшей по образованию и не

имея того абсолютного слуха, как у необыкновенно музыкальной Лины, любимицы тогдашнего руководителя классами музыки в гимназии Ржевской профессора Московской консерватории Адольфа Адольфовича Ярошевского, я с детства страстно любила музыку — для себя, для нервной своей системы, для духовной пищи, без которой, как без катализатора, трудно было осмысливать во всей их синтетической полноте все другие области искусства.

Много раз приходилось мне рассказывать в печати, как получали мы в пансионе гимназии Ржевской «обязательное музыкальное образование». Нас заставляли «слушать» и даже видеть и чувствовать вблизи — первое относилось к музыкальным произведениям, второе — к их исполнителям и творцам. На все концерты, сколько-нибудь поучительные для нас, нам доставали бесплатные билеты, и мы отправлялись парами, в праздничных формах (белые фартуки, белые атласные банты в косах), во главе с нашей воспитательницей, балтийской немкой, в тогдашнее Благородное собрание, а сейчас Дом союзов. Но не в концертный зал, а в «артистическую» — большую гостиную перед эстрадой, где сейчас собираются, обычно до начала «юбилейного» вечера, члены его президиума. Там на мягких красных диванах мы чинно рассаживались и слушали концерт в непосредственной близости от эстрады. Если же концерт происходил в Консерватории, нам частенько ставилось несколько рядов стульев прямо на эстраде. Исполнители и авторы проходили мимо нас, садились передохнуть подчас в той же комнате, особенно когда сами приходили на концерт послушать, а не выступать.

Так, еще девочкой, я несколько раз слушала в непосредственной близости и виолончелиста Пабло Казальса, и пианиста Иосифа Гофмана, и дирижера Артура Никиша, и Рахманинова. Так, уже будучи студенткой, я погладила жесткую черную стриженую голову мальчика Ферреро, когда он еще мелкой по-детски походкой шел мимо меня на эстраду дирижировать. Так запомнила кошачью грацию Гофмана, когда он клал, сильно потеряв ими, свои «кухарочки» руки на клавиши. О них великолепно написала впоследствии в своих воспоминаниях о Рахманинове его племянница Зоя Аркадьевна Прибыткова: «У Иосифа Гофмана... маленькая, короткопалая рука с сильно выступающим мускулом от мизинца к кисти; всегда красная, пальцы узловатые. Перед выходом в артистической Гофман двадцать—тридцать минут держал руки в очень горячей воде, чтобы размягчить мускулы»⁷. А мне казалось, что эти «кухарочки» руки так нежно схватывают клавишу, словно понюшку табаку берут, как это пишут художники на картинах осмнадцатого века...

И у Рахманинова запомнилось — пианист Рахманинов всегда шел на эстраду со слегка наклоненной вперед головой; а вот дирижировать он шел с чуть откинутой назад. И мы гимназистками всегда отмечали это, и соседние девочки шептали мне, как бы поддакивая: «Смотри, откинулся...» — или: «Смотри, наклонился...» Не знаю, в какой мере эти мелкие наблюдения были точны или случайны, но самое связыванье пластики с последующим действием (наклонил голову вперед — будет вдумываться, ввинчиваться, до кончика в глубину входить в исполняемое пальцами на рояле; или голову откинул — будет охватывать все целое, весь горизонт, весь цельный организм произведения точным, все представляющим себе взмахом дириже-

⁷ «Воспоминания о Рахманинове». М. Государственное музыкальное издательство. 1957, т. 2, стр. 97. По деталям, удивительно зорко схваченным, и притом большей частью совершенно неизвестным, эти воспоминания З. А. Прибытковой о С. В. Рахманинове очень интересны.

ра...), — это связывание пластики с последующим действием объяснялось мной уже впоследствии именно так. Вообще — в бессознательном, физическом движении мускулов у больших творцов, если подсмотреть их в этот кратчайший миг, есть много поучительного для акта творчества. Так, я уже на старости подсмотрела у большого артиста, выходявшего на сцену, судорожное сокращение кисти руки (как бы бросок или отбрасывание) — переход своего житейского «я» в создаваемый образ, переключение, как в электричестве.

Все эти мелочи я пишу для того, чтоб объяснить, какую особенную школу мы проходили по музыке. Несмотря на сольфеджио, теорию и гармонию (очень легко, в общих чертах преподававшиеся нам) и даже задачки по композиции, которые нам давали, целью нашего обучения было, кроме овладения каким-нибудь инструментом для личного пользования, это — научить нас слушать и понимать музыку, расширить для нас ее восприятие, вообще обогатить наш человеческий слух умным и глубоким наслаждением музыкой. Сознательно или бессознательно, наши педагоги «образовывали» нас именно так — слушателями.

Пишу это, честно говоря, из чувства тревоги за современную музыкальную педагогику. Ее главной, ведущей целью должно быть, мне кажется, раскрытие великого богатства музыки, созданного тысячелетиями человеческой культуры для миллионов советских людей; развитие вкуса и воспитание восприятия музыки, научение слушать ее. И вот — боюсь утверждать, боюсь самоуверенно «ставить диагноз» — скажу очень осторожно и с опаской: мне временами чудится, что в музыкальной педагогике начала проступать некая тенденция, некий «уклон» под влиянием современной музыкальной техники и, возможно, создаваемый даже самими учащимися — тенденция искать в обучении не освоение музыкальной культуры, а поспешный переход к собственному сочинительству. Стихийная потребность творчества, массовый рост «самодеятельности» — это огромное положительное у нас явление. Но, например, в консерваториях изобилие учащихся, рвущихся в класс композиции, принимает, мне кажется, почти угрожающий характер. Музыка создается не только ее творцом — композитором. Музыку творит и оркестр, и каждый инструмент в оркестре, и сам педагог, воспитывающий музыканта... А число композиторов, выпускаемых консерваториями, как будто растет с каждым годом. Я не проверяла и, может быть, ошибаюсь, но мне говорили представители разных «отделов», ведающих местными художественными организациями, что у них «да, конечно, много сочинителей, и даже своих, местных, но фаготов — нет! Фаготов не хватает, тромбонов, флейт и разных там кларнет-пистонов, да что говорить — даже альтов, даже хороших скрипок не хватает для создания своего собственного оркестра...». Это — на мой настойчивый вопрос, почему в каждой области, в каждом районе да и в каждой деревне по примеру Чехословакии нет своего оркестра.

Учиться понимать музыку и профессионально владеть каким-нибудь инструментом — значит, получить вход в мир прекрасного, дающего наслаждение человеку. Но когда, еле-еле коснувшись алфавита искусства, каждый, кто получил это первоначальное знание, сворачивает в сторону собственного сочинительства искусства, восприятие которого он только-только начал учиться, это опасно. Это очень опасно потому, что ученик еще недостаточно воспринимает чужое, чтоб творить свое, и потому, что «творить свое» без особого на то дарования в современных условиях стало катастрофически легко. Не только в пищевой промышленности, но и в лабораториях художест-

венного творчества сейчас страшно выросло количество полуфабрикатов. Из «заготовок», «полуфабрикатов» музыки, поэзии, живописи так же легко строить модные современные «формы искусства», как из огромных бетонных плит быстро складывать самое здание. Ведь писали же несколько лет назад, что в Чикаго даже машина, «запрограммированная» заготовками, сочинила симфонию из четырех частей...

Когда я шла в этот вечер на концерт одна — Лина в последнюю минуту не смогла пойти со мной, — ничего похожего на то, что пишу сейчас, и в мыслях у меня не было. Но мысли эти пришли, когда память из глубин пережитого донесла мне с затуманенной точностью все, что произошло на этом первом концерте по возвращении моем из Петербурга. Затуманенной, потому что все эти годы (1912—1917), хорошо вспоминая факты, я не уверена в датах; ярче и точнее встают даты детских лет, чем в наступившие годы повзреления.

За колоннами уже впритык стояла молодежь. В тесноте — от нашей близости друг к другу — еще пахло от нас уличным снегом и влагой, еще таяли в волосах снежинки и мокры были щеки, — и страшно трудно протиснуться к краю, к черте видимости эстрады. Слух мой не так уж снизился, чтоб плохо слышать музыку, но я все же оттопыривала ладонью правое ухо, а главное — должна была опереться взглядом на дирижера, а дирижера — Рахманинова — видно не было. Еще в пансионе, как уже писала, мы привыкли чувствовать, почти касаться пластики живого музыканта, когда он проходил мимо нас или сидел вблизи. Рахманинова я тоже хорошо помнила пластически. Поздней, уже в советское время, когда появилось в печати много воспоминаний о нем, почти в каждом по-разному описывалась его внешность: и «некрасивый», и «костлявый», и «мрачный», и «очень худой», и «элегантный», и «скромно одетый» — люди видели его по-своему, ощущали по-разному, но почти все сходились на том, что у него были очень большие руки. Очень большие и — добавлял кое-кто — «изумительной красоты». Я тоже увидела — задолго до знакомства — эту очень большую руку, но не на клавишах.

Был один из дней, когда нас, учащихся, снабжали жестяными копилками с печатью и пачкой бумажных цветов или флажков и посылали собирать в театрах и на концертах деньги в помощь голодающим, приютским детям, неимущим престарелым и т. д. Еще гимназисткой я была назначена на такой сбор — для туберкулезных, во всероссийский День ромашки. Был большой антракт в «артистической» (гостиной) Благородного собрания. Рахманинов сидел в глубоком кресле, как бы подобрал в него свой высокий рост. Для другого такая поза могла бы называться «развалился» в кресле. Но когда сидел он — вот так, очень усталый, отдыхая, задумавшись, глядя вниз, — он не «развалился», а как бы укладывался, сжимался, убирал всего себя внутрь, как если бы был резиновый. Никогда — ни вставая, ни сидя, ни шагая, а тем более за пультом или роялем — он не казался мне «костлявым» и никогда не был (в те годы, когда я знала его) некрасив. Лицо его как-то не воспринималось отдельно, все схватывалось вместе и поражало особой, только ему одному присущей, породистой красотой. Сухое, подтянутое кверху лицо — я не знала в этом лице ничего отвислого, правда и ни разу не видела его старым (расстались мы летом 1917 года). На сухом лице были родинки; уши — почти без мочек, и это придавало ему и его суховатым (без всякой мясистости) чертам особую «породистость», изящество, рсждаемое породой, сухость и узость, похожую на голову арабского коня. И в линии носа — чуть, почти незаметно, с горбинкой — и даже в ноздрях повторялась эта породистость. Тем, кто писал о его коротко подстриженных, ежиком, волосах темного, матового цве-

та, казалось, что они жесткие, в тон жестковатой сухости лица, но я имела случай (уже много позже нашего знакомства) погладить эти волосы, и они оказались удивительной мягкости, почти цыплячьим пухом на ощупь. Он внезапно краснел, когда от чего-нибудь смущался, но не всем лицом сразу: вспыхнув под кожей где-то возле подбородка, розовая волна крови медленно наплывала кверху, на все лицо, продолжаясь за лбом, под волосы. Глаза его, отнюдь не блестящие, а, наоборот, матовые, без блеска, часто не раскрывались во всю их ширь и поэтому казались небольшими. Может быть, еще и потому, что веки были у него тяжелые, имевшие — именно в себе, а не в глазах — что-то тяжелое и печальное. Но глаза, верней — взгляд этих очень ясных глаз был открыт, прям, с затаенным на дне их добрым, детским юмором, тем юмором хорошего отношения к человеку, который «подначивает», ножку подставляет, как в покере, но никак, ничем не обижает человека, а наоборот — вызывает его на такой же добрый, озорной юмор. И было в Рахманинове что-то восточное, что-то почти цыганское — в очерке лица и всей головы. «Татарская шапка!» — крикнул на него, разозлившись, где-то в гостях, чуть подвыпив, Шаляпин. А я видела в его музыке отблеск Востока даже в совершенно западных вещах, называя это и в статье о нем («Труды и дни», 1912) и в письмах к нему «смуглой краской рахманиновской»... Раз увидав его и почувствовав, нельзя было не привязаться к нему всем сердцем...

И вот — он сидел передо мной в «артистической» Благородного собрания, такой ощутимый, напоминающийся, в своем глубоком кресле, а рядом с ним, слева, прикорнула к нему его старшая дочка в нарядном платьице, с большим белым бантом в волосах. Я подошла к ним со своей кружкой, заранее отделив рукой две ромашки. И тогда Рахманинов, все еще не глядя вперед, а спрятав под веками глаза, смотревшие вниз, взмахнул, словно вдруг крыло развернул, большой, спокойной белой рукой, опустил ее в карман, достал из него кучку серебряных монет и высыпал их в маленькую ладошку дочери. А пока она аккуратно, пальчиками, всовывала одну за другой монетки в мою копилку, взял из моих рук две ромашки, одну вернул обратно, другую пристегнул булавкой к воротнику детского платья. Все это было так медленно, словно замедленная съемка, и так же плавно, без острых углов. Не понимаю, как могла эта почти «сворачиваемость», удивительная гибкость каждого мускула в теле, плавная мягкость показаться кому-то костлявой.

Мне именно этого пластического облика, опоры на него глазами, недоставало в вечер моего первого концерта после Петербурга. Как ни вертелась я во все стороны, становясь то правым, то левым боком, но начались сумасшедшие овации, каких на моей памяти ни один дирижер и ни один пианист не получали, — и даже мгновенный силуэт, мелькавший в редкие просветы, был дочерна заштрихован передо мной лесом поднявшихся в аплодисментах ладоней. Я уже не могла разглядеть ни дирижера, ни его жестов, моему «слухо-взгляду» не было обычной опоры, когда следишь не отрываясь за дирижерской палочкой и она ведет тебя, твое внимание по звукам от инструмента к инструменту, от партии к партии, а через них — к охвату вместе с дирижером всей партитуры, к построению целого. Кто знает, сумей ли тогда, как обычно, опереться в своем слушании на дирижера, могла ли бы осуществиться в будущем та наша общая страничка дружбы, которую можно назвать «Письма к Re». Но я, беспомощно стиснутая толпой спереди, сзади и с боков, должна была волей-неволей отдаться одной слуховой волне без всякой опоры на дирижера. И тут я в первый раз по-настоящему услышала Чайковского — без видимого следования за дирижером.

Четвертая симфония писалась как будто на ходу: «Чайковский начал ее еще зимой 1877 года в Москве; работал над нею в Каменке и в Вене; в Венеции в отеле «Бэ-риваж» он погрузился всецело в ее инструментовку; завершил ее в том же месяце в Сан-Ремо, в пансионе «Жоли», и через три дня из Милана отослал рукопись в Москву». В четырех странах, в пяти городах и в одном имени... Я цитирую это из книги Вл. Холодковского «Дом в Клину», выпущенной «Московским рабочим» совсем недавно, в 1975 году. Книга отнюдь не «исследовательская», очень популярная, что называется, «для широкого читателя», но она дала мне как раз нужное по части информации в той именно области, какой я должна была коснуться. Итак, «на ходу писалась». А в какой год? Вот еще цитата, из той же книги: «1877 год — это не только пора изживания тяжелого внутреннего кризиса, это знаменательный год перелома, рождение нового периода в развитии искусства Чайковского: начало зрелости гения... Это год создания Четвертой симфонии и оперы «Евгений Онегин»...»⁸.

И в то же время Четвертая симфония не стояла в ряду остальных симфоний Чайковского на первом месте, как признанная «лучшей»; в печати часто отдавалось предпочтение Пятой, но кульминацией, вершиной творчества считалась Шестая с ее богатейшей мелодической темой первой части. О Четвертой писали в то время, подчеркивая черты ее фольклорности, народной песенности. Но я, отдавшись только слуху, ничего не помня из тогдашних разборов и рассуждений музыкальных критиков, игнорируя «национальное», просто не замечая, не обращая на него внимания, почувствовала в нем тему счастья труда, нарастающий гимн работе, откровенное излияние композитора о победе своей над всеми душевными кризисами и над неверием в свои силы, — могучим шествием труда, победоносного труда, из части в часть, из темы к теме, из образа в образ, торжеством свершаемой работы над царством звуков, творческой властью над стихийным их буйством. Много раз впоследствии мне хотелось поделиться услышанным с самим Рахманиновым, спросить его, чувствовал ли он то же самое, раскладывая и вознося по частям, словно вверх, к куполу храма труда, Четвертую симфонию, когда дирижировал ею в тот вечер. Мне очень хотелось спросить. Но смелая с ним до дерзости в своих письмах, я почему-то побоялась: а вдруг он ответит «вы ничего не поняли!» и засмеет меня за «вумничанье», которое так ненавидел.

А между тем это исполнение Рахманиновым Четвертой симфонии Чайковского сделалось как раз тем «поворотом», о котором сказала мне Лина. Вбóды времени «обтекли стену». Раскрылась даль, и в дали этой был свой «вектор», свое направление — труд. Вот что спасает при всех кризисах, вот что высветливает темноту в душе, заставляет забыть любое страданье, снимает любую боль — труд, работа. Вернувшись домой, я не могла заснуть, мы проговорили с Линой до утра, сидя на своих железных кроватях, не замечая, как мерзнут ноги, как сквозь занавеску в окне, словно символически, вдруг угасло желтое пятно газового фонаря и начала вползать серость зимнего московского утра.

Тот разговор был, в сущности, обоюдным осознанием большого и важного факта. Пусть все так — и душевная опустошенность, и боль, и «все кончено», с чем я как будто вернулась из Питера. Но — это «но» мы вместе с ней открыли. Огромное «но»: я приехала в Мо-

⁸ В. В. Холодковский. Дом в Клину. М. «Московский рабочий». 1975, стр. 41, 40. В дальнейшем я еще несколько раз обращаюсь к этой книге, содержащей ценную информацию, в том числе и газетную, а главное, любовное и умное отношение автора к своей теме.

скву из Петербурга не с пустыми руками. И мы с ней обе проанализировали, с чем, с каким багажом, кроме своего — казалось, безвыходного — отчаянья, я приехала.

V

Совет: «Не разлучайся, пока ты жив,
Ни ради горя, ни для игры.
Любовь не стерпит, не отомстив,
Любовь отнимет свои дары».

Ответ: «Испуг и ложь, любовь, в твоём укорё!
В бесплодных снах стоят твои года.
Душа ушла — не для игры и горя,
Но от игры и горя — для труда».

Багаж мой был тот самый — невидимый — багаж пережитого, какой, по приведенной мною выше цитате из Ленина, забираешь с собой даже в одиночную «келью», а не то что в «меловой круг» среды. Рассказать о нем надо подробно.

Быт мой за две с половиной зимы в Питере был переполнен огромной, обязательной и самой жизнью распланированной работой. Вставанье в зимней темноте еще не растаявшей ночи; вышагиванье пешком полтора часа по Фонтанке в любую погоду безотказно на урок, начинавшийся в половине девятого, кончавшийся к часу; писание и занятия в библиотеке; выполнение заданий Мережковских, иногда гонявших меня из конца в конец Петербурга; лекции в рабочей школе; все это, аккуратно уложенное в ящик времени, — и под конец чудное чувство душевного довольства собой от конспиративных вечерних поездок «с греческой философией» на рабочие окраины. Самым главным в этом шестнадцатичасовом рабочем дне казались мне задания Мережковских. А все остальное только добавлялось к ним по необходимости. Но как раз это «все остальное» и было теми спасительными, животворными зернышками, что прорастали вершок за вершком в багаж моего опыта: наращиванье крепкой привычки к постоянному, ежедневному, огромному труду.

На столе у меня лежала пачка цветных карандашей; над столом кнопками прикреплен к стене большой лист бумаги. Он был разделен проведенной сверху вниз черной чертой на две половины, левую и правую. Над левой половиной, под заголовком «Дни, часы» было записано, сколько надо сделать и чего именно на каждый день и час; справа, с перечислением тех же дней и часов, — пустые места для записи: выполнено или нет. Ежевечерне перед самым сном наступал удивительный, сильно переживаемый миг, один миг: я красным карандашом в квадратике пройденного дня и его часов ставила крестики: выполнено! И выводила их с тем подъемом радости с самого дна души, какой бывает от лекарств, даваемых врачами как стимулянты. Только от этого натурального стимулянта, мига радости, удивительно хорошо спалось! Или — когда ставилось нет, изредка, с ним карандашом, — поднимался с того же дна души неприятный, горький осадок, скребло что-то внутри. И хотя я старалась утихомирить этот скреб, говоря самой себе: «Доделаю завтра», — но сон не приходил долго и был клочковатым. То была особая бухгалтерия особого «творческого плана». Наверное, люди купеческого склада подсчитывают и отмечают так накопление или трату денег. Для человека творческого склада детским наслаждением было подсчитывать накопление созданного и чувство отдачи (создать — сделать, чтоб дать) — удовлетворение собой, счастье и наказание того, кто родился творческим тружеником.

Не просто тружеником и не просто творцом, а именно творческим тружеником. А наказание...

В ту ночь «поворота», после Четвертой симфонии, я, помню, говорила Лине, охваченная тем, что услышала в музыке, «как бесконечно благодарна я своей судьбе. За то, что она в кулаке держала мое время. За то, что время стало драгоценно для меня каждой своей секундой. За то, что не оставляло крупинки для всего того, что было «посторонним»: расходом сил на болтовню, хождение в гости, прием гостей, увлечение людьми, ненужными сердцу, на все, что связано с богемией, с затратой энергии впустую, отнятой у часов творчества, труда, учебы, мышленья... Мышление — тихое, медленное, в одиночестве, но вместе с природой, с прогулкой, с ритмичкой дыханья и пешего хождения — вот единственный допустимый отдых для творца!». И тогда в ответ на эти слова Лина как-то странно посмотрела на меня. У нее были удивительные, далекие глаза-звезды. Когда она уходила от меня навеки, она тоже смотрела на меня этими далекими глазами-звездами... Я ждала после моего гимна времени сочувственного отклика, и вдруг она сказала, издав себя, словно себе, а не мне, странным голосом: «Какие они эгоисты, эти творцы, и какие они несчастные!» Но мне в ту минуту не хотелось задумываться над ее словами «какие они несчастные!», не хотелось понять их. Я была захвачена своими мыслями о выходе из несчастья — в труде и работе, и будущее казалось мне светлым: вот так — из нужды в привычку, из привычки в потребность — направленная система жизни, и она дает, если труд будет удовлетворяющим, огромное, спокойное счастье. Направленность — но не сразу, а в поисках, из формы к форме, как в метаморфозе растений. Без нее, без собственной выработки этой направленности (для чего жить? как можно жить без пользы для других? что может быть больше счастья от удовлетворенности своим трудом, своим творчеством? что нужнее для совести, как не память о местоимении «ты», о другом человеке, ближнем, дальнем, но реальном, как и ты сам, для кого ты творишь, — о миллионных реальностях этого «ты», составляющих человечество?), без работы мозга, чтоб выработать эту нравственную направленность, нет и не может быть счастливой судьбы человека! И опять словно издав себя, отозвалась Лина: «Ты думаешь, одной работой мозга можно выработать нравственную направленность жизни?»

Только теперь, в глубокой старости, я понимаю, что хотела сказать Лина и как остеречь меня. Нельзя — и не надо — обходиться человеку без «лишнего», без траты впустую. Ведь и время течет со шлаком, с отбросами, потому что течет в нас самих. Нельзя быть только творцом, забыть в себе долг простого человека, отца, матери, гражданина, члена общества, даже простого Ивана Ивановича, которому не дана «искра божия» творчества и который в каждом из нас где-то на самом дне бытия существует... все надо человеку... и грешить, и ошибаться, и разбрасываться, и быть щедрым, потому что все это, сжимаясь, входит в творческий акт... И пребывая всю жизнь в самозабвенном труде — творчестве, уподобляясь теургу, несешь великое наказание одиночества, потерю способности быть с людьми, быть простым, одинаковым с ними, непосредственным человеком... Но в ту пору я еще мыслила отвлеченно. Есть периоды, когда человек считает себя умнее природы, умнее законов ее. Становится как бы одержимым «чистой идеей» творческого труда — независимо от общества, от общественного строя, от хозяина, на которого он трудится.

Труд — и что он такое — стал осознаваться нами в своем новом, очень большом и глубоком смысле совсем еще недавно, в советское время. Я говорю не об экономической и политической его стороне, но

об отвлеченном, нравственном, психологическом смысле труда, обо всей полноте его философского смысла. Если переводить формулу судьбы на арифметику, то в знаменателе моем после смерти отца стояла бездомность, а в числителе — очень важное обстоятельство, всплывающее над всеми прочими: необходимость труда.

У Гёте, человека всегда состоятельного, ни разу не знавшего нужды в куске хлеба, есть изумительные — по-моему, самые великие — строки об этом «куске хлеба», слившие воедино античную теорию рока с христианской теорией искупления⁹. Сильней этого восьмистишия, суммировавшего две прожитых человечеством эпохи, почти на пороге третьей, грядущей эры, социалистической, нет в поэзии ничего, сказанного так многосмысленно и так лаконично. Есть в нем и некая связь, брошенная из прошлого в будущее как мостик между ними. Я приведу для читателя все восьмистишие по-немецки:

Wer nie sein Brot mit Tränen ass,
 Wer nie die kummervollen Nächte
 Auf seinem Bette weinend sass,
 Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.
 Ihr führt ins Leben uns hinein,
 Ihr lässt den Armen schuldig werden,
 Dann überlastet ihr ihn der Pein:
 Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.

Подстрочник, если делать его только слово в слово, может не оправдать для читателя высказанных мною выше мыслей. Я постараюсь дать подстрочный перевод немного расширенного типа для полного понимания этого восьмистрочного чуда, требующего едва ли не философского трактата:

«Кто никогда не ел своего хлеба смоченным слезами, кто никогда не сидел плача на своем ложе, в полные мук часы ночи, тот не знает, не испытал вас, вы, Силы Неба! Вы бросаете нас в жизнь, вы заставляете нас, бедных, согрешать, становиться виновными, а потом покидаете нас на муку, потому что каждая земная Вина — отмщается (искупается) тут же, на земле».

Рок — античный период общества — ведет к случайной вине, к преступлению (Эдип). Искупление, жертвенность, ад христианства ведут к человеческому страданию на земле. Потому что содеянное здесь — и отмщается здесь. Искупление. И мы, без вины виноватые, виновные от рождения, мы бедные, А г т е п, — с каким-то космическим состраданием выводит на бумаге перо великого поэта, — обречены стать виновными, трудом искупать вину. Это старое понимание труда, еще христианское. Но мост — от христианства к будущему — переброшен в первом четверостишии. Этот мост соединяет труд человеческий, когда в слезах ешь хлеб свой, с познанием для бедного труженика Небесных Сил, высшей благодатной помощи. И отблеск этих Сил как бы ложится на самый труд. Потому что только тот, кто испытал слезную муку этого труда, только тот, кто омочил слезами свой кусок хлеба, познаёт высшую благодать, и никто, не трудившийся до слез, не может познать ее...

Гёте тут, у мостика, остановился. Он не перешел его, он — у порога будущего, когда самый труд из тяжелого и насильственного станет

⁹ Кстати сказать, сознательно или нет, Гёте предвосхитил тут Фрейда, коснувшись корней античности (без вины виноватые, царь Эдип): Миньон, дочь кровосмешенья, от связи сестры и брата, виноватая без вины. В самом христианстве труд мыслится как наказание, как «изгнание из рая». Цитата, переведенная мной, взята из старого издания «Philip Reclam. Goethes sämtliche Werke in fünfundvierzig Bänden. Wilhelm Meisters Lehrjahre», стр. 92. Но я лишь намеком касаюсь темы, уходящей корнями очень глубоко, поскольку она не лежит в русле моего рассказа.

свободным и творческим, из необходимости превратится в потребность. Но мы с читателем пойдем дальше. Приведу еще пример, он, правда, опять в прошлом, опять еще только на пороге будущего, овеянный потухающим отблеском христианской теории «искупления», но все же сам по себе в старой социальной системе — некоторый шаг вперед. В горе, в несчастье, в плаче — не до еды, но свой, заработанный собственным трудом хлеб можно есть в такие минуты. У Тургенева крестьянка, потерявшая сына, со слезами ест щи, потому что они «посолены», а соль далась ей тяжким трудом и не выбрасывать же труд свой в минуту отчаянья. Труд — свой, своим трудом заработанный хлеб, потому что никто другой не заработает его для тебя, — это величайший воспитательный фактор на земле, вырабатывающий в человеке уважение к самому себе, к своим силам.

Я как-то мало задумывалась над тем, что вся моя жизнь в Питере и после Питера, помимо ее эмоциональной стороны, была, в сущности, с самого утра заполнена этим ведущим и организующим фактором — необходимостью труда. Он был постоянен, присущ самому течению времени, увеличивался с годами, потому что трудиться нужно было уже не только для себя, кормить надо было уже не только себя. И медленно-медленно, как крупинки в песочных часах, накапливалась привычка к труду, покуда количество этих песчинок ежедневного многочасового труда не перешло в качество и чувство необходимости не превратилось в потребность.

Вот эти переходы из количества в качество — они создаются самим временем: каждый такой переход есть своеобразная «обратимость» времени, обращаемость его в самом себе, и нет ничего прекрасней из всех действий времени, чем это могучее превращение труда человека (расхода его энергии) из необходимости в потребность.

Не сразу, даже и после Октября, при воспевании творческого труда, при звучании первых поэтико-эпических формул о труде — у Горького, у зачинателей новой советской литературы — стало это полностью понятным человеку. Шаги к такому пониманию были сделаны не только у нас. Помню выход в Чехословакии замечательной книги Зденека Плугаржа «Если покинешь меня...». Не боясь никаких упреков, я тогда же, как и сейчас, признала ее — после Ярослава Гашека — первым в то время настоящим советским, если хотите — марксистско-ленинским явлением чешской литературы. Читая эту книгу, подходишь к новому пониманию труда как внутренней потребности человека, подобной другим, органическим, потребностям у людей — голоду, жажде, сну, любви. Именно эта книга, поставив социалистически проблему труда, по своей направленности перекликнулась в те времена с лучшим, что было в нашей советской прозе. Напомню ее содержание.

Три молодых парня, плохо себя чувствовавших в новой, социалистической Чехословакии, задумали бежать из нее в «заграницу»: «заграница» была тут, под боком, через лес перейти. Там перебежчиков держали в лагере послевоенной американской зоны, выдавая отсюда «путевки в жизнь» — в Париж, Лондон, на атлантические острова, в колониальные войска, вообще где будет вакансия. И оттуда через подпольные каналы, как отсветы далеких солнц, доходили до этих парней обворожительные штуки — сигареты, зажигалки, носки, пусовицы с той манящей внешностью, где форма красивей содержания, и вообще... «вот это — да! вот этого у нас нет и не будет!».

Парниговорились, приготовились, перебежали границу и очутились, как мечтали, в американском лагере на немецкой послевоенной земле. Дальше идут замечательные по своей правде и мудрой направ-

ленности, самые сильные страницы в романе. Лагерь как лагерь. За то, что перебежали, их кормят. Они могут приспособиться к разным предприимчивым маневрам, на которые распадается спекуляция,— обмену «ты мне — я тебе», картежным и прочим баталиям на выигрыш; могут сделать карьеру, если согласятся окончательно предать свою родину и пойти открыто на службу реакции, в военный легион, в шпионаж, в любую форму измены родному народу. Лагерь обеспечивает их даже и «женщиной», женщиной «вообще», за лишнюю шоколадку или банку консервов. И только одну вещь, как ни старайся, как ни мучайся, беглецы получить не могут — р а б о т у.

«Заграница», приветствовавшая беглецов из молодой социалистической республики, сама полна безработных. «По горло,— скажут разные начальники в разных распределительных комиссиях,— своих некуда девать!» Американцы не дадут им умереть с голоду... их кормят. Спасибо скажите — кормят! А насчет работы — в первую очередь своим, не чужим же. Ждите. Вот и ждут парни, ждут — и оказывается, с каждым днем ожиданья теряют что-то, как машины, ржавеющие от бездействия, как хлеб, плесневеющий от несъедения, как вода, гниющая от неподвижности. Теряют что-то — что? Если знают специальность, хоть самую простую, теряют свое умение, деквалифицируются. Если есть молодость, мускулы, сила в них, и молодость, и сила, и здоровье уходят впустую. Если охота была действовать, двигать, себя приложить хотя бы к самой черной работе (уголь копать, деревья обтесывать, мешки таскать), растрачивается охота, гаснет от нехватки предложенья, как зажженный огонь — без воздуха. Не много ли за миску дрянной д а р о в о й похлебки? Человек пропадает — вот какое это теряемое «что-то». Но и больше того — человек утрачивает уважение к самому себе, веру в свои силы.

Когда я читала книгу Плугаржа, я невольно остановилась на понятии д а р о м. Отдача себя, дар другому — это очень хорошо, это прибавляет нечто к тебе самому. И получить дар от другого, от друга, от народа — это доводит до того высокого переживания, в котором есть что-то благостное, что-то смиряющее твое «я» перед другим «ты», что-то, создающее связь, светлое, бескорыстное: «мы». Благо-дарность, благо-дарю... Но даром, даровщина, даровая кормежка, дармоед! Есть что-то унижительное в понятии «даром», поскольку оно, как пощечина, идет к человеку без ничего обратного, кроме чувства собственного униженья. Как ни оскорбительно такое сравнение, но мне вдруг показалось над страницами Плугаржа, что даже собаке даровая кормежка — без ничего, без дела, без лая, без охраны дома — противоестественна. И по-другому показалось слово, такое частое в газетах, — б е з р а б о т и ц а.

До сих пор помню эту перемену восприятия газетного слова. Бесконечная человеческая очередь с котелком для супа в руках — в Америке, Лондоне, Риме, Париже, Японии... Раньше казалось: слава богу, что хоть кормят! А сейчас оборачивается ужасом: нет работы, не дают работы, вымирает сущность человеческая, костенеет без выхода энергия — в руках, ногах, мускулах, в корке головного мозга, это очень страшная вещь, хуже гильотины, — безработица.

Мудрейшим образом, по наивысшему закону справедливости составлена формула человеческого бытия при коммунизме — о т к а ж д о г о по способностям, каждому по потребностям, где уравниваются отдача и получение не механически, не поровну, а той математикой справедливости, что выше высшего и что действует, я не побоялась бы сказать, как народ говорит: п о - б о ж е с к и.

Привезя с собой из Питера привычку к непрерывному творческо-

му труду, я имела в своем багаже и еще кое-что. От каждого по с п о с о б н о с т я м — говорит первая половина великой формулы. Личной моей «способностью», укоренившейся в Питере как наилучшая форма трудовой самоотдачи для меня, возрастающей с годами, становилось писательство. Но привыкание к своему виду труда развивается вместе с развитием только вам присущих особенностей этого труда. Элемент личных творческих особенностей в процессе труда имеется не только у людей так называемых свободных профессий — было бы высокомерием думать так. Возьму простой пример: если вы проходили когда-нибудь на прядильной фабрике узкими рядами станков и смотрели на каждую из прядильниц по мере своего прохождения, то не могли не заметить, что все они прядут не одинаково, хотя труд их сам по себе совершенно одинаков. Переход от станка к станку, движение руки, когда она мгновенно ссучивает разорвавшуюся пряжу, и жест, отбрасывающий эту ссученную нить вперед, вдоль круженья того же веретена, и опять шаг к другому станку — свой собственный у каждой, — особенно ссучиванье и подбор нити: у одной — взмахом чуть вверх, словно птицу выпускает в воздух; у другой — словно лодочку спускает на воду, плавно и ровно; у третьей — словно ладонью семя в землю бросает. И этот бросок, и быстрое, мгновенное ссучиванье, и взгляд, следящий вдоль за кружащимися веретенцами станков, — у всех свои, у всех разные, хотя, казалось бы, нет монотонной работы прядильницы на старой прядильной фабрике, какой она была лет сорок назад и какую я много раз наблюдала. Этого ученице передать нельзя. Это личное творчество, выработанное временем. У писателя особенности его трудового процесса отражаются в «своем» языке с постоянным уклоном к определенной структуре синтаксиса; в расстановке слов, выборе слов, передаче движения мысли через ритмику абзаца — длинного или короткого, даже в излюбленных знаках препинания, по своему количеству и применению очень разных у разных писателей. Например, Виктор Шкловский пишет короткими, даже кратчайшими абзацами не потому, что делает это искусственно, а потому, что иначе не может: мысль его движется как бы вспышками коротких замыканий в электричестве. А меня редакторы на куски режут, ужасаясь бесконечной длине абзацев, точнее — отсутствию абзацев в массиве слитной прозы, но уж так получается у меня — звено за звеном, словесная передача мысли, словно катящийся клубок ниток. Если опять привлечь электричество — беспрепятственность течения света. Очень неудобно для меня, если его выключают вдруг «почем зря». *Suum quique*, каждому свое, как говорили в древние времена.

Так вот, все еще топчась в своих воспоминаниях вокруг питерского периода и осмысливая, с каким багажом я вернулась тогда в Москву, я вижу в себе то, чего ни один критик видеть не может: постепенное (вместе с ростом привычки к труду вообще и к писательскому в частности) развитие всех особенностей моего литературного почерка; и не только это, но и первооснову, над которой, как «посев» над жидкостью, вырастали эти особенности. Сложный лабораторный анализ очень сложного явления — творческого труда — делается у нас еще очень редко, хотя он нужен и крайне интересен. Я его начала с того, что мысленно обзрела все мои тогдашние писанья, объем и характер этих писаний. Больше всего и чаще всего писались мной — и по количеству их и по затрате времени на них — те систематические послания, которые мы с Линой называли регламентациями. Я писала их изо дня в день, отсылая толстой пачкой в конверте каждые семь дней (обычно по субботам) сперва только Лине, а потом и Гиппиус. Лине — с душой нараспашку, то есть главным образом о себе и своих эмоциях (в восклицательных знаках!), применяясь к тому, что инте-

ресно и важно нам с Линой знать друг о друге. Гипшиус — более требовательно к форме, более выразительно, описательно, дарственно, стараясь дать именно то, что интересно и нужно не мне, а ей. Таких регламентаций я, не преувеличивая, «настрочила» чуть ли не на два толстенных тома. Это не были обычные письма и это не были дневники, разговоры наедине с самим собой. Это были именно послания, нечто уже рабочее, выходящее за пределы комнаты. И они были всегда адресуемы, были направлены к конкретному человеку, живому «приемнику» обращенной к нему литературной прозы. Это значит, что в ранней моей прозе были налицо два компонента, несших на себе эмоциональную нагрузку, — я и ты. Творческий акт шел к «ты» и через приспособление, приближение, постижение «ты» обратным потоком вливался в «я».

Опять обращаясь к античной мудрости, напомним читателю древнейший совет философа, дошедший до нас через тысячелетия: познай самого себя. В сущности, и цель этих моих воспоминаний совсем античная: рассматривая в дальние стекла бинокля почти уже конченную, прошедшую жизнь одного человека, знакомую больше всех других именно этому прожившему ее человеку, то есть мне самой, я хочу «познать самое себя», но немножко не так, как звучит древний совет. Познавая себя как одну из миллионов жизней, частицу человечества, я через свое «я» хочу лучше познать, сблизиться, слиться с «ты», с другими частицами огромной, неизмеримой, невидимой для нас мозаики всего человеческого существованья. Ведь при всей их разнице «я» и «ты» очень близки, очень похожи, рождаются, плодоносят, умирают, как колосья в поле, — и нет больше счастья и глубже науки, чем через свое «я» познать чужое «ты». Так вот, привыкая писать всегда для «живого и конкретного адресуемого», а не для массы абстрактных, невидимых «читателей», и притом писать не «равнодушно», не безликому множеству и не себе в одиночку, а всегда любя — и бескорыстно любя, — любя «с пристрастием», дарственно, с самоотдачей, я и не заметила, как эта привычка срослась с моей прозой и ее особенностями, приняла исповедально-дидактический характер, душевно и мысленно открытый наружу и этим ключом открывающий двери не только в душу и мысль адресуемого (всегда конкретного «ты», для которого пишу), но и для многих читателей, тех, кто чем-то и где-то схож со мной, — а ведь в главном мы, люди, все схожи!

Во всех моих позднейших вещах, даже таких, как «Четыре урока у Ленина», критики отмечали присутствие лирического «я» как особенность моей прозы. Но в ней главное — это присутствие лирического «ты», без которого (тут, около, вблизи, рукой подать...) не могло бы присутствовать и «я». Отсюда некоторая разговорность этой прозы. Когда пишу, губы шевелятся — не читаю себя, а выговариваю себя. Так многие музыканты, садясь за рояль перед переполненным людьми концертным залом, шевелят губами, как бы выпекая свою музыку, создаваемую на клавишах пальцами...

VI

Вот так — бухгалтерией любви, — подсчитывая итоги моего питерского житья и разбирая привезенный мною «багаж», мы с Линой как бы вышли за пределы московского «мелового круга». Обтекли его — обтекли опытом рабочего труда, насыщенного рабочим, общественным, жизненным интересом. Что касается Четвертой симфонии, то тут Лина разошлась со мной: «Все-таки фольклор, не переваренный, почти цитатный в конце, — это в ней есть. И вообще такое восприятие субъективно, у каждого оно может быть свое». Позднее, когда я поделилась

им с философом-музыковедом Эмилием Карловичем Метнером, он тоже называл его «выдуманным, ни с чем не сообразным». И каюсь, я бы в конце концов не поделилась им с читателем, боясь, что и ему, читателю, это может показаться неправдоподобным, если б много лет спустя я не пережила это воздействие в т о р и ч н о, пережила даже сильнее, чем прежде, опять услышав в Четвертой симфонии кусок душевной исповеди Чайковского — рассказ о спасительном действии труда после бездействия отчаянных сомнений в себе, о возвращении к творчеству, о счастье того таинственного творческого восторга, какой в просторечии зовут вдохновением.

Это случилось в Лондоне в пятидесятых годах. И при особых обстоятельствах, странным образом опять связанных с Рахманиновым, когда самого Рахманинова уже не было в живых. Это необычное совпадение я зову в дневнике почему-то английским словом «coincidence», может быть, потому, что носит оно не наш, русский (и не дано было ему закончиться по-русски!), а чисто английский характер. В тот мой приезд в Англию я жила в маленькой старомодной гостинице в Кенсингтоне, называвшейся чем-то вроде «Придорожных столбов» («Milestones»), под вывеской, где был изображен кеб времен Пиквика, везомый мчащейся четверкой, с кебменом на высоком облучке и в шляпе с высоченной тулей. Наверное, за старинный стиль она дорога была и неудобна: в малюсенькой комнате, без телефона. Но для меня — с огромным удобством. По Кенсингтону я могла, не переходя улицу с ее опасным двойным движением, идти спокойно, прямехонько, тратя драгоценное время не на оглядку туда-сюда, а на мышление, в сторону Гайд-парка и Пикадилли, но не дойдя до них, тут же направо свернуть в «Альберт-холл», где происходили в то время, и сейчас происходят, знаменитые симфонические «Променады-концерты». Каждую неделю, заранее запасшись билетами, я добиралась туда без опаски попасть под автомобиль.

Огромное наслаждение от музыки не портилось даже тем, что программа, очень разнообразная, включала западные «новинки», невозможные для человеческого уха, воспитанного на классике. Зато когда в программе стояла классика, можно было почти физически ощутить, как оживлялся превосходный оркестр, «успокаивались» инструменты, не терзаемые звуковым хаосом, насилием над их возможностями, и как улыбался очередной дирижер той доброй улыбкой, с какой нагибаются обычно к детям. Все напоминало мне Москву: толчея у кассы, молодежь, с утра становившаяся за билетами в терпеливую очередь, старики, приехавшие из предместий огромного Лондона, иногда из самого Оксфорда, и в зале «стоячие» места, как в Благородном собрании моей студенческой юности. Только не «за колоннами» (колонн вообще не было), а в середине полукруглого зала, возле самой эстрады; что до сидячих мест, то они шли амфитеатром лож, опоясывавших, поднимаясь над площадкой центра, весь зал. Я покупала места в ложах, только прося, чтоб это было поближе к самой эстраде. Музыка — больше, чем театр, больше, чем музей, — как-то роднит людей, верней — делает их похожими друг на друга в любой, как мне кажется, европейской стране. И на «Променады-концертах» мне всегда уютно было среди лондонцев, как среди москвичей. Началась стоявшая в программе Четвертая. В этот раз я приковалась глазами к дирижеру, силуэт которого был мне отчетливо виден. Дирижировал Сарджент, очень хороший и популярный, но отнюдь не звезда первой величины: обычный первоклассный дирижер. И вдруг опять мое спокойное, заранее как бы приготовленное внимание было потрясено, захвачено, смыто, как в горный речной поток, музыкой — музыкой прежнего ощущения рабочего счастья Чайковского. Слово знакомым каким-то аро-

матом повеяло в зале из воздушных вентиляторов — запахом сосны, леса, скошенной травы, хорошего настроения и — опять — ликующего торжества... А в проспектах стояло «трагические голоса», «народная русская песенность» — а я не слышала никакой трагической ноты, никакой русской народной песни, просто не слышала; вместо них — опять переживаемое торжество, опять нечто, связанное с победой труда, с гимном труду, с торжеством человеческого счастья в труде: опять работаю, опять верю в свои силы! вот вам, люди, — берите еще и еще; и еще! Сарджент в этот раз был великолепен, он превзошел себя. Это, видимо, почувствовали все в зале — такая поднялась необычная для англичан овация. Растерявшись от волнения и желанья высказаться, я начала говорить своим плохим английским языком ближайшей ко мне даме в лисьем боа: «Wonderful, not to be expected — в жизни бы не поверила — from Сарджент!»¹⁰. И дама в лисьем боа ответила такой же банальностью, но по-немецки: «Colossal!»¹¹. Она была немка, и, глядя на нее, я не сразу заметила в зале...

...не сразу заметила странную вещь: наяву или во сне? Что это значило? Вставая с мест и расходясь, слушатели из лож устремили лорнеты в мою сторону, на меня самое! Кое-какие бинокли тоже, как жерлами маленьких пушек, устремились на меня. Я почувствовала ужас и конфуз; неужели закричала от волнения? Или что-нибудь не так в одежде? Или у нас в Советском Союзе случилось что-нибудь — наводнение, извержение вулкана, — а я не знаю, а меня, наверно, сразу признали за советскую... Просто трудно описать, что мне в ту минуту приходило в голову и в каком состоянии я помчалась домой, по своему темному, ночному Кенсингтону. Внизу, в холле гостиницы, был телефон. У меня был один, нужный до зарезу номер. Лондонский номер. Я позвонила и попросила обязательно прийти ко мне завтра — по телефону сказать нельзя, но мне очень нужно... И не раздеваясь до трех ночи присидела на кровати, ломая голову: что произошло?!

Когда я в первый раз приезжала в Лондон, тогдашнее, совсем еще новое и очень недолго просуществовавшее в те годы Общество англо-советской дружбы передало мне приглашение на обед. Приглашала семья по фамилии Эбрэхэмьян — совсем неразборчиво в произношении, — давным-давно англинизированная армянская семья. Приняв приглашение, я очутилась среди английских армян — мать, еще не позабывшая родных традиций, три сына: один — крупный бакалейщик; другой — постоянный сотрудник музыкального отдела воскресной газеты «Sunday Times» Феликс Эбрэхэмьян, известный английский журналист с гвоздикой в петлице; и третий, с которым я сразу успела подружиться, Фрэнк, — коммунист и физик по профессии, работавший секретарем у профессора Бернала. Никто из них не говорил по-русски, я не говорила по-армянски, но мы отлично понимали друг друга. С Фрэнком я стала переписываться, он побывал у меня в Москве, и это Фрэнку я позвонила по телефону, придя с концерта. Утром, выслушав мой рассказ, он, в свою очередь, спустился к телефону и вызвал Феликса, а Феликс пришел в гостиницу улыбающийся, элегантный, со всегдашней гвоздичкой в петлице и сказал только одну фразу: «Просто вас кто-то узнал из ваших, сказал соседу-англичанину, сосед — другому соседу, вот и все». «Но меня вовсе не знают англичане и смотреть им не на что!» — «Да, вы популярны не сами по себе, а вот через это». И Феликс развернул пакет, извлек из него объемистую книгу и протянул ее, все так же улыбаясь, мне. Я прочитала на обложке: «Rachmaninoff, a biography by Victor Seroff». А дальше — «Cassel and Company LTD, London.

¹⁰ Чудесно, никак нельзя было ожидать... от Сарджента!

¹¹ Колоссально.

First published 1951». И перечисление, где эта биография Рахманинова, написанная Виктором Серовым и опубликованная впервые в 1951 году, вышла, кроме Лондона: Мельбурн, Сидней, Веллингтон, Торонто, Кейптаун, Солсбери, Южная Родезия, Нью-Йорк, Бомбей, Копенгаген, Дюссельдорф, Сан-Паулу, Аккра...

В этой книге, впервые изданной в 1951 году, — а значит, уже переиздававшейся, напечатанной во всех пяти частях света фирмой «Кассель», а значит, разнесшей свое содержанье о прославленном музыканте, интересовавшем чуть ли не весь мир, едва ли не по всей планете, — имелась целая глава, одиннадцатая, под кратким названием «Мариэтта Шагинян» (стр. 115—138), снабженная моим портретом работы Татьяны Гишиус, писанном ею в Питере в самом начале 1911 года. Портрет этот, «академического» типа, бледный по краскам, был, кстати сказать, тогда же раскритикован Д. В. Философовым («Один глаз на нас, другой в Арзамас»). Какая же версия наших отношений с Рахманиновым, выдуманная Серовым, пошла гулять по всей планете? Я оказалась «единственной женщиной в жизни Рахманинова, связь с которой документирована»; описывается эта «связь» как «кокетливый флирт»; письма Рахманинова ко мне переводятся не совсем точно (например, если Рахманинов спрашивает: «Где Вы, милая Ре, и скоро ли я Вас увижу?» — Серов переводит: «О, где же Вы, милая Ре, и когда, когда я Вас увижу?» По-английски это «о» и повторное «когда, когда?» звучат особенно романтически¹²). По характеру я оказываюсь чуть ли не демоном. Вот некоторые выписки: вернувшись из первой поездки в Америку (в начале десятых годов), Рахманинов спустя два года пережил (или испытал на себе) «новое влияние, ставшее известным публике только после смерти композитора». Это «новое влияние вошло в его жизнь через романтический, если не необычный канал. Я говорю о его связи с Мариэттой Шагинян, русской писательницей. За исключением круга своих музыкальных друзей Рахманинов следовал только ее советам в выборе материала для своих композиций, и она была единственной женщиной, кроме его семьи, отношения с которой были документированы... Публикация (его писем) имела такой же потрясающий (по неожиданности) эффект, как некогда (as at one time) известие о женитьбе Рахманинова на его двоюродной сестре Наталии Сатиной. Даже его школьные товарищи и те, кто думал, что знают его интимно всю жизнь, сдвинули брови (Knit their eyebrows), стараясь вспомнить, какое отношение могла иметь к Рахманинову Мариэтта Шагинян... Даже из скупого материала несомненно видно (is obvious), что Мариэтта Шагинян занимала ум композитора более чем обычно и что она имела определенное влияние на него. Женщина с сильной собственной волей, она с самого начала взяла вожжи в свои руки...» (стр. 115—116, 120). Цитируя мои собственные воспоминанья, Серов трактует их произвольно и по-своему, убежденно говоря читателю, что, кроме наших (моих с Рахманиновым) отношений взаимного духовного интереса, моей помощи ему в подборке материала, тут была еще «умолченная» мною любовь и что я «не имела смелости правдиво сказать ему: думаю, что я — женщина для Вас» (стр. 120). Самое же неверное и противное для меня в этой версии, гуляющей по свету, — мое якобы придумыванье политического настроения Рахманинова как отрицательного к тогдашнему самодержавному строю, придумыванье, сделанное под влиянием советского строя и в применении к моему собственному положенью «уважаемого советского гражданина». Дважды приписал мне это Серов, а вообще, кроме целой главы, он упомянул

¹² Oh, where are you, my dear Re, and when will I see you? (Стр. 134)

обо мне в своей книге еще пять раз и повторил свое обвинение на предпоследней странице (211-й).

Возмущенная тем, что прочла, я тут же хотела засесть за письмо к «эдитору» с протестом и послать его в «Таймс»¹³. Но наши в Лондоне отговорили меня. Тем сильнее чувствую я сейчас необходимость противопоставить правду выдумке Серова, правду, важную не только для меня, но и для памяти великого русского музыканта, у которого эта страница нашей дружбы до конца его жизни (а может быть, и моей) сохранилась едва ли не единственной по своему свету, чистоте, прямоте и бескорыстию человеческого взаимоотношения. Нельзя оставить не опровергнутой фальшь. Но еще более нельзя не успеть сказать то настоящее, что было,— потому что оно было прекрасно. К тому времени, как появилась книга Виктора Серова, мои воспоминания были уже написаны. Но мне ясно, что повторять их сейчас — недостаточно. Репризы в музыке — чудесная вещь, особенно в XVIII веке; но реприза (повторение) в литературе — убийственная вещь. Мелодия жизни не останавливается, она углубляется — или исчезает — с ее течением, и мне просто необходимо сейчас повторить ее углубленно.

Еще не все, однако же, сказано у меня о Четвертой симфонии Чайковского, с которой началось это углубление. Она ввела в московско-рахманиновский период моих воспоминаний как раз то, чего нет (да и не могло быть!) у Серова,— социальную сторону нашей дружбы, ее политико-социальный мотив, мировоззренческий мотив, лежавший с самого начала в основе нашей дружбы с Рахманиновым...

Итак, исполнение Четвертой английским дирижером Сарджентом. Лондон, видимо, сохранил традицию трактовки этой симфонии с самим Чайковским, приезжавшим ее исполнять в Лондонском филармоническом обществе в июне 1893 года. У того же Холодковского из его интересной и поучительной книги я извлекла очень важные для меня сейчас подробности. У Чайковского, кроме десяти тетрадей дневников в точном смысле этого слова, были записные книжки и так называемые бювары, куда время от времени вносились адреса, даты, всякие записи. Описывая дом-музей в Клину, Холодковский рассказывает, что последний из этих бюваров, девятый по счету, лежит на зеленом сукне стола и «еще хранит неясные чернильные отпечатки: тени слов, написанных его (Петра Ильича) рукой». Что же это за «тени» слов? Дальше я привожу в кавычках запись Чайковского, цитируемую Холодковским, и его самого, комментирующего эту запись на странице бювара:

«В Лондон до 1 июня.
Взять с собой IV симф.»

«Мы уже знаем: все было именно так!.. И в Лондон Петр Ильич приехал в намеченное время, и симфонию не забыл захватить с собой». В июне 1893 года он сам дирижировал Четвертой симфонией на одном из концертов Лондонского филармонического общества. И вот что сказано об этом у Холодковского: «В одном из них выступил и Чайковский. Он исполнил свою Четвертую симфонию. И, по свидетельству Модеста Ильича, опирающемуся на отзывы «Таймс», «Дейли телеграф» и других лондонских газет, «ни одно из произведений нашего компо-

¹³ Письма к «эдитору» (издателю) в «Таймс» да и в других больших английских газетах — это, пожалуй, самая интересная часть английских газет вообще. Они печатаются в середине многостраничной «Таймс»; их, кажется, никто не трогает редакторским пером; в них самые неожиданные «отклики» читателей, идущие «из глубины души». Помню, когда Насер закрыл Суэцкий канал, какой-то шотландец написал в «Таймс» — «Насер — молодец» и давно пора было «подрезать нос англичанам», и «Таймс» это напечатала без всяких реплик.

зителя не нравилось так и не способствовало больше росту его славы в Англии», чем эта симфония» (стр. 174).

Я не читала двухтомной биографии Чайковского, написанной его братом Модестом Ильичом. Ничего не читала о понимании Четвертой музыковедами, об истолковании ее, кроме тех страничек в концертных программах, о которых говорила выше. Да мне и не важно, как истолковывается ее содержание специалистами, в терминах обычного анализа партитур. Я не могу отказаться от собственного восприятия, от дважды пережитого ее воздействия на душу, такого близкого нашему времени, такого нужного нам сейчас, в эпоху творчества десятой пятилетки! И я твердо, внутренним чувством, знаю, что оно было тогда, в тот московский вечер, когда я затаив дыхание слушала ее за колоннами,— близко и нужно и самому Рахманинову, творцу ее исполнения, каждым взмахом своей палочки выявлявшему душевное состояние Чайковского, и мне, слушателю, переживавшему духовный кризис, тоже нужно — жадно, как жажда в глотке воды. И пусть там что хотят говорят о трагизме, о фольклоризме, исчезавших, если бы они, в торжественном «да!» этой музыки. Что до «фольклора», до «во поле березоньки», то и это, мне думается, сам Чайковский понимал вовсе не так внешне-профессионально-композиционно, а душевным приобщением к трудовому бытию народа. Интересен отзыв его самого о том, что он вложил в свою Четвертую. Этот отзыв, узанный мною много лет спустя, не противоречит моему юношескому восприятию. Он даже совпадает с ним, углубляет его.

Переписываю опять из Холодковского, с 275—276 страниц его книги.

Сперва, ссылаясь на слова о Четвертой симфонии Б. Ярустовского: «...в музыкальных образах потрясающей силы запечатлел (он) основную идею борьбы с «судьбой»,— Холодковский пишет от себя: «На кого может опереться человек в этой тяжелой жизненной битве? На народ! — отвечает Чайковский». И приводит собственные слова Чайковского из его письма к фон Мекк: «Ступай в народ... Не говори, что все на свете грустно. Есть простые, но сильные радости... Жить все-таки можно»,— так сам композитор в письме к Н. Ф. фон Мекк трактует финал Четвертой симфонии...» И дальше у Холодковского от себя: «...в Четвертой симфонии Чайковский пытается найти исход в слиянии личности с народом...» Но такое слияние возможно только в труде. Простые и сильные радости — только творчество, труд творца. А вот почему именно так исполнил Четвертую Рахманинов и почему именно так я услышала ее в дирижерском исполнении Рахманинова, сейчас многие просто не поймут, не могут понять. Рахманинов стал у нас иконой. Он классик, а классики не подлежат критике. Но подлежат исследованию... да и теперь, может быть, еще не время исследованья «критическим ножом», когда глубокие раны его творчества еще кровоточат на памяти немногих оставшихся в живых современников. В тот год, когда Рахманинов поднял свою дирижерскую палочку над Четвертой, он находился в зените своей славы. Это была э т р а д н а я слава. Концерты его, фортепианные и дирижерские, всякий раз сопровождались потрясающими овациями, многие «рахманисты» ездили за ним из города в город, чтобы присутствовать на этих концертах. Публика часто сторожила его у подъезда по их окончании чуть ли не до ночи, не давая ему выйти, а когда он благополучно выходил, в большой наемной старомодной карете, увозившей его домой, он наткнулся на забившихся туда фанатичных поклонниц, которых приходилось вытаскивать оттуда администратору. Казалось бы, именно Рахманинову из трех крупнейших композиторов тех лет — Скрябину, Метнеру

и ему — вышло наибольшее счастье полного народного признания... А он не был счастлив.

С ним творилось что-то, невидимое глазу публики. Он был ранен, оскорблен, болен отношением к нему некоторых профессиональных кругов и критиков. Молодежь за колоннами чувствовала это, двадцатитрехлетняя девушка в Дегтярном переулке, тосковавшая по регламентациям, по направленной отдаче своих мыслей и чувств, по «ты», по духовному общению с «ты», чувствовала это. Мои самые старшие, еще со времен гимназии Ржевской подруги Катя Вельяшева и Лида Лепинь были, как я уже упоминала, хорошими музыкантшами, и они не только чувствовали — они знали многое о любимце московских слушателей «Сереже», как называли Рахманинова между собой студенты, то, чего никто другой не знал и не подозревал в концертных залах: о его душевном состоянии, об отношении к нему профессионалов, о критиках враждебных, о критиках восхваляющих, о том, что хвала их могла показаться оскорбительной своей интонацией «защиты». Я часто бывала у них, наезжая из Питера и до переезда в Питер. И когда мы собирались, они играли мне переложение для фортепьяно Второго рахманиновского концерта. Посвящение этого концерта гипнотизеру доктору Далю было тоже датой, датой излечения от глубокой душевной травмы, от пережитого провала Первой симфонии, от годов отчаянья и потери веры в себя, от периода трагического состояния бестворчества. Они мне играли Второй концерт, а я, следя глазами за страницами, переворачивала их. Мы впитывали широкую, расплывающуюся мелодию первой части и подпевали ей словами, как будто созданными для нее: «Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега...» Такое излияние красоты и правды — и такой душевный мрак музыканта — опять, сейчас, в наши дни. Мудрено ли, что в нас затаенно друг от друга рождалось со-страдание, со-чувствие, желание помочь, облегчить, зажечь веру...

Кто из современных слушателей знает сейчас о том, что и как испытывал Рахманинов в дни грандиозной своей славы, огромных своих триумфов, небывалого народного признания? Сам Рахманинов не только знал. Слава была — исполнительская. Триумфы были — эстрадные. Пианист — великий, дирижер — изумительный, с этим соглашались все. Но дальше следовало о композиторе... Если бы услышали или прочитали сейчас, как оскорбительно унижалось собственное творческое начало в Рахманинове! Метнера ругали за сухость, за «черешурную абстрактность его виртуозности» — но уважительно, признавая его место в музыке. Скрябина задевали за наивность и дилетантизм его собственных словесных текстов, уходивших в теософские дебри, — но с восторженным признанием его места в музыке. Рахманинову — отказывали в этом месте. Страшные слова «эпигон», «экслектик» — слова вышадения из развития музыки, слова болотные, стоячие, когда все течет и двигается; слова, лишавшие будущего, — бросались так легко и бездумно в огромный творческий мир рахманиновских произведений... Понять всю оскорбительную силу их можно, только испытав их на себе, в борьбе против отвратительных явлений в маске «новаторства», за подлинное, вечное искусство. Если Первая симфония была провалом одной вещи у композитора, то было это давным-давно, еще до меня, в конце прошлого века — 15 марта 1897 года, когда мне самой не исполнилось и девяти лет. Только «старики», отцы моих друзей, кто сам слышал это первое исполнение, могли рассказать о нем. А в десятилетиях нового, XX века Рахманинова, зрелого творца, зачеркивали как композитора целиком.

Чтоб дать хоть на мгновение почувствовать современной молодежи атмосферу, окружавшую тогда творчество Рахманинова, при-

бегну к очень осторожным словам, не в полный голос сказанным в печати, большим музыкальным деятелем наших дней Б. В. Асафьевым (Игорем Глебовым). Прошло немало лет со дня смерти Рахманинова. У нас уже начиналось понимание его огромной роли в сложную эпоху модернизма как продолжателя (продолжателя, а не подражателя!) классической линии развития русского музыкального искусства; он уже твердо занял в этом русле русской классики свое неповторимое, ему только принадлежащее место. Б. В. Асафьев пишет воспоминания о нем. И вот что он говорит о времени трави Рахманинова:

«Годы были трепетные, лихорадочные, нервные, когда и в музыке преобладали интересы к новизне щекочущих нервы звукосочетаний и к дразнящим изысканный слух раздражениям. Стремления Рахманинова к симфоническому монументализму и мощной виртуозности и прочности ритмопостроений казались повторением всего лишь унаследованных путей: скалой, выдвинутой искусством прошлого».

В этих словах звучит как бы оправдание модернизма, «щекотания нервов» и самого времени, когда «изысканный слух» требовал этого. Годы борьбы за реалистическое искусство Асафьев как бы отодвигает перед «трепетом» и «лихорадкой» преобладающих в музыке «интересов к новизне». Он отдает должное «монументализму» и «прочности ритмопостроения» Рахманинова, верней — стремлению к этим качествам у Рахманинова, но прибавляет к выражениям «эпигон», «эклектик», щедро употребляемым врагами Рахманинова-композитора, очень мягкое слово «казались»: положительные стремления русского композитора «казались» его врагам повторением прошлого, «скалой», то есть препятствием, загораживающим путь в будущее. Все это, конечно, сказано крайне мягко. И сам Асафьев в дальнейшем отходит от этой мягкости к модернизму: Рахманинов «глубоко страдал от жестких упреков в старомодности, отсталости, «салонности», но не уступал, храня в своей красивой художественной натуре свой этос, свое нравственное превосходство: честность перед своим дарованием». «В трудную для русского искусства пору эстетических «изысков» их оболъщения не могли заставить Рахманинова свернуть с его природного пути». А еще дальше в воспоминаниях Асафьева цитатно даны враждебные высказывания о композиторе, хотя авторов этих цитат он не раскрывает в сноске:

«Помню первое исполнение картин-этюдов. Враги музыки Рахманинова были так зачарованы потрясающим богатством фортепианных интонаций, открытых наичуткими руками композитора-пианиста, что нанли определение своему несомненному восторгу в парадоксальной фразе: «В нотах, то есть в напечатанных сочинениях, никакой такой музыки нет — это всего-навсего магия пианизма и воображение рук, в музыке же — одна пошлость и бледность рассудка...»

Такие слова сказать в адрес того, кто так дорог сейчас нашему советскому слушателю! «Салонность», «всего-навсего магия пианизма», «в напечатанных сочинениях... одна пошлость и бледность рассудка!» Они вовсе не принадлежат «врагам». Они принадлежат большому количеству эстетствующих критиков, отдававших дань времени, служивших конъюнктуре, плывших по мутному модному течению.

Но сам Б. В. Асафьев, серьезный и настоящий музыкант, цитируя тех, кто травил и травмировал Рахманинова, все же сумел защитить его двумя необыкновенными словами. В воспоминаниях Асафьева эти два слова поражают своей пронзающей зоркостью, своим необыкновенным прозрением. Допустим, говорит он, что гениальная музыка — не в нотах, допустим, что родилась она «магией пианизма», «воображением рук». Но ведь родилась же, родилась творчески.

Значит, это все же гениальное творчество и — два слова, со знаком вопроса к самому себе: «...устное творчество?»¹⁴.

Вероятно, даже сам автор этих двух простых слов не сознавал, когда написал их, к какой огромной тайне приблизился, тайне творческого процесса. Я внутренней оцупью, как бы вслепую, но с «ослепляющей» зоркостью знала и понимала, что такое «устное творчество» для Рахманинова. Когда образы возникают стихийным наплывом, а мысль мчится вперед со световой скоростью, опережая возможность поймать ее и пристегнуть к бумаге, — рождается эта особенная творческая роль голоса в ораторе, творческая работа рук на клавишах, на смычке, на любом «передаточном ремне» таинственного перелива себя в искусстве, — именно добавочность творческого исполнительства, — «устное творчество». Вот когда исполнялась, ну скажем, Четвертая симфония Чайковского в те первые дни моего приезда, в ней, помимо всего, что говорится о ее содержаниях специалистами, было великое исполнительское, «устное творчество» дирижера, раскрывшего не только то, что хотел в ней сказать Чайковский, но и то, с чем, с каким состоянием души он создавал ее, независимо от содержания, от замысла, от структуры самой вещи. Дирижер был как бы заражен состоянием души Чайковского, — и это передалось в «магии дирижированья», передавалось в магии пианизма великого гения интерпретации, гения «устного творчества» — Рахманинова. Его абсолютная чуткость к чужому, понимание чужого, бескорыстная, радостная любовь к чужому и его умение полностью передать и самого себя таким, каким он хотел себя видеть, и сделали Рахманинова в его триединстве композитора, дирижера, пианиста единственным, уникальным явлением в русской музыке. Он страдал от непониманья «устной» особенности своего творчества, от большего в себе, чем оно реализовывалось на нотном листе, и ему казалось, что это — от неумения, от слабости в нем как композиторе. Видишь Гималаи перед собой, неподвижность сияющего снежного хребта у Генделя; страстный поток, подобно водопаду стремительный, у Листа; грациозные поляны и рощи в сверкающих каплях росы, как в волшебном парке, у Шопена; понимаешь все это, чувствуешь, переживаешь в самом себе, сознаешь, до чего это все прекрасно, при таком ощущении любви к чужому, таком понимании чужого свое кажется маленьким, сам себе — ничтожным, постаревшим, выдохшимся, — чтоб жить, творцу надо верить в себя. Рахманинов, измученный непониманьем своей целостности, сам переставший видеть и понимать себя, свое место в сегодня русской музыки, пошатнулся, потерял устойчивость, как под ударом камня в спину... И все же это не все, не полностью все.

Асафьев пишет о соблюдении Рахманиновым своей профессиональной чести, об «этосе» (этике) Рахманинова, о верности его как композитора своему природному дарованию, и... только. Но в сопротивлении Рахманинова модернизму, расчленившемуся с Запада, в его ненависти к воцаряющемуся хаосу музыкального языка, разрыву ритма и логики было вовсе не только личное, не только верность своей природе и защита «классических привычек», поскольку они были свойственны ему самому и его композиторскому вкусу. Рахманинов отнюдь не был тут эгоцентристом. Он не считал русскую музыку в ее классическом русле — уже законченной. Он считал, что наш доморощенный модернизм — потуги идти вслед за западным (неверным, порочным, искривленным) продолжением развития музыкального искусства — ведет не в будущее, а в тупик. Он не мог выразить это философски, в понятиях,

¹⁴ «Воспоминания о Рахманинове», т. 2 (Б. В. Асафьев, «С. В. Рахманинов», стр. 269, 262, 266).

потому что терпеть не мог умствовать — отвлекаться от звуков и действий, от вкусовых и духовных ощущений в абстракцию. В своих воспоминаниях я много раз пишу, как чужд становился ему Метнер в его постоянном желании поговорить с ним отвлеченно, и приятнейшим подтверждением мне было прочесть в пятидесятых годах одно из воспоминаний (мужа и жены Сванов), где приводятся слова Метнера: «Я знаю Рахманинова с юношеских лет,— сказал однажды Метнер,— ...но ни с кем я так мало не говорил о музыке, как с ним. Однажды я даже сказал ему, как я хочу поговорить с ним о некоторых проблемах гармонии. Его лицо сразу стало каким-то чужим, и он сказал: «Да, да, в другой раз». Но он никогда больше к этой теме не возвращался». Сам Метнер, продолжая свой рассказ, объяснил это практической «деловитостью» Рахманинова, у которого «все рассчитано по часам», и сокрушенно добавил: «Творец должен быть в какой-то степени расточительным». Если б эта фраза дошла когда-нибудь до Рахманинова, он, наверное, ахнул бы или руками всплеснул, как выражаются в литературе полную неожиданность. Рахманинов был бесконечно расточителен внутренне, даже молчание его было всегда расточительно,— присутствие его было дающим, и потому так хорошо, так содержательно было просто быть с ним, молча быть, для тех, кто умел понимать его и «получать» его. Для Рахманинова именно трата времени на пустое теоретизированье, отвлеченное умствование была как раз формой «деловитости», желаньем «использовать время» даже в гостях, даже на отдыхе заняться чем-то полезным... И я с таким же радостным открытием для себя прочитала следующий абзац у Сванов, где Рахманинов дает отповедь Метнеру: «Самое интересное здесь то, что Рахманинов высказался о Метнере почти в таких же выражениях: «Весь образ жизни Метнера в Монморанси очень монотонен. Художник не может черпать все из себя: должны быть внешние впечатления. Я ему однажды сказал: «Вам нужно как-нибудь ночью пойти в притон да как следует напиться. Художник не может быть моралистом»¹⁵.

Жадничал предельно скупой на время сам Метнер, а не Рахманинов, никогда не стремившийся «выжимать», эксплуатировать время, отдававшийся течению его, как ритму... И он не только всегда нуждался во внешних впечатлениях; он наблюдал жизнь очень острым, умным, хотя и беглым как будто, но углубленным взглядом и, как потом оказывалось, необыкновенно точно видел то, чего этим взглядом коснулся. В последние годы жизни он разглядел, например, явление Шостаковича. Что бы там ни говорили с чужих слов, он не только прислушался к музыке советского гения, но и перекликнулся с ней в своем творчестве. В очень интересной высокопрофессиональной статье Вл. Протопопова «Позднее симфоническое творчество С. В. Рахманинова», где Третья симфония, созданная в 1935—1936 годах, считается автором статьи кульминацией всего рахманиновского творчества в целом, вот что говорится о фуге в финале этой симфонии: «Она заимствует свою мелодию из главной темы финала, но преподносит ее в остром, немного гротескном виде, так что... здесь достигается особая рельефность очертаний, заостренность углов. В таком виде эта тема становится родственной Шостаковичу. Но не только эта тема, а также ряд моментов в скерцо, вставленное в Adagio, напоминает музыку Шостаковича...» И дальше, через страницу: «Мы уже отмечали, что в ряде элементов стиля Третья симфония напоминает Шостаковича, но в еще большей степени ее современность выражена в самом характере некоторых образов, например в скерцо, в фугата из финала...»¹⁶.

¹⁵ «Воспоминания о Рахманинове», т. 2, стр. 222, 223.

¹⁶ «С. В. Рахманинов». Сборник статей и материалов под редакцией Т. Э. Цытович. Труды Государственного центрального музея музыкальной культуры. М.—Л. Музгиз. 1947, т. 1, стр. 147, 149.

Попытка Протопопова свести это к влиянию западной современной музыки (хотя Рахманинов до конца жизни ненавидел весь массовый западный модернизм в искусстве!) противоречит собственным выводам Вл. Протопопова. Деля русскую музыку на петербургскую школу (Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков) и московскую (Чайковский, Танеев), он видит в Третьей симфонии синтез особенностей обеих школ. Западная современная музыка тут ни при чем. Новаторство Шостаковича, близость его к Мусоргскому — это новаторство русского гения, и Рахманинов несомненно почувствовал это.

Он всегда глубоко постигал чужое и бескорыстно интересовался им, если оно в чем-то задевало его глубинный вкус. И если, например, в личных отношениях вы входили в его орбиту, были приняты в нее, становились ему близки, вы знали, что он видит и понимает вас, интересуются вами по-настоящему, душевно, а не на словах, — вами и делами вашими; и нужны вы ему не меньше, чем он вам. Вот за непосредственность, стыдящуюся уходить в теоретизированье, и живой интерес к настоящему в искусстве и людях, скрытый под маской холодного, замкнутого в себе «аристократизма», любила музыкальная молодежь своего Рахманинова и понимала его.

И двадцатитрехлетняя девушка в Дегтярном переулке, сидя перед кухонным столом, заменявшим в комнате письменный, понимала это — понимала и разделяла при всей своей «кабинетной» начитанности и любви к теоретизированью. Перед ней на столе были бумага, чернильница и та самая деревянная ручка, которую сейчас, спустя больше чем полвека, я сохраняю, как дряхлую старушку на пенсии, с беззубым перышком и облупившимся деревянным черенком в особой коробке для памяти. Время было февраль 1912 года. В календаре было приближение искони русского праздника — масленицы («Масленица-мокрохвостка...» — поет хор в «Снегурочке» Чайковского). На первой странице газеты «Русское слово» это приближение ознаменовалось огромными буквами рекламы о прибытии в магазины свежей амурской икры и наваги... А чуть ли не в том же номере «собственный корреспондент» из Саратова сообщал по телеграфу: «В Царевщине Вольского уезда крестьянин, отец семерых детей, послал этих последних побираться. Когда дети вернулись с пустыми руками, отец в отчаянии распорол себе живот ножом и тут же умер»¹⁷. Даже сейчас, спустя шестьдесят четыре года, содрогаешься, когда читаешь подряд одно за другим эти два сообщения. «Годы были трепетные», — пишет Асафьев в воспоминаньях о травле Рахманинова, словно улыбаясь на поиск острых ощущений в искусстве, словно снисходя к этим поискам. Но «трепетные годы», когда поиски диссонансов и острых ощущений сочетались с едой икры в ресторанах, где разгульно праздновалась широкая русская масленица, а в далеких волжских просторах, видя умирающих с голоду детей, крестьяне вспарывали себе животы от отчаянья, на манер японских харакири, были не «трепетные», а страшные. Огромное народное бедствие — голод. Голод с большой буквы, более сильный, чем пережитый в 1891 году, когда тихий голос Льва Толстого гремел на всю Россию, призывая помочь народу. И масленица в Москве, со свежей амурской икрой!

Даже мы, бедные студенты, не видели в Москве всей глубины этого народного бедствия. Лотки и лавки, ряды и рынки были полны съестным. И этот разрыв между частью «мелового круга» — и где-то там невидимо, неощутимо гибнущими народными массами! История как бы остановилась для этой части общества. Так бывает, когда глядишь из вагона стоящего поезда в окно на быстро идущий параллельно твоему другой поезд. Тебе кажется — это ты с а м идешь, движется

¹⁷ «Русское слово», 3 февраля 1912 года.

твоёй вагон. А на самом деле, когда последний вагон соседнего поезда проходит, чувство собственного движения вдруг исчезает, и внезапно, почти физиологически, как телесный толчок, как «стоп», перед тобой все оказывается стоячим, как было прежде,— та же водокачка, тот же перрон, тот же начальник станции в красной шапке, где он и раньше стоял, и ты стоишь; и хотя стоял все это время, испытываешь головокружение от мнимого толчка. Но — даже и в этом «стоячем» кругу не могло не происходить нечто.

Из глубин космоса миллионами миль доходят до нас космические лучи, и мы знаем сейчас, что каждое излучение не безразлично для человеческого организма. Не миллионы миль, даже не тысячи верст отделяли от нас дыхание умирающих от голода, и оно не могло не доходить, не содрогать сердце, не прибавлять тяжкого чувства горечи, того, что зовется врачами депрессия, к общественному настроению даже тех, кто, казалось бы, благополучно жил в «меловом круге». Всем было тяжело, хотя не все сознавали, отчего тяжело. И девушка в Дегтярном переулке чувствовала, что Рахманинову тяжело не только от травли,— ко всему нашему личному добавлялась тяжесть народная. Вот этой связи (сознательной или интуитивной) личного переживания с общественным, личного бытия с бытием народа, всегда ощутимой лучшей частью творческой русской интеллигенции, не понимали многие позднейшие биографы Рахманинова, особенно за рубежом.

Я сознаю и анализирую это сейчас, на своем закате, но бессознательно чувствовала и переживала это и тогда, в московский период. Мне страстно недоставало регламентаций, и никакие душевные разговоры с Линой не могли их заменить. Я тосковала по передаче мыслей, по «ты». По высокому наслаждению давать, давать. Когда перо скользит по бумаге и как будто само черпает и черпает из тебя: работу выбора слов, паузы для поисков точного движения мысли, для нахождения верных черт образа, действительной передачи чувства по адресу. Главное — по действительному направлению, «по адресу», нуждающемуся в получении моей «исповедальной дидактики», или «дидактической исповеди», как я нуждалась в ее отдаче. Такой своеобразной формой становилось у меня — на многие, многие годы вперед — романтическое чувство духовной любви, этой вечной потребности живого человека, а у меня лично сраставшейся с литературным творчеством.

Вот почему в Лондоне, уже на пороге старости, я так возмутилась книгой Серова, ее одиннадцатой главой. Не только потому, что написанное в ней было фальшиво, выдуманно на потребу нездорового любопытства западных читателей, а потому, что в ней отсутствовало то, что было в действительности, не выдуманное и не фальшивое. Не было никакого романа! Но зато было нечто большее, чем роман, нечто такое, что идет из души: в душу в той бескорыстной и человеческой дружбе, какая исходит от «я» к «ты» и в этом предельно выражает общечеловеческое. Именно бескорыстие дружбы позволило создать тот удивительный комплекс писем, в которых отразился правдивый и поэтический, неповторимый по искренности, юмору, обаянию и по внутренней борьбе с собой образ великого русского музыканта. «Письма к Ре» — это почти литературное произведение Рахманинова, и прикоснуться к ним, как это получилось у Серова, — святотатственно по своей небрежной непродуманности или намеренному искажению.

Несколько лет назад, до моей поездки в Лондон, эти письма, как и часть моих воспоминаний, были опубликованы. Но в монументальном издании писем Рахманинова в московском Музыкальном издательстве они были помещены в общем потоке всех других писем — хронологически, по времени их написания Рахмани-

новым; и, конечно, целостного впечатления от такого их чтения вразброд они читателю дать не могли. Я помещу их поэтому слитно в моем рассказе о московском периоде, которому посвящена эта пятая глава. Но прежде чем дать их (и о них!) читателю, надо еще многое осветить. Московский период... но он охватывает целых шесть лет, годы 1912—1917, а я провела эти годы вовсе не сплошь в Москве. Да и в самой Москве — по-разному, в разных местах. То в наемной комнате с сестрой, от Дегтярного (на Малой Дмитровке) до Кабанихиного переулка; то «на пансионе» в семействе композитора Николая Карловича Метнера — его жены Анны Михайловны и его брата Эмилия Карловича, музыковеда и гётеанца, известного под псевдонимом Вольфинг,— на Плющихе, в их московской квартире и в имении Траханеево неподалеку от станции Хлебниково под Москвой. Ездila на побывку к матери в Нахичевань-на-Дону, а в последние два года перед Октябрем и после Октября, при белых (смотри мою «Перемену»), преподавала в Ростовской-на-Дону консерватории у Прессмана (эстетику и историю искусств). Проводила с сестрой два лета в Геленджике, одно лето — в Тироле, куда (в «Штейнах ам Бреннер») ездила тоже с сестрой (1913). Почти на целый год (1914—1915) вообще выбыла из Москвы, отправившись в Гейдельберг по поводу своей магистерской диссертации к знаменитому теологу профессору Трёльчу, чтоб консультироваться у него, и застряв из-за начавшейся войны с Германией в Европе (Швейцарии, Италии, Греции). И, наконец, по возвращении из-за границы опять к матери в Нахичевань-на-Дону мое знакомство, совместная работа и брак с Яковом Самсоновичем Хачатрянцем и первая поездка моя в Армению. Это в самых общих чертах по линии моей личной судьбы. А если включить исторический фон — какое же множество событий, не говоря уж о чисто московских, произошло в эти годы: и китайская революция, и Февральская революция, и вся война с немцами 1914 года, окончившаяся величайшим поворотным событием мировой истории.

Времени моей жизни осталась такая горстка — я пишу эти строки в восемьдесят восемь с половиной лет. Всего уже не уложишь в главы. И я решаюсь выделить лишь две параллельные линии — дружбу с Рахманиновым и магистерскую диссертацию, доведя каждую до конца, первую в пятой, а вторую в шестой главе моих воспоминаний.

Итак, возвращаясь к прерванному рассказу, время было 12 февраля 1912 года, тихим поздним вечером. За темным окном без занавески видно было, как беззвучно билась метель в стекло. Газовые фонари мигали, словно в глаза им попадали кружившиеся снежные хлопья. Беззвучие московских метелей, помню, было сказочным. Снег в Москве не убирался дворниками, как в Петербурге. Он нарастал в огромных сугробах, и метельный ветер, не издавая ни воя, ни свиста, зарывался в них, трепал их, а потом беззвучно летел по улице, взметая с нее легкую кисею осевшего снегопада. И, главное, не было в Москве Рахманинова, он уехал в Петербург, чтоб дирижировать «Пиковой дамой» в Мариинском театре. Через месяц исполнялось пятнадцать лет с тех пор, как 15 марта 1897 года Глазунов продирижировал в Петербурге его Первой симфонией и провалил ее. Так давно — и все же, словно справляя страшный юбилей, он опять поехал в Петербург. Вспыхнувшая потребность духовной отдачи толкнула меня к моей деревянной ручке, к чернильнице, к почтовой бумаге.

Я понимала: писать музыканту вдогонку его гастрольной поездке — бесполезная вещь. Он будет по горло занят, он поехал на несколько дней, ему там не до писем, да и писать — куда? по какому адресу? И я все-таки написала. Не помню, что тогда вылилось на четырех страничках, составивших первое мое письмо Рахманинову из

Москвы в Петербург, вдогонку, импровизационно и тоже, как «устное творчество», впергонки с убегающим к нему в душу сочувствием, пониманием, близостью — со всем тем, что добавили к моей прозе уроки петербургских регламентаций. Не помню содержания этого письма. Помню только счастье его писанья. Оно было послано 12 февраля 1912 года.

И в чужом городе, окруженный множеством людей, с утра до вечера занятый, Рахманинов почувствовал — и принял на свою душевную антенну — пробившуюся к нему из Москвы волну «устного творчества». Он ответил сразу же, тотчас, как получил это мое первое письмо.

VII

Я не захотела назваться и подписала свое письмо ноткой — Re. В квартире в Дегтярном переулке все были предупреждены, что если придет письмо, адресованное Re, то это для меня. Рахманинов обратился ко мне в ответном письме как к Re и потом до последней нашей встречи в июле 1917 года всегда и писал и называл меня Re. И посвятив мне свой романс «Муза», поставил в посвящении: Re.

Ответное его письмо, написанное им 14 февраля, пришло ко мне 15-го. Через три дня после отправки моего (а не «после множества писем его поклонницы», как фривольно сочиняет Виктор Серов). К удивлению моему, почта наша шестьдесят четыре года назад ходила куда быстрее, чем нынче. По крайней мере, из Москвы в тогдашнюю столицу. И здесь я сделаю паузу в интересах самого читателя. Прерывая хронологическое следование рассказа, я дам тут сразу все письма ко мне Сергея Васильевича Рахманинова начиная с первого, кончая последним. Поскольку позднее мы с ним познакомились и наше общение стало продолжаться при встречах, их было всего семнадцать. Но два из них (письмо и открытка из Эссентуков) были украдены на одной из моих ранних юбилейных выставок в Московском литературном музее. К счастью, по содержанию эти два рахманиновских письма не заключали в себе ничего важного. Содержания первого я даже не помню; в открытке, посланной мне в Кисловодск, он сообщает свой эссентукский адрес и пишет, что познакомился с Д. В. Философовым. Оставшиеся пятнадцать прошу читателей прочесть подряд не пропуская. В них, как мне кажется, присутствует нечто «устное», нечто отсутствующее в его остальной — обширнейшей — переписке не по тону и смыслу, а по тому особому, «устному» лиризму, который пробивается, словно цветочный запах, сквозь строки его обычного текста. Для меня они создают литературный автопортрет Рахманинова, держат образ его постоянно живым. И, конечно, они заслуживают внимания тех, кто пытается восстановить личность великого русского музыканта во всей ее целостности.

В заключительных подглавках я попытаюсь к его письмам дать нужные внутренние пояснения, а факты читатель, если захочет, найдет, хотя и не полностью, в моих воспоминаниях, изданных Музгизом.

ПИСЬМА К Re

Письмо первое

Штамп: Санкт-Петербург.
Дегтярный пер. (М. Дмитровка), д. 7, кв. 13.
Для Re.
Москва.

Милая Ре,

благодарю Вас за Ваше милое письмо, которое вчера получил. Охотно готов с Вами разговаривать — но я так занят, у меня так много всяких дел, разъездов и я так устаю, что разговаривать могу только изредка. На этот раз стараюсь быть точным в ответе ввиду поставленного Вами, в конце письма, ультиматума.

Напишите мне сюда (пробуду здесь до конца будущей недели), что с Вами? Чем Вы больны и отчего от Вашего письма получается какое-то грустное впечатление?

С. Рахманинов.
14 февраля 1912.

Письмо второе

На конверте курсивом напечатано сверху слева:

С. Рахманинов.

Москва, Страстной бульвар, 111.

S. Rachmaninoff

Moscou, Strastnoi boulevard, 111.

Малая Дмитровка, Десятный пер., 7, кв. 13.

Для Ре.

Здесь.

Милая моя Ре, Вы на меня не рассердитесь, если я обращусь к Вам с просьбой? И если исполнение этой просьбы не доставит Вам большого труда, исполните ли Вы ее? Сейчас скажу, как и чем Вы мне можете помочь... Мне нужны тексты к романсам. Не можете ли Вы на что-либо подходящее указать? Мне представляется, что «Ре» знает много в этой области, почти все, а может быть и все. Будет ли это современный или умерший автор — безразлично! — лишь бы вещь была оригинальная, а не переводная и размером не более 8—12; максимум 16, строф. И еще вот что: настроение скорее печальное, чем веселое. Светлые тона мне плохо даются! За исполнение моей просьбы буду Вам бесконечно благодарен! Буду ждать Вашего ответа. Итак, до следующего письма! Надеюсь, Вы теперь поправились и здоровы.

С. Рахманинов.
15 марта 1912.

P. S. Про себя Вам ничего не пишу: не умею и не люблю. Да и правду (а не неправду) Вам кто-то сказал, что я самый обыкновенный и неинтересный человек.

Письмо третье

С. Рахманинов.

Москва, Страстной бульвар, 111.

М. Дмитровка, Десятный пер., 7, кв. 13.

Для Ре.

Здесь.

Милая Ре, Ваше письмо и книги получил (в Charlottenbourg письма не получал). За все Вам очень благодарен! Все Вами переписанное прочел... Подходит только чудесная «весна» Бортатынского. «Восточные мелодии» хороши, но для романса все неподходящи, как Вы и сами справедливо заметили. Все Вами отмеченное в книжках крестиками, похожими на dieze'y (Ré dieze), мне еще не удалось просмотреть. Все Вами только названное, рекомендованное заставлю себе к лету переписать, когда и думаю только приняться за эту работу...

Перехожу к содержанию Вашего письма и отвечу Вам «деловито» на Ваши вопросы. Предварительно несколько слов на тему о Вашей несправедливости. В последнем письме Вы не всегда справедливы ко мне, милая Ре. Приведу примеры... Дав самый беспощадный отзыв о «стишках» Галиной, Вы не без яда замечаете, что я этими стишками «охотно пользуюсь». На самом деле я воспользовался ими в двух, трех случаях из шестидесяти одного... Здесь же где-то Ре меня предостерегает, чтоб я не искал для своих романсов «дешевого, эстрадного успеха!» Это еще хуже! Да и надо ли мне это говорить, милая Ре?.. Еще насчет Сахновского — я не протестую против данной Вами характеристики его самого и его писаний. Но почему Вы заподозрили меня в том, что все эти писанья мной принимаются не только к сведению, но и к исполнению?! Выхо-

дит так, что стоило Сахновскому сказать где-то, что я певец ужаса и трагизма, как я меняю курс и заявляю Вам, что «светлые тона мне не даются», а Вы заверяете меня не верить Сахновскому.

На самом деле статей Сахновского не читаю (знаю, что они одобрительные), как не читаю и других (которые, знаю, больше отрицательные). Не читаю — так как все это для меня как-то малоубедительно. В глубине же души, кстати сказать, склонен скорее верить и слушать последних, чем первых, так как нет на свете критика более во мне сомневающегося, чем я сам... От этого «не делового» отступления перехожу опять к ответам. Я оттого пишу так мало (или совсем не пишу) про себя, что мало или совсем не знаю Вас, милая Re! Дайте мне к Вам немного приглядеться, вернее прислушаться... Вы спрашиваете меня еще про моих детей?! Говорите, что Вам доставит удовольствие, если расскажу про них. Хорошо! У меня есть две девочки, 8-ми и 4-х лет. Зовут их Ирина и Татьяна, или Боб и Тасинька! Это две непослушные, непокорные, невоспитанные, но премилые и преинтересные девочки. Я их ужасно люблю! Самое дорогое в моей жизни! и светлое! (А в «светлости» есть тишина и радости! Это Вы верно говорите, милая Re!) И девочки меня тоже очень любят. Как-то, не очень давно, я рассердился на младшую и сказал ей, что ее разлюблю, на что она надула губки, вышла из комнаты и сказала мне, что если я ее разлюблю, то она уйдет в лес! То же самое, пожалуй, и я могу сказать по отношению к ним. Все последнее время обе девочки и я были больны. У всех была инфлюэнца с более или менее серьезным осложнением. Все мы сейчас почти здоровы. 24 марта вечером, когда мне принесли Ваши розы, я только что вернулся в свою комнату после консилиума у постельки моей дочери. Той самой, которая «в лес» собиралась...

До свиданья, милая Re!

С. Рахманинов.
29 марта 1912.

P. S. Сейчас пришло Ваше письмо от 29-го. Тасинька и я — мы Вам очень благодарны.

Письмо четвертое

Штамп: Тамбов.

М. Дмитровка, Дегтярный пер., 7, кв. 13.

Для Re.

Москва.

Милая Re, я не успел Вам написать в Москве и хочу это сделать здесь, в Тамбове, где приходится ждать некоторое время поезда, чтоб ехать дальше в деревню. Хочу Вам написать хотя несколько строчек: несколько слов благодарности за Ваше милое, потешное письмо и за книжку со стихами, которые Вы с таким терпением и мужеством переписали. Какая-то «боборыкинская трудолюбивость», сказал бы я, если бы не боялся ядовитой отповеди с Вашей стороны. Я еду в деревню один. Моя семья приедет ко мне через неделю приблизительно. В деревне буду ждать Ваш новый адрес и тогда напишу Вам. Мой адрес: Тамбово-Камышинская жел. дор. Ст. Ржакса. Ивановка.

До следующего письма! Будьте здоровы и счастливы.

С. Рахманинов.
28 апреля 1912.

P. S. Откуда Вы взяли еще, милая Re, что я люблю консерваторок и филармоничек?! Редко встретишь таких людей, которые так самодовольны — наружно и так убоги — внутренно. Что может быть хуже этого? Вы меня спрашиваете, что я люблю еще — кроме своих детей, музыки и цветов?! Все что Вам угодно, милая Re: назовите хоть раковый суп! — только не наших музыкальных барышень..

Письмо пятое

Штамп: Тамбов — Камышин. Ивановка.

М. Дмитровка, Дегтярный пер., 7, кв. 13.

Для Re.

Кроме своих детей, музыки и цветов, я люблю еще Вас, милая Re, и Ваши письма. Вас я люблю за то, что Вы умная, интересная и не крайняя (одно из необходимых условий, чтоб мне «понравиться»!), а Ваши письма за то, что в них везде и всюду я нахожу к себе веру, надежду и любовь: тот бальзам, которым лечу свои раны. Хотя и с некоторой пока робостью и неуверенностью, но Вы меня удивительно метко описываете и хорошо знаете. Откуда? Не устаю поражаться. Отныне, говоря о себе, могу смело ссылаться на Вас и делать выписки из Ваших писем: авторитетность Ваша тут вне сомнений. Говорю серьезно! Одно только нехорошо! Не уверенная вполне, что рисуемый Вами заглазно портрет как две капли сходен с оригиналом, Вы ищите во мне то, чего нет, и хотите меня видеть таким, каким я, думается, никогда не буду.

Моя «преступная душевная смиренность» (письма Re), к сожалению, налицо и моя «погибель в обывательщине» (там же) мерещится мне, такая же, как и Вам, в недалеком будущем. Все это правда! И правда это оттого, что я в себя не верю. Научите меня в себя верить, милая Re, хотя наполовину так, как Вы в меня верите. Если я когда-нибудь в себя верил, то давно, очень давно — в молодости! Тогда, кстати, и лохматый бы: тип несомненно более предпочитаемый Вами, чем... Немирович-Данченко, что ли, которого ни Вы, ни я не любим и пристрастие к которому Вы мне ошибочно приписываете! Недаром за все эти двадцать лет моим, почти единственным, доктором были гипнотизер Даль да две моих двоюродных сестры (на одной из которых десять лет назад женился и которых тоже очень люблю и прошу пристегнуть к списку). Все эти лица, или, лучше сказать, доктора, учили меня только одному: мужаться и верить. Временами это мне и удавалось. Но болезнь сидит во мне прочно, а с годами и развивается, пожалуй, все глубже. Не мудрено, если через некоторое время решусь совсем бросить сочинять и сделаюсь либо присяжным пианистом, либо дирижером или сельским хозяином, а то, может, еще автомобилем... Вчера мне пришло в голову, что то, что Вы хотели бы во мне видеть, имеется у Вас сполна под рукой, налицо, в другом субъекте — Метнере. Описывая его так же метко, как меня, Вы желаете мне привить все е му присущее. Недаром в каждом письме половина места уделена ему, и недаром Вы бы меня желали видеть в его, в их обществе, в этом «святом месте, где спорят, отстаивают, исповедуют и отвергают». (Письма Re.) Не там ли увижу я и «теперешнюю молодежь, легко владеющую стихом и, увы, безмерно далекую от истинной поэзии»? (Письма Re.) Это «лохматые», наверное! Хорошо еще, что центральная фигура, объект, выбрана на этот раз удачно. Действительно, сам Метнер не тот «лохматый», каким бы Вы желали меня, в крайности, видеть. И никакого предубеждения у меня против него нет. Наоборот! Я его очень люблю, очень уважаю и, говоря чистосердечно (как, впрочем, и всегда с Вами), считаю его самым талантливым из всех современных композиторов. Один из тех редких людей — как музыкант и человек, — которые выигрывают тем более, чем ближе к ним подходишь. Удел немногих! И да благо ему будет. Но то Метнер: молодой, здоровый, бойкий, сильный, с оружием — лирой в руках. А я — душевнобольной, милая Re, и считаю себя безоружным, да уже и достаточно старым. Если у меня что есть хорошего, то уже вряд ли впереди... Что же касается о б щ е с т в а Метнера, то Бог с ним. Я их всех боюсь («преступная робость и трусость»! — письма Re) и предпочту этой «гуще подлинного искусства» (там же) Ваши письма... И зачем я Вам все это пишу, милая Re? «Наедине с своей душой» я недоволен содержанием этого письма. В заключение несколько слов другого порядка. Всегда внимательный к Вашим словам и просьбам, пишу это письмо «сонным, весенним вечером». Вероятно, этот сонный вечер причиной тому, что я написал такое непозволительное письмо, которое прошу Вас скорее забыть... Окна закрыты. Холодно, милая Re! Но зато лампа, согласно Вашей программе, стоит на столе и горит. Из-за холодов те жуки, которых Вы любите, но которых я терпеть не могу и боюсь, еще, Слава Богу, не народились. На окна у меня надеты большие деревянные ставни, запираемые железными болтами. По вечерам и ночью — мне так покойнее. У меня и тут все та же преступная, конечно, «робость и трусость». Всего боюсь: мышей, крыс, жуков, разбойников, боюсь, когда сильный ветер дует и воеет в трубах, когда дождевые капли ударяют по окнам; боюсь темноты и т. д. Не люблю старые чердаки и готов даже допустить, что домовые водятся (Вы и этим всем интересуетесь!), иначе трудно понять, чего же я боюсь даже днем, когда остаюсь один в доме... «Ивановка», старинное имение, принадлежащее моей жене. Я считаю его своим, род-

ным, так как живу здесь с 28 года. Именно здесь давно, когда я был еще совсем молод, мне хорошо работалось... Впрочем, это «старая погудка». Что же Вам еще сказать? Лучше ничего. Покойной ночи, милая Ре! Будьте здоровы и постарайтесь вылететь также меня... Я Вам теперь не скоро, вероятно, напишу.

С. Р.

8 мая 1912.

Письмо шестое

Штамп: Ржакса.

М. Дмитровка, Дегтярный пер., д. 7, кв. 13.

Для Ре.

Москва.

Милая Ре, на днях закончил свои новые романсы. Около половины из них написаны на стихи из Вашей тетрадки. Переименую Вам сейчас слова на тот случай, если Вас это заинтересует. А. Пушкин: «Буря», «Арион» и «Муза» (последний посвящаю Вам). Тютчев: «Ты знал его», «Сей день я помню». А. Фет: «Оброчник», «Какое счастье». Полонского: «Музыка», «Диссонанс». Хомякова: «Воскресение Лазаря». Майкова: «Не может быть» (написаны на смерть дочери). Коринфского: «В душе у каждого из нас». Бальмонта: «Ветер перелетный»... Словами Галиной не удалось, к сожалению, воспользоваться... не было под рукой.

Всеми романсами, в общем, доволен и бесконечно радуюсь, что дались они мне легко, без большого страдания. Дай Бог, чтоб и дальше так работа продолжалась...

Присланную Вами «Антологию» получил. Немного мне там понравилось! и мало понравилось! От большинства же стихотворений я в ужасе. Часто наткнулся на пометку Ре: «это хорошо» или «это все хорошо». И долго я силился понять, что же тут Ре отыскала хорошего?! Приходило в голову замечание М. Шагинян из мною также полученной книжки: «Очень трудно подчас объяснить другому смысл стиха». Замечание, к «Антологии» вполне применимое.

До свидания, милая Ре. Будьте здоровы.

Где Вы сейчас находитесь?

С. Рахманинов.

19 июня 1912.

Письмо седьмое

С. Рахманинов.

Москва, Страстной бульвар, 111.

Мал. Дмитровка, Дегтярный пер., д. 7, кв. 13.

Для Ре.

Здесь.

Милая Ре, я в состоянии написать Вам только несколько строчек — только ответы на вопросы. Благодарю Вас за Вашу статью. В ней много интересного и меткого, и метко там именно то, на что Вы сами указываете в своем письме ко мне. Однако в конечном результате Вы оказались не правы: подытожив содержание статьи, мой «вес» оказался преувеличенным. На самом деле я вешу легче (и с каждым днем все более худею). Перехожу к попрекам: они ведь всегда у Вас имеются. Ну чем я, например, виноват, милая Ре, что репортеры пишут про меня в газетах разные небылицы? И неужели Вы, «почувствовавшая» меня как музыканта, не угадали во мне человека, далекого от газетной шумихи и ненавидящего этих любимых тенорами пассажей?! Попреки про Берлиоза и Листа убеждают меня в том, что Вы относитесь отрицательно к этим композиторам. Мне остается только пожалеть, что я не так о них думаю, как Вы, и что Вы о них думаете не так, как я.

Попрек, что я Вас позабыл, никуда не годится. Я Вас отлично помню и очень люблю. Это уже старая истинка. Если неаккуратно отвечаю на письма, то по причине только многих, многих дел и большой корреспонденции...

Никакого туберкулеза у меня нет. Я просто устал — очень устал! и живу из последних силенок. (Вчера в концерте впервые в моей жизни на какой-то фермате поза-

был, что дальше делать, и, к великому ужасу оркестра, мучительно долго думал и вспоминал, что и как дирижировать дальше.) Дай Бог скорее уехать отсюда.

Мои романы выйдут приблизительно через месяц. «Муза» посвящена Ре.

Написав Э. Метнеру короткую благодарность за присылку его книги, я поступил правильно. Тогда я только что книгу получил и не успел прочесть ее. Теперь же, прочитав ее, также не могу ничего прибавить. Мне книга не нравится. Из-под каждой почти строчки мерещится мне бритое лицо г. Метнера, котор. как будто говорит: «Все это пустяки, что тут про музыку написано. Главное, на меня посмотрите и подивитесь, какой я умный!»

И правда! Э. Метнер — умный человек. Но об этом я предпочел бы узнать из его биографии (которая и будет, вероятно, в скором времени обнародована), а не из книги «О музыке», ничего общего с ним не имеющей.

Обещанную Вам книгу жду с нетерпением. Не укажете ли Вы мне чего-нибудь нового русского, интересного? (Только не вроде «Антологии»!) Вы открыли мне Ваше имя. Должен сознаться, что я его уже давно знал. Узнал случайно...

До свиданья! Всего лучшего Вам желаю и от души...

С. Р.

12 ноября 1912.

Письмо восьмое

С. Рахманинов.

Москва, Страстной бульвар, 111.

М. С. Шагинян.

М. Дмитровка, д. 20, кв. 6.

Здесь.

Милая Ре, через час мы уезжаем. Позвольте Вам сказать «до свидания» и выразить мою радость, что я с Вами познакомился и увидел ноту Ре воочию. Буду ждать Ваше письмо и книгу. Пока Вы ее можете прислать по следующему адресу: Berlin Russischer Musikverlag Dessaver str. 17. Serg. Rach. В Берлине я пробуду около недели. Что дальше будет, т. е. где окажусь дальше, пока не знаю. Опять повторяю, что можно все письма адресовать на музык. магаз. Гутхейля, котор. мне пересылает всегда всю почту.

Всего Вам лучшего и от всего сердца.

С. Рахманинов.

5 декабря 1912.

Письмо девятое

Штамп: Roma.

М. Шагинян.

М. Дмитровка, д. 20, кв. 6.

Москва.

Piazza di Spagna, 5.

За Вашу книжку, милая Ре, которую Вы мне «подарили», выражаю душевную признательность. Мне там многое и скр^енн^о нравится. Подробно не останавливаюсь: во-первых, я Вас боюсь; во-вторых, слишком бегло с книжкой ознакомился, чтобы давать отчет автору. Одно мне там положительно не понравилось: я говорю про обращение «к читателю». Предпочел бы такое сообщение слышать не от Вас, а про Вас, т. е. высказанное кем-нибудь другим. Боюсь, что многие из такого обращения будут именно выискивать «предумышленность». Впрочем, простите! Вам, «с горы», виднее.

Несколько слов про себя. Я очень поправился за месяц, проведенный в Швейцарии, и все потерял за шесть недель здесь. Зато очень много работал и работаю. Тем досаднее, что стал опять очень уставать, плохо спать и слабо себя чувствовать. Кстати, это причина, почему я так непростительно долго не отвечал на Ваше письмо (хотя и сказал «непростительно», но все же на Вашу доброту и прошение надеюсь). Что у Вас за несчастья такие, милая Ре? Почему Вам «тяжело жилось»? Продолжается ли так до сего дня? Напишите мне.

Пробуем здесь еще около месяца и к Пасхе надеемся быть в Москве. До того времени мне надо еще много, много сделать.

Привет, поклон и лучшие, от души пожелания.

С. Рахманинов.
28 марта 1913.

Письмо десятое

Штамп: Ржакса.
Заказное.
М. Шагинян.
Тироль. Австрия.

Наконец-то получил от Вас письмо, милая Ре, и узнал, где Вы. Если б это письмо не пришло, решил Вам все равно писать сегодня и адресовать по адресу «того», с кем Вы желали бы меня видеть в дружбе и согласии. Этот самый «тот» или «оно», наверное, осведомлен о Вас. Удивительное дело! Вас я люблю и желаю Вас видеть, слышать и читать. «Того» сторонюсь с робостью. Как бы в ответ на это в Вашем письме читаю: «Свою миссию (какую миссию?) считаю оконченной (когда началась и почему окончилась?) и собираю свой багаж (очень жалко!); а вот «оно» — это для Вас. Дружите!» Покорнейше Вас благодарю! Вот уж именно «на живого человека не угодишь!» В ответ на все это принимаю с сожалением и недоумением к сведению первое и отбрыкиваюсь от второго. Перехожу к вопросам. Их всего два, что, впрочем, понятно, если принять во внимание, что багаж уже собран. Мои дети сейчас, Слава Богу, здоровы. Я же вот уже два месяца целыми днями работаю. Когда работа делается совсем не по силам, сажусь в автомобиль и лечу верст за пятьдесят отсюда, на простор, на большую дорогу. Вдыхаю в себя воздух и благословляю свободу и голубые небеса. После такой воздушной ванны чувствую себя опять бодрее и крепче.

Недавно окончил одну работу. Это поэма для оркестра, хора и голосов solo. Текст Эдгара По «Колокола». Перевод Бальмонта. До отъезда отсюда надо успеть окончить еще одну работу. А с октября концерты и разъезды, разъезды и концерты. Вот какую «миссию» желал бы видеть оконченной.

До свиданья, милая Ре, и счастливого Вам пути в будущем.

С. Рахманинов.
29 июля 1913.

Письмо одиннадцатое (открытка)

Штамп: Ржакса.
Н. С. Дадыанц (для М. С. Шагинян).
Гранатный пер., 9, кв. 9.
Москва.

Милая Ре, конвертов нет, а посему, простите, пишу на карточке. Час назад с почтой пришли Ваши статьи и Ваш адрес. Пользуюсь последним, чтобы обратиться к Вам с просьбой. (Сегодня же) получил предложение от Комитета по чествов. 350-я Шекспира написать сцену из «Короля Лира» (в степи). Скажите мне, имеется ли новый перевод «Лира»? Если не имеется новый, то какой из старых считается лучшим? Имеется ли «Лир» в отдельном издании? Могу ли я Вас просить мне немедленно один экземпляр выслать? Хотя у меня нет ни конвертов, ни Шекспира, но совесть есть, и я обязуюсь Вам, также немедленно, выслать стоимость книги марками вместе с самой сердечной благодарностью. Как Ваше здоровье? Я хозяйничаю!!

С. Р.
30 апреля 1914.

Письмо двенадцатое (с посылным)

М. С. Шагинян.

Милая Ре, постараюсь все исполнить. Увидимся у Метнера, если он меня позовет. Свободен со вторника.

С. Р

Письмо тринадцатое

Штамп: Москва, Страстной бульвар, 111.
 Мариэтте Сергеевне Шагинян.
 24-я линия, 4.
 Нахичевань н/Д.

Сегодня приводя в порядок свой письменный стол, перечитывал некоторые из Ваших писем ко мне, милая Re!.. И перечитав их, почувствовал к Вам столько нежности, признательности и еще чего-то светлого, хорошего, что мне мучительно захотелось Вас сию же минуту увидеть, услышать, сесть с Вами рядом и хорошо, сердечно поговорить... Поговорить о Вас, о себе, о чем хотите. Может, помолчать! Но главное, Вас видеть и сидеть с Вами рядом... Где же Вы, милая Re! И скоро ли я Вас увижу?

С. Р.
 20 сентября 1916.

Письмо четырнадцатое (с посылным)

М. С. Шагинян.
 24-я линия, д. 4—8.
 Нахичевань.

Милая Re, могу ли я прийти к Вам завтра (пятница) от 5—6 часов вечера?
 Ответьте.

С. Рахманинов.
 Четверг, 5 ноября 1916.

Письмо пятнадцатое (с посылным)

Штамп: Ростовское-на-Дону Отделение
 Императорского Русского Музыкального Общества
 Мариэтте Сергеевне Шагинян.
 Нахичевань-на-Дону, 24-я линия, 4.

Милая Re, только сегодня, с большим опозданием приехал в Ростов. Завтра утром выезжаю. Хочу Вас очень видеть, но к Вам попасть не могу. Может, Вы согласитесь ко мне прийти сегодня, перед концертом, в Музыкальное училище?! Мы будем одни, обещаю Вам. Так часов в 6½ веч. Можно будет посидеть часа полтора. Я буду играть, а Вы мне будете что-нибудь рассказывать! Хорошо?

Посылаю Вам свои романы.

Искренне Вам преданный С. Р.
 26 января 1917.

VIII

Комментарий к первому письму Рахманинова

Загадкой для меня почти всю жизнь было: что же притянуло большого музыканта, занятого по горло, в чужом городе, на ответственной гастрولي, окруженного множеством чужих людей, забот и хлопот, когда человек отмахивается от всего лишнего, не может в полную силу даже воспринять это лишнее, — что могло притянуть его к четырем страничкам письма незнакомки и сразу, чуть ли не в тот же день ответить ей? Толстой где-то обронил замечательную фразу: «Дома и стены помогают». Но Рахманинову даже стены не могли помочь сразу взяться за перо, найти конверт и бумагу для ответа: он не был дома. Вряд ли с о д е р ж а н ь е письма. Какое содержание мог-

ло оторвать человека от громадной загруженности собственными делами за временное пребывание в чужом месте и не в своем доме — в чужих стенах? В сущности, речь шла не о содержаньях, не о «музыке», пришпиленной нотными знаками к бумаге, а об исполнении и содержанья, об «устном творчестве», извлекаемом из букв и слов. Исполнение — это акт восприятия. А в восприятии всегда участвуют двое — дающий и получающий, я и ты. «Устное творчество».

Чтоб пояснить читателю, как и что я все-таки понимаю в этой особой непосредственной силе воздействия (или воздействующей силе непосредственности), приведу пример. Гюд своими стихотворениями я очень редко ставила даты, только — в чернзике — год написанья, потому что они не были для меня связаны с лично пережитым, а скорей с возникшим «образом мысли». Но если случилось написать от сердца, под действием сильного пережитого горя или счастья, неизменно я ставила полную дату: число, месяц, год. Просматривая в пятидесятых годах для собрания свои старые стихи, я наткнулась на такую полную дату: 13 апреля 1921 года. Это очень длинное стихотворение. И все же, рискуя утомить читателя, приведу его целиком:

Касыда¹⁸

(По восточным мотивам)

Был человек. Имел жену, детей,
Дом с черепичной кровлей,
Сад, колодец,
Вола, осла и слуг, служивших верно.

Однажды он, идя домой, глядит —
И видит дым на небе,
Слуг, спешащих
Туда-сюда, и отчий дом в огне.

Он узнает, что нерадивый раб
Поджег в саду солому,
Испугался
И, бросив дом, бежал от наказания.

Вскышев от гнева, поспешил и он
Тушить пожар с другимц,
Суесться,
Таскать добро, кричать, хрипя, в дыму.

Но дом сгорел. Жена свела детей
К испуганным соседям.
Головешки
Еще дымилися на пепелище.

— Построим снова, — молвил человек, —
Верни-ка, друг, кубышку,
Что отдал я
Тебе хранить на наш на черный день!

В кубышке было золото. Сосед
Его давно растратил.

¹⁸ Название было изменено несколько раз. Про себя я всегда называла его *касы дой*, восточной формой, где строфы как бы резко обрываются. В последнем собрании 1970-х годов оно названо «Касыда (По восточным мотивам)». Дата под ним поставлен ошибочно 1920 год вместо 1921-го.

Молвил: — Что ты?
В бреду с беды? Какая там кубышка? —

Взревев, как зверь, ударил человек
Неверного соседа.

Тот свалился
И умер. Был виновник взят в тюрьму.

Жена же с бесприютными детьми
От одного к другому
С униженьем
Скиталася, и хлеб их стал им горек.

— Будь я одна, мне было б легче! — Так
Подумала однажды.

Слышала, верно,
Ее злой дух — и смерть взяла детей.

Не снести бы ей потери, но ума
Она лишилась с горя.
И вприпрыжку
Ушла бродить, играя с кем-то в прятки.

Да со смешком, блудя глазами, рот,
Как дети, оттопырив,
Оступилась
И утонула в тот же день в пруду.

Меж тем судья, все дело разобрав,
В нем не нашел убийства.
Отпустил он,
С советом быть разумней, человека.

Тот вышел и спросил: — Где сын? — Погиб.—
Спросил: — Где дочь? — Погибла.—
О жене он
Тогда спросил, и был ответ: мертва.

Он на чужой порог присел без слез,
Очами напряженно
Висматривал,
Как будто бы читал перед собою.

Да шевелил губами про себя.
А раб, их дом поджегший,
Днем и ночью
Тем временем терзался в злой тоске.

И так несносен сердцу был укор,
Что — в жажде облегченья —
Воротился,
Бил в грудь себя и пал пред человеком.

— Прости, прости! — Тот взор в него упер,
Узнал и, торопливо
Продолжая
Немую речь свою, сказал рабу:

— Не ты, — сказал он, — в этом виноват.
Ну, ты поджег солому,
Правда, правда,
А дети? А жена моя? А золото?

Уж тут не ты. Иди себе, иди,
Коль хочешь — так прощаю.—
Обратился
К нему очами и простил ему.

Упала тяжесть с совести раба.
 Вскричал он: — Друг, спасибо!
 Не забуду
 Всю жизнь мою, что мне сейчас даруешь! —

И встрепенулся бледный человек:
 — Ты говоришь: спасибо?
 Ведь лишен я
 Теперь всего, я гол, как перст, я нищ,

Нет у меня на маковку добра,
 А ты сказал: спасибо?
 Неужели
 И нищие давать дары умеют?—

И встал тогда, и ходит он с тех пор
 К болящим и скорбящим.
 И находит
 Такое слово, чем кому помочь.

И не бесплодны скорбного слова,
 А сам он ликом светел...
 Божьим детям
 Дается, утешая, утешенье.

13 апреля 1921.

Когда я перечитала это стихотворенье, долго, долго после того, как оно было написано, я весьма непоэтично вскрикнула, мне судорожно захотелось заплакать. Что было в 1921 году 13 апреля? Дневники мои за годы 1920—1922 в очень плохом состоянии: бледные, выцветшие чернила, дрянная бумага, кое-какие странички разорваны, выпали, месяцами нет записей. Но апрельский цикл 1921 года сохранился. Я уж и не помнила, какое страшное горе пережила в ту весну. Время вообще было очень тяжелое, особенно в Петербурге, где я только что устроилась в Доме искусств, оставив семью — мать, сестру, мужа и крохотную дочку — в Нахичевани-на-Дону. И вот 10 или 12 апреля пришло письмо от матери, что мой муж из-за какой-то дошедшей до него сплетни бросил меня с дочкой и объявил, что «уходит навсегда». Это была первая и единственная наша ссора, кончившаяся прочным миром. Но в голодном Петербурге, одна, еще не обжившись в Доме искусств, без заработка, без хлебной карточки, без друзей, без отшатнувшихся от меня как от большевички нескольких писателей, окружавших Горького, я получила страшный удар в сердце. И тут удар вылился в стихотворение, каким я утешила сама себя. В нем тоже, может быть, нет «ничего такого» в нотных знаках, то есть в зафиксированных на бумаге словах, но я слышу встающее над каждым его словом «устное творчество» — ту обнаженную творческую непосредственность, что звучит и кричит над молчанием обыкновенных слов, передавая физическую боль утраты, — и встающее со дна души великое благо со-страдания, обращенного к народу, к близким и дальним, великое благо утешенья, даруемого своим «я» другому «ты».

Должно быть, в тот февральский вечер 1912 года, когда еще жила во мне горькая боль утраты (я потеряла веру в свою дорогу жизни, потеряла путь, как бороться за лучшую жизнь «малых сих», — мы тогда мыслили по-христиански о «малых сих», а сейчас с гордостью говорим о «трудящихся» и сами стали трудящимися!), эта живая боль утраты диктовала свою атмосферу любому содержанью, ложившемуся на бумагу. Я как будто все потеряла — и для меня помочь себе, утешить себя значило помочь и утешить другого, переслать ему неж-

ность сердца, которому больно, которое кровоточит... «Устное творчество» тогдашнего, 1912 года — воздух отдачи.

И в полученном от Рахманинова ответе я почувствовала получение того, что послала. В письме ему — я писала о нем. В ответе мне — он пишет обо мне. Станным образом — занятый, окруженный, запорошенный, как метельным снегом, сыплющимися делами — он заинтересовался болью чужого ему, совершенно незнакомого и незнаемого человека: чем он болеет, почему от письма его получается какое-то грустное впечатленье? И это не было формальностью, вежливостью, отпиской, потому что он просит написать ему «еще сюда», где он должен пробыть неделю.

Приближаясь сейчас к концу, то есть к исчезновению моей «индивидуальности», поскольку действие ее на земле, хорошее и плохое, почти исчерпано, я думаю, что эта индивидуальность (моя и подобных мне) была воспитана христианской формой страдания, уже смешанного (самим движением времени к будущему) с социальным страданием, новым ощущением частицы «со», как бы соединяющей твою боль, твоё страдание с болью и страданием народа, личное с другим личным, «я» с «ты», одинокое с общечеловеческим. И, во всяком случае, с главным атрибутом такого отношения — с полным бескорыстием отдачи. Мне кажется, это качество бескорыстия тоже сыграло свою роль в понимании Рахманиновым первого моего письма. Так началась наша переписка, и такой с ее начала и до конца была наша дружба.

Комментарий ко второму письму

Через месяц, 15 марта 1912 года, лейтмотив «устного творчества» стал материализоваться, отношения из отвлеченного мира перешли в реальный. Возможно, что, вернувшись в Москву, он «узнал случайно» тогда же, кто скрывается под ноткой Re. Мы имели общего знакомого Михаила Акимовича Слонова. Он был школьным другом Рахманинова и школьным учителем для нас в гимназии Ржевской. Слонов участвовал во всей нашей музыкально-общественной жизни, и не только музыкальной, — помню его присутствие и помощь на вечере, посвященном Глебу Успенскому. Так же как Мария Павловна Чехова, и Михаил Акимович Слонов мог многое порассказать обо мне, о моих отчаянных выходках, о поставленных мною собственного сочинения спектаклях, где я бывала и автором, и актером, и режиссером, и даже музыкантом, выбирая для нашего «оркестра» (игравшей на рояле Кати Вельяшевой, заменявшей этот оркестр) подходящую музыку. Так был, например, поставлен у нас «Сен-Жермен», мое «драматическое сочиненье» о французском маге-шарлатане, которого я сделала масоном и революционером. Он шел у нас под музыку Сен-Санса. Слонов знал мой почерк, поскольку читал мои рукописи, помогая нам в театральном деле. Возможно, что через него и произошло то самое «случайно» («узнал случайно»), как написал мне в одном из последующих писем Рахманинов, признавший, что уже знает мое имя.

Во всяком случае, уже со второго письма он стал обращаться ко мне с просьбой находить для его романсов стихотворные тексты. Я принялась за дело с огромным интересом. Прочитала все тексты его романсов, сделала «опись» их авторов — и по общему значенью и по удачности отдельного стихотворенья, — отвергла Галину и Ратгауза, составила первый рекомендательный список... В моих оценках его личного вкуса сыграла немалую роль его поэтическая, с моей точки зрения, «малограмотность». Трудно сейчас поверить, как я болезненно ощутила эту «малограмотность», когда он написал вместо стиха или

строки — «строфа». Чтоб было в стихотворении не более шестнадцати строк! Господи боже, да это комплекс целой поэмы, $16 \times 4 = 64$ строки (или стиха) для одного романа! Рахманинов явно не знал, что такое строфа, и спутал ее со строкой! Мне кажется, вот это мое зазнайство, идущее от той степени образованности, какая была необходима для общества «мелового круга», требование хотя бы абсолютной грамматической грамотности (в одном из писем он спутал падежи), любое упущение в которой могло этот «меловой круг» шокировать, прибавляло мне самоуверенности в деловой части дружбы. Я чувствовала себя «старше». Но инстинкт предупреждал меня никогда ни одному из своих корреспондентов, кто бы ни были они, не заикаться об их «просчетах» и «ляпсусах». С огромной нежностью сохраняю их не тронутыми поправкой. Но зато в следующем письме он с тончайшим юмором — такая тонкость даже не сразу доходила до меня — и в то же время с необыкновенной бережливостью дотронулся и до моего слабого места.

Я решила послать ему лучшее из новой поэзии. В огромном сборнике, прочитанном мною залпом, с самоуверенностью знатока настаивала крестиков. Они означали: хорошо, очень хорошо, обратите внимание! И очень возможно, что кое на что сыпались эти крестики, как говорится, почем зря. И тут...

Комментарий к третьему письму

...мне самой досталось от его тонкого юмора. Знаки дизез и бемоль имеют как бы «положительную» и «отрицательную» стороны, направляя звук вперед и назад или придавая ему положительный и меланхолический характер. Это если смотреть на знаки элементарно, зрительно, как на арифметику. Крестики мои он тут же сравнил с дизезами и с устной — все кажется мне теперь сугубо «устным» в его письмах! — с устной, такой милой у него улыбкой, иногда прячущейся только в глазах и не спускающейся на губы, прибавил: «Re dièze». Предо мной сразу возникла я с моей склонностью преувеличивать, рваться вперед и частенько зарываться. Как же метко он осадил меня моим крестиком! А потом, сделав свой голос (устный, встающий над письмом) жалобным, Рахманинов пожаловался (так взрослые жалуются детям) на мои несправедливости к нему. В чем только я не укоряла его! От чего только не предупреждала! Большому, серьезному композитору я советовала «не искать дешевого эстрадного успеха» для его романсов! Можно было подумать, что я тащу свои упреки, как веревочку с бумажкой, а он, взяв у меня из рук эту веревочку с бумажкой своей большой, спокойной рукой, стал дергать и играть ею со мной перед самым моим носом, как взрослый человек с котенком. И я могла бы потерять уверенность... выйти из атмосферы высокого устного творчества, если б не зазвучали слова (в их неслышном, высочайшем, устном регистре): «...в глубине же души нет критика, более во мне сомневающегося, чем я сам».

Это третье письмо от него с уже установившимися отношениями какой-то внутренней «видимости» друг друга не сообщает одной житейской «точки соприкосновения». Младшая его дочь, толстуха Тасенька, была больна. Происходил консилиум. «24 марта вечером, когда принесли Ваши розы, я только что вернулся в свою комнату после консилиума у постельки моей дочери...» Но он не сразу вернулся в свою комнату, а зашел в кухню за розами, которые принесла... Лина. Красной шапки (посыльного) не было на месте. Что было делать? Лина обвязалась простой косынкой, надела старый фартук и пальто со стер-

шимся плюшевым воротником нашей хозяйки и храбро отправилась отнести розы сама «через черный ход», чтоб никто из Рахманиновых не увидел ее. Квартиры тогда строились с парадным ходом с улицы — «для господ», и ходом из кухни на черную лестницу во двор — для прислуги. Лина принесла розы — и очутилась лицом к лицу с Сергеем Васильевичем. Он сам взял у нее из рук письмо и розы, сказал «спасибо, спасибо» и, обратясь к кухарке: «Дайте нам вазу с водой»... Лина, не дожидаясь и не простясь, кинулась на черную лестницу. Он запомнил ее. И то, как сказал кухарке «дайте нам», и то, что написал мне принесла, а не принесла, и не вздумал дать ей на чай, и очень пристально, как показалось Лине, взглянул на нее, показывает, что он сразу понял, что это была не служанка. Поздней, у нас в гостях, он поздоровался с ней как со знакомой. Рахманинов относился к Лине как-то пристально, с особым интересом. И все, с кем в моей жизни я духовно сближалась, всегда особо вглядывались в Лину, искали ее располоченья...

С 24 марта по 28 апреля, помимо собственных дел и длинных писем — о чем только не писались эти длинные письма, сотнями способов, со всех сторон, поднимавшие ему настроенье, внушавшие веру в свое творчество, — я еще готовила тетрадки с текстами для рахманиновских романсов. С этими тетрадками он ранней весной один, без семьи, поехал в свою Ивановку. Должно быть, в Тамбове, ожидая пересадки, он пообедал на станции — и за обедом, возможно, ел раковый суп, попавший в коротенькое четвертое письмо, отправленное со станции.

Комментарий к четвертому и пятому письмам

За этим письмом — явно в хорошем настроении — последовало самое длинное из его писем ко мне, пятое, от 8 мая. Мне очень трудно комментировать это письмо для читателя. Написанное его крохотными буквами, как жемчужинками, лежащими рядком, оно на редкость прекрасно. Его можно счесть за художественное произведение, за стихотворенье в прозе, это как бы первая творческая волна, приливом набежавшая у него на берег, пошевелившая прибрежные камушки и откинувшаяся назад. За ней пойдут уже личные, творческие рабочие волны, вторая, третья, до кульминации, до девятого вала, предчувствуемого по ритму первой, и я, держа в руках белые странички, читая и перечитывая их, чувствовала с гордостью и счастьем, что он — в творческой полосе, будет работать, будет работать до конца, до триумфа, до облегченного вздоха. Знала, потому что и он знал, что знаю его. Так написать, не жалея своих творческих сил на простое письмо, только очень близкий не поскупится и только уже захваченный волнением творчества сможет. «Хотя и с некоторой пока робостью и неуверенностью, но Вы меня удивительно метко описываете и хорошо знаете. Откуда? Не устаю поражаться. Отныне, говоря о себе, могу смело ссылаться на Вас и делать выписки из Ваших писем: авторитетность Ваша тут вне сомнений...»

Комментарий к шестому и седьмому письмам

Почти полтора месяца напряженного труда в Ивановке, лето, словно перенесшее Рахманинова в его раннюю молодость, когда тут — среди деревенского русского простора, в саду с его игрой светотени и шевелящейся тенью листвы от солнца на земле и деревянной скамье перед круглым столиком, в благовонном летнем ветру и тепле, — «хорошо работалось»... Он был снова в такой же юношеской рабочей

радости. «Слава Богу!» и «дались они мне легко, без особого страдания»... В шестом письме — если в пятом был вздох — получился довольный выдох, как бывает в удовлетворении от созданного. Он перечисляет, сколько взято было из моей тетрадки («около половины»), и посвящает мне пушкинскую «Музу». Я никогда не была настолько самонадеянна, чтоб принять это посвящение в прямом смысле слова, как если б сама была этой его музой. Тем более что через несколько месяцев и Николай Карлович Метнер, заразившись от рахманиновской (по его мнению, неудачной), сам написал свою «Музу» и тоже посвятил ее мне. Все дело тут в том, как я прочитала Пушкина сперва Рахманинову, потом Метнеру, — а прочитала с голоса и читки Влади Ходасевича, начитавшего «этим гофманским сестрам», мне и Лине, «Музу» и потрясшего нас своей читкой. Передавая ее с голоса Ходасевича на бумагу письма, я не только развила прочитанное, но и положила его с голоса на музыку, нарисовала (как всегда делала в своих письмах к Рахманинову) зигзагами, поднятием и понижением линии ритма, сгущением и побледнением чернил в рисунке мелодии — то музыкальное выражение «Музы», о каком говорил нам Ходасевич. Начало интимно: сразу рождается мелодия как воспоминанье — в первом стихе; расширение «дара» — как обратный ход мелодии (вопрос — ответ) второго стиха; еще едва, словно чирикание утром птенца в гнезде, зарождение игры на цевнице, перебирание струн; и, наконец, все возрастающая, все крепнущая, все более громкая игра этих струн — ствол семистольной цевницы, с каждым стволем вводящая новый музыкальный образ — важные гимны богов и фригийские пастушьи песни; пока сама она не берет в руки цевницу, и тут полноводный финал-дифирамб самой Музе. Откровенно говоря — метнеровская «Муза» показалась мне ближе к такому прочтению, нежели — в то время — рахманиновская.

Со дня отправки шестого письма (19 июня 1912 года) проходит большой срок — четыре месяца, три недели и два дня. Рахманинов берется за перо только 12 ноября все того же 1912 года. Но чтоб читателю быть в курсе этого длинного срока и лучше понять седьмое письмо, надо «расшифровать» мои собственные дела за это истекшее время, а у меня тогда среди напряженнейшей работы произошла новая встреча. Все началось с потребности закрепить творческий подъем Рахманинова, ответить его критикам, показать важнейшее место, занятое Рахманиновым в истории развития русской музыкальной культуры. И тут забрехала для меня и собственная дорога вдаль, обходящая стену кризиса, каким закончился мой петербургский период. Время обтекло стену, выросшую из кризиса, и потекло дальше, как предсказывалось в первой моей беседе с Линой. Я вдруг увидела в этой открывшейся дали социальный смысл музыки.

Нас оглушал и захлестывал музыкальный модернизм. Снобы в «меловом круге» московского общества видели в нем будущее музыки. А я видела — разрушение музыки. Критерий нужности, необходимости музыки для человека, ставшей его жизненной потребностью на все возрасты, был в воздействии музыки на чувство, сознание, настроение, направление к действию, состоянье «нервов» слушателя. Не голый утилитаризм, а та Польза — Польза с большой буквы, — которую Гёте считал путем к Красоте и Истине.

Если музыка воздействует на благо для человека (все равно в какой форме — восхищает, дает наслаждение, веселит, бодрит, заставляет думать, грустить, понимать, постигать, помогает, успокаивает, зовет к действию, поднимает бурю чувств и мыслей или влечет к забвению и покою) — это настоящая природа музыки. Организующая. Она социально необходима человеку, она элемент духовного здоровья че-

ловеческой культуры. Она соединяет, сближает, со-общает людей. Для этого организующего действия главнейший ее элемент — ритм, главнейший способ организующего воздействия — мелодия, главнейшая материя — гармония. И поэтому она, как природа, несет в себе свои законы. Их, как в законах природы, можно постигать все глубже и дальше (и в этом развитие музыкальных форм), но беззаконие, всякое модное «анти», ведущее к противопоставлению произвола организованному началу, к нарушению языковой связи музыки, действует на слушателя разрушающе, дезорганизующе, антисоциально. И это «левое» в музыке не только не прогрессивно для народа — оно регрессирует все завоеванное народом. В борьбе за справедливую, лучшую жизнь для «малых сих» занимает свое положительное место и борьба против разрушительных действий так называемого музыкального модернизма... Вот какие мысли стали питать меня, скажу больше — обуревают меня, словно внезапно нащупанная почва под ногами у пловца, который думал, что он тонет, заплыв в омут или водоворот. Иными словами: я давно уже задумала написать «идеологическую» статью о музыке Рахманинова.

У нас с Линой был знакомый издатель Александр Мелентьевич Кожебаткин, работавший в «Мусгагете», а потом отпочковавший от «Мусгагета» свое собственное маленькое издательство «Альциона», где я печатала книгу стихов Гиппиус, а в 1913 году свою собственную «Orientalia». С этим Кожебаткиным я и поделилась своими мыслями о музыке. Он воскликнул: «Идея! Точь-в-точь мысли Эмилия Карловича! Напишите тезисы такой статьи, идите прямо к нему в редакцию «Трудов и дней», я вас сам провожу, он непременно это напечатает. Только аккуратно пишите, он злоющий немец. Беспорядочных рукописей терпеть не может».

Я написала тезисы самым лучшим своим почерком, свернула их в трубку и перевязала шелковым шнурочком. В те годы на Пречистенском (сейчас Гоголевском) бульваре справа, если идти от Арбатской площади, стоял, и теперь стоит, барский особнячок в глубине двора, снятый издательством «Мусгагет». Об этом особнячке ходили в «Москве-маленькой» рассказы, как о пещере Али-Бабы. В нем были всякие редкие по тому времени удобства, в частности ванна. А ванна в московских многоквартирных домах была еще мало кому доступной роскошью, почти все мы ходили в баню. Рассказывали, как забегали в издательство «Мусгагет» и Белый, и Эллис, и даже философ Федор Степун, чтобы насладиться погружением в теплую воду ванны. Душистое мыло и мохнатая простыня сопутствовали гостеприимству «Мусгагета». При издательстве, основанном Эмилием Карловичем Метнером, издавался его журнал «Труды и дни», где Вячеслав Иванов печатал свою заумь, Андрей Белый — философские размышленья, Эллис — письма о том о сем, высокого заоблачного тона, — словом, кто что хотел, с одним обязательством: отвергать модерн в области главным образом музыки. Когда я пришла в первый раз в эту пещеру Али-Бабы, мне было страшновато. Метнер был занят. Наконец ушел посетитель, Кожебаткин приоткрыл дверь в кабинет, я ступила через порог и зажмурилась: в окно, словно бушующий по соседству пожар, лился московский закат, знаменитый закат, воспевавшийся, как нездешние (апокалипсические) «зори», Белым. В пылающей оранжеевым пламенем комнате поднялся из-за стола мне навстречу человек необычной, нерусской внешности, с лицом, похожим на портреты Лютера, Бисмарка, германских ученых: очень прямые брови над зелеными глазами, прямой нос, узкие губы аскета с порезом от бритвы над ними, высокий лоб, уходящий в лысинку, справа и слева каштановые кудри над ушами. Голос, точнее выговор, тоже не совсем русский.

Тезисы мои были благосклонно приняты. Но мы яростно поспорили о музыке Рахманинова. Эмилий Метнер одобрил все, что я писала против модернизма. Но значение Рахманинова как композитора он нашел преувеличенным — и тут, как предчувствие будущих бурь и какого-то надвигающегося на меня темного облака, я вдруг испытала резкую боль в сердце. Начиная с этого дня в мой быт, практический и духовный, вошло семейство Метнеров — и вошел этот человек, получивший огромное влияние на меня при всей разности наших позиций и наших убеждений. Я переносу все, что относится к метнеровской линии, в шестую главу своих воспоминаний, если успею написать ее. Здесь же отмечу только, что практический и духовный быт семейства Метнеров, организовавший меня до известной степени на целое пятилетие, отразился, словно камешком канул, в моих письмах к Рахманинову и поднял муть со дна в его ответах. Читатель сам увидит острую нелюбовь Рахманинова к Эмилию Метнеру, его огромное уважение к Николаю Метнеру, мои попытки свети его с ними, «сдружить» — и «отбрыкивание» Сергея Васильевича. Когда оба семейства очутились в эмиграции, связь у них наладилась, и об этом рассказано и в их переписке, и в разных воспоминаньях о заграничном периоде жизни Рахманинова.

Моя статья была напечатана в двухмесячнике «Трудов и дней» (№ 4-5). Виктор Серов ее снисходительно поругивает и приписывает свое отрицательное к ней отношение и Рахманинову, пропуская письмо, где говорится совсем другое: «Благодарю Вас за статью. В ней много интересного и меткого; и метко там именно то, что Вы сами указываете в своем письме ко мне. Однако в конечном результате Вы оказались не правы: подытожив содержание статьи, мой вес оказался преувеличенным. На самом деле я вешу легче (и с каждым днем все более хужею)». Так отнесся к статье Рахманинов.

Самой мне трудно читать сейчас первую половину статьи, где я умничаю, зарываюсь в отвлеченную терминологию, силясь заумно доказать простую вещь — что национальная русская музыка не высохла в своем русле, что Рахманинов достойно ее продолжает и что народу нужна и будет нужна его музыка. Говорить просто в «меловом кругу» принято не было. Но вот небольшие отрывки из этой статьи, написанной двадцатичетырехлетней девушкой, только что окончившей историко-философский факультет.

Говоря о важности сохранения ритма в искусстве, я привожу пример, вспомнившийся мне тогда из-за Лениных слов о том, как время обтекает неподвижную стену безнадежности, возникшей при душевном кризисе,— Лениных слов о необходимости поворота на дороге жизни, чтоб смочь продолжать ее, смочь опять увидеть впереди открывшуюся дорогу. Хотя оба примера, Ленин и мой, в статье не имеют как будто ничего схожего, но мне ясна их психологическая связь:

«Как-то я видела уличную сценку, надолго врезавшуюся мне в память. Лошадь, тащившая воз, вдруг остановилась, выбившись из сил; стоит посреди улицы, а извозчик и покрикивает и постегивает, и совершенно зря. Должно быть, прерван был ритм движенья или усилие дошло до предела, но только заставить лошадь сдвинуть воз дальше по п р я м о й с того самого места, на котором она остановилась, не было никакой возможности. Я ждала, что будет дальше. И вот возчик вдруг заворотил лошадь вбок, дернув ее за уздечку,— и она покорно описала кривую линию, обвезла воз кругом себя и, свершив, значит, целый ряд лишних, на первый взгляд непроизводительных движений, потащила воз дальше по нужному направлению. Тут тот же закон движенья, что и в прыжке «с разбегу». Лошадь и возчик выполнили его инстинктивно, мало сознавая, что они делают. Разбег, движенье вбок,

круговая линия — всё это ухищренья ритма, которому нужно сохранить себя для продолженья пути... Рахманинов, гениально ритмичный по природе, буквально спасается ритмом, связывает и сочленяет им все раздробленное...» (стр. 109).

«Этим и только этим объясняются изредка попадающиеся у Рахманинова пустые страницы, как бы «отсутствующие». Это отнюдь не случайная небрежность артиста, забывшего на виду свой черновик, а вполне сознательная уступка ритму, — ряд круговращательных, как будто лишних движений, для того чтоб «свезти с места» мелодику... И это придает его музыке особенную верность и надежность, драгоценную во все времена, а сейчас исключительно нужную и целебную. Слушая любую из его вещей, можно заранее быть уверенным в том, что она не выдаст тебя, не опрокинет в хаос... напротив, стянет своей текучей упругостью» (стр. 110).

И я кончаю эту длинную свою статью (больше печатного листа!) такими словами:

«Те, кто видит путь к высшей свободе лишь через добровольное самоограничение, через полное очеловечение, — не могут не пойти навстречу целительной музыке Рахманинова, тем более мудрой, что ведь она выпустила свои ростки из нашей почвы, из трагического бессилия современности, из ассимиляции, из распада; какая свобода духа в самом акте ее, в сознательном ограничении ею своих масштабов! Мы переживаем время, когда приходится не только не сожалеть о «человеческом, слишком человеческом», но всеми устремлениями души оберегать, призывать и приветствовать «уже человеческое», так трудно бывает выкарабкаться из торжествующего нынче хаоса... Мужественное искусство Рахманинова с простотою и серьезностью протягивает нам руку помощи. И тот, кто ее раз принял, ответит ей чем-то большим, чем признание и хвала. Он сбережет для нее интимную благодарность, чувство пережитой близости и ту деятельную любовь, которая воздается лишь живому, — любовь столь же помнящую, сколь и возлагающую надежды».

Не забудьте, читатель, это было напечатано в июле — октябре 1912 года. А называется статья «С. В. Рахманинов. Музыкально-психологический этюд». Без претензий на профессиональные анализы нот!

Комментарий к восьмому письму Рахманинова

Перед этим письмом, в первых числах декабря, я случайно попала на концерт вместе со встретившимися мне на улице ученицами гимназии Ржевской и возглавлявшей их фрейлейн Метцлер. Под руку с ней прошла и я в знакомую большую гостиную перед эстрадой (или за эстрадой, не знаю, как топографически точнее сказать) и, покуда «маленькие», так называли мы пансионеров, учившихся в младших классах, рассаживались, стала искать себе место поближе к эстраде, чтоб было слышнее. «Маленькие» были маленькими, когда я кончала, а сейчас, хотя я всех их узнала, это были уже взрослые девицы с длинными косами, и они отлично обошлись сами, без помощи фрейлейн, которой хотелось поговорить со мной. В тот вечер почему-то я чувствовала себя измученной, а при виде выросших «маленьких» — страшно постаревшей. И Метцлер усилила это чувство постарения, сострадательно сказав по-немецки, что я выгляжу stark angegriffen — крепко «прихваченной», «изнуренной, болезненной»... Ощущая себя именно такой, я начала, съездившись, куда-то пробираться, как вдруг встретилась с глазами, смотревшими прямо в мои глаза, — с темными глазами Рахманинова. С графической четкостью стоит передо мной наше знакомство.

Он протянул большую белую руку и взял меня за складку платья, слегка потянул к себе и, повернув голову назад, громко сказал: «Иди, Наташа, сюда, знакомься с нотой Re!» Мне хотелось вырваться, убежать, выругаться или заплакать, но я покорно пожала протянутые руки двум дамам, покорно посмотрела на Сергея Васильевича и спросила: «Как вы узнали меня?» Уже открыв через какого-то общего знакомого имя мое и фамилию, он не мог еще знать, какая я и как выгляжу. «Как вы узнали меня?» И Рахманинов ответил: «Вы знакомо поглядели на меня». Узнал по взгляду...

Дальше скудеет переписка. Письма перешли в личные встречи — и в этих встречах было не так, как с Андреем Белым, а естественное и простое переключение «устного творчества» моих огромных посланий в действительное творчество вслух наших больших бесед, большой совместной работы, большой духовно-душевной близости. Внешне об этом периоде личного общения подробно рассказано в моих воспоминаниях пятидесятих годов, несколько раз издававшихся в двухтомнике Музгиза¹⁹ и перепечатанных в девятом томе моего собственного собрания семидесятих годов. Внутренне нет у меня сил передать то светлое, может быть, самое светлое в моей жизни, что было в нашем общении. Перо выпадает у меня сейчас из рук. Почему-то в последние дни, когда я дописываю — и не могу дописать — эту главу, поет у меня в ушах пушкинская строка: «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи...»

Слышу умолкнувший и, слышу молчание, — не тоска ли это по предельной непосредственности искусства, по предельному обнажению духа? Античность знала это, и ее «умолкнувший звук» слышен человечеству уже две тысячи, больше чем две тысячи лет. Наше искусство не знает, не может добиться такой непосредственности. Приходит минута, когда все мы не можем, не в силах продолжать движение, как начали, по прямой. И быть может, тогда — Возчик нашей судьбы резко дергает вожжи, поворачивая лошадь к повороту... Не такой ли Возчик стоит у последней ступени жизни каждого из нас?

Переделкино, сентябрь 1976 года.

¹⁹ «Воспоминания о Рахманинове», т. 2, стр. 128—203.



НИКОЛАЙ САВОСТИН

★

БАМ

К северу
по забайкальским рекам,
Только остановит их мороз,
Мощным током тянет стройка века
Разномастный грузовой обоз.

Тянутся натужно вверх по склону
Через поднебесный перевал
Бензовоз тяжелый за фургоном,
Грузовик с прицепом,
самосвал.

Где по насту, где по свежим бревнам,
Где и по камням
тяжело
Едет хлеб насущный и духовный,
Едет свет на север и тепло.

Дизеля и электромоторы,
Шифер, гвозди втянуты в поток,
Даже сейф громоздкий для конторы
И для клуба — трубы и замок.

Кстати, о замке.
Он с клубной дверью
Нынче для сатиры сущий клад —
Об него фельетонисты перья
Точат:
он не так шероховат...

Просеки да реденькие гати,
А движенье — что тебе большак.
По нему рабочий транспорт катит,
Он не для любителей-зевак.

Лишь приход весны страшит дорогу,
Лучше бы подольше холода:
Вдруг случится — не поспеешь к сроку
Завезти все грузы. Что тогда?

Жизнь моя, мой зимник от низовий,
Не прямой — вдоль рек, через хребты,
Полный и опасности и нови,
Вновь уже не повторишься ты.

Понесет по половодью льдина
Глубоко впечатавшийся в снег,
Как обломок жизни, след от шины,
Проходивший вверх по руслам рек...

Чара—Чита.

У ОКЕАНА

...Владивосток осенний
Снабдил меня приютом.
На сопки, как ступени,
Дома шагали круто.

Асфальт тянулся в гору
Каскадами по склонам
Вдоль вольного простора
Воды горько-соленой.

Светясь свежо и остро,
Легли на голубое
Листвы багрец и охра
И пятна темной хвои.

Чтоб взять почти отвесный
Путь на крутую гору,
Сдает весь транспорт местный
Права фуникулеру.

Здесь, под курортным небом,
Пестрят в толпе прохожих
Изыски ширпотреба
Из всех земель, похоже.

Глядят холодновато
На пестроту, как в цирке,
Суровые бушлаты,
Тельняшки, бескозырки.

Большой, крутой, мосластый
Владивосток рабочий —
Он убежден: не хвастай,
А знай себе ворочай.

И поднимались краны
У Золотого Рога,
Стыкуя с океаном
Железную дорогу.

Конец дорог — начало:
Синь рельсов — синь морская
Уходит от причала,
Всю землю огибая.

Как строки многоточий,
По борту теплоходов
Огни горели к ночи,
Расцветивая воду,

Ту, что вот здесь колышет
Наш отраженный берег,
Одновременно слыша
Волну у двух Америк.

Вода...
Где свет, где дымка,
Где шторм, где тьма густая,
Она лежит в обнимку
С землей, волну листая.

Так вот он, прииск, вот он!
Что добываешь, моя
Своим соленым потом
В лотке природном, море?

Чего тебе не спится
Тысячелетья кряду?
Каких богатств крупницы
На дне лотка осядут?

Где самородки истин
И слитки откровений?..
Тайга в расцветке лисьей,
Владивосток осенний.

Он взял меня, тот город
При Тихом океане,
Как твердая опора
Надежд и ожиданий.

Судьба моя не верит
В предчувствия плохие.
И плещется о берег
Свободная стихия,

Раздумья будоража
И очищая душу...
Скал каменная стража,
Гром волн — как залпы пушек...



ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА

★

ВОЛОКОЛАМСКАЯ ОСЕНЬ

* * *

Я возьму этой осени дым,
ты — бензина... И — вечность в запасе,
чтоб лететь по дорогам пустым
в баснословном твоём тарантасе!

Здравствуй, летчик, мой пеший шофер!
Меж землей и задумчивым небом
ты ли ветхие крылья прости,
озаренные утренним снегом?

Мы промчимся по рыхлым полям,
вспыхнет озимь на первом морозе.
— Дайте крылья, я — душу отдам! —
посулит перепуганным нам
жадный шмель, перетлевший в навозе.

Волок-Ламский... Твоя ли земля?..
Ты ли волоком в черное небо
на исходе горячего аня —
бессловесную — втащишь меня,
осыпая фосфат на поля,
ожидая обильного хлеба?

* * *

Лазурью райской светится цикорий,
озябший жерех мается в реке,
ворона на поломанном заборе,
в зубчатом — на плечах — воротнике,

сидит недвижно, оставляя взгляду
взамен всего, что прежде различал,
хоть малую, а все-таки — отраду,
хоть светлую, а все-таки — печаль.

Все так пугливо в зыбком и прозрачном
октябрьском свете; скригнуло стекло...
Но это я — в окне своем чердачном —
слежу, как осень ломится в село

и как отдельно смотрятся предметы,
как беззащитна и проста их суть —

как будто бы разуты и раздеты
и позабыты в спешке кем-нибудь,

кто брал с собою соловья да сойку,
попутный ветер — отсылал дрозду,
а вот пустую лейку-неумойку,
заржавленную, выбросил в саду...

А вот крапиве — предоставил сохнуть
и чернобылу — стлаться над быльем,
а вот рябине — ни вздохнуть, ни охнуть:
вся съедена проворным воробьем!

Но как зато блестит иссиня-карий
прекрасной птицы золотой глазок
и как бренчит — как будто на гитаре —
котенок, что музы́ку перевозмог

мурлыканья, вечернего разбоя,
шуршанья пыльной, мусорной листвы;
полевки меховою головою
уткнулись в землю: ай да головы

им не сносить — спесивым одиночкам,—
так чуток воздух этих стылых мест!..
А еж прибил подковки к лапоточкам —
стучит, не озирается окрест!

А все ж и ты храни отъединенность,
покой в душе, а в беглых пальцах — дрожь,
холодным светом на ветру наполнясь,
какой-то мыслью, может, прорастешь,

холодным взором озирая дали,
тревожным слухом проницая тишь,
авось и утолишь свои печали,
авось и живу душу подглядишь

земли, что, разоренная, из лета
в такую стынь осмелившись шагнуть,
дарит тебе сухую суть предмета,
запальчивую, огненную суть.

..*

Я не забвения страшусь,
а памяти людской:
ведь не отлыну — возвращусь;
на камушек морской
присяду снова вековать,
припоминать свой дом,
а может — чайкой горевать
над высохшим прудом.

Я не забвения боюсь,
а верности людской.
В полночный ставень постучусь —

услышу храп мужской,
услышу плач, услышу брань
и тонких роз полет;
в такую рань, в такую рань
опять петух поет!

Опять окно выходит в сад,
опять за садом — ров,
и что-то люди говорят —
не про мою ли кровь?

Не про мое ль небытие?
Не про весны приход?..
Но это перышко — мое
чужой малец грызет!

Но это зернышко — мое
пылится на току,
и лычко — драное старье —
поволокли в строку...

И снова речи говорят
девчонка и солдат.
Как будто старое твердят,
да только — невпопад.

Ее на запад он зовет,
не разжимая губ.
А мне бы воздуха глоток,
ах, мне бы — ваших мук!
А я летела б на восток,
а мне лететь — на юг:
там начинался этот свод
земли — и этот звук!

* * *

...А ты меня покинешь, как поэма
вдруг покидает, — в тот последний миг,
когда уже — ни близких, ни чужих,
а гром небесный так послушно тих,
как будто там парит бессмертный летчик,
как будто бы валдайский колокольчик
вниз обронил заржавленный звоночек
уже ничьих, уже остывших строчек,
умчав меня на тех — перекладных...



ЧАРЛЬЗ П. СНОУ



ХРАНИТЕЛИ МУДРОСТИ

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Мистер Скелдинг выполнял задачу, которая далеко не всякому оказалась бы под силу. С удивленным видом Адама, впервые взирающего на мир, он сообщал будто ему одному доверенную тайну, новость, которая по меньшей мере двоим из его слушателей была известна не хуже, чем ему самому. А о том, что это им известно, он не мог не знать — ведь миссис Андервуд так же, как и он, была душеприказчицей покойного.

Все же по комнате разливалось ощущение благодушия. Миссис Андервуд слушала бесстрастно, устремив на мистера Скелдинга пристальный взгляд неярких карих глаз. В шестьдесят пять лет она все еще сохраняла статную фигуру и красоту, ее лицо оставалось гладким и свежим, и выглядела она такой самоуверенной и властной, будто за ней почтительно следует фрейлина, несущая ее сумочку. Сын миссис Андервуд, Джулиан, тоже очень моложавый — ему никак нельзя было дать его сорок лет, — широко раскрыв светлые глаза, вопрошающе поглядывал вокруг также с удивленным видом Адама, впервые взирающего на мир. Но ощущение благодушия, которое легкими волнами накатывало на мистера Скелдинга, исходило не от Андервудов. Кроме них, мистер Скелдинг пригласил в этот день еще шесть человек. Одни сидели на диванчиках у окон, другие стояли, прислонившись к белым панелям. Кабинет предназначался для конфиденциальных юридических консультаций и не был приспособлен для одновременного приема стольких посетителей. Впрочем, это не смущало мистера Скелдинга. Ему нравилось объявлять людям, что им предстоит получить деньги, которых они не ожидали. Нравилось ему и предупреждать их, что пока не следует считать эти деньги своими — на пути к ним их ждут всевозможные юридические препоны. Однако на этот раз дело было ясное и Скелдинг мог дать волю своей природной доброжелательности.

Был теплый октябрьский день, и через открытое окно в промежутках между переливами закругленных, юридически обдуманных фраз мистера Скелдинга в комнату доносился приглушенный шум — знатоки Лондона тотчас определили бы, что это шум машин, катящих по Стрэнду, в полумиле от конторы Скелдинга. Двор был озарен солнцем. Какой-то доносившийся из окна запах на мгновение отвлек Джулиана от его расчетов. А может быть, ему только почудилось? В Олд-Корте не росло ни одного дерева, и все-таки на него словно бы пахнуло горящими листьями. Но почудился ему этот запах или нет, он живо напомнил Джулиану, отнюдь не склонному к ностальгии, те дни, вернее всего один день, когда он (тогда еще студент) вернулся в Англию из путешествия как раз к началу учебного года: тогда стояла такая же мягкая и ясная осень.

А мистер Скелдинг все говорил. У него был яркий цвет лица и пронизательные, глубоко сидящие глазки. Из-за пухлых кирпично-красных щек они казались запавшими еще глубже. Губы его были совсем детские, если бы они сосали соломинку, она выглядела бы в них вполне уместной. Этим исчерпывалось сходство между ним и Джулианом Андервудом, на чьем бледном, слишком моложавом лице тоже выделялись такие же детские губы — поразительно невинные, как считали иные. Другие же придерживались прямо противоположного мнения.

Хотя мистер Скелдинг явно наслаждался своей речью, он не отступал от приличествующей случаю сдержанности и размеренности. Ведь старика похоронили всего два дня назад. О, конечно, присутствующие обрадуются, что он упомянул их в своем завещании, но возможно, подумал мистер Скелдинг, что некоторые из них питали привязанность к покойному. Он был нелегким человеком. Но миссис Андервуд, например, на протяжении ряда лет посвящала ему почти все свое время. Как преданная секретарша. Старик так и обходился с ней, хотя миссис Андервуд, по старомодному определению мистера Скелдинга, происходила из старинного помещичьего рода. Секретарше, вероятно, пришлось бы мириться с таким обращением, но миссис Андервуд имела собственное состояние. Ну, разумеется, на то были достаточно веские и серьезные причины. Мистер Скелдинг не позволял себе судить ближних, а если такое и случалось, он умел скрывать свой приговор даже от самого себя.

Обводя взглядом комнату, он со сдержанным волнением, приличествующим случаю, сообщал то, что имел сообщить, небольшими, точно отмеренными порциями. Он приветливо улыбался, светился и сиял. Покойный мистер Мэсси, сказал он, не пожелал, чтобы завещание огласили на приеме после похорон. Кстати сказать, обычай не слишком хороший. Но статьи завещания, касающиеся некоторых учреждений, по его указанию должны быть доведены до их сведения немедленно. Статьи эти включены в последнее завещание, составленное мистером Скелдингом. Он присутствовал при том, как оно было подписано и засвидетельствовано — примерно за месяц до кончины мистера Мэсси.

— Думаю, что не стоит утомлять вас перечислением второстепенных статей, в которых изложены распоряжения относительно разных вещей, приобретенных мистером Мэсси на протяжении его долгой жизни. Миссис Андервуд и я полагаем, что исполним желание покойного, ознакомив вас с его заявлениями по адресу некоторых учреждений, которым мне вскоре придется написать.

Мистер Скелдинг поправил очки и поднес бумагу ближе к глазам.

— Короче говоря, — продолжал он, — покойный потребовал, чтобы школа и колледж, где он некогда учился, были поставлены в известность о том, что много лет назад он одно время намеревался оставить им часть своего имущества, о чем им и сообщили. Однако тот факт, что они даже не пытались противиться идиотизмам (он настаивал на этом выражении) нашего времени, омрачил и без того тяжелое девятое десятилетие его жизни. Вот почему он решил полностью порвать с ними и, главное, порвать с английской церковью, в лоне которой был воспитан. Он отказывается от мысли о пожертвовании в их пользу, как и в пользу любых других учреждений, и ожидает, что люди, разделяющие его взгляды, последуют его примеру.

Мистер Скелдинг изложил все это совершенно бесстрастно. Он давно научился скрывать свое отношение к тому, что сообщал. Конечно, это была своего рода жертва, но доверие клиентов было ему важнее. Он поглядел на миссис Андервуд, сидевшую возле его стола.

— Мне кажется, такого резюме будет достаточно?

Она кивнула и сказала столь же бесстрастно:

— Вы, конечно, пошлете им весь раздел, целиком?

— О, конечно, — ответил мистер Скелдинг. Судя по его тону, можно было подумать, что адресаты оскорбились бы, если бы от них утаили хотя бы одно из предназначенных для них слов.

— Ну, а теперь, — с удовольствием заметил Скелдинг, — мы достигли тихой пристани.

Он начал читать вторую страницу.

— «Я хочу выразить благодарность лицам, которые старались оградить меня от

идиотизмов и тягот последних лет, оставив им вещественные знаки своей благодарности».

Присутствующие наострили уши — начиналось самое интересное. Кое-кто подумал, что старик к концу жизни ничуть не смягчился. Ни слова о родных. По слухам, с дочерью он так и не виделся. Кто-то слышал, будто старик жаловался на то, как дочь с ним обошлась. Она ему ни в чем не помогала. Никто из них ее не знал: все они познакомились с мистером Мэсси в последние годы. На похоронах была какая-то женщина, бледная, средних лет, совсем одна. Не дочь ли?

— Итак, продолжаю.— Скеддинг ласково улыбнулся крупному мужчине с крючковатым носом.— «Моему врачу — имя и фамилия полностью, профессия, адрес.— который избавил меня от излишних страданий, я завещаю сумму в пять тысяч фунтов».

Доктор в ответ не улыбнулся, а только наклонил голову.

— «Моему бухгалтеру — те же подробности,— который умел поставить на место некомпетентных чиновников, я завещаю сумму в три тысячи фунтов».

Далее, экономке, прослужившей у него всего три года,— тоже три тысячи фунтов, мозольному оператору — пятьсот фунтов, и еще две примерно такие же суммы. Все шестеро приняли эти чаевые как вышколенные швейцары дорогого отеля — с достоинством и внутренним удовлетворением. Только мозольный оператор не сумел сдержать широкой, во весь рот улыбки.

— И в заключение,— сказал мистер Скеддинг, возвращаясь к тексту.— «Более всего я хочу выполнить долг благодарности, которую не в состоянии в полную меру выразить словами, по отношению к моему другу миссис Кэтрин Андервуд, чья отзывчивость, помощь и безграничная доброта облегчили последние годы моей жизни. По ее просьбе я не завещаю ей денег. Она согласилась стать моей душеприказчицей. Все мое состояние за вычетом вышеозначенных сумм я оставляю ее сыну Джулиану Стортону Андервуду, проживающему в квартире Д, Филлимор-Гарденс, дом номер двадцать два, Лондон».

Мистер Скеддинг до конца сохранил блаженно-изумленный вид, как будто последнее распоряжение было полнейшей неожиданностью не только для Андервудов, но и для него самого. Ни мать, ни сын не пошевелились, хотя Джулиан моргнул и, казалось, еще шире раскрыл глаза. В комнате послышался легкий шорох.

— Пожалуй, это все,— сказал мистер Скеддинг.— Если, конечно, ни у кого нет вопросов... От души надеюсь, мы не заставили вас напрасно потерять время.

Он сказал это совершенно серьезно, без какого-либо подтекста, тоном человека, давно научившегося тактично самоустраняться и не смущать клиентов.

— Да, да, конечно,— пробормотал доктор, словно председатель собрания, вносящий предложение выразить благодарность.

— Так-так,— сказал мистер Скеддинг, мягко подсказывая им, что пора уходить.

Доктор понял намек, встал и начал прощаться. Остальные с готовностью последовали его примеру. И вскоре Андервуды остались наедине со Скеддингом.

— Сколько? Сколько это составит? — спросил Джулиан, не дожидаясь, чтобы шаги на лестнице затихли.

Мистер Скеддинг взглянул на мать Джулиана — ястребиный профиль, блестящие птичьих глаза. Этого не знала даже она. Денежные дела покойного находились еще в ведении его прежнего поверенного, которого сменил Скеддинг. Но миссис Андервуд, конечно, сделала кое-какие выкладки. Чуть в денежных делах у нее было чуть ли не профессиональное. Однако обычная осторожность не изменила Скеддингу и тут.

— Пока рано называть цифры,— сказал он.— Тем более что значительная часть состояния вложена в акции, а курсы, как известно, сейчас падают. Называть цифры было бы неблагоприятным.

— Так будем неблагоприятны! — воскликнул Джулиан и вдруг загоготал.— Ну хотя бы примерно.

— Почему бы и нет? — заметила миссис Андервуд.

— Это было бы преждевременно.

— Только предварительно,— сказала она.

— Если вы настаиваете.

— Да.

— Ну что же. Приблизительно — и, конечно, я никаких гарантий дать не могу — общая сумма наследства, пожалуй, несколько превысит четыреста тысяч фунтов. После выплаты мелких завещательных сумм остаток составит сумму несколько меньше четырехсот тысяч фунтов.

— Намного меньше? — перебил Джулиан.

— При благоприятных обстоятельствах незначительно.

Джулиан неодобрительно фыркнул.

— Но вас ожидает тяжкий удар. — Мистер Скелдинг, любивший поговорить о крупных суммах, кроме того, любил умерять пыл не в меру возмнивших о себе клиентов. — Недвижимость мистера Мэсси относительно мала, а потому налог на наследство, несомненно, будет очень высоким. Можно с уверенностью сказать, что он составит половину очистившейся суммы. Мы не должны рассчитывать более чем на двести тысяч фунтов, и разумнее будет ожидать, что реальная цифра окажется на двадцать или тридцать тысяч меньше.

Джулиан сидел, приоткрыв рот, широко раскрыв глаза. Миссис Андервуд засыпала Скелдинга деловыми вопросами. Какую сумму примерно составит налог на наследство? Нет, нет, точно он в настоящий момент ответить не может. Курсы падают? Да, весьма важно, чтобы завещание было утверждено как можно скорее. Часть ценных бумаг давно следовало продать. От них необходимо избавиться. За последний год они упали в цене на десять процентов. Миссис Андервуд кивнула. Она все это знала или, во всяком случае, подозревала нечто подобное.

Выход был только один — попытаться ускорить утверждение завещания. Мистер Скелдинг обещал незамедлительно ставить их в известность обо всем. На этом Андервуды простились с ним и пошли через двор, вдыхая приятный октябрьский воздух. Джулиан заговорил, только когда они сели в такси на Чансери-лейн:

— Грабеж!

— О чем ты? — Но она этого ждала. Она уже приготовилась к обороне.

— О налоге на наследство.

— Я же тебе говорила.

— Но ты не сказала, какая это будет огромная сумма.

— Я и сама не знала. Мне очень жаль, милый.

— А тебе следовало знать.

— Это ведь было довольно трудно, разве ты не понимаешь? Я не могла выяснить всего...

Он отвернулся от нее и глядел прямо перед собой, на светофоры Стрэнда.

— Что толку наживать деньги? Раз их все равно забирают? И как только это терпят?

— Так было заведено давным-давно. — Она старалась его успокоить, надеясь вызвать у него улыбку, словно жена в споре с мужем.

Джулиан по-прежнему не глядел на мать, его профиль выражал возмущение.

— Неужели ты ничего не могла сделать? Наверное, есть какие-то способы. Полнейшее неумение вести дела, вот что это такое.

— Способы, конечно, есть, милый, но они требуют времени. Дарственные действительны, только если они оформлены не позже чем за семь лет до смерти. А семь лет назад я с ним практически еще не была знакома. И в любом случае людям свойственно думать, что у них впереди еще много времени.

Джулиан чуть-чуть оживился.

— Ты тоже будешь думать, что впереди много времени? И я? И все пойдет прахом?

Миссис Андервуд, зная наизусть все его интонации, немного приободрилась. Она принялась объяснять сыну положения закона о налоге на наследство. Она освещала вопрос мастерски, как не сумел бы осветить его сам Скелдинг, но говорила так задушевно, как будто мир между ними был восстановлен. И совсем уже осмелев, она добавила:

— В конце концов тебе достанется не так уж мало, не правда ли? По всем подсчетам?

Внезапно Джулиан загоготал — так громко, что шофер невольно обернулся, хотя они в этот момент проезжали Трафальгарскую площадь.

— Ха! Ха! Я чувствую себя как человек, который только что узнал, — Джулиан захлебывался от расправившей его бурной радости, — что ему оставили в дар кругленькую сумму в Нью-Йорке и Париже, но места себе не находит, потому что его счет в Аддис-Абебе заморожен.

И он повернулся к матери с наглой, бесстыдно-покаянной улыбкой. Она улыбнулась в ответ — эти двое прекрасно понимали друг друга. Его настроение менялось мгновенно, еще когда он был ребенком. Наверное, таков он и с женщинами, которых умеет увлечь. Но точно она не знала: он был способен на самые, казалось бы, откровенные исповеди и одновременно умел хранить свои тайны.

Во всяком случае, в отношениях с ней — она отлично сознавала это — главенствовал он. С юношеских лет. Она умела вести дела, умела распоряжаться деньгами и пускать их в оборот. Он же, хотя был скареден и обладал даром обедать и пить на чужой счет, никогда прилично не зарабатывал и жил (опять-таки она не знала как) на то, что давала ему она. Ради него она строила планы, приводила их в исполнение, добивалась того, чего, как ей казалось, хотел он, — лишь бы сохранить его любовь. Часто она со страхом думала, что теряет его. Однако он не давал особого повода для таких страхов. Иногда он уносился в какую-то свою заоблачную высь, но обычно бывал с нею ласков, и на душе у нее становилось легко — вот как сейчас, когда они ехали по Пикадилли в дружеском согласии.

— Что ты сделаешь с деньгами, когда получишь их? — спросила она.

Джулиан приставил палец к подбородку.

— Мы будем действовать осторожно.

— Быть может, ты на радостях позволишь себе выпить рюмку-другую?

— Не исключено.

Она его поддразнивала. Она снова говорила с ним тоном жены, но жены счастливой. Джулиан пил весьма умеренно, гораздо меньше матери.

— Знаешь что? — вдруг воскликнул он.

— Что?

— Я куплю окорок. Целиком!

Как ни странно, но она знала, что он вполне способен это сделать.

— Да, тебе теперь это будет по средствам.

— Мне всегда хотелось купить целый окорок.

Впереди показался Найтсбридж. Дружеское молчание.

Она пустила пробный шар:

— Ты сможешь жениться на Лиз. Если хочешь.

— Я уже об этом думал.

Такой разговор они вели не в первый раз. Она, как положено, говорила ему, что давно мечтает увидеть его женатым.

— Мне хотелось бы посмотреть на моих внуков, прежде чем я умру, — сказала она.

И это говорилось не в первый раз. Джулиан пробормотал что-то ласковое. Мимо большого универсального магазина. Снова дружеское молчание. Когда они были в Кенсингтоне, миссис Андервуд спросила, ждаты ли его вечером к обеду. Джулиан ответил: нет, скорее всего нет. Он одарил ее таинственной, ликующей улыбкой.

Они остановились на Виктория-роуд, перед щегольским домом миссис Андервуд, свежеевыкрашенным в кремовый цвет, с хризантемами в оконных ящиках. Джулиан поцеловал ее на прощание, и миссис Андервуд привычно заплатила шоферу, распорядившись, чтобы он отвез его домой, на Хай-стрит.

2

Две недели спустя после оглашения завещания в кабинете Скеддинга, то есть на исходе октября 1970 года, в палате лордов шли дебаты по тронной речи королевы, так значилось в повестке дня; шел второй день обсуждения, посвященный состоянию экономики и промышленности, но в пять часов вечера особого оживления в зале заседаний не наблюдалось. Люстры озаряли пустующие алые скамьи, те, кто занимал их, от-

правились перекусить. Экономист, представитель лейбористской оппозиции, произносил длинную речь, излагая историю профсоюзного законодательства.

Лорд Хилмортона сидевший у прохода на передней правительственной скамье, которую все бывшие министры, кроме него, уже покинули, выпрямился и переменял позу. Он сидел, вытянув ноги, и должен был подобрать их, прежде чем встать во весь свой высокий рост. По пути к выходу лорд Хилмортона остановился и довольно громко сказал лорду Райлу, сидевшему в последнем ряду скамей для независимых:

— В Епископском буфете?

Лорд Райл кивнул:

— Через минуту.

Лорд Райл задержался из вежливости, так как в университетские дни знал оратора. Однако на тридцать пятой минуте речи он счел свой долг выполненным и последовал за Хилмортоном.

Всякий, кто случайно услышал бы этот разговор, мог бы решить, что Епископский буфет предназначен главным образом для прелатов, и, возможно, прелатов бражничающих, точно кардиналы в красных мантиях, хлещущие вино на злоеще багровых картинах XIX века. И ошибся бы. Епископ в этом буфете — большая редкость. Он предназначен исключительно для членов палаты лордов, гости туда не допускаются. Некогда тут была гардеробная, где епископы надевали парадное облачение, и факт этот благодаря характерной для англичан неточности сохранился в названии.

Лорд Хилмортона занял первый столик у двери. Во всю длину небольшой узкой комнаты был расставлен с десяток круглых столиков, в глубине помещался маленький диван. В буфете царил уютный полумрак, придававший ему сходство с клубом. На стойке в кастрюле побулькивали сосиски. Вечер еще только начинался, и, кроме Хилмортона, в буфете сидело всего два человека.

— Как обычно? — спросил лорд Хилмортона. — Будьте любезны, виски с содовой лорду Райлу. — Он улыбнулся официантке — представительный мужчина в годах, волосы еще темные, а виски уже серебрятся, румяные щеки и большие блестящие глаза.

— Скука прямо-таки невероятная. — сказал он своему другу, слегка понизив голос. Он имел в виду дебаты.

Другу? А были ли эти двое друзьями? Пожалуй — в той мере, в какой могут быть друзьями люди, сблизившиеся на склоне лет. Такая дружба не похожа на дружбу, возникшую в юности. Они знали друг о друге далеко не все. Познакомились они лет двенадцать назад, когда оба стали членами палаты лордов, и за эти годы они кое-что друг о друге узнали, кое-что предполагали, а кое о чем, как люди, умудренные опытом, догадывались. Возможно, Райл, председатель многих королевских комиссий, один из первых пожизненных пэров, историк по профессии, любопытный по натуре, сумел собрать больше сведений, однако Хилмортона был гораздо наблюдательнее, чем казалось с виду.

И вот они сидели, двое солидных людей, разменявших седьмой десяток. Лицо Райла, плоское, морщинистое, было менее резко очерченным, чем у Хилмортона, но по своему значительным. Переносица у него почти отсутствовала, как у Теккерее на портретах или у бывшего боксера (впрочем, боксом Райл никогда не занимался).

— Можете сообщить мне что-нибудь приятное о нашем мире? — спросил он.

— Нет. А вы меня не подбодрите? — ответил Хилмортона.

— Маловероятно, не правда ли? — сказал Райл.

Разговор их мог показаться шутливой болтовней. Но это было не совсем так. В нем отражалась позиция, в свое время сблизившая их. Каждый из них, хотя и по-разному, видел многое в жизни. Все происходившее вокруг всегда их живо интересовало, и сейчас этот интерес не иссяк, он был по-своему не менее жадным, чем в молодости, но теперь, кроме интереса, им почти ничего другого не оставалось. Рядом с ним, а вернее под его прикрытием, таилось другое, равно общее им обоим чувство — не то чтобы грусть, не то чтобы покорность судьбе, не то чтобы пессимизм, но чувство, придающее их интересу к жизни оттенок сожаления.

— Собственно говоря, Джеймс, — сказал Хилмортона, — у меня есть одна новость личного порядка. Разумеется, не особенно важная. Но я вытаскил вас сюда из-за нее.

— Что случилось?

— В сущности, пустяки, конечно...

— А все-таки?

За несколько секунд до этого дверь у них за спиной открылась, и сейчас у них над головой раздался скрипучий, но робкий голос:

— Можно присоединиться к вам?

— Сделайте милость! — сказал Хилмортон.

— Я не помешаю?

Вовсе нет, нисколько, заверили оба, отрицая очевидное с полной непринужденностью, спокойствием и искренностью.

— Что будете пить, Питер? — спросил Хилмортон и снова обратился к официантке: — Джин и тоник лорду Лоримеру, будьте любезны.

Лоример был заметно моложе их — лет на пятнадцать. Хотя он посещал палату с поразительной аккуратностью, они редко с ним разговаривали, но если возле столика собирался небольшой кружок, он иногда присаживался где-нибудь с краю. Райл знал о нем кое-что из справочников, а Хилмортон из разговоров — обычная ситуация при таких шапочных знакомствах. Первый обладатель титула был адмирал, одержавший в XVIII веке победу в каком-то вест-индском сражении. С тех пор семья, во всяком случае потомки по прямой линии, по-видимому, обеднела — случай не такой уж частый, насколько мог судить Райл, в свое время изучавший начало прошлого века и написавший не одну книгу о промышленной революции. Этот Лоример был смуглолиц, с темными усиками, сухощав. Его движения, когда он закуривал сигарету, были быстрыми, но судорожными; он ничего в жизни не достиг, вот разве что, когда служил в армии, получил офицерский чин и две-три награды.

Лоример спросил, обращаясь больше к Хилмортону, чем к Райлу:

— Как ваше мнение о...? — Он назвал лидера оппозиции, выступавшего днем.

— Что ж, добротная тред-юнионистская доктрина.

— Мне она не нравится, — сказал лорд Лоример.

— Но приходится считаться с реальным положением вещей.

— Не представляю, как может страна и дальше существовать так, — сказал Лоример с встревоженным и недоумевающим видом.

— Но ведь выбора у нас нет, — ответил Райл, словно утешая его, — что упрощает дело.

— Мой милый Питер, — сказал Хилмортон, — с этим ничего не поделаешь. Правительство, которое попробует открыто пойти против профсоюзов, неизбежно поставит нас всех в крайне незавидное положение.

Недоумение Лоримера заметно возросло. Его собеседники знали, что он убежденный консерватор и у себя на задней скамье неизменно готов следовать указаниям парламентского организатора консервативной партии. И теперь он искал утешения у заслуженного деятеля своей партии, ждал от него каких-то ободряющих слов.

Но Хилмортон, что бы он ни говорил Райлу в их своеобразных доверительных беседах, с большинством других людей надевал маску безмятежной отстраненности. И это была не только маска. Себе он признался бы, что озабочен будущим, хотя далеко не так простодушно, как Лоример, однако он не без удовольствия наблюдал, как его преемники в правительстве оказываются так же парализованы, как он сам в свое время.

— Мы обязаны сделать что-то, — сказал Лоример. — Нельзя допустить, чтобы все погибло.

— Полагаю, вы хотите сказать, — Хилмортон невозмутимо посмотрел на него, — что общество вроде нашего становится неуправляемым, не так ли?

Помедлив, Лоример ответил:

— Да, примерно.

— Видите ли, дорогой мой мальчик, управление страной — всегда немного мошенничество. И когда люди вас раскусят, вам приходится нелегко.

Лоример выглядел настолько потеряннным, что Райл поспешил вмешаться и заказал ему еще джина. Лоример напомнил ему шурина — брата его недавно скончавшейся жены. Такой же простодушный, исполненный чувства долга, совершенно лишенный иронии, не принимавший многое из того, что видел вокруг. Шурин был профессиональным военным, воспитанным в духе строгой дисциплины, и, как Лоример, приходил в

замешательство, если при нем откровенничали. Не так давно, засидевшись у Райла, он после нескольких рюмок виски признался, словно открывая самую мрачную и позорную тайну, что не хотел бы воевать рядом с теперешними молодыми людьми. Если тебя ранят, они не вынесут тебя с поля боя, сказал он, умолк и больше не проронил ни слова.

И теперь Райл пытался завести разговор с Лоримером, но ничего не получилось. Вскоре Лоример сказал, что должен вернуться в зал заседаний. Когда дверь за ним закрылась, Райл взглянул на Хилмортонна, ожидая, что теперь, когда они остались одни, они вернуться к начатому доверительному разговору. Но Хилмортон с добродушно-задумчивым видом заметил:

— А он проводит тут много времени, не правда ли?

— Да.

— Мне кажется, ему эти шесть фунтов десять шиллингов очень нужны, как по-вашему?

— Вполне вероятно.

— Должен сказать, он столько времени тут высиживает, что вполне отработывает их. Весьма благородно с его стороны.

Дело в том, что тогда члены палаты лордов получали шесть фунтов десять шиллингов на расходы за каждый день посещения¹. Среди пэров имелись и нуждающиеся люди и совсем опустившиеся. Кое-кто из последних появлялся в палате лордов на полчаса — скажем, отмечался в списке присутствующих и забирал причитающиеся ему деньги. Это не прошло незамеченным, и добросовестные члены палаты относились к подобным ухищрениям с осуждением.

Райл, более прямой и более непосредственный, чем его друг, нетерпеливо спросил:

— Вы собирались мне что-то сказать?

— Разве? А, да! Вспомнил!

— С тех пор прошло ведь не так уж много времени.— Райл улыбнулся ему, и Хилмортон ответил почти мальчишеской улыбкой, словно против воли признавая, что пришла пора поговорить начистоту.

— Вы, по-моему, знакомы с моей дочерью Элизабет?

— Ну конечно.

— Она подумывает о том, чтобы кое за кого выйти замуж. Впрочем, это слишком мягко сказано. Она выйдет за него, если сумеет.

Слова были небрежными, но в них сквозила нежность. Видно было даже, что он питает слабость не только к своей дочери, но и к женщинам вообще.

— Ну дай бог,— сказал Райл.

Он познакомился с Элизабет в доме Хилмортонна в Суффолке и несколько раз встречал ее в гостиной палаты лордов. Живая, остроумная женщина лет за тридцать, очень привлекательная, сказал бы Райл, она его заинтересовала. У Хилмортонна было четыре дочери, две младшие уже вышли замуж, однако Элизабет, вторая по возрасту, и старшая сестра так и оставались одинокими.

— История довольно странная,— сказал Хилмортон.— Этот субъект, по-видимому, получил какое-то наследство. Он старше ее. Но как будто никогда в жизни ничего не делал. И, насколько мне известно, не был женат. Было бы любопытно узнать, почему он так долго это откладывал.

Оба могли бы предложить разные объяснения, но ни одно из них не соответствовало истине.

— Вы с ним знакомы?

— Она приводила его раза два. Но я не думал, что это серьезно.

— Видно, вы ошиблись.

— Правда он мне показался довольно занятым,— сказал Хилмортон.— И не слишком застенчивым — И добавил, словно что-то объясняя: — Он совсем лысый. Его фамилия Андервуд,— продолжал он.— Я не знаю, кто он такой.

Последнюю фразу не следовало понимать буквально. Лорду Хилмортону было от-

¹ Этот разговор происходил за несколько месяцев до введения десятичной монетной системы; позже в палате лордов эта сумма была увеличена до восьми с половиной фунтов. (Прим. авт.)

лично известно, кто такой Джулиан Андервуд. Его слова означали, что никто из членов семьи Джулиана, из его родственников или знакомых никогда не соприкасался ни с кем из членов семьи Хилмортона, из его родственников или знакомых. На самом же деле Хилмортон, как истинный англичанин, с истинно английским чутьем то ли угадал, то ли раскопал кое-какие существенные сведения об Андервудах: так, он узнал, что отец Джулиана, давно умерший, служил чиновником в Индии, а потом состоял членом правления компании «Ллойд» и его вдова — во всяком случае, по меркам тех, кто две недели назад сидел в кабинете мистера Скелдинга, — располагала весьма приличным состоянием.

— Хэл, неужели вы против этого брака?

— Даже будь я против, какое это имело бы значение? — Хилмортон устало откинулся на спинку кресла. — Молодая женщина ее возраста должна понимать, что она делает. О нет, я не против. Я буду рад, если она как-то наладит свою жизнь, ведь до сих пор это у нее не получалось. — И добавил, хмурясь, раздраженно и виновато одновременно: — Мы ведь не дали им полезного образования. — Он говорил о своих дочерях. — Очень глупо, что мы не подготовили их для практической деятельности. Право, не знаю, каким нам виделся мир, в котором им предстояло жить! — Он продолжал: — Они очень неглупые и способны были бы добиться многого. А Элизабет к тому же самая умная из них.

— Вполне могу поверить, — сказал Райл, отвечая откровенностью на откровенность. — Средние классы, пожалуй, воспитывали своих дочерей более разумно.

— Может быть, может быть.

Однако Райл знал, что Хилмортон пренебрегал воспитанием своих дочерей совсем по другой причине. Даже если средние классы действительно давали практическое образование своим дочерям (а что случилось с умными девушками, которых Райл когда-то знал в Ньюкасле, — дочерьми учителей, мелких банковских служащих и прочих выходцев из того класса, откуда вышел он сам?), а аристократия — нет.

Такое объяснение было бы слишком простым. Хилмортон был аристократом. Но кроме того, он был умным и дальновидным человеком. Он сумел бы как следует позаботиться о дочерях, если бы не мечтал так о сыне. Хотя он любил дочерей, но не в состоянии был преодолеть инерции и воспитывал (или не воспитывал) их так, как это было принято во времена его деда. А сын так и не родился. Наследником Хилмортона был даже не брат и не племянник, а «дальний родственник», как указывалось в справочниках.

Покопавшись в справочниках, можно было обнаружить и кое-что еще, пожалуй более прозаическое, но далеко не столь простое. Да, Хилмортон был настоящим аристократом, не чета большинству пэров, заседавших рядом с ним в палате лордов, — его предки состояли в родстве со знатными вигами и, естественно, бывали на обедах у леди Холланд. До того как унаследовать титул, Хилмортон, тогда еще просто Генри Фокс-Милнс, был членом палаты общин от округа, который в свое время был чем-то вроде родоюй собственности его семьи. Как Генри Фокс-Милнс он не раз был членом макмиллановских кабинетов и одно время занимал пост министра просвещения — если судить по его разговору с Райлом в тот вечер, не слишком для него подходящий.

Однако его предки по отцовской линии не всегда носили фамилию Фокс-Милнс. Прежде они были Пембертоны, но около 1820 года некий мистер Пембертон, сын всего лишь банкира-квакера, мечтаая о политической карьере, женился на девице из рода Фокс-Милнс и резво сменил фамилию. Англичане, делающие карьеру, никогда перед такими пустяками не останавливались, хотя обычно приманкой служило поместье или другое наследство. В этом случае дело обстояло по-иному: мистер Пембертон был куда богаче мисс Фокс-Милнс, зато она была куда знатнее. Правда, знаток светских тонкостей, изучавший высший круг вигов, мог бы прийти к выводу, что она была там не вполне своей и в какой-то мере ее лишь терпели. Но вполне ли своей была сама леди Гленнора? Как бы то ни было, для целей начинающего политика знатности и связей мисс Фокс-Милнс вполне хватало.

И наконец — пост, и наконец — пэрство. А пять поколений спустя появился нынешний лорд Хилмортон. По натуре Хилмортон был не из тех, кто смиряется с препонами на своем пути, — и остался бы таким, даже родись он в Ньюкасле на одной улице

с Райлом. Тем не менее родиться в семье, для которой давным-давно не существовали социальные препоны, было вовсе не плохо.

Хилмортонов отличала одна небольшая странность, а впрочем, возможно, что ничего странного тут не было. Одно время, уже оставшееся далеко в прошлом, некоторые из них упорно старались быть больше вигами, чем сами виги, и свято соблюдали обычай называть друг друга уменьшительными именами, более длинными, чем сами имена, — так, в детстве Генри Фокс-Милнса пожилые родственники называли Хэллио. И теперь в палате лордов его однокашники, любители изысканности, хранители замкнутого мира, порой тоже называли его так. Райл никогда этого не делал. Приверженность старине в известной мере имеет право на существование, люди, не чувствующие твердой почвы под ногами, цепляются за свой замкнутый мирок, но Райлу это было не по душе.

— Мистеру — как его фамилия — Андервуду очень повезло. Вы знаете, сколько он получил?

— Достаточно, чтобы ни о чем не беспокоиться. Так мне говорили.

— Передайте Элизабет, что я очень рад.

К этому времени в буфете стало многолюдно. Несколько человек столпилось у стойки. Райл сказал, что вечер хороший и он, пожалуй, пойдет домой пешком.

Они вышли в коридор с красной ковровой дорожкой, где по стенам висели картины, изображающие (не совсем уместно) переполненный зал в разгар давно забытых дебатов. По-приятельски, как члены одного клуба, приветливо и безразлично они окликались встречных по именам и слышали в ответ свои имена. У телетайпа они остановились и, как обычно после таких разговоров, пробежали глазами последние известия. Ничего интересного в мире в тот вечер не произошло.

3

Миссис Рэстал готовилась уйти из дому. Ее однокомнатная квартирка в Бэрм-Гарденс, неподалеку от станции метро «Эрлс-Корт», была такой же аккуратной, как она сама, — как и миниатюрная кухня, а также главная роскошь квартиры — ванная (точнее душевая), из которой только что появилась сама хозяйка. Когда-то она жила среди роскоши, совсем по-другому, чем сейчас; ведь она была дочерью старого Мэсси, той скромной, никому не известной женщиной, которую наследники видели на похоронах. Не то чтобы она особенно роптала на судьбу. Она не находила нужным прятать досаду и обиду, так как не считала себя святой, однако понимала, что жалости к себе поддаваться не следует. Ведь утверждала же она в течение многих лет, что умеет довольствоваться малым — и довольствовалась, потому что жизнь не оставляла ей иного выбора.

Это была невысокая подвижная женщина лет под пятьдесят, хотя выглядела много моложе и сохраняла привлекательность, в которую не верила. Эта неуверенность в себе, которую она не замечала, хотя взгляд ее был достаточно остр, когда дело шло о других, была ей помехой всю жизнь, вечной раной. Она относилась к себе без сентиментальности — как и к тем, кого посещала. А посещала она многих, так как выполняла поручения благотворительного общества, опекавшего престарелых, и отдавала этому почти все свое время. Среди тех, кого она посещала, некоторые были не беднее ее самой, другие кое-как существовали на пенсию по старости, многие из них видели лучшие дни и стыдились своей нищеты.

Работа ее не оплачивалась, так как была чисто добровольной. Ей был поручен район от Глостер-роуд на востоке до Уорик-роуд на западе и от Кромвель-роуд на севере до Олд-Бромптон-роуд на юге. Тут попадались никчемные бездельники, студенты, наркоманы — но она ими не занималась. Люди моложе шестидесяти лет ее ведению не подлежали, но всех стариков своего района она знала не хуже любого чиновника социального обеспечения или священника. Тяжко стареть в бедности и одиночестве, но, если хочешь принести хоть какую-то пользу, нельзя задумываться об этом, говорила она себе, отправляясь к своим подопечным. Для большинства одиночество было страшнее бедности — во всяком случае, той бедности, которая еще позволяет человеку есть досыта, а это даже в начале семидесятых годов удавалось далеко не всем. Многого тут не сделаешь. Но чем-то помочь можно.

Было начало ноября — после разговора Хилмортона и Райла в Епископском буфете прошла неделя. А два дня назад миссис Рэстал получила утром письмо, удивившее ее и, так как она обладала способностью волноваться, еще и взволновавшее. Письмо это, подписанное председателем общества, гласило:

«Дорогая миссис Рэстал!

Если Вы сможете посетить меня здесь в четверг в шесть часов вечера, я буду рад Вас видеть.

Искренне Ваш

Реджинальд Суоффилд».

«Здесь», судя по обратному адресу, означало Хилл-стрит, стало быть, он приглашает ее к себе домой. Но она не имела ни малейшего представления, зачем бы она ему понадобилась. Вряд ли он собирался ее уволить — в ней настолько отсутствовала уверенность в себе, что ей пришлось убеждать себя в этом: добровольных сотрудников не увольняют, да к тому же у общества их и так не хватает. Суоффилд видел ее всего один раз на большом приеме и вряд ли ее запомнил. Она где-то слышала, что он имеет какое-то отношение к городскому строительству, страшно богат, влиятелен и вынырнул из безвестности не так уж давно (но несмотря на это, в прошлом его ничего таинственного не было: его родители владели небольшой фермой в Рэтленде).

Пора было уходить. Она опять взглянула на «Стандарт» — одно из своих вечерних утешений (у нее не было лишних денег, чтобы подписаться на другую газету). Потом перевела взгляд на бутылку хереса — она любила вышить рюмку-другую, но и тут ей приходилось себя ограничивать; впрочем, Суоффилд, наверное, угостит ее чем-нибудь на Хилл-стрит. Хилл-стрит... на метро и автобусом туда добраться не так-то просто: Мейфейр в этом отношении представляет массу неудобств. Значит, на метро до Грин-парка, а оттуда пешком.

Когда она дошла под морозящим дождем до дома Суоффилда, дверь ей открыл слуга — сколько лет она ничего подобного не видела! Он повел ее вверх по одному из полукружий парадной лестницы вдоль стены с ошеломляющими обоями в стиле Регентства, которые били в глаза золотом полосок. В бельэтаже гостиная, столь же ошеломляющая: занавеси из кретона, ковры от стены до стены, испещренные всяческими линиями, завитушками и точками, еще полоски в стиле Регентства на спинках кресел и диванов, еще полоски — но уже другой эпохи — на стенах, зеркала в позолоченных рамах, люстры, хрустальные бра над каминной полкой. Миссис Рэстал, оглушенная и ослепленная, кое-как разглядела среди всего этого блеска коренастую фигуру, которая двигалась ей навстречу, приветственно разводя руки.

— Рад вас видеть.—Реджинальд Суоффилд был невысок, но широк в плечах и толстоног. Двигался он быстро и энергично. Большие темные глаза навывкате самоуверенно глядели с невзрачного лица.

— Какой очаровательный дом,— машинально пробормотала она, едва к ней вернулись навыки хорошего воспитания.

— Ничего, уютный,— сказал Реджинальд Суоффилд.

Она с трудом подавила смехок: непочтительность, которой она была наделена в избытке, хотя, судя по виду, можно было подумать, что ее жизнь обломала, вернулась к ней вместе со всем остальным. Дом был ничуть не уютен, он был ужасен. Человеку, наделенному мало-мальским вкусом, тут долго не выдержать. Она искала взглядом что-нибудь достойное похвалы и увидела фарфоровую безделушку.

— Какая прелесть!

— Рад, что вам нравится. Садитесь, садитесь. Выпейте бокал шампанского.

Вот это приятно. Вошел слуга и наполнил ее бокал, потом бокал Суоффилда.

— Я всегда выпиваю бокал шампанского перед обедом. Иногда два. Этого достаточно,— сказал он, пока слуга не вышел.

Суоффилд сидел рядом с ней на одном из диванов в стиле Регентства. Если бы их разговор слышал Джеймс Райл, который на своем пути наверх успел познакомиться с разными слоями общества, он по ее манере говорить сразу установил бы ее принадлежность к высшему слою средних классов — манера речи у нее была ясная, четкая, не резкая по тону, но и без бормотания, и говорила она заметно громче, чем современная молодежь. А миссис Рэстал, проделавшую тот же путь, только вниз, озадачило

произношение Суоффилда. Она никак не могла его определить. А между тем у Суоффилда было обычное произношение уроженца центральных графств Англии, на которое наложился говор американского штата Иллинойс. Перед войной Суоффилд пытался добывать там средства к существованию, но успеха не имел. В 1945 году он был бедняком, а миллионы, много миллионов, были нажиты уже после.

Слуга вышел, и Суоффилд не стал терять время попусту.

— Я хочу поговорить с вами о деле,— сказал он.

— Каком деле, мистер Суоффилд?

— Вашем.

— Боюсь, у меня нет...

— Есть, есть у вас дело. Вы дочь старика Мэсси, верно?

— Вы его знали?

— Нет. Слышал о нем.— Суоффилд повернулся и устремил на нее нетерпеливый, властный взгляд.— Он не включил вас в завещание.

Она покраснела от гнева и смущения, но еще больше от удивления. В доме отца ей приходилось видеть разных дельцов, но такого она видела впервые. Он копался в ваших делах, как будто это его право, и швырял вам в лицо добытые сведения, словно обуреваемый непонятной страстью.

Она попыталась собраться с силами, чтобы дать ему отпор.

— Это дело прошлое, и, по-моему, никого, кроме меня, не касается.

— Вздор! На какие средства вы живете? Я этого не допущу.

— Это мое дело. И больше ничье.

— Вы не способны им заниматься. Вы ведь из моих людей, вот почему я послал за вами. Я все беру на себя.

Его слова оскорбили ее вдвойне. Она была горда, а выпавшие на ее долю несчастья сделали ее еще более гордой. Кроме того, ей казалось, и, возможно, это ранило особенно больно, что, будь она моложе и привлекательнее, он бы не позволил себе обходиться с ней так. Обида, негодование и надежда слились воедино, и к глазам унизительно близко подступили слезы. Ее брак, обернувшийся такой катастрофой, лишил ее уверенности в себе. Выйти замуж, чтобы любить мужа, заботиться о нем,— а он тебя вдруг бросает.

И все же, хотя к страданиям она относилась трезво, если речь шла о надеждах, трезвость ей отказывалась и она ничего поделать с собой не могла. Люди, знавшие ее, считали ее реалисткой, и, если не считать ее любви к мечтам, она действительно была реалисткой. В любую минуту может произойти чудо. Но уж конечно оно явится не в облике этого опьяневшего от власти, самовлюбленного богача, который решил заняться ее делами. Опекает ее, говорит, что она из «его людей», желает ее благодетельствовать. Нет, не об этом она мечтала. Но если кто-то захотел бы заботиться о ней ради нее самой, такой, как она есть (хотя она не отличалась холодностью, мечты ее были целомудренны),— это она примет и гордость ей не воспрепятствует.

Она была проникательна и умела разбираться в людях. Но в этот вечер волнение помешало ей разобраться в Суоффилде. Она не могла не признать про себя, что он — личность. От него исходила сила, которой нельзя было не заметить. Но она хотела его презирать и отказывалась замечать его безусловные способности. И совсем не заметила его страстного стремления создать свою империю, управлять жизнью «своих людей» и вообще всех вокруг, быть патриархом огромной семьи, для которой его слово было бы законом, а если б и заметила, Суоффилд не показался бы ей симпатичнее.

Существовала и еще одна причина, почему он захотел вмешаться в ее дела, которую она отгадала чуть не сразу. Причина эта, довольно очевидная, была, однако, далеко не такой решающей, как ей казалось.

— Почему он вычеркнул вас? — Лицо Суоффилда приблизилось к ее лицу.

— Я не хочу говорить об этом.

— Хотите не хотите, а говорить придется.

— Нет.

— Не глупите. Вы ведь не дура. Чем вы ему не угодили?

Она молчала.

— Вы добрая женщина, верно?

— Ничего подобного.

— Вы ведь хотели заботиться о нем?

Она чувствовала, что ее воля слабеет, словно от дурмана.

— По-моему, — сказала она, — он никогда меня особенно не любил.

— А вы его?

— Я его любила. Когда он позволял себя любить.

— А почему так получилось?

— Может быть, я не оправдала его надежд, — сказала она.

— Но вы ведь не глупы.

— Он бы предпочел дочь, которой можно гордиться.

— Как так — гордиться?

— Когда я была девочкой, он считал меня некрасивой.

— Ну мало ли что он считал! — с грубоватым добродушием заметил Суоффилд.

— Он сам мне это говорил.

— А ну его! Ерунда какая-то.

— Он не одобрял моего замужества. — Она уже не сомневалась, что Суоффилд знает о ее браке. Да, он кое-что слышал. Вышла замуж за бедняка, служащего тогдашнего Совета лондонского графства, к тому же никчемного неудачника. Кроме того, он — но Суоффилд это вряд ли знал — был редким эгоистом даже для мужчины. По крайней мере, вспоминая прошлое (неужели она вопреки своему обыкновению ищет себе оправдания?), она не сомневалась в этом. И как бы там ни было, он ее бросил. А уж это Суоффилд конечно знал.

— Дженни (ему даже известно ее уменьшительное имя, но это почему-то не вызвало у нее протеста), тут что-то не так.

Он пылал гневом и жаждал действовать.

— Последние годы старик, разумеется, выжил из ума.

Она не ответила, и Суоффилд набросился на нее.

— Что, разве нет!

— Не знаю. Он меня к себе не допускал.

— Выжил из ума, выжил из ума!

— Маловероятно.

— Да нет же, он выжил из ума. И тут влезла эта стерва. Ведь она стерва, каких мало. Давайте начистоту. Вы что, со мной не согласны?

— Я с ней незнакома, — сказала Дженни Рэстал.

— Ну поверьте мне на слово. Она воспользовалась случаем и прибрала его к рукам.

— Мистер Суоффилд, с ней я незнакома, но ведь все-таки он мой отец. И я знаю, что обвести его вокруг пальца не мог никто.

— Такой бабе ничего не стоит прибрать к рукам выжившего из ума старика. Вы же видите, что она с ним сделала. Заставила завещать состояние ее сынку. Бездельнику, сутенеру, который болтовней заманивает женщин в постель и бог знает что там с ними вытворяет. Но мне-то что! Я просто хочу осадить эту бабу.

Дженни заметила, что он буквально кипит злостью и даже ненавистью, но становится от этого только довольнее и самоувереннее. Поняв, что побуждает Суоффилда действовать, она немного успокоилась. Однако она не знала, не могла знать, что несколько лет назад, когда Суоффилда впервые пригласили на званый обед к лорду Шифу, миссис Андервуд, как ему показалось, его оскорбила. Она, по его мнению, держалась так, будто оказывала Шифам большую честь, обедая у них. И — что еще ужаснее — она спросила его, Суоффилда, уже довольно видного магната, чем он занимается.

Суоффилд не забывал обид, даже если, а может быть особенно если, он сам их выдумывал. Он долго вынашивал их и получал тем больше удовольствия, чем позже ему удавалось осуществить свою месть. Дженни не требовалось знать эти подробности. Она его и так поняла. Однако очевидные мотивы заслонили от Дженни иные, более интересные побуждения, прятавшиеся глубже. Дженни еще не поняла до конца его стремления самодержавно править своей личной империей и не догадывалась, что

если б Суоффилд и не точил зубы на миссис Андервуд, он все равно сидел бы в этот вечер рядом с Дженни на диване, командовал бы и, не слушая ее возражений, брал ее под свою опеку.

— Нельзя терять времени,— сказал он.

Она отвела глаза, избегая его настойчивого, уверенного взгляда.

— Мы опротестуем это завещание,— сказал он.

Она слушала молча, сбита с толку, возмущенная этим натиском, и в то же время не находила в себе сил защищаться и, пожалуй, даже испытывала к нему что-то вроде благодарности.

— Неправомерное влияние — вот как это назовут юристы,— сказал Суоффилд.— Вот на что они будут напирать. Для стряпчих такое дело — просто раздолье.

Ей следовало что-то ответить, но она никак не могла собраться с мыслями.

— Мне вовсе не хочется трепать имя моего отца по судам,— сказала она.

— Чушь, моя милая! Щепетильность вам не по карману.— Он чувствовал, что берет над ней верх, но выражение ее лица заставило его переменить тон.— Если бы ваш отец не был по ту сторону добра и зла, он сказал бы вам точно то же, что я. Вспомните, каким он был до того, как эта баба им завладела. Он бы вам наверняка велел позаботиться о себе.

Дженни криво, саркастически улыбнулась чуть не впервые за вечер, и Суоффилду вдруг захотелось, чтобы она продолжала улыбаться. Он сказал:

— Если вы этого не сделаете, вы никому не сможете помогать. И поступите попросту неразумно.— Он продолжал: — Вы ведь не всегда поступали разумно, верно? Она сказала:

— Да, пожалуй.

Последовал отрывистый бесцеремонный вопрос:

— Какие у вас доходы?

— Небольшие.

— Точнее?

Она попыталась было создать впечатление, будто вполне обеспечена.

— Я внесла арендную плату за много лет вперед.

— За сколько?

— За десять лет.

— Разумно.— Суоффилд, который умел быть вежливым, когда хотел, поздравил Дженни как один домовладелец другого.— Кроме этого, что у вас есть?

— Приблизительно восемьсот фунтов в год.

На это он сказал негромко:

— Я же говорю, вы не можете допустить, чтобы эти ехидны добились своего.— Он замолчал, наблюдая за ней. А потом продолжал так, словно они уже пришли к соглашению: — А теперь к делу. Я хочу предупредить вас, что не все пойдет как по маслу. Речь идет о кругленькой сумме, и они не захотят с ней расстаться только потому, что мы поднимем шум. Их поверенный, его фамилия Скеддинг, старая баба, но не дурак. Поэтому нам надо подыскать не хуже. Нам нужна фирма, которая знает дело. Робинсон и Уигмор на таких делах собаку съели. Они подберут подходящего адвоката, не успеют те и глазом моргнуть!

И тем же деловитым тоном добавил:

— Разумеется, расходы я беру на себя. Отдадите, если мы возьмем верх, и только тогда.— Он улыбнулся ей спокойно и ободряюще.— А мы возьмем верх. Они перегнули палку. Если бы эта стерва не была такой жадной, положение у них было бы куда надежнее. Устроила бы она так, чтобы отец оставил вам хоть несколько тысяч фунтов, и все прошло бы для них без сучка, без задоринки. Но она потеряла всякую меру.

Если раньше, подчеркивая свою полную обеспеченность, Дженни попыталась сохранить гордость, то теперь она попыталась сохранить уважение к себе.

— Я вам очень благодарна, мистер Суоффилд,— сказала она чопорно и не слишком убедительно,— но сейчас я не могу ответить вам, стану ли я подавать иск.

Суоффилд невозмутимо поглядел на нее.

— Это вполне естественно.

— Я, право, не могу.

— Подумайте денек, другой. Потом сообщите мне.

Суоффилд умел вести переговоры не только с мужчинами, но и с женщинами. Нажать на Дженни сейчас — значило повредить делу. Он уже понял ее характер и не сомневался, что она все решила.

Во время разговора он снова наполнил ее бокал, но перед уходом не стал предлагать ей еще шампанского, чтобы ее не задерживать. Дженни попрощалась с ним сдержанно. Суоффилд был сердечен, но в меру, он остался вполне доволен собой.

4

На следующей неделе Хилмортон и Райл вновь сидели в Епископском буфете, на этот раз к ним присоединился один из их ближайших друзей. Но присутствие его, как нередко случалось в последний год, было сопряжено с известными неудобствами. Всякий раз как Адам Седжвик опускал на стол руку, стол сотрясался. Около рюмки Седжвика поблескивало мокрое пятно — стараясь взять ее, Седжвик расплескал содержимое. Помочь ему они ничем не могли: при любой попытке Седжвик не только обижался, он глубоко страдал.

Со стороны могло показаться, что лорд Седжвик пьян. Иным ненаблюдательным людям так и казалось — и в тот вечер, и не только в тот. Обе палаты парламента привыкли относиться к пьянству снисходительно: оно считалось чем-то вроде профессионального заболевания, подобно многословию во время дебатов. Однако каждый, кто знал Седжвика или хотя бы пригляделся к нему, отшел бы такое объяснение. На самом деле последние несколько месяцев его... нет, не сковала, а, наоборот, обрекла на непрерывные движения болезнь Паркинсона, и ему становилось все хуже.

Он пытался закурить сигарету, но неподвластные ему руки тряслись и дергались. Неподвижными оставались только мышцы щек, казавшихся мертвыми на лице, прежде аскетически красивом и полном юмора. Правая рука его не слушалась, она произвольно дергалась с неуклюжестью, присущей движениям новорожденных, но он как будто не замечал этого и не смущался. Хилмортон и Райл чувствовали себя куда более неловко, чем он.

Седжвик был известным ученым и достиг чуть не всех вершин, каких можно достигнуть на этом поприще. «Пятерка с минусом», — говаривал он с саркастической объективностью. Он стал одним из основателей молекулярной биологии в тридцатые годы, когда еще не существовали технические средства, позволившие впоследствии разработать точнейшие методики. Хватило ли бы у него ума использовать эти средства, будь они в его распоряжении, — как передавали, говаривал он, — к счастью, так и останется неизвестным. В надлежащее время, хотя и несколько поздно, он получил Нобелевскую премию. Он стал президентом Королевского общества. Но ни одного основополагающего открытия, ничего равного криковскому открытию двойной спирали он не сделал, утверждал Седжвик и сердился, если ему возражали.

Хилмортон и Райл знали все это, да и к его манере поведения они успели привыкнуть. И не только они — в официальных кругах многим был известен клан семей, в число которых входили и Седжвики. Особый замкнутый университетский мир. Они успешно работали в различных областях науки более полутора столетия (один из предков Седжвика, носивший ту же фамилию, был профессором в Кембридже в двадцатых годах прошлого века). Веджвуды, Дарвины, Кейнсы, Хилы, Адриены, Ходжкины, Батлеры и другие. Они постоянно рождались друг с другом — и, в общем, удачно, хотя гены порой и выкидывали фокусы как приятные, так и неприятные. Друг к другу они подходили с самыми строгими мерками. Седжвик любил повторять, что не так уж выгодно родиться в семье, где стоит тебе окончить курс первым, как один из твоих дядюшек непременно заметит, что ты, оказываясь, не совсем уж круглый дурак. И точно так же, стоит тебе до сорока лет стать членом Королевского общества, тот же дядюшка, против обыкновения решив тебя похвалить, скажет: «По-видимому, ты все-таки не совсем уж пустое место».

У них был свой собственный крут, и по английским понятиям они так и не поднялись над уровнем верхнего слоя средних классов. Высший свет, когда он еще суще-

ствовав, нисколько их не привлекал — ни в одной из своих разновидностей. Седжвику одному из немногих в последнем веке представителей этого клана пожаловали титул пэра: правда, двое-трое из них отказались от титула. У Седжвиков и Хилмортоних почти не было точек соприкосновения: учились они в разных школах и хотя могли соприкоснуться в Тринити-колледже, однако ни в родословных, ни в прочих таких справочниках не значилось ни одного брака между Седжвиками и им подобными и выдающимися семействами партии вигов. Среди гостей в аристократических поместьях никогда Седжвики не встречались: авантюристы — сколько угодно, иногда даже выходцы из низов, своего рода Райлы предыдущих поколений, но только не Седжвики.

Не то чтобы они чуждались людей. Им просто хватало общества людей своего круга. До болезни Седжвик был обаятельным собеседником — из тех, вокруг которых всегда собирается кружок слушателей. Теперь он приучался жить со своей болезнью. И тут (особенно неожиданно это было для тех, кто, подобно Райлу, знал его очень давно) ему то ли изменила ясность мысли, то ли сдали нервы. Его ум, думал Райл, всегда отличался необычайной строгостью и логичностью, да и в мужестве Седжвика сомневаться тоже не приходилось — он доказал его в горах и своей работой во время войны. Тем не менее он внутренне отказывался трезво взглянуть на свое состояние.

Ему прописали новое средство, носившее название «Л-Допа». И он рассказывал друзьям, какие надежды на него возлагает. Им казалось, что занятия наукой должны были бы сделать его более скептическим, однако вера его в чудодейственные лекарства была столь же наивной, как у самых простодушных невежд. «Л-Допа» помогала в подобных случаях, и он был твердо убежден (а может быть, и убеждал себя), что она помогает и ему. Между тем ни Хилмортон, ни Райл не видели ни малейшего признака улучшения. Разве что его речь, заметно уже утратившая разборчивость, стала чуть более четкой. Однако его лицо теперь то и дело подергивалось, искажалось нелепыми гримасами, столь неожиданными на его благородно-невозмутимом, словно у индейца, лице. Седжвик неохотно объяснял, что это — побочное действие лекарства, которое, «полагаю, меня не слишком красит». Руки, насколько могли судить Хилмортон и Райл, слушались его так же плохо. По их мнению, состояние его ухудшалось, хотя и медленно.

Если лекарство не действовало, больным оставался один выход: операция мозга, разработанная лет десять назад. Операция обещала заметное улучшение на годы, а может быть, даже и почти полное выздоровление. Конечно, она была связана с риском, но Седжвику, как и многим его ровесникам, не раз в жизни приходилось идти на риск в десять раз больший. Большинство людей в его положении колебалось бы недолго. В больнице у них могли возникнуть кое-какие сомнения, но от операции они бы не отказались. Седжвик отказался наотрез. Он упорно верил, что лекарство его вылечит.

Только его ум не затронула болезнь, думали друзья. Он не утратил остроты ума, разве совсем немного. Порой Седжвик произносил слова невнятно, но они все еще были меткими и точными. Или он начинал повторяться? В этот день Седжвик говорил о политике в области просвещения, которую намечала его партия, а ведь они уже слышали его рассуждения на эту тему.

В отличие от Хилмортоних и Райла он занимал место на скамьях оппозиции и подчинялся лейбористскому парламентскому организатору. Это не помешало ему сказать, что официальные заявления лейбористской партии и конгресса тред-юнионив по вопросам просвещения отличаются таким кретинизмом, какого он в жизни не встречал.

— Они чувствуют себя так свободно, потому что в этом вопросе они абсолютные профаны. О том, что такое серьезное образование, они знают не больше, чем вы и я о подготовке балерин.

— Ну, они добьются, чего хотят, еще не скоро, — успокоил его Райл.

— Если бы я только мог этому поверить. Элита! Теперь это модное бранное слово. Я на девяносто пять процентов уверен, что те, кому принадлежность к элите кажется смертным грехом, сами не способны стать какой бы то ни было элитой, пытайся они хоть сто лет. О каком развитии науки в нашей стране может идти речь, если мы не будем готовить научную элиту? Это должно быть ясно любому здравомыслящему человеку.

— Вы авторитет в этом вопросе,— сказал Хилмортон. И он и Райл невольно уступали Седжвику, как все обычно делают в разговорах с больными.— Но я не сомневаюсь, что мы и дальше будем ее готовить.

— А я сомневаюсь,— продолжал настойчиво Седжвик.— Если этим людям удастся сделать образование легким, общедоступным и гигиеническим, то через двадцать лет подлинная наука в Англии совсем захиреет и будет чуть не вполтину хуже, чем сейчас. А кстати, наука — это единственная область, в которой мы еще не сдали своих позиций.

— Вашим коллегам придется остановить их,— сказал Райл.

— Все мои коллеги потеряли уверенность. Им не дают ходу безмозглые интеллектуалы. Безмозглые интеллектуалы — наше страшнейшее проклятье. От неглупого интеллектуала есть толк. (Слово «неглупый» в Кембридже в свое время было большой похвалой.) От безмозглых же нет пользы никому и ничему. И хуже всего, что они поют согласным хором и все убеждены, что в этом и состоит интеллектуальная жизнь. Знаете,— продолжал он,— интеллектуальная жизнь очень поглупела со времен моей молодости. Интересно, насколько она еще может поглупеть.

Седжвик был беспощаден, будь он здоров, он был бы несколько снисходительнее в своем суждении.

Друзья попытались отвлечь его. Кембридж в двадцатые годы... — он ведь моложе их года на два. Кто же были настоящие звезды, если оценить их с нынешних позиций? Кто, по его мнению, был наиболее выдающимся?

— Мейнард Кейнс,— сказал Седжвик,— без всякого сомнения. Безусловно, не самый великий и не самый приятный. Но невероятно блестящий. Сейчас нет никого его калибра.

— Кстати, Адам, когда вы тут появились? Я забыл,— снова пробуя отвлечь его, спросил Хилмортон.

Этот вопрос в палате лордов можно было слышать нередко, и тут он имел свой особый смысл. Он означал: «Когда вы унаследовали титул или когда он был вам пожалован», но звучал так, словно человек, прогуливаясь по Оксфорд-стрит, вдруг подумал про себя: «А зачем мне, собственно, ехать отдыхать в Италию? Меня вполне устроит и палата лордов».

— В шестьдесят шестом году,— ответил Седжвик,— сразу же после того, как я перестал быть президентом Королевского общества.

— Вероятно, теперь все последующие президенты, слагая с себя это звание, будут получать титул пэра,— сказал Хилмортон.

Тут Райл, заметив, что Седжвик как будто собирается уйти, быстро встал и попрощался, оставив их за столом.

Он заторопился, потому что ему не хотелось видеть, как Седжвик, шаркая и волоча ноги, семенит к двери, перегнувшись пополам, словно догоняя собственный центр тяжести,— так когда-то выбегали на сцену клоуны в старом мюзик-холле. Вид крови не вызывал у Райла тошноты, но комизма в уродстве он не выносил. Нельзя, чтоб такого человека, как Седжвик, так унижала болезнь. От его стыдливой улыбки, когда, просеменя через комнату, он упирался в стену, на душе становилось тяжело.

Когда Райл по дороге домой шел мимо двора парламента, у него в голове теснились не столько мысли, сколько смутное, неясное ощущение, что человек смертен. Скоро он уже не будет встречать Седжвика в палате лордов. Самое это место постоянно напоминало, что конец — и других людей и вац — не за горами. Средний возраст членов палаты был очень высок, несмотря на то, что среди наследственных пэров имелись и молодые. Даже если из подсчета исключить наиболее глубоких старцев, цифра эта все равно осталась бы высокой. Обводя взглядом зал заседания, Райл видел кругом почти одни лишь морщинистые лица и мог бы со статистической точностью предсказать, что в это же время в будущем году некоторых из них он тут уже не увидит. И то же самое подумал бы человек, который посмотрел бы на скамью, где сидел сам Райл.

Войдя в гостиную и включив свет, Райл испытал что-то вроде облегчения. Он с удовольствием посмотрел в окно на ожерелье огней по ту сторону реки. Он жил здесь, в Уайтхолл-Корт, с тех пор, как год назад умерла его жена, но все еще не мог без вос-

хищения смотреть в окно и был твердо убежден, что это один из самых красивых городских видов. Он не стал задерживать занавески, сел на диван и, глядя на реку, погрузился в воспоминания — они то вспыхивали, то гасли, как блестящие на воде. Когда точно в уговоренное время пришел его старший сын, Райл с большой неохотой оторвался от размышлений.

С тех пор как этот сын вырос, между ними не было близости, хотя Райл и теперь тревожился, когда он болел или отправлялся куда-нибудь на самолете. Райл, которому легко давалось общение с людьми, в присутствии сына чувствовал себя неловко и держался с ним так внимательно и сердечно, что самому становилось неудобно.

В чем заключалась причина, он не мог бы сказать. Фрэнсис был приятным человеком тридцати лет, несколько эксцентричным, со своеобразным чувством юмора, которое раздражало Райла. Он занимал довольно высокий пост в министерстве финансов и хотя, по мнению отца, на первые роли вряд ли мог рассчитывать, тем не менее был в меру способным чиновником. Однако досуг свой он тратил, выискивая способы установить, существует ли телепатия. В Уайтхолле это занятие рассматривалось как эксцентричное, и его отца оно тоже раздражало.

Райл предложил сыну виски с такой настойчивостью, что ощутил себя, как это часто с ним бывало в подобных случаях, громкоголосым волосатым северным варваром, который терзает нервы утонченному индийцу.

— Я хотел поговорить с тобой о новом прибавлении семейства.— Райл имел в виду второго сына Фрэнсиса, родившегося неделю назад, и ни с кем другим он никогда не употребил бы такое жеманное и нелепое выражение.

— Забавное существо,— сказал Фрэнсис.— Я люблю младенцев.

— Вот как? — с сомнением в голосе произнес Райл, хотя и сам их любил.

— Первородный грех? — сказал Фрэнсис.— Наверное, так.

Райл почувствовал себя легче.

— Наверное.— Помолчав, он добавил: — Ну так вот, мне хотелось бы как-то обеспечить его. Непременно.

— Ты не должен стеснять себя. Ни в коем случае.

— Это ведь никакой разницы не составит,— сказал Джеймс Райл.— Ты сам знаешь.

Настала очередь Фрэнсиса смущаться и церемониться. Он улыбнулся застенчиво и стыдливо. Повторялось то же, что произошло при рождении первого ребенка. Джеймс Райл тотчас положил в банк деньги на имя младенца.

В денежных делах Райл и тогда и прежде был с сыном совершенно откровенен — куда больше, чем с Хилмортоном или Седжвиком, поскольку в том кругу у него выработалась привычка обходить молчанием любые вопросы, касающиеся личных доходов. Не будет преувеличением сказать, что Фрэнсис был осведомлен о финансовом положении отца не меньше самого Джеймса Райла. Он действительно знал все. И удивлялся тому, сколько денег у отца.

Все деньги Райл заработал сам. И не только работой по специальности, хотя оплачивалась она хорошо. Книжки по истории, которые пользовались популярностью, особенно в Америке, и нередко становились учебниками. Рецензирование для издательств. Выгодное помещение свободных денег, появившихся у него довольно рано для такого бедного юноши, каким он был. Денег становилось все больше, и распоряжался он ими умело. Умри Райл в этот вечер, он оставил бы наследство если и не такое большое, как старик Мэсси, то все-таки равное по меньшей мере его половине.

Последние годы он сознательно рассредоточивал свое состояние. Хотя выглядел он менее собранным и более беспечным, чем его коллеги, как практик он им не уступал. Идеально, говорил он сыну Фрэнсису, было бы умереть, не оставив абсолютно ничего. Райл равен нулю — вот формула верно рассчитанной смерти. И он заблаговременно готовил дарственные для обоих сыновей, вносил деньги в банк на имя внуков, едва они успевали родиться, и создавал фонды для обеспечения родственников и друзей.

Фрэнсис знал и прекрасно понимал все это. Однако отца он часто не понимал. В теории все обстояло превосходно. Райл говорил, что передает свое состояние другим, и немало для этого делал. Он не отказывался от своих обещаний. И тем не менее... Фрэнсис, полностью осведомленный о положении вещей, знал, что отец оставил в

своим распоряжении весьма значительную сумму. Это отнюдь не соответствовало формуле верно рассчитанной смерти. Фрэнсис не ждал от отца такой непоследовательности.

В этот вечер дела много времени не заняли. Райл собирался обеспечить второго внука так же, как он обеспечил первого. Право перворождения, заметил он между прочим, было опорой аристократии, но оно не для таких людей, как они, — у них не хватает бессердечия. А поэтому поверенные уже готовили необходимые документы и Райлу оставалось только прожить не менее срока, оговоренного законом.

— Для тебя это пустяки. Сколько тебе тогда исполнится? Семьдесят три? — сказал Фрэнсис.

— Так или иначе, а там видно будет.

— Но ты здоров? Когда ты в последний раз показывался врачу? — Спокойствие в гомесе Фрэнсиса сменилось тревогой, которая в свете предыдущего разговора могла показаться корыстной — что было бы неверно (во всяком случае, корыстные соображения прятались где-то в глубине). — Ты здоров?

— Да, насколько я могу судить, — резко сказал Райл. А потом вдруг воскликнул непринужденно и весело, так, словно речь шла не о нем и говорил он со своим другом и ровесником, а не с сыном. — И зачем мы занимаемся подобной чепухой? Можешь ты мне объяснить?

Фрэнсис улыбнулся чуть насмешливо и недоуменно.

— Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду.

— А вот что — зачем мы тратим силы и энергию, придумывая финансовые операции, которые могут принести плоды только в двадцать первом веке. Суций вздор. Как бы ни сложилась судьба этого твоего сына, неужели ты думаешь, что в двухтысячном году он получит хотя бы малейшую пользу от денег, которые мы отложим для него сейчас, какую бы сумму они ни составили? И позволь напомнить: ему тогда не будет еще и тридцати.

— Возможно, что никакой пользы, — сказал Фрэнсис. — Однако разве мы не должны...

— Никакого толку ему от этих денег не будет, — перебил Райл с громким смехом. — Хотя нам эта процедура в какой-то мере полезна, она дает нам иллюзию перманентности.

— Но ведь люди всегда нуждались в чем-то подобном.

— Все это очень глупо, но, судя по их действиям, так оно и есть.

Райл, все еще возбужденно, принялся рассуждать о венецианцах XVIII века. Они ревностно заботились о своих деньгах и деньгах своих потомков, хотя тогдашнее общество шло к гибели. Тут можно усмотреть не слишком приятное сходство с нынешним положением вещей, заметил он.

— Я убежден, что мы гораздо устойчивее. То есть если брать нас вместе с Америкой и Европой, — сказал Фрэнсис, который по образованию был экономистом.

— Ну, сам увидишь. А пока мы продолжаем делать свои маленькие распоряжения. Возможно, ты прав, возможно, это нас успокаивает. И тем не менее это чертовски глупо! Почему-то мы никак не можем идти в ногу с временем. Наши чувства всегда отстают примерно лет на сто. Недели две назад мне было очень приятно, когда в палате лордов один мой знакомый сказал мне, что его дочь выходит замуж. Ее жених получил большое наследство. Я был очень доволен. Но почему, собственно? Это же вздор. С какой стати подобный человек — он, по-видимому, личность совершенно никчемная, — с какой стати он получает возможность вести тот образ жизни, который его родственники в начале века считали своим неотъемлемым правом?

— Держу пари, — сказал Фрэнсис, — что будущий тесть не счел это столь уж нелепым.

— Беда в том, — продолжал Райл, — что это очень милая молодая женщина, и я невольно порадовался за нее.

Фрэнсис вскоре ушел, но Райл уже не думал ни о дочери Хилморгона, ни о Джулиане Андервуде, ни о несправедливости жизни. Он еще не знал — так же, как не знали Андервуды или Хилморгоны, — что несколько дней назад Реджинальд Суоффилд вызвал к себе одного из партнеров фирмы «Робинсон и Уигмор» и дал ему ряд инструкций. Но если бы Райл это знал, он не почувствовал бы ничего, кроме отвлеченного любопытст-

ва,— он глядел на огни, струящиеся дорожки света на воду, и с некоторым беспокойством думал о своем будущем.

На первый взгляд могло показаться, что эти мысли находятся в резком противоречии с мыслями о смерти, которые одолевали его по дороге домой. Но на самом деле в них было много общего. Разговаривая с сыном о деньгах, Райл ничего не скрывал. Но эти мысли он утаил бы от сына, даже если бы между ними существовала подлинная близость. Он давно уже считал, что нельзя говорить о супружеских отношениях, а тем более об интимной жизни стареющего мужчины с людьми более молодыми — да и со сверстниками тоже, если это друзья последних лет. Ему требовался человек, который знал бы его всю жизнь, а такого рядом не было.

Брак его был счастливым, и теперь ему вновь хотелось обрести нечто подобное. Желание не покидает вас внезапно, как обычно считает молодежь. Да и есть ли этому конец? Откуда человеку знать, что все уже позади? А даже если это и так, он все надеется и ждет.

Найти то, о чем он теперь размышлял, было непросто. В каждом браке вырабатывается свой язык и свои привычки, и ему придется учиться и учиться заново. Старик, подыскивающий себе женщину, даже когда сам он этого не сознает (ведь здоровый человек не чувствует своей старости, если не считать отдельных минут), все равно смешон и положение его невыносимо. Женщина достаточно молодая ему не подходит: ведь пройдет не так уж много времени — и он неизбежно перестанет подходить ей.

Когда он чего-то желал в прошлом, его ничто не удерживало, он знал, как поступить, или, по крайней мере, умел поймать счастливый случай. Теперь все было по-иному. Он не привык к пассивности. Ему казалось, будто он возвратился к ранней юности, к ее необузданным желаниям и разочарованиям. Он все сидел, предаваясь раздумьям, неопределенным как в юности — не хватало только юношеских безграничных надежд. Он давно приобрел опыт, он всегда был деятелен. Но теперь он не знал, как ему поступить, и сидел, погруженный в бесплодные мечты.

5

Светлая, благоухающая лавандой гостиная в квартире миссис Андервуд на Виктория-роуд была ярко освещена: хозяйка играла в бридж с тремя гостями. Больше им нечем было заняться. И говорить им тоже было уже не о чем, хотя во время игры сказано было все-таки немало.

Вокруг стола, кроме самой миссис Андервуд, сидели дочь Хилмортон Элизабет, Джулиан Андервуд и мистер Скелдинг. Была половина шестого. Утром мистер Скелдинг узнал, что утверждение завещания отложено на полгода. Полгода — долгий срок, сказал кто-то. Им следует быть готовыми к тому, что завещание, по-видимому, будет опротестовано, с мягкой деловитостью предупредил их мистер Скелдинг.

Все эти сведения, сводившиеся к юридической справке, были изложены за чаем. Затем они составили партию в бридж, хотя кое-кто сел играть, только подчиняясь привычке и обычаю. Миссис Андервуд обожала бридж, и стол был снабжен выдвигающимися панелями, чтобы удобней вести запись. В панелях имелись гнезда для рюмок, как в столиках авиалайнера. Элизабет Фокс-Милнс пила джин с тоником. Она не унаследовала величавой красоты отца, ее красота была живая и трепетная: зеленоглазая брюнетка с точеными чертами и чистым лбом, который в этот вечер прорезывала преждевременная морщина. Однако тревога никак не отражалась на ее игре. В бридж она играла заметно лучше остальных, хотя миссис Андервуд было не занимать стать опыта, как, по-видимому, и мистеру Скелдингу, который допивал вторую большую рюмку виски (в этом отношении ему тоже, по-видимому, опыта хватало). Джулиан, вовсе не употреблявший спиртных напитков, был партнером матери и кидал каждую карту на стол с веселой лихостью — его мать всякий раз хмурилась, потому что одной веселой лихости в бридже мало.

Вообще Джулиан был в этот вечер гораздо веселее остальных. **Обеих** женщин одолевали опасения, особенно Элизабет, и она с трудом их подавляла. Джулиан же то и дело начинал смеяться над причудами судьбы.

— Деньги — народ пугливый,— заявил он, записывая результаты партии с видом человека, который то ли постоянно стеснен в средствах, то ли, наоборот, заработал на бирже огромное состояние. Он не в первый раз повторял это, и его мать рассердилась.

— Не в том суть,— сказала она.

— Но я же тебе объяснял, что сути пока вообще никакой нет. Верно ведь? — Он поглядел на остальных.

Мистер Скелдинг, церемонно сдававший карты, заговорил осторожно и внушительно, в глубине души наслаждаясь своей осторожностью и внушительностью:

— Разумеется, в дальнейшем не исключены неожиданности, против которых мы не можем заранее принять меры. Но надеюсь, вам достаточно моих заверений, что те меры, принять которые представляется возможным, будут приняты в ближайшие сутки. Откровенно говоря,— сказал он с лукавством фокусника-любителя, вытаскивающего задуманную карту,— кое-что было сделано до того, как я поехал сюда.

— Раздолье для стряпчих,— заметил Джулиан, не подозревая, что цитирует другой весьма большой авторитет в таких вопросах — самого Реджинальда Суоффилда.

— Несомненно, будут привлечены крупные специалисты,— продолжал мистер Скелдинг, словно бы не замечая радостного возбуждения Джулиана.— И мы поступим весьма неосмотрительно, если тоже не заручимся высококвалифицированным мнением.

— Весьма утешительно слышать,— резко сказала Элизабет и тотчас постаралась загладить свою резкость, назвав мистера Скелдинга по имени. Воспитание оставалось воспитанием и когда ее терзала тревога. К тому же она не слишком одобряла снобизм некоторых своих родственников. Ее отец, политический деятель и человек общительный по натуре, всегда и со всеми держался с дружеской фамильярностью, но она знала, что ее родственники, которые называли друг друга ласкательными прозвищами и с той же непосредственностью пускали в ход прозвища, говоря об отсутствующих друзьях, одновременно совершенно спокойно называли бы «мистером» человека вроде Скелдинга, сидящего с ними за одним столом, оказывающего им услугу, хотя и были бы знакомы с ним много лет.

— Эрик,— сказала она,— ну почему этот старик приличия ради не оставил своей дочери хоть что-нибудь! Тогда мы были бы избавлены от всего этого.

Как и Джулиан, она не подозревала, что тоже почти цитирует Суоффилда. Однако положение пока было достаточно ясным, и естественно, что умные люди оценивали его одинаково.

— Все будет хорошо! — В оптимизме Джулиан не уступил бы, пожалуй, и Марку Тэпли, когда тот видел жизнь в особенно радужном свете.

— Может быть, мы все-таки продолжим игру? — вешалась миссис Андервуд. Они продолжили игру. Оптимизм Джулиана не изменил ему и тут, в результате чего они с миссис Андервуд снова остались без двух.

Элизабет понимала, что миссис Андервуд перебила ее нарочно, и догадывалась почему. Но она была очень встревожена и не собиралась отступить.

— Эрик, разве я не права? — повторила она.— Если бы ей было завещано несколько тысяч фунтов...

Элизабет перехватила взгляд, которым обменялись Скелдинг и миссис Андервуд.

— Трудно сказать. Но я думаю, леди Элизабет, не имеет смысла возвращаться к прошлому. У нас есть вполне достаточно более неотложных дел, не правда ли?

Мистер Скелдинг питал слабость к титулам, с удовольствием произносил их сам и испытывал приятное чувство, слыша, как титулованные особы называют его по имени. Тем не менее он явно недоговаривал. Элизабет не сомневалась, что между ним и миссис Андервуд были какие-то разногласия по поводу завещания. Такой опытный и благоразумный юрист, конечно, указал ей, что Мэсси следует «упомянуть» в завещании свою дочь, иначе это может вызвать нежелательные толки. Благоразумие миссис Андервуд сомнений не вызывало. Ей было бы нетрудно уговорить старика — если она действительно была с ним так близка, как предполагала Элизабет. Значит, он заупрямился? Или причина была иной? Может быть, миссис Андервуд боялась посориться с сыном?

Элизабет думала, что Джулиан, хотя он ни звуком об этом не обмолвился, была все время в курсе происходящего. Он бы очень рассердился — этого Элизабет не думала, это она знала твердо, — если бы какие-то деньги без особой на то необходимости достались другим, а не ему. Кроме того, Элизабет твердо знала, что в подобном столкновении, несмотря на все благоразумие и осторожность его матери, верх остался бы за ним.

Элизабет играла, как всегда, хорошо, но мысли ее мешались, она испытывала что-то похожее на отчаяние. Она любит этого человека. Любит без памяти. Она в полной его власти. Но беда в том, что она ему не доверяет — во всяком случае, рассудком. Вот даже это его ликование, эти радостные надежды... а может быть, все дело в том, что теперь у него есть предлог не жениться на ней или, во всяком случае, отложить свадьбу? Он обожает тянуть время. Месяц, неделя, даже день отсрочки перед каким-то решающим шагом — он упивается случаем помедлить. И не поддается ли он этому чувству теперь, безмятежно не считаясь с тем, что в результате деньги могут ему вообще не достаться? Нет. Хотя Элизабет нередко утрачивала ощущение реальности среди его миражей и стремительных преобразений, серьезно поверить в нечто подобное она не могла. Ее собственные действия, намерения, желания были простыми и прямолинейными, в отличие от его запутанных и сложных, тем не менее одно она знала твердо — в конечном счете он всегда с поразительным старанием заботится только о себе, инстинкт самосохранения в нем на редкость силен, а деньги весьма способствуют самосохранению.

Элизабет где-то читала, что любовь без доверия невозможна. Тот, кто это написал, думала она, совершенно ничего не понимает: какой-нибудь дряхлый гомосексуалист. Когда она позволяла своей горечи претворяться в связанные мысли, ей становилось ясно, что надо быть сумасшедшей, чтобы доверять Джулиану. И тем не менее — как его любили! Взять хотя бы ее.

Однако Элизабет далеко не все видела с такой беспощадной ясностью. В ней жило еще одно чувство, которое позже сумел разгадать Джеймс Райл, но сама она так его и не распознала. Она старалась принизить Джулиана в своих глазах. Дурной ребенок, думала она порой, но любила его с неистовой силой, чувствуя, что никогда не сможет полюбить никого другого.

Миссис Андервуд сказала Скеддингу:

— Вы, разумеется, наметили все, что нужно?

— Необходимо время, ускорить мы ничего не можем, — ответил он, соединив кончики пальцев. От него исходила успокоительная уверенность.

— Но ведь все учтено?

— Будем надеяться. Будем надеяться.

— Все-все? — переспросила миссис Андервуд.

— На волю случая мы ничего не оставим.

Миссис Андервуд удовлетворенно расслабилась, и ее нос несколько утратил сходство с ястребиным клювом. Она обронила несколько любезных слов в том смысле, что все зависит от мистера Скеддинга и его коллег. Весело посмотрев на остальных, она добавила:

— А мы будем просто шаббаш валла. Ничего больше мы сделать не можем.

Они не поняли ее сравнения, хотя, возможно, и вспомнили, что в свое время она жила в Индии. Миссис Андервуд объяснила, что шаббаш валла — это зрители, собирающиеся у самой границы поля, чтобы подбадривать свою команду. Вот этим они и займутся, заключила она властным тоном.

Элизабет тем временем успела заподозрить, что Скеддинг и миссис Андервуд разговаривают на условном языке. Возможно, они опять заключили союз, но на этот раз не посвящают Джулиана в свои намерения? Ведь должны же они (во всяком случае, Скеддинг) сделать выводы из случившегося? И теперь они не станут заранее сообщать Джулиану, какой тактики намерены придерживаться, не оставляя ему возможности переубедить мать. Элизабет догадывалась, каким окажется первый тактический ход. Это было очевидно. И было столь же очевидно, что Джулиан будет против и посягается им помешать, а потому с их стороны только разумно ничего ему не говорить.

Теперь миссис Андервуд будет чувствовать себя виноватой. Ее считали бой-бабой, и, возможно, с полным на то основанием, но с Джулианом она преображалась в крот-

кую овечку. В глубине души Элизабет не была уверена, что миссис Андервуд ей хоть сколько-нибудь симпатична. В том, как они обе цеплялись за Джулиана, было какое-то фарсовое сходство, и это лишало их отношения легкости и непринужденности. Тем не менее Элизабет верила, что в вопросе о браке миссис Андервуд — ее союзница, а потому видела в ней опору, и это рождало чувство благодарности, близкое к любви.

— Не понимаю, почему мы все так волнуемся,— сказал Джулиан.— Говорю же вам, все будет хорошо.

— Ну,— невозмутимо произнес мистер Скелдинг,— вам вряд ли понравится, если ваш поверенный решит на этом основании сидеть сложа руки.

— Я убежден, что все кончится отлично, так ведь бывает всегда.— Еще больше оживившись, Джулиан повернулся к матери.— Вспомни, сколько раз мы в этом убеждались!

Судя по выражению ее лица, ей вспомнилось не так уж мало.

Джулиан принялся дразнить мистера Скелдинга:

— Люди слишком все усложняют. И в результате запутываются. Важно одно — завещание написано в нашу пользу, а не в их. И в конце концов вся канитель сведется к этому, вот увидите.

— Ах, друг мой,— сказал мистер Скелдинг, все-таки выведенный из равновесия,— это, право же, чересчур уж просто.

— Ах, друг мой,— собезьянничал Джулиан,— то, что важно, всегда просто. Иначе оно не было бы важным.

Они продолжали играть. Элизабет казалось, что роббер никогда не кончится. Ну, а кончится он — что тогда? Джулиан может и не позвать ее с собой. Она не умела угадывать заранее, когда его потянет к ней. И в постели он капризен и мнителен, как во всем, но только еще более мнителен. В ней опять поднялась горечь. В его обаянии, думала она зло, не последнее место занимает ипохондрия, которую он нежно культивирует. Недавно он сказал ей, что оргазм требует столько же энергии, сколько затрачивает бегун на дистанции в три мили. А что, если ему заблагорассудится уверовать в это?

В конце концов роббер был доигран. Миссис Андервуд спросила с надеждой — скорее не как хозяйка, а как заядлая картежница, — не начать ли им новый, ведь время еще не позднее. Все промолчали. Начались подсчеты. Миссис Андервуд и Джулиан вместе проиграли семь фунтов. Миссис Андервуд заплатила за обоих. Элизабет в отчаянии оттого, что Джулиан не сделал ей никакого знака, следила, как миссис Андервуд отсчитывает деньги. Она и сама не так уж редко платила за него. Он позволял ей уплачивать его мелкие долги, хотя брать у нее деньги взаймы отказывался наотрез.

И вдруг раздался голос Джулиана — небрежный, веселый, престодушный:

— Мамочка, нам с Лиз, пожалуй, пора отправляться домой. Она сделает мне омет. Сделаешь?

Он улыбнулся ей своей детской улыбкой. Внезапно ее охватило ощущение счастья, лежащего вне времени, не зависящего от ожиданий, которое могла бы испытывать только юная девушка, а не зрелая женщина, не склонная к кротости и смирению.

6

Полгода — долгий срок, сказал кто-то. Собственно говоря, никто точно не знал, насколько затянется период ожидания, а возможности английской юридической машины в этом отношении очень легко недооценить. А потому некоторому числу людей вновь довелось на опыте изведать, что такое ожидание, приятные предвкушения, тревоги и надежды, а попутно двое-трое из них обнаружили кое-какие любопытные свойства времени.

Время шло, оно тянулось однообразно и скучно, но это становилось ясно, только когда оно уже было прожито и лишь воскресало в памяти, которой свойственно ошибаться. Оценить же поток времени, пока он увлекает тебя, невозможно — например, Джеймс Райл мог впоследствии вспомнить, как он смотрел на реку, тоскливо думая о своем одиночестве, и отъединить это воспоминание от всего остального, словно обведенный рамкой абзац в учебнике истории, хотя на самом деле в тот вечер время

(вполне естественно) не остановилось: довольно скоро Райл перестал думать о своем одиночестве и пошел ужинать в клуб.

Текущее размеренно время — это очень приятный, хотя весьма избитый классический образ, но так его не ощущает никто, даже старики. В период ожидания и молодые и старые постигают релятивистские свойства времени, которое расширяется, сжимается или даже останавливается в зависимости от того, что чувствует человек в эту минуту, насколько его манит или пугает будущее, а также от того, каков он сам. Например, из тех, чья судьба оказалась так или иначе связанной с завещанием, больше всех боялась будущего Элизабет. Она верила, что конечный результат этих юридических процедур навсегда определит ее дальнейшую жизнь. Но будет ли это к лучшему или к худшему? Она страшилась ответа, и нередко ей казалось, что она предпочла бы вообще никогда его не узнать. А потому много раз по ночам, после того как они с Джулианом часами обсуждали, как они будут жить, когда он наконец получит свои деньги, она зарывалась лицом в подушку, желая только одного: чтобы эта минута не кончалась. Или все-таки можно растянуть время? Порой, засыпая, она испытывала такое умиротворение, словно это действительно было возможно.

Дженни Рэстал, в общем, волновалась гораздо меньше. В те дни ей не с кем было связывать свои надежды. Будущего она не боялась — ее пугало только одиночество. Вторично приняв решение — это произошло недели через две после бриджа у миссис Андервуд, — она во время утренних обходов нередко вообще забывала про завещание.

Иногда, разговаривая с симпатичной клиенткой, пациенткой, подопечной (Дженни до сих пор не знала, как их называть даже про себя), она от души жалела, что у нее нет денег и она не может купить старушке какой-нибудь подарок, чтобы скрасить ее жизнь. Ну, например, телевизор. И вот тут Дженни вдруг вспоминала, что, возможно, вскоре у нее появятся деньги. Эта мысль приятно ее волновала, но не вызывала никаких тревог или опасений. Нередко она просьшалась по утрам с твердой уверенностью, что ее ждет что-то приятное. Однако ничего нового в этом ощущении не было; оно пробуждалось в ней даже в самые унылые дни, обманывало ее и все же служило ей поддержкой. Быть может, теперь оно стало сильнее, потому что обрело реальную почву. Дженни, точно азартный игрок, готова была делать ставку, полагаясь на наитие: несомненно, рулетка доставила бы ей куда больше удовольствия, чем всем остальным. Ей нравилось волноваться, нравилось надеяться. С другой стороны, она не строила никаких планов, как будет тратить деньги, когда и если их наконец получит. Тут не крылось никакого противоречия: просто надежда иногда приобретает форму суеверия.

Джулиан, вообще-то очень склонный к подобным суевериям, на этот раз не играл ни в какие приметы. Он строил чрезвычайно подробные планы, как будет расходовать деньги, и с таким увлечением смаковал подробности, что и мать и Элизабет пытались его останавливать, с ужасом представляя себе, что будет, если его надежды окажутся обманутыми. А Элизабет, кроме того, с ужасом думала, как его разочарование отразится на ней.

— По-вашему, это значит искушать судьбу? — дразнил их Джулиан. — Ничего. Моя судьба от меня никуда не уйдет.

Такие разговоры их несколько не успокаивали. Не успокоило бы их и то обстоятельство (если бы они о нем узнали), что планы, которыми он иногда делился с матерью, хотя порой и включали женитьбу на Элизабет, разительно отличались от тех, которыми он делился со своей предполагаемой женой, причем и те и другие совершенно не походили на тайную рабочую версию, известную только ему одному.

Элизабет, узнай она правду, приняла бы все это, как принимала каждое новое доказательство его притворства, — с удивлением и в то же время без всякого удивления: она испугалась бы, пришла бы в бешенство и смирилась бы.

Миссис Андервуд, как и Элизабет, опасалась конечного исхода, но не потому, что в результате Джулиан мог бы отдалиться от нее. Хотя эта мысль постоянно точила ее (древняя японская «тьма сердца»), тревожилась она, а главное, сердилась, по совсем иной причине, гораздо более эгоистичной. И держалась бодрее, чем Элизабет, именно потому, что сердилась и находила поддержку в самоуважении.

Завещание — ведь это сделала она, сделала для сына. Самое лучшее, что ей удалось сделать для него за всю ее жизнь. Быть может, она действовала из менее рассу-

дочных побуждений (по временам она думала, что этим упрочит его любовь к себе, не понимая, не в силах понять, насколько такое средство бесполезно,— тут она впадала в самообман, свойственный большинству людей), но успела про них забыть. Она добилась того, чего хотела. и мысль о том, что победу у нее отнимут, была ей невыносима. Она смертельно ненавидела эту неизвестную женщину, которую даже не знала в лицо, и тех, кто ей помогал. Миссис Андервуд забыла о своих побуждениях, забыла обо всем, что предпринимала, чтобы добиться этого завещания. Честный и полный успех, который достигнут благодаря ей, ей одной! И вдруг завещание опротестовывают! В ней начал бушевать адреналин, и она не зарывалась в подушку, как Элизабет. Воля придавала ей бодрости, воля утверждала, что этого не произойдет.

Тем временем юристы вели необходимую подготовку — человеку непосвященному и в голову бы не пришло, что их так много (в стенах почтенной старомодной конторы Скелдинга трудилось полдюжина партнеров и еще больше опытных клерков) и некоторые из них, о чем опять-таки вряд ли догадался бы непосвященный, принимали дело своих клиентов довольно близко к сердцу.

И не только потому, что они, как профессионалы, были заинтересованы в победе, хотя это соображение играло свою роль. Фирма Скелдинга, как и доверенные противной стороны, предупредила своих клиентов, что издержки все время растут (они уже составляли около десяти тысяч фунтов), и указала, что по многим соображениям лучше было бы прийти к соглашению без суда. Всякий мало-мальски добросовестный юрист сделал бы то же. А в остальном дело представляло определенный правовой интерес и к тому же могло привлечь внимание широкой публики, о чем адвокаты, уже приглашенные сторонами, думали не без удовольствия. Честолюбивые молодые люди, которые не должны были ни присутствовать в суде, ни даже принимать участие в предварительных совещаниях, тем не менее рассчитывали заработать на подобном деле кое-какую репутацию хотя бы внутри своих контор. Но этим исчерпывалось далеко не все. Полного бесстрастия не сумел сохранить не только мистер Скелдинг. Он был доверенным миссис Андервуд на протяжении многих лет. По ее рекомендации мистер Мэсси поручил ему ведение своих дел года за два до смерти, и он составил завещание старика по ее указаниям. Она могла, пожалуй, быть предусмотрительнее — больше ничего ей в упрек мистер Скелдинг не ставил. Зато ему удалось сохранить ее доверие, о чем он думал со скромной гордостью. Быть может, ему следовало бы проявить больше настойчивости в своих советах. Однако при всем своем упрямстве она не преступила определенных границ, и он искренне желал ей успеха.

В этом с ним соглашались почти все члены его фирмы. Некоторые из старших служащих, принимавшие участие в совещаниях, испытывали к Джулиану чуть ли не физическую брезгливость. Такое чувство он вызывал почти у всех мужчин. Но Элизабет, несмотря на ее злой язык, им нравилась, и те, кого в свое время трепала страсть, от души желали ей благополучия с ее возлюбленным, каков бы он ни был.

Никто из них не знал Джени Рэстал, и многие верили ходившим о ней слухам, как им всегда (и очень охотно) верят люди, знающие свет. Она — интриганка, отец лишил ее наследства за финансовую нечистоплотность или (по другому варианту) за вызывающе бессердечное поведение, она — орудие Суоффилда. Закулисная роль Суоффилда стала известна, и это сплотило андервудовскую партию. Многие твердо считали, что та сторона, которую поддерживает Суоффилд, обязательно не права. Он обладал редкой способностью внушать прямо-таки святую ненависть.

Впрочем, некоторым он умел внушать страстное желание действовать. Робинсон и Уигмор — и особенно их активный партнер Симингтон — были опытными и совсем не сентиментальными юристами, однако они стали такими же рыаными сторонниками Джени, как и сам Суоффилд. Он же, каковы бы ни были его побуждения, теперь не сомневался, что Джени — очень хорошая женщина, с которой обошлись на редкость несправедливо, и проповедовал это свое убеждение, точно евангелие. Симингтон и его партнеры познакомились с ней и нашли, что она щепетильно честна и скромна. Слухи о ней до них почти не доходили, а доходившие презрительно отметались. К тому же теперь начали ходить слухи об Элизабет — не без деятельного содействия Суоффилда, который сладострастно смаковал пикантные скандальчики. Сплетни о ней с Джулианом

оправдывали вражду и презрение не меньше, чем рассказы о Дженни — вражду и презрение андервудовцев, а поводов для смакования давали много больше.

К весне 1971 года около ста человек были прямо или косвенно затронуты спором о завещании Мэсси или хотя бы знали о нем. Даже среди совсем уж посторонних нейтралитет сумели сохранить лишь немногие. Хилмортон мог бы саркастически сказать, что он пусть и опосредствованно, но все-таки в этом деле как-то заинтересован, однако его друзья — Райл и Седжвик, которых оно уж никак лично не касалось, тоже не смогли сохранить беспристрастность, хотя она им редко изменяла. Седжвик, угнетенный своей болезнью, в тяжелые минуты вдруг, как ни парадоксально, забывал о собственном несчастье и негодовал на Дженни Рэстал, которую в жизни не видел и не предполагал увидеть, нетерпеливо желая Элизабет скорейшей победы.

И Райл тоже. По правде говоря, эти хладнокровные и бесстрастные государственные мужи (какими их принято считать) поддавались воздействию слухов не меньше простых смертных.

Участники дела в большинстве своем принадлежали к привилегированному сословию старой привилегированной страны. Но не все — Дженни Рэстал сама была почти в том же положении, что и опекаемые ею старики, в сущности опровергая распространенное мнение, будто те, кто вроде нее родился в богатстве, никогда об этом не забывают и, как бы ни обошлась с ними судьба, всегда укрыты спасительным покрывалом. Ну, а остальные жили в таком комфорте, какого подавляющее большинство людей не знало ни теперь, ни прежде. Именно они безоговорочно встали на защиту импонирующей им стороны — лишний раз доказав (словно есть нужда в подобных доказательствах), что идея прозелитизма таит в себе огромную притягательность.

Прозелитизм не раз приводил к мученической смерти. Но эта его разновидность, мягко выражаясь, таких жертв не требовала. Тем не менее двое-трое склонных к самоанализу людей с удивлением, а потом и со смущением обнаружили, что принимают к сердцу дело не только мелкое, но и заключающее в себе что-то постыдное, почти непристойное. Ибо никакие покровы и благородные доводы не могли скрыть истины — речь шла о деньгах. Причем даже не о тех астрономических суммах, о которых некогда вели дебаты политики вроде Хилмортона и которым самая их колоссальность придавала колдовское очарование, но об откровенно личных деньгах, воздействующих на несколько обычных судеб. Деньги вызывали у них жеманную стеснительность, как у их дедов — физическая любовь, которой они, наоборот, совсем перестали стесняться. Трудно было вообразить людей, менее стесняющихся всего, что связано с физической любовью, чем Джулиан Андервуд, Элизабет и их младшие родственники. С чем только не приходилось мириться Хилмортону и его поколению — и чего только любитель пикантностей вроде Суоффилда не обнаружил бы в интимной жизни их родственников и знакомых! Хилмортон и прочие хорошо знали своих соотечественников и ничему не удивлялись.

Но перестав стесняться физической любви, к смерти они относились стеснительнее своих предшественников, а к деньгам так и вовсе с жеманной чопорностью, хотя им не нравилось признаваться в этом даже себе. Они не желали говорить о деньгах. Не желали замечать, насколько все их помыслы и заботы связаны с деньгами. Они старательно притворялись — и не только перед другими, но и перед собой, — что деньги их вовсе не интересуют.

Это было лицемерие. И как почти всякое лицемерие, оно имело свою положительную сторону. Им хотелось замаскировать свои истинные побуждения, потому что они предпочли бы испытывать более благородные чувства. Однако факты свидетельствуют о другом. Тому, кто сомневается, достаточно прочесть письма, которые читатели пишут в газеты, или послушать парламентские дебаты. В тот день, когда было оглашено завещание Мэсси, Хилмортон и Райл присутствовали на дебатах по экономической политике. Позже, когда завещание было опротестовано, их палата вслед за палатой общин рассматривала биль о производственных отношениях. Гость в какой-нибудь другой планеты не был бы ни очарован, ни разочарован, но он без труда уловил бы простенький лейтмотив: в большинстве люди думают о деньгах гораздо упорнее, чем готовы признаться, и жадно хотят иметь их как можно больше. И лишь одного они, пожалуй, хотели бы даже сильнее: чтобы у других людей денег было не больше, чем у них, а в идеале — гораздо меньше.

Но в способах достижения этих столь естественных целей наблюдаются некоторые различия, хотя чувства остаются теми же. Хилмортон, человек довольно аскетического склада, отнесся бы к понижению своего так называемого уровня жизни гораздо равнодушнее многих — но при условии, что другие окажутся в еще худшем положении и ему будет на кого снисходительно поглядывать. Примерно так же ревностные профсоюзные деятели, забыв о своих недугах, не жалели сил на обструкцию против вступления в «Общий рынок» потому, что опасались, как бы те слои рабочих, которых они привыкли представлять, не спустились бы на одно деление шкалы.

Погоня за деньгами превратилась в обязательную принадлежность каждодневной жизни, такую же всепроникающую, как страх во время холерной эпидемии, но куда более приятную, потому что страх, хотя он в ней и присутствовал, сочетался с азартом. Кое-кому было даже приятно чувствовать, что с деньгами им не повезло, или делать такой вид. Некоторые были невосприимчивы к этой лихорадке, и они же, по всей вероятности, не заразились бы паническим страхом во время эпидемии.

Хватало и таких людей, которые дышали этим воздухом, и он им не нравился. Нередко, если они верно анализировали собственные чувства, им становилось стыдно и совестно. Они отдавали много времени совещаниям с бухгалтерами, специализирующимися по подоходному налогу, — это стало своего рода наркоманией привилегированного сословия. Специалисты по подоходному налогу столь же хитроумны, как богословы, изыскивающие пути спасения души, — с той лишь разницей, что тут речь идет о спасении без явного нарушения закона тех или иных сумм, причем отнюдь не баснословных, а так, порядка четырехсот фунтов в год. Щепетильно честные люди утаивали от налогового управления все, что могли утаить в пределах, допускаемых законом. При этом они подозревали — и не только подозревали, — что другие далеко не так щепетильны. Если щепетильные люди были уже в годах, они чувствовали, что элементарная честность в денежных делах со времени их молодости сильно пошатнулась, как несколько месяцев спустя скажут друг другу Джевни Рэстал и человек, с которым она пока еще не познакомилась.

Все это, порой думали втайне те же люди, свидетельствовало о наступающем упадке страны. И тут они начинали винить себя, мучались от стыда и угрызений совести, а в сущности, закрывали глаза на реальное положение вещей. Им было горько оттого, что они видели, как идет на убыль могущество их страны. И если они тяжело переживали этот факт и искали в нем объяснения общему недовольству вокруг и собственным неудачам, они не заслуживают осуждения. Но такое объяснение было верным отнюдь не всегда и даже не очень часто.

В те времена, когда их страна находилась на вершине могущества, чуть больше века тому назад (ведь на убыль оно пошло задолго до того, как это стало заметно внешне), алчность была точно такой же — разве что чуть более откровенной, прямой и неприкрытой. Да и в их собственную эпоху — в последнюю треть XX века — еще оставались страны с точно такой же структурой, но не катящиеся вниз столь явно, страны, которые во всем, что относится к погоне за деньгами и за тем, что символизируют деньги, могли бы дать им фору в десять ярдов на сотню и все же оставили бы их далеко позади. Страсть к деньгам была свойственна всему богатому миру, а кое-где и бедному. Быть может, они винили себя с излишней ожесточенностью, потому что старались не замечать чего-то гораздо более сложного и зловещего. А именно: они не имели ни малейшего представления, что может с ними стать через десять лет.

Беда заключалась в том, что люди, любящие люди, люди вроде них самих, не умеют надолго забывать о себе. В первые годы распространения новой религии, во время революции или во время всемирной войны люди способны почти вовсе забыть о себе и жить лишь духовными потребностями или безграничной верой в будущее. Но продолжается это недолго, в чем убеждались после катаклизмов все общества. Вот истоки разочарования людей с ранним совестию. Выносливость души невелика, выносливость собственного «я» почти безгранична.

И все же большинство людей, и разочарованные, и наиболее самоудовлетворенные, порой жаждут какой-то другой жизни. Но как ее обрести? Искусственно создать религию невозможно. Религия же без верующих перестает существовать. Быть может,

некоторые из тех, кто так или иначе соприкасался с наживанием денег, все-таки обрели своего рода благодать, пытаясь облегчить хоть малую долю страданий и нищеты в мире, еще поддающихся облегчению. Так в пределах своих возможностей поступала Джени Рэстал. И дети людей, сочувствующих ее противникам,— дети Седжвика, например, или одна из дочерей Хилмортон, порвавшая с семьей,— посвящали себя тому же за пределами страны, лелея сказочные надежды.

Если бы этой цели удалось достичь (не важно, какими средствами) — и двести лет спустя, когда все, о ком тут шла речь, были бы давно забыты, подавляющее большинство населения земли жило хотя бы вполнину так хорошо, как жили они, тогда бы... Тогда бы — что? Стали бы и эти такими же? Не спрашивайте, скажут апологеты действия. Где есть предел человеку? Ответ, казалось бы, не может воспрепятствовать осуществлению доброй воли, но как знать? Он может снизить шансы (а они, хотя никем не исчисленные, до сих пор были не слишком велики) на успех благих дел.

7

Второе решение было навязано Джени Рэстал с той же бодрой напористостью, как и первое. К этому времени она уже немного свыклась со звонками Суоффилда; короткое «Суоффилд», затем инструкции и напоследок вместо «до свидания» энергичное «ну, с богом», которое звучало совсем не благочестиво. И потому как-то под вечер в декабре, сняв трубку и услышав звучно произнесенную фамилию, она приготовилась слушать в полной уверенности, что он уже ничем поразить ее не сможет.

— Мне надо с вами увидаться.

Она спросила — когда, по обыкновению уступая его натиску.

— В шесть.

Джени вздохнула. День был холодный, она только что вернулась домой с обхода и предвкушала тихий вечер за книгой.

— Поедете в палату лордов,— распорядился голос Суоффилда.— Спросите лорда Клэра. Это мой друг. Я посадил его в один из моих директорских советов.

Не давая ей ответить, Суоффилд с самодовольством старожилы принялся объяснять, в какую дверь ей надо войти.

— Значит, в шесть,— сказал он и повесил трубку даже без «ну, с богом».

Джени смотрела на умолкший телефон с досадливой усмешкой и (она ничего не могла с собой поделать) радостным волнением. Он все-таки хлопочет о ней, а больше никому до нее дела нет, излишняя деликатность тут ни к чему — но в ней было сильно болезненное самолюбие, рождаемое неудачами. С другой стороны (она улыбнулась), палата лордов — это очко в его пользу: как место встречи она бьет даже особняк на Хилл-стрит. Как он это устроил? Зачем? Она ни разу в жизни не была в палате лордов, вот почему она обрадовалась. Притворяться, будто она выше подобных вещей, было не в ее натуре. Она не принадлежала к интеллектуальным снобам, не придерживалась прогрессивных убеждений, а была дочерью своего сословия, своего класса и питала слабость к членам королевской семьи и к лордам.

Пожалуй, даже не слабость, а своего рода упоенный интерес. Когда она вошла в вестибюль и сказала служителю, что ее ждет лорд Клэр, ее нервы напряглись — но ведь и мужчины из семей вроде ее собственной буквально трепетали, когда им предстояло получить награду из рук королевы. Джени была рассудительна и, несомненно, пришла бы в большое недоумение, задумайся она над всем этим.

Служитель, широкоплечий, с военной выправкой, проводил ее в гостиную (так назывался буфет, куда допускались посторонние) и сразу ушел, потому что навстречу ей двинулся Суоффилд, улыбаясь до ушей, точно расквакавшаяся лягушка.

— Джени, познакомьтесь с лордом Клэром,— сказал Суоффилд, не заботясь о тонкостях этикета.

Комната, очень большая, была ярко освещена. Гобелены на стенах, ряды столиков точно в каком-нибудь лондонском кафе — и почти все заняты. Женщин, пожалуй, не меньше, чем мужчин (наверное, тоже гости, решила Джени). Суоффилд с Клэром выбрали столик у окна, выходившего на реку. Перед ними открывался вид, словно пред-

назначенный для Моне, тот же вид, которым любовался Джеймс Райл из окна своей гостиной, только смещенный на полмили.

Лорд Клэр, белокурый, с волосами, зачесанными назад, протянул ей левую руку (правая была в черной перчатке) уверенным, но чуть неточным движением. Он держался с изысканной вежливостью и извинился перед Дженни, что гостиная полна, но «та сторона» предложила повестку в три строчки. Поскольку он был заведомый тори, «та сторона» означала оппозицию — это разумелось само собой. Однако больше ничего само собой не разумелось. Дженни покосилась на черную перчатку и вспомнила, что он как будто где-то отличился... но только не во второй мировой войне, если она не путает. Фамилия... да, его фамилия, пожалуй, таит некое туманное очарование.

Дженни питала отвлеченное почтение к палате, в стенах которой находилась, но в истории была не сильна. Она не знала (хотя, несомненно, узнать это ей было бы очень интересно), что фамилия Клэр — одна из древнейших в стране и что среди присутствующих в этой шумной комнате, пожалуй, только он один носил титул, восходящий к до-кромвелеской эпохе. Он находился в отдаленном родстве с байроновским Клэром — юношей, которого воспел Байрон, что, впрочем, не делало его таким уж исключением среди юношей, а уж о самых разных девушках и говорить нечего.

У лорда Клэра было и еще одно отличие — второстепенное, но по-своему любопытное; он принадлежал к тем немногим пэрам с поземельным титулом, действительно владеющим землей в той местности, название которой вошло в их титул (а точнее, если говорить о Клэре, не далее трех миль от нее). Чего нельзя сказать о Хямортонах, у которых уже много поколений не было ни дома, ни клочка земли в радиусе пятидесяти миль от маленького уорикширского селения, название которого они хранили в своем титуле.

Дженни ничего не знала об этих подробностях, что не мешало ей с большим любопытством следить за лордом Клэром и за его беседой с Суоффилдом. Суоффилд еще даже не намекнул, зачем он позвал ее сюда. Как правило, он сообщал новости без предисловий и предупреждений, и, зная его уже достаточно хорошо, она невольно насторожилась. Если он оставил повелительный тон, на это была причина. С лордом Клэром он держался отнюдь не повелительно, как, впрочем, и лорд Клэр с ним. Дженни, в душе которой непочтительное отношение к личностям не замедлило взять верх над почти-тательным отношением к институтам, вскоре прямо-таки упивалась их взаимной любезностью.

По временам эта любезность начинала смахивать на взаимное подобострастие. Лорд Клэр называл Суоффилда Редж, подшучивал над обширностью его дел, тонко льстил ему, расхваливая *objects d'art*² в доме на Хилл-стрит, и вежливо включал в разговор Дженни как еще одного ангела, поющего славу. Суоффилд в ответ восторгался деятельностью Клэра в директорском совете («Я же поместил вас туда, Эдвард, всего три года назад! Никто еще так быстро не входил в курс!») и его успешным участием в некой послевоенной миссии («Он деньги наживет где угодно и когда угодно, можете мне поверить! — Суоффилд повернулся к Дженни. — Он лучше меня разбирается в том, на чем я собаку съел. А я такое мало о ком скажу — к счастью для кое-кого из нас»).

Нетерпеливое желание узнать, зачем она ему понадобилась, постепенно угасало вместе с радостным возбуждением. Надо всем возобладала непочтительность. К ним подошли два-три человека. Клэр пригласил их «в наш кружок», но они сказали, что им пора, и у Суоффилда заметно вытянулась физиономия. Дженни пришла к двум выводам. Во-первых, лорд Клэр, хотя он аристократичен на старинный лад, эlegantен в самом классическом духе, а возможно, и герой, тем не менее усердно держится за свое директорское жалованье. Он, по-видимому, человек состоятельный, а может быть, и богатый, но готов курить фимиам Суоффилду, лишь бы тот продолжал ему платить. Второй вывод представлялся Дженни несколько сомнительным, она не была знакома со всей здешней подоплакой, да и вообще предпочла бы ошибиться, однако даже человек, не наделенный сверхъестественной проницательностью, легко догадался бы, что Суоффилд сам жаждет засесть в этой палате и пустил для этого в ход все свои немалые ресурсы. Ей еще не приходилось видеть его в роли зрителя. Выглядел он в ней не

² Произведения искусства (франц.).

слишком достойно, однако полностью сохранял свою особую силу, свою способность излучать энергию, и (хотя Дженни не желала этого замечать) за его развязной бесцеремонностью, как всегда, крылась тонкая расчетливость.

У их столика остановился еще один человек. Это был Джеймс Райл, но Клэр не успел его представить — раздались крики: «Голосование!», заскрипели отодвигаемые стулья, зазвенели звонки. Райл, с которым, если бы не это обстоятельство, у Дженни мог бы завязаться разговор, сказал, что надо, пожалуй, пойти проголосовать. Рассматривалась поправка к правительственному биллю, проходившему стадию комитетов, и Клэр, как добросовестный консерватор, отправился исполнять свой долг.

Дженни и Суоффилд остались за столиком одни, и она выжидательно посмотрела на него. Вот сейчас... Однако Суоффилд ответил ей веселым, не то нахальным, не то насмешливым взглядом и сказал, что был бы рад угостить ее еще, но, оказывается, как гость он не имеет на это права.

— Я вам вот что скажу,— начал он, и она вновь подумала, что вот сейчас...

— Так что же, мистер Суоффилд? — Ей никогда еще не приходилось иметь дело с человеком, который бы так ее провоцировал.

— Наследственные титулы, по-моему, порядочная ерунда. Глупость, и ничего больше.

Мурлыкать вокруг лорда Клэра ему было мало — с обычной своей энергией он тут же бросился в противоположную крайность. Взрыв возмущения был вполне искренним, но, как ни странно, таким же искренним могло быть и мурлыканье. Впрочем, это не вязалось с ее представлением о нем как о хладнокровном и циничном дельце. Однако нельзя было исключить и еще одно свойство — делая что-то, он верил в то, что делает, хотя иногда и недолго.

Суоффилд обвел взглядом гостиную: пустые стулья у столиков, оживленно болтающие женщины, там и сям — одинокая мужская фигура.

— По какому, черт подери, праву они торчат тут? — сказал Суоффилд с неодобрительной усмешкой, словно обращаясь к пустым стульям или ворчливо провозглашая тост за здоровье отсутствующих друзей. — Какую пользу они, по их мнению, приносят? Вы мне вот что скажите!

И тут (отсутствовали они минуты три-четыре, не больше) в гостиную вернулся Клэр с каким-то знакомым, а за ним и остальные. Знакомым этим был лорд Лоример, такой же неприкаянный, такой же чужой всему вокруг, как и в тот вечер, когда несколько месяцев назад он подсел к Хилмортона. Райл не вернулся, но Клэр принес несколько свободных стульев и расставил их возле столика. Лицо Суоффилда было хорошо известно людям, имеющим обыкновение просматривать фотографии в финансовых разделах своих газет. Азик Шиф, пэр-еврей, который был, возможно, богаче Суоффилда, присоединился к ним с женой и падчерицей. Лоример и еще несколько человек, включая епископа, недавно возведенного в сан, расположились вокруг, прислушиваясь к разговору. Дженни, как и во время своих визитов на Хилл-стрит, вновь волей-неволей убедилась, какой магнетической силой обладает большое богатство — вполне вероятно, что миллионеры ничем не отличаются от всех нас, но только вокруг них почему-то собираются самые, казалось бы, неожиданные люди. По-видимому, человеку свойственно желание быть придворным, хотя бы и при очень своеобразном дворе.

Минуту спустя, когда Суоффилд внезапно сказал ей насмешливо-покровительственным тоном: «Ну, моя милая Дженни, мне надо вам что-то сообщить», она поняла и еще кое-что: он ждал, чтобы собралось побольше слушателей! Как в тот раз, на званом обеде у себя дома, когда он внезапно принялся расспрашивать ее прямо за столом про отца и завещание.

— Может быть, потом? — беспомощно пробормотала она, багрово краснея. Она готова была ко многому, но не к этому. Даже он вряд ли решится обсуждать ее частные дела в присутствии совершенно незнакомых людей, да еще там, где сам он — всего лишь гость. Но оказалось, что она его еще плохо знает.

— Ну, нет. Вам надо будет принять решение. Да и Эдварду это интересно. Пусть послушает. — Суоффилд обращался ко всем вокруг. — Эдвард скоро станет одним из моих вице-председателей, ну, а она — одна из моих девочек.

И Суоффилд доверительно объяснил, что говорит о своем Обществе помощи пре-

старелым — это не единственное его благотворительное начинание, сообщил он, но самое любимое.

— Нам ведь всем это предстоит в недалеком будущем, незачем закрывать глаза на правду: мы все скоро узнаем, что такое старость.

Его взгляд переходил с мужчины на мужчину — фамильярный, насмешливый, вызывающий, — словно спрашивая, сохраняют ли они еще свои мужские способности, да и было ли им что сохранять. Затем он посмотрел на женщин, словно осведомляясь об их мужьях. Впрочем, леди Шиф и ее дочь смутить или шокировать было не легче, чем его самого.

Он вновь стал дружески сердечным. Непристойный блеск в глазах, вызов сменились убаготворяющими теплыми словами. Да, просто замечательно, что Эдвард Клэр обещает ему помочь.

— Отлично, отлично, — сказал епископ Болтвуд, который недолюбливал богатых людей, но относился терпимее к тем из них, в ком брезжило хоть что-то человеческое.

— Конечно, — продолжал Суоффилд, — Эдвард помогал мне в некоторых моих делах. Он немало сделал, можете мне поверить.

Общее одобрение. Белесые глаза Клэра оставались безмятежными: ни самодовольства, ни тени смущения, только ровное спокойствие человека, привыкшего к похвалам с младенческих лет. И ни малейшей досады, хотя Суоффилд продолжал разглагольствовать о том, какие они друзья. Затем Суоффилд оставил эту тему и сказал, вновь смутив и расстроив Дженни:

— Эта девочка тоже немало сделала. Без таких, как она, наше благотворительное общество долго не протянуло бы. И она у меня из самых лучших.

— Отлично, — сказал епископ. Маленький, быстроглазый, он чуть не подмигивал Дженни, желая ее подбодрить.

Дженни была вне себя, она вся оцетирилась от этого небрежного покровительства. Однако Суоффилд не только разыгрывал из себя покровителя — в чем-то им двигала простая доброта: он бросил заискивать перед пэрами, перестал интриговать в свою пользу, словно на минуту дав волю презрению к людям, которые его окружали, и сосредоточился на ней.

— Все-таки какое-то занятие, — сказала она вполголоса епископу, который сидел рядом с ней.

— Не только это, я понимаю, я понимаю, — ласково и так же негромко ответил епископ, чьи интонации выдавали в нем уроженца Северной Англии. Их никто не слушал, но Суоффилд, по-видимому, обладал радарным слухом и улавливал все, независимо от того, скольких людей он в этот момент цепко оглядывал и скольких удерживал под гипнотическим воздействием. Своим самым звучным и требующим внимания голосом он объявил:

— У вас будет и другое занятие, моя милая. Вам надо будет принять решение.

Да, он получил все внимание, которого требовал. Она чувствовала на себе их взгляды — сочувственные, любопытные, иронические.

— Какое решение, мистер Суоффилд? — В ее голосе прибавилось резкости. Смирно сносить его выходки она не собиралась.

— Мне днем звонил старик Симингтон. (Симингтон был партнером Робинсона и Уигмора, поверенных, которых он для нее подыскал.) Потому я вас сюда и вызвал.

Суоффилд умолк и уставился на нее жарким пристальным взглядом, который, смотри он на кого-нибудь другого, она назвала бы похотливым. И вдруг сказал спокойно и небрежно:

— Они там хотят от вас откупиться. Вам надо будет принять решение.

Затем он обратился к сидящим вокруг с полной невозмутимостью, словно посвящать их в дела незнакомой женщины было вполне естественно.

— Ее выкинули из завещания отца. Ну, я и подумал, что надо бы кому-то восстановить справедливость. — Он продолжал: — Так вот, Дженни, они предлагают десять тысяч фунтов. Чистых — все издержки они берут на себя.

Ее предупреждали, что следует ждать чего-то подобного, но все-таки она не была готова.

— Старик Симингтон,— продолжал Суоффилд,— считает, что мы можем выжать из них еще тысячи две. Но не больше. Платить дороже за то, чтобы вы сидели и помалкивали, они не собираются. Вам надо будет принять решение.

Иногда она ему доверяла. Есть у него сейчас какая-то задняя мысль или нет? Она спросила, словно во всем на него полагаясь:

— А как вы считаете?

— Это для нас не победа. Так они отделаются очень дешево. Слишком уж дешево. А по мне кое-кому из них стоять бы на улице с протянутой рукой.

Подобная вспышка этим людям понравиться не могла. Суоффилд почувал, что напрасно дал волю первобытной ярости, и мгновенно вновь преобразился в доброжелательного, заботливого и снисходительного благодетеля.

— Но, с другой стороны, не всегда бывает так, как нам хотелось бы. Иной раз шайке прохвостов и не такое сходит с рук и ничего поделывать нельзя.

Кто-то спросил о юридической стороне дела. Суоффилд не ответил, а сказал бесцветным голосом, обращаясь к Дженни:

— Вам надо будет принять решение. Я советую согласиться.

Ну конечно, он вовсе не хочет, чтобы она последовала его совету. Вполне возможно, он хочет, чтобы она поступила наоборот: такая двусмысленность в его характере, и она уже не раз наблюдала, как он проделывал подобные штуки. Но почему-то (в сущности, Дженни доверяла ему больше, чем ей казалось) она была убеждена, что к этому вопросу он отнесся ответственно. Во всяком случае, попытался. Ведь понимает же он в конце концов, как много значат для нее такие деньги. Она уже прикинула, что с ними ее доход удвоится.

— Советую вам согласиться,— повторил Суоффилд, а затем спросил у Азика Шифа: — Верно я говорю?

Лорд Шиф покачал крупной иудейской головой с таким же широкогубым ртом, как у Суоффилда.

— Не берусь судить. Я ведь не знаю подробностей.— Он сочувственно улыбнулся Дженни.— Но думаю, какое бы решение миссис Рэстал ни приняла, оно будет разумным.

Азик Шиф симпатизировал Дженни и желал ей всяческой удачи, но он не слишком верил в благоразумие других людей, когда речь шла о деньгах, и у него даже мелькнуло неясное желание освободить ее из-под суоффилдовской опеки. Азик Шиф признавал, что Суоффилд нажил огромное состояние, но считал его филистером и подозревал, что в своих деловых операциях он заботился о сохранении не столько законности, сколько ее видимости. Иногда люди, добившиеся успеха — даже финансового,— как бы сплачиваются в своего рода тайное братство, но Азик Шиф был исключением и в глубине души уважал только интеллигентных людей, предпочтительно эрудитов, каким стал бы сам, сложись его судьба по-иному.

Снова посыпались крики: «Голосование!» — и раздались настойчивые звонки.

— Сохранение статьи,— сказал кто-то со знанием дела, но отнюдь не на языке Шекспира.

Клэр с Лоримером ушли голосовать за правительство, епископ ушел голосовать против. Азик Шиф, относившийся ко всем правительствам с одинаковым безразличием и привыкший давать всем им равно скептические советы, вообще не голосовал. Воспользовавшись тем, что гостиная опустела, он кивнул официантке, но когда она принесла заказ, сам пить не стал и по-прежнему сидел чуть в стороне. Правда, раздобыв тарелку бутербродов, он свою долю съел.

По-видимому, решила про себя Дженни, ничего другого они до позднего вечера есть не будут. Сколько времени продлятся дебаты?

— Предполагают кончить в час,— сказал знаток.

И никакого ужина? Почему? Знаток, не голосовавший, как и Азик Шиф, объяснил и это. Что-то уж слишком аскетично, подумала Дженни.

Суоффилд на время оставил ее в покое. Шифы доброжелательно ей улыбались, но о ее решении не спрашивали. Отчасти из деликатности. Азик Шиф умел держаться в обществе много лучше Суоффилда, что, впрочем, еще не делало из него лорда Честерфилда, но кроме того, он обладал подлинной душевной тонкостью, которую сумел привить и жене. Им обоим было неприятно присутствовать при том, как чужую душу

выворачивают наизнанку, и они не хотели, чтобы эта сцена повторилась. Впрочем, для этого у них была еще одна причина.

Оба они знали, что такое бедность. Когда Азик приехал в Лондон в тридцатых годах, весь его капитал исчерпывался ста пятьюдесятью фунтами, а детство Розалинды прошло на задворках провинциального городка. Она стала женой сначала одного богатого человека, а потом Шифа — когда он тоже был уже очень богат, и ни одна женщина здесь не могла бы сравниться с ней туалетами, но платье Дженни она рассматривала так, словно перенеслась на сорок лет назад, в прошлое. Для Азика же было проще простого определить, насколько Дженни нуждается в этих деньгах. И придя к одному и тому же заключению, муж и жена одинаково почувствовали, что не хотят больше ничего об этом слышать, не хотят брать на себя никакой ответственности. Неприметное отступление по требованию благоразумия и инстинкта самосохранения. Неприметное отступление, столь естественное для всех, кому прежде приходилось считать каждый грош.

Дочь Розалинды — падчерица Шифа — была смелее. Хорошенькая, но не больше того, она в двадцать два года развелась с мужем и теперь (ей еще не исполнилось тридцати) жила одна на собственные средства. Дженни она рассматривала с безразличным любопытством. Под шум общего разговора она спросила негромким ясным голосом, так, что никто, кроме Дженни, не расслышал:

— Насколько я поняла, деньги, которые вам предлагают, — лишь незначительная доля наследства?

— Да, небольшая.

— Понятно, — кивнула она и продолжала: — По-моему, не соглашайтесь и подавайте в суд. Ведь, наверное, нетрудно найти человека, который одолжил бы вам деньги под оговоренный процент наследства, если вы выиграете дело.

— Мне это не слишком нравится, — сказала Дженни, которой не слишком нравилась и ее собеседница: чересчур уж декоративна, самоуверенна и равнодушна.

— И все-таки подумать об этом стоило бы.

Дженни не нравилась эта молодая женщина, она не желала, чтобы посторонние вмешивались в ее дела, но в ней нарастало возбуждение, почти радостное, оттого, что вокруг нее было так много людей. Гостиная внезапно вновь наполнилась — голосование окончилось. Громкоговоритель объявил результаты, которые никого не удивили.

Вскоре Дженни, как будто не вполне отдавая себе отчет, что делает окончательный выбор и во всеулышание сообщает о нем, объявила:

— Мистер Суоффилд, я не играю.

— Что?

— Я **ответу** — нет. Я откажусь.

Дженни **заметила**, как блеснули глаза Мюриэль Калверт (падчерицы Шифа), и на мгновение **огорчилась**. Неужели та вообразила, будто ее слова хоть что-то изменили? Какое самодовольство! Но Дженни сразу забыла об этом — ее захлестнула волна надежды и радости, оттого что решение было наконец принято.

— Не советую, — сказал Суоффилд и улыбнулся ей улыбкой, которая не поддавалась истолкованию.

— Мне очень жаль, но я намерена отказаться.

— Не советую. И старик Симингтон скажет то же самое. Вам надо будет поговорить с ним завтра.

— Я твердо решила, — сказала Дженни громко, властно, убежденно. — Его слова ничего не изменят.

— Миссис Рэстал, — сказал епископ сочувственно, — не стоит решать так поспешно, право, не стоит.

— Да, — сказал Лоример. Это было чуть ли не единственное слово, которое он произнес за все время.

— Нет стоит!

— Ну, в смелости ей не откажешь, — сказал Суоффилд с хозяйской гордостью.

— Все-таки поговорите со своим поверенным, — сказал Азик Шиф, стараясь удерживать спор в определенных рамках.

— Конечно, я с ним поговорю. Но ведь, лорд Шиф, обычно такие разговоры ничего не меняют, не правда ли?

Ответ, хотя и неглупый, был немножко дерзким, но Шиф чувствовал к ней только уважение. Его это никак не касалось, и все-таки он испытывал беспокойство. Всем остальным было неловко из-за поведения Суоффилда. Только Азик Шиф и Дженни заподозрили, что оно отнюдь не случайно.

— Нет, отчего же, бывает, что и меняют.

Все это его не касалось, и он не позволил себе сказать ничего больше.

С обычной своей любезностью лорд Клэр поглядел на Дженни и поднял рюмку:

— За вашу удачу, что бы вы ни решили.

— От всей души, — неловко пробормотал Лоример.

Интерес к этому событию в жизни Дженни постепенно угасал. Для большинства это была интермедия, слегка скрасившая долгие часы вечернего заседания и затерявшаяся в них. Но спасибо и на том. Епископ, выступавший по поводу нескольких статей билля, считал себя обязанным остаться до конца. Как и те, кто привык соблюдать дисциплину. Начал говорить новый оратор. Епископ прищурился на список поправок и сказал, что еще одно выступление он пропустит, а вот следующее пойдет послушает.

Лорд Клэр, вдруг оставив церемонный тон, сказал, что готов переждать здесь, пока Б. «что-нибудь там скажет». Дженни немножко удивилась: словно все они говорят там первое, что подвернется на язык. Клэр, слегка понизив голос, сообщил Суоффилду, что конца пока не видно и он будет рад дружеской поддержке, если Суоффилд способен потерпеть еще. Суоффилд был вполне способен потерпеть еще.

Он явно радовался этой возможности, смаковал ее. Так, во всяком случае, казалось Дженни, и она не могла разобрать, злится ли она на него или восхищается им за то, что он не устал, что он и думать забыл про еду и сон. Суоффилд начинал стареть, но, по-видимому, вел себя, когда чего-то добивался, совершенно так же, как в молодости. В этот вечер он хотел поглядеть на знакомых Клэра, сблизиться кое с кем из них.

Входили все новые люди. Кого-то поздравляли по поводу его речи. Шум, раскаты смеха, рюмки снова полны, люди подсаживаются к их столику, уходят... Дженни начинало казаться, что разговоры становятся все бессвязнее, а лампы светят все ярче, и она не могла сообразить, когда ей лучше будет уйти. Потом вдруг сказала — это случилось у нее так же неожиданно, как и ответ Суоффилду, — что ей, пожалуй, пора. Никто не обратил на ее слова особого внимания. Суоффилд хозяйски кивнул, чмокнул ее в щеку, спохватился и напомнил ей, чтобы она утром обязательно поговорила со своими поверенными.

Лоример сказал, что проводит ее вниз. Она стала отказываться, но он настаивал: в первый раз тут можно заплутаться, да и вообще он хочет глотнуть свежего воздуха.

Они пошли по коридорам, по ковровым дорожкам, алым, пушистым, укрытые от остального мира — словно в материнской утробе, словно в чреве китовом, как пророк Иона... или попросту в этой части Вестминстера. Они — хотя Дженни этого не заметила — миновали дверь с табличкой «Буфет для пэров» (официальное название Епископского буфета). Там как раз сидел Райл — один, без Хилмортонна, который был на своем месте в зале заседаний и готовился выступить.

Дженни, все еще во власти приятного возбуждения, обнаружила, что Лоример — славный неловкий человек, очень застенчивый, несмотря на солдатскую суровость лица, но ее к нему нисколько не влекло, и это порождало ощущение пустоты, разочарования.

8

«Старик Симингтон» был далеко не стар. Никому, кроме Суоффилда, и в голову не приходило называть его так. Ему еще не исполнилось сорока. А выглядел он моложе своих лет. И в нем не было следа отеческой или даже пастырской заботливости, которая проскальзывала в облике Эрика Скелдинга. Увидев его в первый раз (да и не в первый тоже), мало кто догадался бы, что Симингтон — самый деятельный партнер юридической фирмы, которая издавна пользовалась в Лондоне уважением, а благодаря ему упрочила свою репутацию еще больше, и что он, сын мелкого муниципального служащего, начавший самостоятельную жизнь в шестнадцать лет, всем был обязан только себе.

Но из этого вовсе не следует, что его внешность производила впечатление заурядной. Наоборот, он был настоящим красавцем, хотя, правда, и не совсем в духе своей профессии. Пышная шевелюра, лучистые глаза, скульптурная шея — в начале века его могли бы принять за актера, любимца публики. Если бы тех, кто так или иначе соприкасался с делом Мэсси, собрали в одной комнате, все взгляды обратились бы на него. Хилмортон сохранял благородство облика, как и суровато-строгий Седжвик до болезни. Лиз была очень хороша, а миссис Андервуд в молодости превзошла бы и ее. Другим было свойственно благообразие, которое приносят удачная карьера и признание и которое иной раз, наоборот, способствует удачной карьере и признанию. Все это было в порядке вещей, и вы обнаружили бы много подобных людей в любой привилегированной группе любой эпохи и страны. Но только не такого живописного красавца, каким был Лесли Симингтон. Подобная красота — редкий дар, быть может даже более редкий, чем интеллект Седжвика, и уж конечно куда более редкий, чем здравый смысл Райла.

Естественно, что он привлекал внимание женщин. Авторитеты в подобных вопросах, несомненно, предсказали бы, что такая внешность обрекает его на нарциссизм, а потому он либо вообще будет сексуально холодным, либо женится на очень некрасивой женщине, которая ни в чем не умалит его блеска. Однако авторитеты ошиблись бы: жена Симингтона красотой не уступала ему — ну, разве самую чуточку, — и их окружала некая эманация, некое силовое поле, источником которого бывает только счастливый брак.

Как-то вечером в феврале (до слушания дела Мэсси оставалось еще три месяца) они сидели у себя в гостиной и обсуждали — далеко не в первый раз в этом году, — не завести ли им еще одного ребенка. Как всегда, это был приятный разговор, полный жизнелюбия, чувственности и здоровой потребности в детях. У них уже было двое детей, мальчик и девочка (им и тут улыбнулась обычная их удача, которой завидовали все, кто их знал), оба поразительно красивые — родители никогда не притворялись, будто это их удивляет. Мальчику было четырнадцать, он учился в одной из старинных аристократических школ. И его девятилетняя сестра тоже.

К лицу ли родителям с либеральными взглядами оплачивать привилегированное образование? Они принадлежали к кругу преуспевающих либералов, и почти все их друзья ответили бы на этот вопрос отрицательно. Даже Симингтоны, люди очень уравновешенные, иногда испытывали неприятные сомнения, вот как сейчас, когда они сидели в уютной челсийской гостиной, которая резала глаз заметно меньше суоффилдовской: белые коврики на паркетном полу, плотные гардины, стулья табачного цвета — ничего яркого, кроме геометрических картин на стенах. Возможно, им стало бы легче, если бы они услышали рассуждения лорда Седжвика о современном образовании, но совесть все равно продолжала бы их мучить. Чтобы успокоить ее, Элисон, отдав дочь в школу, начала заниматься умственно отстающими детьми. За пределами их круга в этом могли бы усмотреть ханжество, но всякое доброе дело на взгляд со стороны может показаться ханжеством, однако другие их стремления, известные только им одним, никому не показались бы ханжеством. Под своей великолепной внешностью Симингтон прятал жгучее честолюбие, ненасытное и целенаправленное. Он хотел (цель тоже очень либеральная), чтобы поверенные в делах перестали считаться юристами второго сорта и наравне с адвокатами начали получать свою долю судебных кресел и прочих высоких постов, — другими словами, он жаждал быть одним из первых поверенных, который наденет мантию судьи. Они с Элисон были счастливы, но тогда они стали бы еще счастливее.

А третий ребенок? Они наизусть знали все доводы за и против, с удовольствием перебирали их вновь и вновь. И как всегда в спорах на животрепещущую тему — вроде тех, которые мысленно вела с собой Джени Рэстал, — ответ был предрешен, хотя они этого и не сознавали. Они взвесили риск. Элисон была всего на год моложе мужа. Статистика родов в таком возрасте настораживала, и они ее тщательно изучили. Шанс, что ребенок родится неполноценным, был настолько значительным, что с ним приходилось считаться — он заметно превышал тот риск физической опасности, которому люди подвергаются в нормальных условиях.

— Вероятность, о которой трудно думать без страха. — Симингтон говорил это не

в первый раз.— Конечно, я буду держать себя в руках. И ты тоже. Но стоит нам посмотреть друг на друга...

Однако не исключалось — правда, вероятность этого была куда меньше,— что ребенок в умственном отношении будет много выше среднего уровня.

— Гордыня! — снова сказал он в этот вечер.— У нас ведь всегда было ее достаточно, чтобы бросить вызов судьбе, правда?

Другие люди не раз думали о них примерно то же, желая, правда, несколько иного исхода.

Они разговаривали, наслаждаясь этим разговором, хотя все уже было давно сказано, и не один раз. Будь здесь посторонний наблюдатель, он, несомненно, заметил бы, что они мало похожи как на людей старшего поколения, вроде Адама Седжвика или Райла, так и на более молодых. В отличие от стариков их не терзали мрачные предчувствия. Разумеется, общество вокруг них меняется, но в целом оно меняется к лучшему. Да и в любом случае их дети к нему приспособятся, они будут дышать воздухом беззаботности. Пожалуй, тут им не хватало знакомства с жесткими взглядами той части молодежи, которая предпочла бы куда более суровый климат. Впрочем, пока еще никто не рассчитал и не предсказал точно, во что это может вылиться.

Элисон любила мужа. В этот вечер она была так счастлива, что даже вспоминала наставления своей матери о том, как следует ценить ниспосланные ей блага, и все-таки у нее было одно постоянное огорчение. Симингтон по-прежнему работал словно одержимый. Раньше это было необходимо — он прокладывал себе дорогу, но теперь уже можно было бы отвести час-другой в день и для отдыха. Честолюбие честолюбием, но работа превратилась для него в своего рода наркотик; если она начнет его уговаривать, он расстроится, но все останется по-прежнему. Он разрешал себе одну рюмку виски перед ужином и (вот как сейчас) какое-то время на разговоры с ней. Потом ужин, а вернее, утоление голода: он совершенно не замечал, что ест. И снова работа до одиннадцати. Что же, надо с этим мириться. Ну, словно она замужем за известным хирургом.

У них не было секретов друг от друга, и она точно знала, чем он будет заниматься в этот вечер. По тактическим соображениям следовало поддерживать хорошие отношения с Суоффилдом, а потому он с самого начала взял дело Мэсси под личный контроль. Затем оно заинтересовало его само по себе. В этот вечер, как и в предыдущие, он будет изучать записи разговора с предпоследней экономкой Мэсси. Миссис Андервуд уволила ее вместе с большинством слуг, ходивших за стариком,— это произошло за три года до его смерти. Можно ли использовать ее как свидетельницу? Не рискованно ли это?

— Ты говорил,— заметила Элисон, привыкшая делить его интересы,— что миссис А. ей как будто не слишком нравится.

— Мягко выражаясь.

— Ну, конечно, ее выжили.

— Но я же говорил тебе: он ей тоже как будто не слишком нравился.

— Очаровательная компания!

Собственно говоря, к этому времени домашняя жизнь покойного мистера Мэсси представлялась им обоим лишенной какого бы то ни было романтического ореола — одновременно зловеще мрачная и обиденная, слагающаяся из невероятностей будничных событий. Этой зимой они как-то в субботу отправились посмотреть на его дом снаружи. Он стоял у шоссе милях в шести за Хейурдс-Хитом — впрочем, с шоссе не было видно ничего, кроме темной стены сосен. Они шли по длинной подъездной аллее (Симингтон прикидывал, сколько будет стоить этот участок через десять лет), ожидая, что перед ними вот-вот откроется элегантный фасад второй половины XVIII века.

Ожидать они ожидали, но увидели совсем другое: кирпичный замок, зажатый между окаймляющими лужайку деревьями, сумрачно-угрюмый, хотя кирпич не утратил своей аляповатой яркости. Особняк в стиле, излюбленном преуспевающими суссекскими дельцами прежних времен, решили они. Построен в году так тысяча восемьсот девяностом. В одной из комнат нижнего этажа, щеголявших удивительным разнообразием окон (итальянские, стрельчатые и даже круглые), старый Мэсси провел заключительные годы своей жизни, не вставая с постели. По словам экономки, миссис Андервуд держала его там, никуда не выпуская, хотя «прогулка ему не повредила бы».

Опять-таки по словам экономки, по ночам он кричал в этой комнате «так громко, что как еще потолок не обрушился», требуя, чтобы кто-нибудь пришел поговорить с ним.

По-видимому, он страдал бессонницей, хотя днем почти все время дремал. «Она это раскусила. Она это раскусила, еще когда я там служила. И готова была разговаривать хоть всю ночь напролет. Ну да, конечно, днем-то она отсыпалась». А потому после того, как миссис Андервуд завела обыкновение ночевать в этом доме, старик кричал уже: «Птичка! Птичка!» — по-видимому, так он называл миссис Андервуд. Симингтоны решили, что это звучало очень ласково. Экономка, возможно, придерживалась другого мнения, но ничего по этому поводу не сказала.

Эти ночные крики, решили Симингтоны, сомнений не вызывают. Но вот другие рассказы экономки?

— Стала бы миссис А. уговаривать старика жениться на ней чуть ли не в присутствии этой женщины? — сказал Симингтон. — Как-то не верится.

— Настолько не верится, что вряд ли она стала бы выдумывать такое.

— В остальном миссис А. вела себя крайне осмотрительно — это все говорят. Возможно, она хищница, но в осмотрительности ей отказать нельзя.

— Но ведь тогда она еще не добилась этого завещания.

— По-видимому, она с самого начала была твердо уверена, что добьется всего, чего захочет...

— Но может быть, — сказала Элисон, — она не слишком уверена в своем сыне. И предпочла бы, чтобы деньги достались ей самой.

Элисон не скупилась на хорошие дела и обычно думала о людях хорошо. Возможно, она даже верила, что они способны стать лучше — но только не в этом случае. К подобным делам она относилась с тем же реализмом, как профессиональные юристы. Однако на этот раз ее реализм оказался чрезмерным — во всяком случае, она попала пальцем в небо. Впрочем, муж слушал ее внимательно. Разобраться в историях, которые нарасказала экономка, было нелегко. В некоторых из них неожиданно и странно проскальзывали отголоски истины. Старик круглые сутки лежал (по-видимому, и тогда еще, когда в этом не было никакой необходимости) на складной кровати в комнате нижнего этажа, где и днем горели лампы. Лежал и вопил: «Перемены! Птичка, мы должны быть готовы к переменам!» Он все время твердил о переменях, рассказывала экономка, — перемены у них, перемены у всех. Однажды, по ее словам, он закричал: «Все в конце концов наладится!» И еще раз, после того, как миссис Андервуд сказала, что думает поговорить с приходским священником, он обругал церковь, как было у него в обычае, и заявил: «На это время еще будет. Все в конце концов наладится».

Возможно, экономка сильно приукрашивала то, что слышала, и тем не менее какое-то зерно истины тут было. У нее не хватило бы ума заметить, что такие выкрики Мэсси можно истолковать двояко. На первый взгляд они указывали, что за три года до смерти он далеко еще не впал в маразм и не проявлял особой беспомощности. Во всех историях экономки гремел его голос — пусть с легким оттенком ненормальности, но он гремел и гремел. Его голос, а не голос миссис Андервуд.

Симингтон все больше и больше приходил к выводу, что использовать показания экономки небезопасно.

Фундамент дела уплотнился гораздо раньше. Миссис Андервуд действовала слишком уж напористо для разумной женщины. И это можно будет использовать. Вскоре после увольнения экономки она ввела в дом собственного поверенного Скеддинга, за получила в свои руки прежние завещания с их ритуальными зачинами — иеремиадами, которые старик обрушивал на школы, университеты и англиканскую церковь, избавившись не только от прежних слуг, но и от всех, кто так или иначе обслуживал старика. Она могла бы действовать не так круто. И допустила ошибку, не оповестив Джени, когда старик лежал на смертном одре. Всего этого было вполне достаточно, чтобы обосновать иск. Сомнения у Симингтона возникали тогда, когда ему попадались свидетельства того, что старик и в последние месяцы жизни сохранил свою несговорчивость и упрямое стремление во что бы то ни стало поставить на своем.

Симингтон на всякий случай отыскал старых слуг, которые знали Джени в молодости, еще в те дни, когда она жила в отцовском доме. И столкнулся с тем, к чему его уже давно приучил профессиональный опыт, — с удивительной противоречивостью

впечатлений, которая неискушенного человека поставила бы в тупик. Двое-трое из тех, кто покинул дом задолго до появления там миссис Андервуд, любили Дженни. Она всегда была добра, умела подбодрить, помочь, она сочувствовала людям. Другие проявляли заметно большую сдержанность — не критиковали ее прямо, но отмачивались. Она любила, чтобы все было вот так, а не иначе, сказала бывшая горничная, давая понять, что Дженни была придирчива и мешала жить и себе и всем вокруг. До того как вышла замуж — хотя, говорят, она и потом другой не стала.

До войны Мэсси держал дворецкого. Этот старик любил выражаться сложно. Он принялся рассуждать о Дженни и с гордым видом произнес — «стремление к совершенству» («Вот как я определил бы главное в ней — стремление к совершенству»). Было не совсем ясно, что он под этим подразумевал — разве что неудачный роман ее юности, когда она была влюблена без взаимности, но долго хранила надежду и отвергала ухаживания других мужчин.

Затем Симингтоны заговорили о Суоффилде — о том, как он воспринял слухи о попытках миссис Андервуд женить на себе старика Мэсси.

— Ну,— Лесли широко улыбнулся,— ему, конечно, пришлось очень по вкусу, что миссис Андервуд забралась в постель старика накануне его смерти.

— Этого даже он вообразить не мог! — Элисон улыбнулась не менее широко.

— Еще как мог! Уж не знаю откуда, только он что-то такое слышал про Бурбонов. Про Филиппа Пятого, кажется.

Суоффилд был совершенно необразован и, насколько им было известно, почти ничего не читал. Однако мало нашлось бы постельных анекдотов и еще меньше историй о постельных подвигах, которых он не знал бы, хотя источник его осведомленности был никому не ведом.

Суоффилд, размышляя Симингтон, конечно, был бы не прочь использовать намеки на брачные попользования. Эдакий нож под ребро миссис А. Но только если юристы не сочтут это рискованным ходом.

В конечном счете Суоффилд всегда умел ограничивать полет своего сального воображения и даже свою мстительность, если это мешало ему «бить по гвоздю», что он настоятельно призывал делать Симингтона. Он умел сосредоточиваться на чем-то одном. Его сила, в частности, объяснялась именно этим. В данном случае «гвоздем» был выигрыш дела. Не больше и не меньше, хотя он был бы не прочь одновременно добить-ся и чего-нибудь еще.

Симингтоны принадлежали к тем немногим, кому Суоффилд внушал симпатию — снисходительную, но вполне искреннюю. Другие — и таких было много — заискивали перед ним, льстили ему, становились его придворными либо ради многочисленных выгод (как лорд Клэр), либо в чаянии их, пусть безнадежном, а то и просто потому, что им нравилось греться в лучах его могущества. Это давало им своеобразное удовлетворение, и они грелись, вились вокруг него, пока он им позволял, и все же (нередко не признаваясь даже себе) терпеть его не могли.

Но Симингтонам он, как ни странно, нравился. Правда, его покровительство приносило Симингтону немалую пользу. С тех пор как Симингтон обосновался в Лондоне, его фирма благодаря Суоффилду все время получала выгодные дела. Для поверенного, делающего карьеру, любой патрон всегда полезен, даже очень капризный, но этим исчерпывалось не все и даже далеко не все.

Да, он им нравился, и они готовы были и дальше относиться к нему с симпатией, несмотря на то, что он пытался вмешиваться в их супружескую жизнь. А может быть, именно поэтому. Он оплачивал их отдых (молодые люди, подданные его империи — это разумелось само собой). И навещал их во время отдыха: личный самолет садился на ближайшем аэродроме, расспросы в отеле о самом личном, и через двое суток с ма-ниакальной непосредливостью дальше в путь.

Он требовал от них признаний, как они «ладят» в постели, часто ли вступают в по-ловое общение, когда планируют завести следующего ребенка — полная анкета семей-ной жизни по всем правилам конца XX века: Кинси, плюс доктор Спок, плюс Реджи-нальд Суоффилд. Иногда он беспокоило хмурился, точно врач, который ждет появления неприятных симптомов, и, по-видимому, считал, что они не очень подходят друг другу.

Им это даже не досаждало. Тут они играли на своем поле, тут они были неуязви-

мы. И могли выдержать самые беспрецедентные вторжения в их интимную жизнь. Собственно говоря, им нечего было скрывать, но они этого не афишировали. Имея дело с таким человеком, как Суоффилд, было куда интереснее, а возможно, и тактичнее фабриковать ложные улики и посылать этого неутомимого сыщика по ложному следу.

Они постоянно обсуждали его. Очевидные ответы были не только слишком просты, но и явно неверны. Суоффилд не был ни девственником, ни импотентом. Он дважды женился, и у него были дети, чем исчерпывалась официальная часть его биографии. В нем было слишком много половой энергии, подавляемой и оттого бьющей через край. Каким-то образом эта энергия не нашла нужного объекта. А может быть, такого объекта вовсе не существовало.

Но жалости к Суоффилду они не испытывали: жалеть его было бы ошибкой, и они постарались ее избежать. Он был стихийной силой, и потому они его уважали. А кроме того, он превратился в их тайную супружескую шутку.

Почти половина восьмого. Пора ужинать. А потом он будет три часа работать, и лишь тогда они снова увидятся.

9

Лорд Хилмортон, по мнению большинства людей, был любезен, очень воспитан и более добросердечен, чем это обычно свойственно тем, кто посвящает свою жизнь политике. И все-таки один человек не разделял мнения большинства, причем с достаточным на то основанием. Этим человеком был его наследник, доктор Томас Пембертон.

Доктор Пембертон обладал слишком деятельной и агрессивной натурой, чтобы предаваться беспочвенным фантазиям. День за днем он с утра до ночи был занят делом — каждая минута на счету, что не так уж часто бывает у людей среднего возраста. С утра — посещение пациентов и обследование будущих клиентов страховой компании, консультантом которой он состоял, с двенадцати до двух — прием частных пациентов (без перерыва для еды), между половиной третьего и без четверти четыре — инструкции биржевому маклеру, до чая — профилактический осмотр двух эстрадных трупп, вызовы в театры, с шести до семи — снова прием дома на Фулем-роуд (пациенты его побаивались и ждали с робкой покорностью), обед с женой и сыном, который жил с ними, затем шесть вечеров из семи — снова посещения больных на дому, несколько минут на чтение любимой литературы (биржевого бюллетеня) и сон, иногда прерываемый срочными вызовами.

Он отличался большой физической силой, был сложен, как боксер-тяжеловес, причем обладал не только могучими мышцами, но и невероятной выносливостью. Тем не менее у него почти не оставалось лишней энергии — во всяком случае, для бесплодных психологических построений, которые он презирал. И все же... он был злопамятен, и выпадали минуты, когда дисциплинированный ход мыслей вдруг прерывался и он представлял себе, как торжествует победу над лордом Хилмортоном.

Лорд Хилмортон видел его два раза в жизни. Впервые — когда Пембертону было четырнадцать лет, в школе, куда докторских детей принимали на льготных условиях. Отец Пембертона, практиковавший в Бирмингеме, умер совсем молодым за десять лет до этой встречи, умер от инфаркта, он был таким же массивным, каким с возрастом стал его сын (сочетание фактов, о котором Пембертон в последние годы думал без всякого удовольствия). Внезапно лорд Хилмортон написал директору, сообщая, что намерен посетить мальчика.

Это было во время войны. Лорд Хилмортон (в ту пору еще просто Генри Фокс-Милнс, член палаты общин и всего лишь «высокородный», поскольку до него Хилмортоны были не более чем виконтами и первым графом Хилмортоном стал он сам, но позднее) уже занимал высокий политический пост. Школа, не привыкшая к именитым посетителям, обставила его визит весьма торжественно. Лорд Хилмортон осмотрел площадки для игр, прошел по лабораториям, побеседовал с учителями, со старшеклассниками. Держался он с обычной приветливой любезностью. Пока не остался наедине с Пембертоном, которого, правда, спросил, как он учится, но настолько машинально и вымученно, что знакомые вряд ли узнали бы его голос.

Мальчик мог бы даже сказать — если бы он употреблял подобные выражения, — что лорду Хилмортоу невыносим самый его вид. Пембертон и подростком нисколько не стеснялся своей внешности. Он знал, что даже красив грубоватой мужской красотой, несмотря на странное, хотя и не такое уж редкое в Англии сочетание мертвенно-бледной кожи и иссиня-черных волос. Но он не мог не заметить холодности своего дальнего родственника, и даже больше чем холодности. В его душе нарастала глухая обида — он не понимал, чем вызвано такое отношение. Недоумение еще усилилось после второго — и последнего — его разговора с лордом Хилмортоном почти десять лет спустя.

Отец оставил их почти без средств, но он сумел получить стипендию — правда, не университетскую, а для практического обучения в клинике. Учение у него шло хорошо. Он обладал незаурядной самоуверенностью и давно пришел к выводу, что большинство людей гораздо слабее и на целый порядок боязливее его. Он верил, что сумеет добиться успеха в любой области медицины. Она была его истинным призванием, хотя его умнее презирать людей и интерес к финансовым сделкам несколько затуманивали этот несомненный факт. В тот период ему необходимо было раздобыть денег, чтобы остаться в клинике еще на два года. Он никогда не пытался извлечь пользу из своего родства с Хилмортоном, хотя порой им хвастал, как это свойственно молодости (ему не всегда верили, а потому он приобрел у букиниста геральдический справочник Дебретта). И вот теперь настало время прибегнуть к помощи титулованного родственника.

Было начало пятидесятых годов, и Хилмортон уже стал министром, хотя еще не членом кабинета. Пембертона пригласили в приемную — личный секретарь, секретарши. Из внутренней двери вышел Хилмортон, обаятельный государственный деятель, который держался со всеми ними дружески и нравился им всем.

Но едва они с Пембертоном остались в кабинете одни, его обходительность исчезла. Он сказал даже без обычной своей мягкой уклончивости:

— Я не совсем понимаю...

Дюжий молодой человек по ту сторону письменного стола — развязный, искалеченный, наглый попрошайка. Ну, если говорить без экивоков, сказал молодой человек, ему нужны деньги: еще один диплом — и он на коне. Но его ресурсов даже на год не хватит, и если не удастся заручиться чьей-то помощью, придется все бросить.

— Очень, очень жаль.

— Да, конечно, жалко.

— Но я не совсем понимаю, — голос Хилмортона стал резким и напряженным, — почему вы решили написать именно мне.

Пембертон улыбнулся бодрой, нахальной улыбкой, которая нравилась женщинам.

— Но мы же в родстве, так ведь?

— Полагаю, доктор Пембертон, вам известно, что мы все происходим от общих предков. С этой точки зрения мы все состоим в той или иной степени родства. Не сомневаюсь, что мои секретари там, в приемной, — такие же мои родственники... — Он смотрел на Пембертона отчужденным взглядом и говорил с академическим безразличием.

— Но в данном случае родство документально засвидетельствовано. И вы это знаете, — сказал Пембертон.

— И, по-вашему, это имеет значение?

— Оно установлено. И как хотите, но многие сочтут, что на вас лежит определенная ответственность...

— Извините, доктор Пембертон. Такое соображение мне убедительным не кажется. Надеюсь, вы найдете способ продолжить вашу специализацию. А теперь, с вашего разрешения... — Хилмортон уже нащупывал кнопку звонка под крышкой стола. Вошел личный секретарь, не менее любезный, чем Хилмортон при обычных обстоятельствах, и несколько секунд спустя Пембертон, оскорбленный, обуреваемый яростью, лихорадочно строя планы мести и новых, более удачных попыток, очутился в коридоре министерства финансов, а через минуту — на Грейт-Джордж-стрит.

Человек с энергией доктора Пембертона, привыкший одолевая все препятствия, нелегко отказывается от надежды. Он пытался снова увидаться с Хилмортоном, но

получал только письма с отказом от секретаря. Прошли не месяцы, а годы, прежде чем Пембертон наконец смирился с мыслью, что не получит от Хилмортона ни гроша. В его душе тлела непреходящая злоба. О своем родственнике — очень дальнем родственнике — он думал со злобной ненавистью. В те редкие минуты, когда он мог думать о нем спокойно, он говорил себе, что поведение Хилмортона было ненормальным по любым меркам. Однако те люди, которые вставали Пембертону поперек дороги, интересовали его, только если он мог запугать их, уговорить или привлечь на свою сторону. А потому он не особенно задумывался над тем, почему Хилмортон вел себя так, и не искал разгадки.

А разгадка была проста. Он был наследником Хилмортона, но не его сыном. И только поэтому он вызывал у Хилмортона ненависть, а вернее неприязнь, уязвляя его самым фактом своего существования. Никаких тонкостей: только первобытный, иррациональный, атавистический инстинкт, который, казалось, был совершенно чужд и даже противоположен самому складу натуры Хилмортона — во всяком случае, с тех пор как он стал взрослым. Ни один человек не замечал в нем ничего подобного, кроме разве двух-трех женщин, знавших его в юности. Чувство это шло вразрез со всем, что Хилмортон одобрял в людях. Его привлекали стойкость, здравый смысл, реалистический взгляд на мир, мужество, хотя и не всякое, ирония — тоже не всякая. Но при встречах со своим наследником, и тем более думая о нем, Хилмортон не проявлял ни одного из этих качеств.

Никто никогда не сравнивал его и Пембертона. Но найдись такой человек, он, даже если бы знал об этой безотчетной ненависти, все-таки счел бы Хилмортона более терпимым и цивилизованным из них двоих. Похвала не бог весть какая, поскольку в Пембертоне ни терпимости, ни цивилизованности не было и следа. Хилмортон же, если не считать этого сдвига в его характере, был, пожалуй, цивилизованнее многих и многих. Возможно, главную роль тут играла самодисциплина и сознательно выработанный стиль жизни, а вовсе не природная доброта и порядочность, однако он сумел выработать в себе такие качества — может быть, не самое эффективное достижение нравственной гимнастики, но тем не менее чего-то стоящее.

Пембертон не видел никакой нужды в нравственной гимнастике. Если бы он все-таки потрудился понять, почему Хилмортон проявил такую скаредность, он проникся бы к нему только презрением, однако не потому, что усмотрел бы в его чувстве дикарство, а как раз наоборот. На языке Пембертона принимать к сердцу, кто твой наследник, значило предаваться салонному сюсюканью. А Пембертон, никогда не скупившийся на презрение, с особенным вкусом презирал любителей салонного сюсюканья. Не все ли равно, кто тебе наследует? Да и вообще — какое значение имеют чувства, о которых рассусоливают в книжках? Он врач и все время соприкасается с первичными чувствами, а все прочие людские тревоги и надежды — пошлые пустяки, актерство, роскошь, которую может позволить себе тот, у кого ничего серьезнее на уме нет. Почаще имейте дело с людьми, охваченными страхом смерти! Если бы смерть грозила его собственным сыновьям, он страдал бы, как всякий любящий отец, но ему было абсолютно все равно, что хилмортоновский титул когда-нибудь достанется его старшему сыну, а не младшему, его любимцу. Смерть — вот стопроцентная вероятность, размышлял доктор Пембертон и подумал в этой связи о Хилмортоне. Без малейшего сочувствия.

Какой, к черту, смысл в титуле, нередко спрашивал он себя и свою жену, если этот титул не принесет с собой ни гроша? В былые времена получить титул значило получить родовое имение, но теперь майоратов нет. Пембертон, обладавший особым нюхом на финансовую информацию, выяснил, что имущество Хилмортона как будто унаследует его старшая дочь: любопытный пример бессмысленного соблюдения права первородства. А ему — только титул и место в палате лордов. Да для чего они врачу?

Ну, он не страдает прекраснодушием и какую-нибудь пользу извлечь из них сумеет. Он-то, конечно, знает, что парламент — это дурацкий пережиток, а уж верхняя палата и подавно, но другие так не думают и будут относиться к нему с почтением; это смешно, но небезвыгодно и, пожалуй, поможет получить какую-нибудь субсидию. Наверное, еще не поздно заняться научной работой, надо будет наладить контакт с кем-нибудь из ведущих американцев. Кроме того, его, конечно, будут приглашать

в правления разных компаний. Биржу он знал куда лучше Райла, рьяно играл на ней, но, как ни странно, не нажил даже небольшого капитала. Тем не менее такое усердие вполне давало ему право на директорские посты.

Смерть — стопроцентная вероятность; эта мысль поддерживала Пембертона. Если не случится ничего непредвиденного (идея собственной смертности его никогда не смущала), Хилмортом, который старше его на двадцать лет, умрет раньше него и в достаточно близком будущем.

Пембертон умел собирать не только финансовую информацию (он не спрашивал совета у своего маклера, он давал ему инструкции), но и медицинскую. Тут он был в своей стихии, и его суждения оказывались куда более осторожными.

Информация о лорде Хилмортоне не содержала ничего сенсационного и не требовала сопоставления с материалами из медицинских журналов. Источником ее был знакомый врач, который видел Хилмортона на заседании попечительского совета одной из лондонских больниц. Он сообщил, не особенно интересуясь, зачем Пембертон наводит эти справки, что старик и умственно и физически как будто в наилучшей форме.

Жаль! Пембертон не отогнал бы этой мысли, даже если бы мог. Он много раз наблюдал, как люди у смертного одра его пациента ждали смерти больного. Он был предельно добросовестным врачом, поддерживал силы больного всеми средствами, имевшимися в его распоряжении, и привык распознавать признаки плохо скрытого разочарования. Притворяться было бы глупо. Пембертон не терпел притворства, касалось ли дело его самого или других. Крепкое здоровье Хилмортона ему досаждало — не очень сильно, но достаточно, чтобы портить настроение. Возможно, ему придется ждать еще двадцать лет. И тогда из титула не удастся извлечь даже той малой пользы, которую он сейчас все-таки обещает. Тогда ему будет за шестьдесят, а это уже старость.

Его внушительная фигура была хорошо знакома обитателям конца Фулем-роуд. В этом районе подновлялось и приводилось в порядок немало домов, но только не дом доктора. Пембертон вел суровую трудовую жизнь без отдыха и развлечений и получал от нее полное удовлетворение. В редкие минуты, когда он задумывался над своей жизнью, его удивляло, почему настоящий успех ему не дается. Он знал, что врач он первоклассный, гораздо более опытный и осведомленный в последних достижениях медицины, чем большинство врачей его возраста. Пациенты, за исключением тех, кто не любил безапелляционности, относились к нему с доверием, и чем опаснее была болезнь, чем ближе летальный исход, тем больше утешения черпали они в этом доверии.

Люди, с которыми он поделился бы своими взглядами на наследственные титулы, на парламент, на все нелепости, творящиеся в стране, вероятно, сочли бы его убежденным радикалом — и попали бы пальцем в небо. По сравнению с ним не только философствующие консерваторы вроде Хилмортона, но и самые правые, самые рьяные завсегдатаи кулуаров вроде Клэра и Лоримера сошли бы за добросердечнейших глашатаев либерализма, полных нежнейшей любви ко всему человечеству, радеющих о том, чтобы жизнь его стала лучше. Ставить людей ниже, чем их ставил Пембертон, мог бы разве что патологический человеконенавистник. Конечно, врач наблюдает их в наихудшем их виде. Стараешься их вылечить. Иногда ощущаешь чисто животное родство с ними. Получаешь удовлетворение, если удастся помочь. Но чуть ли не каждый день Пембертон приходил в самое тесное, почти физическое соприкосновение со страхом, трусостью, эгоизмом, лживостью, корыстолюбием, мелким мошенничеством, попытками выманить у него наркотики — со всеми темными сторонами наркомании, глулостью и панического ужаса. Такая обстановка вряд ли могла излечить его от присущей ему склонности презирать всех и вся. Жизнь даже в лучшем случае довольно-таки скверная штука, решил он еще в юности, а люди — жалкие создания. После двадцати лет врачебной практики он пришел к выводу, что в целом был тогда прав, но излишне оптимистичен. Он вновь и вновь прибегал к своему любимому поношению и не сомневался, будто те, кто мыслит более благородно, всю жизнь только и делают, что ссюсюкают в салонах.

Ну что же, сказали бы порядочные доброжелательные люди вроде Симингтонов, он просто не имеет ни малейшего представления о рабочем классе. И ошиблись бы.

В физическом смысле, то есть через осязание, зрение, слух, обоняние, он знал рабочих куда лучше, чем Симингтоны и все прочие, кто был связан с делом о завещании старика Мэсси. Хилмортон на протяжении своей политической карьеры не раз выступал перед рабочими-избирателями или встречался с ними за столом переговоров в Уайтхолле. И Райл, и еще многие — тоже. Но почти все пациенты Пембертона (кроме частных, обеспечивавших ему кое-какой доход) жили в юго-восточных рабочих районах Лондона. Пока они больны, то не лучше и не хуже всех остальных, думал Пембертон. А здоровых он их терпеть не мог.

Его способность презирать была весьма внушительной. Он не делал исключения ни для каких социальных групп. Но уж рабочий класс он презирал с особым упоением. Они бесстыдно ленивы, прямо-таки патологически ленивы (это оскорбляло его трудолюбивую душу). Палец о палец не ударят, чтобы заработать для своих детей лишний фунт, — ну разве что совсем бросят работать: примутся бастовать с сотней тысяч других таких же бездельников. Они лишены даже намека на личность, они — сухостой, они представления не имеют об индивидуальности (это оскорбляло его индивидуалистическую душу). Как обычно, он не смягчал и не облагораживал свои мысли. Он просто терпеть не мог таких людей.

Когда они обращались к нему, заболев, они находили у него понимание и поддержку. Такой парадокс пришлось бы по вкусу лорду Хилморту, чей иронический ум лишился кое-какой пищи оттого, что он не пожелал познакомиться со своим родичем. Впрочем, будь они знакомы и даже не разделяй их инстинктивная вражда, Хилмортон воспринял бы Пембертона так же, как его воспринимали чаще всего, увидел бы в нем грубого дикаря и только пожал бы плечами.

Штудирюя в своей неудобной приемной медицинские журналы или подводя итоги очередных биржевых операций, Пембертон даже не подозревал, что в жизни одной из дочерей Хилмортона назревает решающая перемена. Этой области его разведывательная сеть не захватывала. И расскажи ему кто-нибудь о завещании Мэсси, он не заинтересовался бы. А, ерунда! Браком больше, браком меньше среди людей, до которых ему нет ни малейшего дела, хотя кое-чего он им не забудет. Пройдет целый год, прежде чем он услышит о них что-то, что его заинтересует. А Лиз он представится еще позже.

Перевели с английского И. ГУРОВА и О. КРУГЕРСКАЯ.

(Продолжение следует)



ПУБЛИЦИСТИКА

П. БОРОДИН,

*генеральный директор
Московского автозавода имени И. А. Лихачева
(производственное объединение ЗИЛ)*



НА ГЛАВНЫХ РУБЕЖАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

В книге почетных гостей автозавода есть запись, которая особенно дорога для всех нас: запись, которую сделал товарищ Леонид Ильич Брежнев в памятный для всех нас предмайский день прошлого года, в день теплой, сердечной встречи Генерального секретаря ЦК КПСС с работниками предприятия и вручения коллективу пятой правительственной награды — ордена Октябрьской Революции.

«Столичный автозавод,— отметил Леонид Ильич,— это одно из лучших предприятий машиностроения страны, хороший пример высокоорганизованного производственного объединения, где успешно решаются многообразные задачи технического, экономического и социального характера.

Дружный коллектив автозаводцев, как и весь славный рабочий класс нашей страны, глубоко предан делу партии, делу строительства коммунизма. В уверенной трудовой поступи ЗИЛа проявляется большая организаторская и политическая работа заводских коммунистов».

Столь высокая оценка деятельности нашего коллектива ко многому обязывает. И мы все — рабочие и мастера, инженеры и техники, партийные, профсоюзные и хозяйственные руководители — глубоко убеждены в том, что десятая пятилетка будет новым важным периодом в становлении ЗИЛа, временем новых производственных успехов, поиска самых совершенных форм организации производства и труда, новых технических решений, новой важной вехой в формировании высоких идейно-политических и нравственных качеств членов нашего коллектива.

* * *

XXV съезд КПСС подчеркнул, что для успешного решения многообразных экономических и социальных задач, стоящих ныне перед страной, нет другого пути, кроме быстрого роста производительности труда, резкого повышения эффективности всего общественного производства и качества выпускаемой продукции. И это вполне понятно. Сейчас, как известно, полагаться только на привлечение дополнительных рабочих (разумеется, в существенных масштабах) ни одно предприятие уже не может. Поэтому резкое сокращение доли ручного труда, комплексная механизация и автоматизация производства становятся актуальнейшим требованием времени. Во-вторых, по мере дальнейшего развития народного хозяйства (учитывая и без того его колоссальные масштабы) потребности страны в энергии и сырье непрерывно возрастают, а производство их обходится все дороже. И каждому ясно: чтобы чрезмерно не раздувать капиталовложения, нужно рациональнейшим образом использовать ресурсы, снижать мате-

риалоемкость продукции, применять дешевые и эффективные материалы, а также экономно их расходовать. Наконец, курс на всемерную эффективность производства связан с еще одной важнейшей задачей, решить которую глобально может только страна социализма, — это сохранение окружающей среды. При высоких темпах роста экономического и научно-технического потенциала, благосостояния людей средства для охраны окружающей среды могут быть получены лишь за счет повышения эффективности производства.

Можно без преувеличения сказать, что девиз десятой пятилетки — эффективность и качество — особенно актуален для ЗИЛа. За шестьдесят с небольшим лет своего существования он пережил четыре сложнейших реконструкции. Благодаря этим реконструкциям в каждый период времени завод выходил на самые высокие рубежи технического прогресса. Несмотря ни на какие трудности, страна изыскивала колоссальные средства для изготовления или закупок высокопроизводительного оборудования, для подготовки квалифицированных кадров. И тем богатством, которое сейчас накоплено — современной техникой, прогрессивной организацией производства, способностью инженерных служб к смелым творческим решениям, высокой дисциплинированностью и инициативой рабочих, их отличной квалификацией, — мы обязаны распорядиться бережно, разумно, грамотно, эффективно, мы должны получить максимальную отдачу с каждого рубля, вложенного в производство, от каждого работника, какой бы пост он ни занимал.

В чем же мы видим магистральный путь к решению этой задачи?

В августе прошлого года на автозаводе начал действовать новый сборочный конвейер, главный конвейер. Будь я литератором, я назвал бы его Главным с большой буквы — равного ему ни по производительности, ни по технической оснащенности нет в Европе. (Впрочем, скоро их будет в Советском Союзе два — с вводом в эксплуатацию сборочного корпуса на КамАЗе. И поскольку сборочные линии Камского автозавода во многом похожи на наши московские, пуск нашего конвейера — отличная репетиция для товарищей из Набережных Челнов.)

Новый главный конвейер мы непременно показываем гостям. Часто бываю здесь и я. Это действительно чудо техники! Разумеется, это не один конвейер, а целая система конвейеров, больших и малых, современный, с максимальной степенью автоматизации сборочный завод, управляемый ЭВМ. Одни лишь подвесные толкающие конвейеры, расположенные под крышей здания, раскинулись в общей сложности на расстоянии почти в двадцать километров. Две параллельные линии, по которым движутся мощные вильчатые тележки с рамами грузовиков, постепенно обрастая узлами и деталями, протянулись по всей длине корпуса. А внизу, в подвальном этаже, — огромный машинный зал, где обычно не бывает ни единого человека: он управляется автоматически. От людей, работающих в сборочном цехе, не требуется особых физических усилий — детали и узлы закрепляются с помощью комплектов пневматического инструмента. Научно обоснованная система регулировки ритма движения главного конвейера в течение смены, подмена работников для кратковременного отдыха создают в корпусе максимальные удобства для труда. И самое отрадное в том, что все основное оборудование цеха сконструировано и изготовлено силами заводского коллектива — наши специалисты получили авторское свидетельство на этот оригинальный комплекс.

Средняя скорость движения главного конвейера — 4,8 метра в час. Могут спросить: почему именно 4,8, а не 4,7 или, скажем, 4,9? Опять-таки это результат тщательных научных изысканий. Именно такая скорость позволяет наиболее оптимально расчленить операции и в то же время обеспечить рациональный режим труда.

Каждую 1,8 минуты с главного конвейера ЗИЛа сходит грузовик. Представьте себе ритм нашей работы: менее двух минут требуется для того, чтобы выпустить сложнейшую машину — всем известный «ЗИЛ-130».

Но за кажущейся простотой сборки стоит напряженный труд многотысячного коллектива: ритму главного конвейера должна быть подчинена работа всех 16 предприятий главного московского завода и 15 его специализированных филиалов, размещенных в различных городах страны.

Как же добиться такой согласованности действий?

Да, конечно, нужна четкая система оперативного и перспективного управления нашим огромным производством. Да, необходимо тщательное внутриводское планирование, не допускающее разнобоя на стыках отдельных подразделений. Но к этому мы уже пришли или почти пришли. Главное сейчас, на мой взгляд, в другом: сам технический уровень всех производств, всех служб должен соответствовать техническому уровню главного конвейера, обеспечивая высокое качество нашей работы во всех его звеньях.

«Ускорить техническое перевооружение производства, — говорится в «Основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы», — широко внедрять прогрессивную технику и технологию, обеспечивающие повышение производительности труда и качества продукции, увеличение фондоотдачи, экономию материальных ресурсов, улучшение условий труда, охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».

Решением этого комплекса задач заняты не только наши конструкторские и технологические службы, но и — могу утверждать безо всякого преувеличения — все наши рабочие и специалисты.

Еще в 1974 году коллектив ЗИЛа предложил организовать соревнование за ускорение внедрения в производство достижений науки и техники и увеличение на этой основе мощностей по выпуску продукции высшего качества, выступил с инициативой, которая, как известно, была одобрена Центральным Комитетом КПСС.

Мы хотели добиться, чтобы каждый, буквально каждый работник принял посильное участие в техническом перевооружении своего участка или цеха. Сейчас уже мало вписать в социалистические обязательства пункт о техническом прогрессе, а затем выполнить это обязательство усилиями лучших специалистов и новаторов производства, оставив остальных в стороне.

Технический прогресс немаловажен сейчас без всеобщей заботы и участия в нем каждого работника. Все необходимое для этого есть: и высокая квалификация кадров, и товарищеская взаимопомощь в трудовых коллективах, и хозяйское отношение людей к делу, понимание ими задач, стоящих перед страной.

На основе ускоренного внедрения в производство новейших достижений науки и техники мы решили тогда увеличить мощности против проекта на 20 тысяч грузовых машин больше, чем предусматривалось планом реконструкции; перейти в 1975 году на производство новых автомобилей «ЗИЛ-133»; добиться увеличения прогона серийных машин «ЗИЛ-130» до 300 тысяч километров. Мы обязались перевыполнить задания девятой пятилетки по реализации продукции на 28 миллионов рублей, по производительности труда — на 10 процентов. Кроме того, выпуск продукции высшей категории качества в общем объеме производства мы решили довести не менее чем до 75 процентов. Думаю, что даже неискушенному читателю эти цифры скажут о многом. 20 тысяч сверхплановых грузовиков в год с минимальным капиталовложением! Попробуйте зрительно представить себе такую колонну машин, растянувшуюся на добрый десяток километров!

Специалисты понимают, какую трудную задачу поставили мы тогда перед собой и какое напряжение сил понадобилось для того, чтобы справиться с нею в очень короткий срок. Но среди нашего коллектива не оказалось скептиков, мы были уверены в успехе, убеждены в творческой дееспособности всех рабочих и специалистов.

Пожалуй, не стоит рассказывать обо всех этапах развития этого соревнования. Однако непременно стоит отметить, что наиболее активным и подлинно массовым оно стало во второй половине 1975 года, в дни подготовки к XXV съезду КПСС. В честь съезда партии мы приняли новые социалистические обязательства, значительно превышающие намеченный ранее встречный план. В этом ответственном деле наши партийные и профсоюзные организации решительно пресекали всякие проявления формализма. Взял обязательство — объясни, как, за счет чего намерен их выполнить, какая помощь тебе необходима. И каждый тщательно взвешивал свои силы, советовался со специалистами, ибо так называемые резервы производства на наших предприятиях уже давно не лежат под ногами и к рабочей смекалке нужно добавлять инженерный расчет. И потому мы верили: даже самые смелые заявки наших производственников будут осуществлены. А среди этих заявок были действительно очень смелые.

Герой Социалистического Труда слесарь-инструментальщик В. Павловский, например, обязался завершить личный план 1975 года в августе, на 10 процентов повысив производительность труда. Слесарь-водитель автосборочного корпуса Г. Потанин обещал сдавать автомобили с нулевой дефектностью. Это значит, что все операции должны были выполняться им с оцеккой «отлично».

Высокие обязательства принимали и целые коллективы. Так, стержневой участок главного литейного цеха ковкого чугуна обязался выполнить пятилетку на месяц раньше, чем намечалось прежде,— к 7 октября, снизить потери по браку на 10 процентов, сэкономить фондовых материалов на 7 тысяч рублей. Отдел главного конструктора по станкостроению и технической оснастке решил за счет внедрения новой техники получить экономический эффект в размере 2,1 миллиона рублей и тем самым перевыполнить пятилетнее задание на 600 тысяч рублей. Бригада коммунистического труда цеха домашних холодильников, которую возглавляет М. Виноградов, обязалась ознаменовать открытие XXV съезда партии двадцатью пятью днями ударного труда. И таких примеров можно привести множество.

И пожалуй, главное в то время заключалось не в отличных количественных показателях, к которым стремились наши работники. Готовя надежный задел для десятой пятилетки, мы хотели прежде всего привить людям вкус к высокому качеству работы.

Высокое качество работы, как известно, понятие емкое и многогранное. Это и отличная организация производства и труда, это здоровый психологический микроклимат в трудовом коллективе, обстановка товарищеской взаимной помощи и взаимной требовательности, это разумно используемая система материального и морального поощрения, это режим бережливости... Это, наконец, высокое качество продукции, обеспечивающее наиболее полное удовлетворение общественных потребностей. Подчеркиваю: качество продукции, определяемое потребностями общества, качество продукции с точки зрения конечного народнохозяйственного результата.

Помню, американский автомобильный король Форд, посетивший завод, упрекнул меня в том, что наши грузовики имеют завышенный вес и тяжелее американских. «Везите к нам ваши машины, господин Форд,— ответил я,— и давайте соревноваться. Ведь нужно учитывать условия, в которых работают наши грузовики...» Он не согласился.

Да, наши машины почти не бегают по асфальту... Нелегкие, порой разбитые грунтовые дороги, заполненные водой колеи... Двигатели вечно работают с перегрузкой. А когда застрявший в грязи грузовик вытаскивают трактором — какой запас прочности нужно иметь? С этими условиями надо считаться.

Когда речь идет о качестве автомобиля, то имеется в виду множество компонентов: надежность, долговечность, безопасность движения, грузоподъемность, скорость, комфортабельность, минимальные затраты на техническое обслуживание и, наконец, внешний вид.

Потому и проблема качества решается сейчас глобально на всех этапах создания машины, от чертежей до последнего закрепляемого болтика. Потому и утверждается прочно в жизни новая отрасль управления — управление качеством продукции. Такая система действует на ЗИЛе уже несколько лет. Помимо технического перевооружения предприятия, комплексной механизации и автоматизации всех процессов, в ее основу заложены также прогрессивные методы — технический контроль, кропотливая работа с потребителями и поставщиками, четкая организация социалистического соревнования.

С 1973 года в творческом содружестве с ВНИИ стандартизации на предприятии разрабатывается комплекс стандартов, определяющих организационные формы управления качеством продукции. Суть этого комплекса в том, чтобы создать единый для всего предприятия эталон определения качества работы на любой из операций. Комплекс стандартов позволил нам — кстати, первыми в отрасли — ввести внутриводскую аттестацию изделий. Она побуждает заботиться о качестве продукции уже не только руководителей завода, но и каждого работника. Она позволяет выявить брак тут же на месте, где он допущен, — у станка или на участке, позволяет сразу же выявить и устранить так называемые скрытые дефекты, которые при проверке готовой машины обнаруживать очень трудно...

Я веду разговор об улучшении качества работы на основе внедрения в производство новейших достижений науки и техники. У читателя должен возникнуть естественный и отнюдь не наивный вопрос: если это не кратковременная кампания, а принципиальная политика предприятия, то хватает ли их самих, научно-технических достижений, чтобы напитать огромный заводской механизм? Я бы ответил так: да, темпы научно-технического прогресса стремительны, достижений здесь множество, из этого богатства мы черпаем все, что отвечает нашим потребностям. Но мы и сами не стесняемся вмешиваться в научное творчество и подсказываем ученым темпы, в которых нуждается производство. ЗИЛ заключил договоры с 54 научными и проектными институтами, конструкторско-технологическими бюро. Плодотворные творческие контакты установлены с Московским государственным университетом. В частности, некоторые ученые МГУ шефствуют над работой наших специалистов по личным творческим планам. А такие планы имеют сейчас более 5 тысяч инженеров...

В начале декабря 1975 года Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев поздравил наш коллектив с успешным завершением работ по созданию мощностей на выпуск 200 тысяч грузовых автомобилей в год, досрочным выполнением пятилетнего плана и социалистических обязательств по увеличению объема производства и росту производительности труда. Анализируя факторы, обеспечившие этот успех, не могу подробнее не рассказать об одном из них — славных рабочих традициях нашего автозавода.

* * *

7 ноября 1924 года по Красной площади под восторженные возгласы участников демонстрации прошла колонна из первых 10 советских автомобилей, изготовленных на нашем заводе. В статье «Подарок к Октябрьской годовщине» газета «Известия» писала: «Это первый шаг настоящего автомобильного строительства. Советская власть сумела поставить производство в такие рамки, в каких оно находится на любом из европейских и американских автомобильных заводов, когда весь автомобиль до последнего болта является продуктом производства отечественной промышленности».

Это событие, явившее собой реализацию первых планов создания советской автомобильной промышленности, разработанных по инициативе Владимира Ильича Ленина, было воспринято коллективом завода как обязанность всегда находиться на передовых рубежах отечественного автомобилестроения.

Уже в первых машинах, выпущенных нашим предприятием, проявилась творческая инициатива рабочих и специалистов. Даже в тех условиях, когда завод не имел ни конвейеров, ни поточных линий, ни достаточного станочного парка, эта инициатива позволила найти ряд оригинальных технологических решений. Рабочим завода бесконечно радовал тот факт, что первые советские грузовики, наши родные грузовики «АМО-Ф-15» были способны конкурировать с новейшими машинами иностранных марок, могли соревноваться с ними в скорости, устойчивости, грузоподъемности.

В 1926 году директором завода был назначен бывший слесарь-путиловец коммунист Иван Алексеевич Лихачев, с которым впоследствии я неоднократно встречался и дружил. То был необыкновенный человек! Его отличала кипучая энергия, огромная инициатива, большевистская принципиальность. И был он, несомненно, прирожденным руководителем. И. А. Лихачев так сформулировал требования, которые предъявил к хозяйственным кадрам новый период развития молодого Советского государства — переход к социалистической индустриализации страны: «Хозяйственник — коммунист, инженер, мастер должны разбираться и в технике, и в экономике, и в политике партии. Надо быть политически грамотным и стойким и наряду с этим технически растущим руководителем того или иного производственного участка. Вот что требуется сейчас от нас».

Согласитесь, эти требования актуальны и поныне.

Иван Алексеевич прекрасно понимал, что массовый выпуск автомобилей невозможен без расширения завода и его реконструкции. В январе 1930 года ЦК ВКП(б) рассмотрел представленные дирекцией и парткомом АМО предложения. Было принято решение: на базе АМО создать современное производство по выпуску отечественных машин на уровне, как принято говорить теперь, мировых стандартов.

Мы считаем, что то была первая реконструкция завода. Однако предприятие, в сущности, создавалось заново. Судите сами: в кратчайший срок (менее двух лет) площадь завода увеличилась в 6 раз. Если стоимость старого «АМО» в 1923—1924 годах оценивалась в 4 миллиона рублей, то после реконструкции завод стал стоить — в сопоставимых ценах — 129 миллионов рублей. В одной лишь половине механосборочного цеха можно было бы вместить все дореволюционные постройки братьев Рябушинских — основателей и первых хозяев предприятия.

1 октября 1931 года состоялся торжественный пуск завода — первоклассного по тем временам, оснащенного самой передовой техникой и рассчитанного на массовый выпуск 25 тысяч грузовых автомобилей в год. Весь советский народ разделил радость его создателей. «Ваша победа — это победа всех трудящихся нашей страны», — отмечалось в приветствии Центрального Комитета партии.

Вспоминая историю нашего завода, невольно обращаешь внимание на то, что его становление неизменно совпадало с пульсом жизни страны. Вторая пятилетка, период завершения социалистической реконструкции народного хозяйства. В августе 1933 года Совет Народных Комиссаров СССР принял решение о дальнейшем развитии завода. Его производственная мощность увеличивалась в перспективе до 80 тысяч автомобилей в год, в том числе до 10 тысяч легковых.

Уже в те годы ярко проявились накопленные автомобилестроителями опыт, знания, новаторский подход к делу, ставший в дальнейшем традицией. Все проектные работы в ходе реконструкции были выполнены своими силами, а сама реконструкция, как и все последующие, проходила — в отличие от автомобильных заводов Запада — без остановки основного производства. Непрерывно наращивая производственные мощности, предприятие ни на один день не прекращало работы. Одновременно конструировались новые модели автомобилей. Может быть, читатели старшего поколения помнят их: грузовики «ЗИС-5» и «ЗИС-6», газогенераторный «ЗИС-21», комфортабельный легковой автомобиль «ЗИС-101», автобус «ЗИС-16»...

И еще одна характерная примета тех дней, столь созвучная нашему времени, — размах социалистического соревнования. В стахановское движение первыми включились наши кузнецы Бобков, Хромилин, Лапин, Макаркин, Гавриленко, они один за другим устанавливали поразительные рекорды. Их примеру последовали сотни ударников в других цехах завода. А сам Иван Алексеевич Лихачев вызвал на соревнование трех других московских директоров — завода «Динамо» И. С. Новикова, завода «Серп и молот» П. Ф. Степанова и «Электроставода» М. Е. Жукова.

Вторая реконструкция была завершена в 1937 году. Она дала новый мощный импульс в производстве отечественных автомобилей.

Война. Есть города-герои, и есть герои заводы. За большой вклад в общее дело победы наш коллектив награжден орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. С первых же военных дней, не прекращая выпуска автомобилей, завод приступил к производству военной продукции. 16 тысяч работников предприятия ушли на фронт. Их заменили женщины и подростки, которые работали, почти не выходя из цехов.

В октябре 1941 года началась эвакуация завода на восток. В шести центрах Урала и Сибири на его базе были созданы предприятия, выпускавшие автомобильную продукцию. Мы можем гордиться тем, что эти предприятия, первые кирпичи в фундамент которых заложили наши товарищи, ныне превратились в крупные современные заводы автомобильной промышленности.

Демонтаж и последующий вывоз значительной части оборудования из Москвы, эвакуация большого количества людей не остановили жизнь предприятия в столице. Оставшийся коллектив продолжал работать, выпуская продукцию для фронта.

Шли бои под Сталинградом, а завод уже получил правительственное задание — налаживать производство послевоенной продукции. В 1945 году из ворот предприятия начали выходить легковые автомобили высшего класса «ЗИС-110».

Естественно, после войны завод ожидала третья по счету реконструкция, и, как повелось, на самом современном уровне. Естественно — потому что просто восстанавливать старое не имело смысла: это означало бы безнадежную отсталость. Не хотелось бы писать: снова бессонные ночи конструкторов и технологов («бессонные ночи» давно

уже стали литературным штампом) — но что поделаешь, если бессонные ночи действительно были. И снова ярко проявлялась рабочая инициатива, и снова соревнование ускоряло реконструкцию.

И снова четко прослеживается присущая нашему заводу закономерность: новому техническому и организационному уровню производства соответствует и новый уровень выпускаемой продукции. В цехах появились первые автоматические линии, агрегатные, автоматические и полуавтоматические станки, более совершенные печи и прессы. А из ворот завода выходили вполне отвечающие тому времени грузовики «ЗИС-150», «ЗИС-151», многоместные автобусы вагонного типа. Эти машины верно послужили народному хозяйству.

Четвертая реконструкция, крупнейшая в истории завода, началась практически в 1962 году. И она существенно отличается от всех предшествующих. Во-первых, в период этой реконструкции возникла принципиально новая структура предприятия (объединения): головной завод и специализированные филиалы. И возникла отнюдь не случайно: она воплотила назревшую потребность народного хозяйства в специализации промышленного производства. Во-вторых, все технические, технологические и конструкторские решения питала развернувшаяся научно-техническая революция. И мы на практике стремились решить поставленную партией задачу: органически соединить достижения научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства. И потому последняя реконструкция явилась не только количественным, но и качественным скачком в развитии нашего завода...

Так крепили и умножались славные заводские традиции, суть которых — неустанный поиск нового, всеобщая инициатива и творчество, неуспокоенность достигнутым.

Экскурс в историю завода хочется закончить еще одним воспоминанием об Иване Алексеевиче Лихачеве. В далекие 30-е годы он проходил практику в США на заводах Форда. В день отъезда на прощальном обеде Форд обратился к Ивану Алексеевичу со словами: «Дорогой мистер Лихачев! Вы видите, что все дороги ведут в Америку. Вы, крупный советский промышленник, многому научились у нас. Ведите хозяйство у себя по-нашему — и вы добьетесь успеха». Иван Алексеевич ответил: «Спасибо за науку, мистер Форд. Пути наших строителей автомобилей и тракторов пока ведут в Америку, но скоро, я в этом убежден, пути-дороги повернут в другую сторону — в Советский Союз».

Как всегда, Иван Алексеевич оказался прав. И жизнь наша поразительное по своей убедительности доказательство его правоты. Я уже упоминал о своей встрече с Фордом, с Генри Фордом-вторым, у отца которого и гостил Лихачев. Так вот, моя встреча с Фордом состоялась не за океаном, а в Москве, у нас на ЗИЛе.

* * *

Однажды меня спросили: а собственно, что такое реконструкция — модернизация оборудования, расширение площадей или новое строительство? Я ответил на этот вопрос так: весь комплекс мер, который позволяет получить действующему предприятию нужный народнохозяйственный эффект.

Возьмем, к примеру, нашу последнюю, генеральную реконструкцию и, в частности, девятую пятилетку. Было и новое строительство: вступили в эксплуатацию крупные механосборочные корпуса в филиалах объединения в Рославле, Мценске, Рязани, Свердловске и других городах. Было и расширение производственных, бытовых и складских площадей — они увеличились более чем на 750 тысяч квадратных метров. Обновилась и техника: только на головном предприятии и московских заводах объединения было установлено свыше 7250 единиц оборудования различных видов, введено в действие 84 автоматических и 311 поточно-механических линий, смонтированы и пущены в эксплуатацию конвейеры и транспортеры общей длиной более 45 километров. Широким фронтом велось наступление на ручной и тяжелый физический труд: сейчас уровень механизации транспортно-складских и других вспомогательных работ превысил 90 процентов.

Вот такой комплексный подход к реконструкции, всемерное использование в ее процессе последних достижений научно-технической революции, активное и заинтересованное участие в перестройке производства всех наших работников позволило коллективу не только успешно выполнить пятилетний план, но и достойно встретить партийный съезд, рапортовать ему о нашем дополнительном вкладе в развитие народного хозяйства страны.

За счет ускоренного внедрения достижений науки и техники нам удалось создать дополнительные мощности, рассчитанные на выпуск 205 тысяч грузовых автомобилей в год, Сверх заданий пятилетки выпущено 9200 грузовиков, более 8,5 тысячи домашних холодильников, запасных частей на 15,5 миллиона рублей. Мы поставили на производство грузовик «ЗИЛ-133Г1», провели испытания дизельных автомобилей-тягачей «ЗИЛ-169».

Особо следует сказать о конструировании и изготовлении опытных образцов большегрузных автомобилей для КамАЗа. Дело в том, что в свое время несколько зарубежных фирм предложили нашим коллегам из Набережных Челнов свои машины. Но испытания зилоских «КамАЗов» показали, что они ни в чем не уступают зарубежным, в том числе машине, представленной всемирно известной фирмой «Мерседес».

Таким образом, вступая в десятую пятилетку, мы уже располагали солидным заделом для того, чтобы с первых же ее дней работать энергично, без раскочки, продолжая наращивать темпы производства.

XXV съезд партии указал магистральный путь развития каждого предприятия в десятой пятилетке: повышение эффективности производства и улучшение качества всей работы. Обдумывая встречный план завода на 1976 год, мы стремились к тому, чтобы подчинить этой цели не только основные производственные подразделения, но и все звенья нашего огромного объединения.

Неоценимая помощь в определении конкретных задач и способов их решения была оказана нашему коллективу Генеральным секретарем ЦК КПСС товарищем Леонидом Ильичом Брежневым на встрече с рабочими автозавода 30 апреля 1976 года. На торжественном митинге, посвященном вручению предприятию ордена Октябрьской Революции, товарищ Л. И. Брежнев вновь подчеркнул, что всемерное улучшение качества работы во всех звеньях имеет ключевое значение.

Высоко оценив опыт коллектива в организации производства товаров народного потребления («...у меня ваш холодильник еще первого выпуска, и он до сих пор в строю»,— говорил на встрече Л. И. Брежнев), одобрительно отзывавшись о выпускаемых ныне грузовых машинах, Генеральный секретарь ЦК КПСС в то же время предостерег нас от самоуспокоенности, призвал к более быстрому освоению новой продукции, к дальнейшему улучшению ее качества.

— Ваш грузовой автомобиль «ЗИЛ-130» — это хорошая машина, но уже через несколько лет хорошей оценки он может не получить, отстанет от требований времени. Коллектив ЗИЛа может и должен поставить перед собой задачу — выпускать продукцию, отвечающую передовым достижениям мирового автомобилестроения. Знаю, что у вас идет разработка новых моделей, но работу эту надо ускорить, иначе можно опоздать и новая модель, не успев сойти с конвейера, окажется устаревшей. А ведь обстановка, растущие внешнеэкономические связи требуют, чтобы наша продукция была на уровне мировых стандартов.

Товарищ Л. И. Брежнев обратил наше внимание и на серьезные упущения в работе. Да, к сожалению, бывают у нас подчас и прогулы и брак. Случается, что простаивает дорогостоящее и высокопроизводительное оборудование. Не все резервы экономии металла еще использованы. Еще недостаточно выпускается запасных частей для автомашин.

Встреча с Генеральным секретарем ЦК КПСС всколыхнула коллектив. Мы думали о своей личной ответственности перед родиной, о своем личном вкладе в приумножение народного богатства, о том, как работать еще лучше. Ведь это к нам были обращены слова Леонида Ильича:

— Современное производство требует, чтобы каждый работник ясно представлял себе свое место в трудовом процессе, знал, что и зачем он делает, что от него зависит, чувствовал, что его труд — необходимая часть общей работы... Таков уж наш социали-

стический строй, что для хорошего, по-настоящему передового работника мало быть просто трудолюбивым и дисциплинированным, от него требуется еще активный, живой интерес и забота об общем деле, стремление к тому, чтобы это дело шло все лучше и в бригаде, и в цехе, и на предприятии в целом.

Изучив предложения трудящихся, дирекция, партийный, профсоюзный и комсомольский комитеты составили совместный план мероприятий по решению новых поставленных перед нами задач. Мы обязали руководителей всех заводских подразделений провести тщательный анализ организации работы. И требование это было отнюдь не формальным. Мы просили обратить особое внимание на плановость в работе, четкость и обязательность выдачи заданий, контроль исполнения по срокам и качеству выполнения заданий, степень исполнительности, инициативность людей, личную дисциплину, характер обстановки в коллективе и т. д. Как видите, мы хотели получить — и получили — не простые отписки, а серьезные документы, в которых содержалась полная и исчерпывающая оценка состояния дел на том или ином участке.

Чтобы улучшить использование производственных фондов, мы решили исследовать, как работает оборудование во всех без исключения подразделениях объединения. В результате проверки мы детально выяснили, какая часть оборудования не используется вообще или используется не полностью.

Не буду, разумеется, перечислять все пункты плана, на двух примерах, которые я привел выше, мне хотелось просто показать методы нашей работы, наш подход к решению определенной проблемы.

Критический анализ деятельности всех звеньев объединения позволил коллективу принять новые, повышенные социалистические обязательства. Автозаводцы решили изготовить сверх годового плана 1500 грузовиков вместо 600, как намечалось ранее, 800 холодильников, на 2,3 миллиона рублей запасных частей. Наше слово никогда не расходилось с делом. Уже за первую половину 1976 года было выпущено 1119 грузовиков, 506 холодильников, запасных частей на 2,4 миллиона рублей. Сопоставьте эти цифры — намеченного и сделанного — и вы убедитесь, что свои обязательства мы выполняли с опережением.

Особое внимание по-прежнему уделялось качеству продукции. На полигоне под Дмитровом завершились заводские испытания двухосного дизельного автомобиля-тягача «ЗИЛ-169». Этот шеститонный грузовик придет на смену хорошо зарекомендовавшему себя «ЗИЛ-130». Собственно, рождается не один автомобиль, а 29 его модификаций — для всех нужд народного хозяйства. По своим характеристикам эта машина более совершенна, производительнее и более удобна в эксплуатации.

Совсем недавно на главном конвейере началась сборка восьмитонного грузовика «ЗИЛ-133Г1» для сельского хозяйства. Однако наши специалисты рассчитали, что его грузоподъемность можно увеличить до десяти тонн. Исследования в этом направлении продолжаются. Совместно с большой группой ученых активно идет работа по увеличению пробега всех наших грузовиков.

В главном конструкторском бюро по домашним холодильникам — свои заботы. Недавно новому холодильнику «КШ-260» присвоен знак качества. Казалось бы, все отлично. Но коллектив озабочен: как обеспечить стабильно высокое качество нового аппарата на конвейере? Поэтому все внимание сейчас сосредоточено на совершенствовании производственных процессов.

Размышляя об истоках активной творческой деятельности нашего коллектива, я хотел бы особо обратить внимание на одно обстоятельство, которое отметил товарищ Л. И. Брежнев на митинге 30 апреля 1976 года. «Честный и умелый труд, — говорил он, — всегда окупается сторицей». И мы, автозаводцы, отчетливо ощущаем это на своем собственном опыте. Ассигнования на социально-культурные, бытовые и жилищные нужды автозаводцев увеличиваются из года в год. Только в девятой пятилетке они составили 66 миллионов рублей.

Многие мои ровесники, люди старшего поколения, работая на заводе в первые годы его становления, жили в бараках или палатках. Наша молодежь — одинокие молодые люди — живет в благоустроенных общежитиях, точнее — в комфортабельных квартирах, комнаты которых рассчитаны на два-три человека. Работникам с пятилетним стажем обычно предоставляем отдельные квартиры.

Более 20 тысяч автозаводцев ежегодно проводят свой отпуск в санаториях, домах отдыха и профилакториях, причем на льготных условиях. 17 тысяч детей воспитываются в принадлежащих ЗИЛу яслях и садах, отдыхают в пионерских лагерях. У нас свой институт, техникумы, прсфтехучилище, где ежегодно обучается 25 тысяч молодых людей.

И конечно же, все автозаводцы понимают, что все эти реальные, земные блага, равно как и возможность профессионального совершенствования, возможность приобщения ко всем богатствам культуры,— результат их самоотверженной работы.

Возвращаясь к разговору об истоках наших трудовых достижений, мне хотелось бы особо отметить огромную организаторскую и политическую работу нашей партийной организации, объединяющей более 10 тысяч коммунистов. Но это тема особого разговора...

Итак, завершился первый год пятилетки, и завершился успешно. Продолжаются трудовые будни, завод продолжает наращивать темпы производства. Ну а мы — мы уже ведем работы, связанные с новым проектом реконструкции, готовим новый дизельный грузовик и думаем о выпуске 300 тысяч автомобилей в год на еще более совершенной основе. Такова уж логика нашей жизни: думая о сегодняшнем дне, нельзя забывать и о дне завтрашнем, о тех требованиях, которые предъявит к нам время.

Начало реконструкции намечено на последний год пятилетки.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

М. М. ГРОМОВ,
генерал-полковник авиации,
Герой Советского Союза



ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

Михаил Громов написал книгу о своей жизни. А жизнь его неотделима от советской авиации. Читая его воспоминания о первых полетах, испытании новых самолетов, установлении рекордов скорости, гальности, высоты, о прогревшем на весь мир мир беспосадочном перелете Москва — Северный полюс — США, читатель как бы прослеживает день за днем историю советской авиации, один из самых значительных ее этапов, принесших признание и славу авиации и мужественным советским пилотам на всех континентах Земли.

30-е годы. Имена М. Громова, В. Чкалова, Г. Байдукова, А. Белякова, С. Данилина, А. Юмашева не сходили с газетных полос, их популярность в народе была поистине необычайной. И среди них одно из первых мест заслуженно отводилось Михаилу Громову.

Мемуары «Через всю жизнь» охватывают огромный период жизни М. Громова. Они вобрали в себя и мысли автора о живописи, музыке, спорте, его страстном увлечении — охоте.

В публикуемый журнальный вариант вошли главы, повествующие и о первых шагах летчика, и о наиболее значительных перелетах до начала Великой Отечественной войны.

КАК Я НАШЕЛ САМОГО СЕБЯ



стал летчиком в те годы, когда авиацию называли чудом XX века. Преувеличения в этом не было — выход аэропланов в воздушное пространство был таким же важным событием в истории человечества, как ныне выход космонавтов в безвоздушное пространство. Многие в этой новой сфере человеческой деятельности были неизведано, неясно и даже загадочно. Самые дальновзоркие люди науки и техники не могли и представить себе появление в небе таких сверхмощных и сверхскоростных воздушных кораблей, которые сейчас никого не удивляют. Но все же авиация уже в ту пору вышла из младенческого состояния.

Время сенсационных сообщений о первых крылатых людях, отважно преодолевавших дистанцию в столько-то десятков саженей, давно прошло, и профессиональные пилоты совершали уже рейсы протяженностью в десятки верст. Вместо самодельных «летательных аппаратов тяжелее воздуха», о которых прежде говорили как о невероятных диких выдумках («Подумать только — тяжелее воздуха, а летают, не падают!»), в небе появились бипланы и монопланы промышленного производства. Постепенно значимость событий, происходивших в воздушном океане, становилась для моих современников все более очевидной и пробуждала уверенность, что «чудо XX века» еще не свершилось, а только начинается. Эта уверенность и побудила меня стать летчиком, хотя в то время прийти к такому решению было для меня не так-то просто.

Помню, как в школьные годы я был изумлен и восхищен, когда впервые увидел в небе «фарман». Фантастика! Но, провожая восторженным взглядом аэроплан, я и не помышлял стать летчиком. Эта дерзновенная мысль не могла и возникнуть у меня хотя бы просто потому, что я и не представлял себе, какие это люди летают в небе и как они становятся «небожителями». Впечатление от этого полета осталось в моей памяти «как мимолетное виденье». Промелькнул в небе аэроплан и исчез, а у меня были свои земные дела и заботы, интересные и разнообразные. В средних и старших классах реального училища я настойчиво занимался спортом, живописью, много читал, очень увлекался театром, художественными выставками, концертами. Искал себя, как говорится. И не безуспешно, о чем я еще расскажу, так как мои поиски не прошли для меня бесследно, а остались нужными и важными на всем моем жизненном пути.

Извечный для юношей всех поколений вопрос «кем быть?» тревожил меня, и я упорно стремился найти на него ответ. Вариантов было много, но ни один не казался мне лучшим. Даже тогда, когда, получив среднее образование, я поступил в высшее учебное заведение, у меня не было уверенности в том, что выбор сделан правильно.

И вот тут-то случилось так, что я как-то вдруг, пожалуй даже неожиданно для самого себя, определил свою судьбу и решил это сразу, в один день, раз и навсегда. Внезапный и крутой поворот в начале жизненного пути не был, конечно, необдуманым. Сказалось веяние времени, побудившее меня сделать решительный шаг в ту сферу жизни, где я буду нужен. Не обошлось, правда, и без случайного стечения обстоятельств в этот важный для меня момент, но само решение не было случайным. Как это произошло?

Я был студентом первого курса Императорского высшего технического училища (ныне МВТУ имени Н. Э. Баумана). Перспектива стать инженером меня не очень-то устраивала, и я поступил в училище только по настоянию матери. Детство мое прошло вблизи подмосковной железнодорожной станции Лосиноостровская, и та техника, которую мне там приходилось наблюдать, не пробуждала интереса к ней. В клубах дыма и пара ревели паровозы, отравляя воздух зловонной угольной копотью, на станции надрылись в крике люди около весьма несовершенных эриксонских телефонных аппаратов, монотонно постукивали морзянки, у которых дни и ночи просиживали скучающие телеграфисты, где-то грохотали потоки угля для паровозных топков... И даже впервые увиденный мной автомобиль с деревянными спицами колес и похожий на экипаж, от которого отпрягли лошадей, не показался мне привлекательным, тем более что шофер старательно нажимал на грушу пронзительной медной трубы, чтобы отпугнуть толпу любопытствующих.

Впечатления эти были наивные, детские, и все же они сказывались на моем настроении, когда я перешагнул порог технического училища. Но ничего не поделаешь, нужна специальность, и я учился не хуже других.

И вот однажды случилось то, что помогло мне найти себя. Ничего необычного в то раннее утро, когда я поднимался по лестнице в училище, не произошло. Просто на входных дверях я увидел объявление, мимо которого равнодушно проходили мои товарищи. Мог бы пройти мимо и я — мало ли этих объявлений развешивали канцеляристы, — но на этот раз текст привлек мое внимание. Объявление извещало студентов о наборе на Теоретические курсы летчиков имени Н. Е. Жуковского. Какое-то еще неосознанное чувство заставило меня остановиться и вновь перечитать это объявление, а потом еще и еще. Что-то очень важное для меня я улавливал в этих лаконичных строках. Я стоял у двери и раздумывал. И вот в эти минуты — надо же случиться такому совпадению! — я услышал в небе рокот мотора. Я поднял голову и увидел аэроплан, медленно летавший над Москвой. И такое волнение охватило меня в этот момент! Чудо XX века звало меня к себе, то самое чудо, которое когда-то поразило мое воображение, но ничего, кроме восторга, не пробудило. А вот теперь передо мной открывался путь к нему. Теперь можно сделать то, что мне казалось невероятным, — я буду летчиком!

Для меня это был не только выбор профессии. В полете была романтика, героика, возможность проявления моих душевных и физических сил. Просторы воздушного океана открывали мне свои широкие и зовущие горизонты.

Раздумывать я уже больше не мог и тут же побежал к ректору курсов. Одно об-

стоятельство только смущало меня: в объявлении указывалось, что на курсы принимаются студенты с восемнадцати лет, мне же не хватало двух недель. Но мои опасения оказались излишними.

— Это пустяки,— успокоил ректор, оглядев меня.— Подавайте заявление.

Будущие курсанты проходили очень строгую медицинскую комиссию. Но мне с моей спортивной закалкой бояться было нечего. После того как я прошел все специальные кабинеты, председатель комиссии сказал мне:

— Приятно видеть таких здоровых молодых людей!

Мать осталась не очень довольна моим решением, а отец сказал:

— Раз так случилось, удерживать парня не стоит. Пусть идет куда нравится...

Так определилась моя судьба. Впрочем, это не совсем точно сказано. Мне предстояло выдержать жесткую проверку и физическую, и интеллектуальную, закалять свою волю, развивать те свойства характера и способности, которые помогли бы мне впоследствии находить правильный выход из самых сложных ситуаций в летной практике. И только после этого я мог сказать, что судьба моя определена.

Почему же все-таки я без колебаний решился на такой шаг, откуда такая уверенность в себе, убежденность в том, что я смогу сам вершить свою судьбу? Не излишня ли это самоуверенность, в конце концов? Признаюсь, такого опасения у меня не возникло. Я с детства привык к самостоятельности и ответственности за свои поступки. Этому повседневно учил меня отец. В семье культивировалось чувство личного достоинства, уверенности в своих силах, прямоты и смелости в больших и малых делах. Делалось это незаметно, ненавязчиво, как само собой разумеющееся. В какой мере это сказалось на моем характере, судить не мне, но детские и юношеские воспоминания сохранились для меня как очень значительные и отрадные. И мне хочется сейчас рассказать о том далеком прошлом, которое во многом определило мое будущее. Жизнь, конечно, складывалась не по заранее намеченному плану, многое было случайным и прошедшим бесследно, а многое бережно сохранила память и по сей день.

Итак, о детстве и юности.

Я придаю большое значение этому периоду, поскольку человеческая личность формируется под влиянием двух факторов — его природных, наследственных свойств и воздействия, влияния окружающей среды. А это влияние особенно сильно сказывается в раннем возрасте, в родной семье. И поэтому мое первое слово о той поре моей жизни — слово об отце и матери.

Начну с рассказа отца о происхождении нашей фамилии — Громовы. По преданию, которое передавалось из поколения в поколение, родоначальником этой фамилии был мужичок Владимирской губернии, которого как-то заметил проезжавший по своим владениям барин. Мужичок этот, играючи своей силушкой, легко пахал землю и распевал песню. Барин заслушался — голос был красивый, могучий и пел мужичок уж больно хорошо. При поездке в Петербург прихватил барин с собой этого мужичка и определил певчим в какой-то собор. Прихожане были в восторге. Когда новоявленный бас брал форте, то люстры и стекла звенели в соборе, как от грома небесного, а это ли не предел церковного великолепия! И прозвали басовитого мужичка Громовым, а церковные пастыри возвели его в духовный сан. Первые потомки Громова тоже принадлежали к духовному званию, а последующие предпочли быть гражданскими чиновниками, стали служивой интеллигенцией.

В одной из семей этой фамилии и родился в Твери мой отец Михаил Константинович. По-видимому, какие-то природные свойства потомок приобрел от своего далекого предка. Природа одарила Михаила Константиновича богатой натурой, и энергии было в нем хоть отбавляй. Проявлял он ее широко и многосторонне. В тверской гимназии знал его не только как прилежного ученика, но и как первого силача, что у гимназистов весьма почиталось, а родители и педагоги видели в нем будущего музыканта или художника — он хорошо играл на скрипке, а его рисунок, изображавший грозного стрельца, украшал актовый зал гимназии. Но как это ни покажется странным, при выборе своего жизненного пути Михаил Константинович руководствовался не теми интересами, которые проявились у него в ранние годы (меня это не удивляет, потому что и я поступил так же), а избрал себе профессию, далекую от прежних увлечений. Он поступил на ме-

дицинский факультет университета и стал врачом. Впрочем, узким профессионалом он не стал, а проявлял свои разносторонние способности всю свою жизнь.

Каникулы он обычно проводил у своих родных в Твери, где и встретился с Любовью Игнатьевной Андреевой, с которой он вскоре тайно обвенчался. Тайно потому, что родители отца считали такой брак «неравным» — моя мать была из крестьянской семьи. Правда, она получила среднее медицинское образование, убежав из деревенского дома в Петербург, но мои дед и бабка, видимо, и это самовольство вменили ей в вину, не понимая, что этот поступок был проявлением сильной воли и недюжинной личности. Отвергнув брак, старики ничем не помогли своему сыну-студенту. Он зарабатывал уроками, а мать акушерством, но доходы их были весьма невелики и жилось им трудно. Когда я родился, меня укладывали не в детскую кроватку и не в коляску, а в бельевую корзину. Родители мои «стали на ноги» лишь тогда, когда отец закончил университет и стал военным врачом, получив направление по службе в Калугу. С этих пор финансовые дела семьи стали поправляться, и я это почувствовал, когда на меня надели нарядную синюю поддевку и подпоясали красным кушаком.

Вскоре из Калуги отца перевели в военный городок Мыза-Раево, в полутора километрах от станции Лосиноостровская. Городок этот был расположен в старинной усадьбе: старый парк с двумя искусственными прудами, тенистыми липовыми и березовыми аллеями, а за ними большой пруд, в котором водились караси. Здесь я, шестилетний мальчишка, научился плавать и ловить рыбу. Маму очень беспокоили мои похождения на пруду, а отец поощрял:

— Пусть растет здоровым и сильным!

Отец мой еще со студенческих лет был отличным гимнастом. В его комнате висели трапеция и кольца, а в углу лежали гири. Когда он проделывал на гимнастических снарядах различные упражнения и трюки, у меня появлялось непреодолимое желание подражать ему. Гениальный И. М. Сеченов пишет, что подражательность вообще есть свойство, присущее всем без исключения людям. Он прав, конечно. Я подражал, а отец подначивал, говорил: «А вот лягушку тебе на трапеции ни за что не сделать»; или: «А вот это упражнение с гирей у тебя не получится». Я старался что было сил, и многое мне удавалось. Отец, как врач, твердо был убежден, что здоровый ребенок не может надорваться, потому что защитная реакция у него чрезвычайно сильна. Тот же Сеченов писал: «Кто не знает, что ребенок пускает в ход все заученные им движения, и пускает в ход с непостижимой для взрослого энергией». Я — живой пример тому.

Довольно рано отец подарил мне перочинный нож, объяснил его назначение и как нужно им пользоваться. Этот универсальный инструмент пришелся мне по вкусу. Правда, я иногда все же получал «ранения», но без него мне, мальчишке, было бы как без рук. В соответствии с возрастом я делал то «чижика», то мельницы над весенними ручьями, то затем лук, стрелы, удочки... В результате руки стали ловки, осторожны и обрели мастерство.

Однажды вечером отец взял меня с собой прогуляться на большой пруд. Он захватил шомпольное старое ружьецо, а я взял сачок для ловли рыбы. Спустившись к ручью, впадавшему в пруд, я стал ловить пескарей. Вдруг раздался выстрел. Я побежал к отцу. Он подстрелил утку и, торжествующий, шел мне навстречу.

На меня этот небольшой охотничий эпизод произвел сильное впечатление. На другой день, когда отец был на службе, я взял ружье, стоявшее в углу кабинета, и начал заряжать его по всем правилам, так как видел всю эту операцию, проделывавшуюся отцом не раз. Надев наконец пистон на капсюль, я вышел на улицу и, прицелившись в полено, стоявшее около забора, спустил курок... Осечка! Я перепугался, думал, что не так зарядил, и поставил ружье на место. А вечером отец опять захотел прогуляться с ружьем и, обнаружив, что под курком находится пистон, понял, кто это сделал. Он вышел на улицу, прицелился в то же самое полено, спустил курок, и раздался выстрел. Тогда он подозвал меня и, к моему удивлению, спокойно сказал:

— Ну молодец! Ты правильно зарядил ружье, только неплотно надел пистон на капсюль. Но в следующий раз делай это только с моего разрешения.

Через несколько дней он подарил мне малокалиберное ружьецо «монтекристо». Вручая мне его, предупредил о всех мерах предосторожности в обращении с ним, необходимых для безопасности окружающих и меня самого. Может быть, не все согласятся

с таким методом воспитания — мне тогда было семь лет, — но отец, видимо, считал, что доверять мне можно и нужно.

Летние развлечения, прогулки и игры сменялись зимними. Мы расчищали ближний прудок, когда он замерзал, и катались на коньках, в лесу ходили на лыжах, с самодельной горки мчались на санках. Не могу не упомянуть и о зимних вечерах. Лет с шести, видя, как отец рисует, пишет маслом или акварелью, я так пристрастился к рисованию, что занимался им целые вечера. А иной раз отец брал в руки гитару, а я балалайку или трехрядную гармошку, и мы устраивали концерт. Отец играл на всех инструментах, какие только были в доме: на пианино, скрипке, гармонике, гитаре, балалайке. Он никогда не учился музыке специально, но как дилетант играл хорошо. Удивительный все-таки, редкостный человек был мой отец. По многогранности натуры, помимо своей профессии, которую он любил, его всегда что-то увлекало и все ему давалось. Одно время он занялся столярным делом и смастерил почти всю обстановку для дома. Очень хорошо помню его буфет, письменный стол, сделанные с инкрустацией из разноцветной фанеры. А какие игрушки он делал для меня! Крестьянскую телегу в полметра длиной (это без оглобеля!), тарангас, в который хоть коня запрягай! Разумеется, по примеру отца я и сам делал игрушки, главным образом деревянных лошадок — уж очень я любил лошадей и люблю их поныне.

От столярного дела отец переключился на слесарное, сделал токарную самоточку для мелких работ, обзавелся самыми разнообразными инструментами и разрешил ими пользоваться мне. Особенно удачно я делал пушки, выточенные на токарном станке и отлично стрелявшие крупными дробинками по игрушечным целям.

Так я учился не сидеть сложа руки и разумно использовать свою энергию, которой у меня всегда было в избытке. Так складывался мой характер.

Беглый словесный портрет отца был бы неполным, если бы я не сказал о его душевности и человечности. Он был военным врачом, и обслуживание гражданского населения не входило в его обязанности, но он делал это безотказно. Часто в ночную пору, несмотря на пожилую уже возраст, он поднимался с постели и отправлялся в потемках на помощь больному, никогда не спрашивая, кто вызывает, а только где живет, куда ехать. В Лосяноостровской его знали и любили очень многие. Я и теперь еще встречаю своих однолеток, сохранивших добрую память о нем — он лечил их отцов и они не раз слышали от них доброе слово о Михаиле Константиновиче.

Большой след оставила в моем духовном развитии мать. Помню до сих пор, как увлеченно и выразительно читала она нам с сестрой Тургенева, Гоголя, пробуждая в нас любовь к литературе.

Исключительное влияние оказывала на меня природа. Мне посчастливилось жить и зимой до самого начала моей профессиональной деятельности среди природы. Ее очарование наделило меня на всю жизнь чувством прекрасного и сделало романтиком даже в освоении техники.

Летом мать навещала своих родных в сельце Теребино и брала меня с собой. Как памятно для меня эти поездки! Теребино было в то время уникальным по живописности уголком природы. Недалеко от нашего дома сливались две крохотные речки — Теребинка и Бобовка. В месте их слияния образовался небольшой водоем глубиной в рост человека и с хорошим песчаным дном. Щук, налимов, окуней водилось в нем так много, что мы, ребята, ловили их и на удочку, и сачком, и самодельной острогой, кололи вилками, а иной раз хватали даже голыми руками. А сочные луга около речушки, с травой по пояс! А изобилие малины, земляники, грибов!

Летом все мы занимались сельским хозяйством во главе с дедушкой и бабушкой. Сенокос — самая очаровательная пора, в нем участвовали все от мала до велика, правда по-разному. Дедушка и сыновья косили, а дочери и внуки, в том числе и я, ворошили скошенное и помогали навивать возы. Лет десяти и я научился хорошо косить.

Дед, так же как и отец, давал мне полную свободу и самостоятельность. «Редкого покроя мужик», — говорили о нем. Отличался он деловитостью, никогда не пил ни вина, ни водки, не курил и даже в минуты гнева не сквернословил. Как-то этот восьмидесятилетний старик, возвращаясь домой из соседней деревни ночью, заблудился, переспал в сарае на хвое и получил крупозное воспаление легких. Привезли доктора, тот только махнул рукой и уехал, а дед тем не менее выздоровел.

Однажды дедушка вернулся из Твери, куда он отвезил муку на своей паре Змейке и Красавчике. Лошадей распрягли возле сарая, где стояли телеги, а меня, шестилетнего, посадили верхом на Красавчика, который давно уже покорило мое сердце. На первых шагах все шло хорошо, но увидав колоду с водой, Красавчик захотел пить и повернул к ней. Я начал тянуть его за повод вправо, а он, почувствовав, кто на нем сидит, вдруг побежал влево, и я шлепнулся на землю. Долго я ревел, но не от боли, нет, — от обиды, что мой любимый конь меня не послушал и поступил таким коварным образом! Однако любовь моя к Красавчику от этого не угасла. Я всегда, как только предоставлялся случай, давал ему кусочек хлеба, а то и сахара. К семи годам я его так приручил к себе, что он стал убегать из табуна и являться к утреннему завтраку, чтобы полакомиться хлебом из моих рук. В табунах его никто не мог поймать и надеть на него оголовье, но мне удавалось, так мы с ним дружили. Я мог отвести и привести Красавчика в табун и из табуна без уздечки на любом аллуре.

В конце лета мы прощались с деревней и возвращались на Лосиноостровскую. Восьми лет я поступил в гимназию, но вскоре мать перевела меня в реальное училище Воскресенского — одно из лучших учебных заведений Москвы. Педагоги этого училища были высокой квалификации. Специальный наставник заведовал библиотекой и подбирал для каждого ученика книги, учитывая его индивидуальность, но, разумеется, в соответствии с проходимой программой обучения. Классные наставники зорко следили за нашим поведением и нравственностью. С благодарностью до сих пор вспоминаю нашего учителя физкультуры, чеха по национальности. Его метод отличался разнообразием программы. Гимнастика, фехтование, всевозможные игры с мячом. Он часто повторял, расставляя слова, с характерным чешским ударением на первых слогах: «Гимнастикой заниматься не будете — сгниете». Он стремился развить в нас быстроту реакции и мгновенную координацию движений, сочетающую в себе силу, гибкость, точность. Нечего и говорить, как это пригодилось мне в будущем, когда я стал летчиком.

Лет двенадцати я увлекся авиамоделизмом. Эта страсть возникла у меня под влиянием рассказов о полетах аэропланов на Ходынском поле, которые я слышал от нашего соседа-инженера. Он часто посещал Ходынку и наблюдал полеты. Тогда я еще ни разу не видел аэроплана, но со слов инженера представлял себе, какие они, и начал мастерить сначала очень примитивные модели планеров. Материалом мне послужила штора на окне столовой, служившая защитой от солнца. Она была сделана из тонких деревянных сухих реечек. Я вытаскивал их снизу, чтобы не было так заметно, обклеивал бумагой, и получались очень легкие крылья. Фюзеляжами служили сухие выструганные палочки. Сначала были неудачи. Планеры мои взмывали вверх после толчка и тут же падали на землю. Вскоре я догадался, в чем дело: надо тяжелить нос — переднюю часть планера. Для запуска я становился высоко, обычно на крышу, но предварительно регулировал правильность и плавность полета с небольшой высоты, например с террасы.

Заметив изъян в шторах, мать спросила, зачем это я порчу вещь, и, естественно, начала меня журить, но отец одобрительно отнесся к моему поступку:

— Это хорошо, что у тебя хватило смекалки и ты подобрал удобный материал. Но нужно было бы сказать об этом матери и она купила бы для тебя новую штору.

Мудрые слова: не нужно ничего делать исподтишка!

Потом я начал делать самолеты с резиновым мотором. Для этого брал бамбуковую палочку, под ней крепил резиновый шнур, натянутый между двумя крючками — один от пропеллера, а другой, задний, неподвижный. Закручивал резину, и планер летел. Это радость!

Когда мне исполнилось пятнадцать лет, началась первая мировая война. Она принесла много горя всем, омрачила и мою юность. Отец ушел на фронт, а оттуда многие не возвращались или возвращались калеками. Пришли трагические известия о гибели двух братьев моей матери, и каждый день мы с тревогой ждали прихода почтальона. Что мы пережили и передумали, понятно каждому.

Через год в один из периодов затишья на германском фронте матери разрешили навестить отца. Она захватила с собой и меня. 394-й полевой подвижной госпиталь, где служил отец, стоял в местечке Кнышин, недалеко от Белостока. Встреча с отцом сразу успокоила нас. Он был таким же, как и прежде, бодрым, деятельным, заботящимся не только о своих прямых обязанностях. Был у него любимец — молодой донской конь, ко-

того он спас. Как-то после боя забежал этот конь, раненный в грудь, в расположение госпиталя, отец приласкал его, залечил рану. Теперь он предоставил его в мое распоряжение. Я мог развезжать сколько захочу, видя своими глазами, что такое фронт, при условии, как предупредил меня отец, что буду благоразумен и не стану гарцевать там где не нужно. В те дни произошло очень памятное для меня событие — я впервые увидел самолет при выполнении им боевого задания.

Из палатки авиаотряда выкатили «фарман», летчик-офицер получил приказ на разведку и сел в самолет. Запуск винта, шум мотора, вихрь воздуха позади самолета — и вот он уже оторвался от земли и пошел к фронту. Скоро он стал еле виден и наконец совсем исчез. Через несколько минут я вдруг увидел мерцающие звездочки за линией фронта. Звездочки стали превращаться в дымки, которые тянулись вдоль фронта, — самолет обстреливали. Все насторожились. А минут через десять офицеры и солдаты вдруг обрадованно закричали:

— Идет! Идет! Идет!

Маленький самолет рос на глазах. Наконец он приземлился и подрулил к палаткам. Командир закричал:

— Немедленно узнать, ранен или нет, и доложить!

Но не дождавшись доклада, сам побежал навстречу разведчику. Тот вышел из кабины и пожал командиру руку. Все обошлось благополучно.

Можно представить, какое впечатление произвело на меня это первое знакомство с самолетом в условиях боевой обстановки.

Вскоре мы с матерью вернулись в Москву, и снова началась учеба и повседневная жизнь.

Пришла пора студенчества. Я уже говорил, что занятия в Высшем техническом училище меня не очень увлекали: все искал самого себя и никак не находил, хотя иногда и казалось, что вот здесь, вот в этом-то и есть мое призвание. А потом находилось другое, не менее доступное и увлекательное для меня. Приведу два примера амплитуды колебания моих интересов.

Я мог бы стать профессиональным спортсменом. В обществе «Санитас», тренируясь в маленьком подвальчике, который звучно назывался «Арена Морро», я стал хорошим штангистом. Первый мой учитель — Александр Васильевич Бухаров, в то время чемпион в легчайшем весе, обладатель мировых рекордов. Занятия проходили три раза в неделю: в понедельник жим и рывок одной рукой, в среду опять рывок двумя руками и толчок одной, в пятницу толчок двумя руками. После таких пяти классических движений со штангой работали двухпудовыми гириями, а затем любители иногда шли на ковер и занимались борьбой.

Через несколько месяцев я установил московский рекорд в полутяжелом весе в жиме — 202,5 фунта. Мне было тогда семнадцать лет. С тяжелыми гириями я играл легко и делал любые упражнения, которые выполняли сильнейшие мастера Москвы. На меня возлагали большие надежды. Я мог бы стать профессиональным спортсменом, если бы захотел. Но, как видите, не захотел.

Однажды, проходя по Мясницкой, я увидел вывеску известного художника Ильи Машкова: «Даю уроки живописи и рисования». Я вошел в дом и постучал. Сердце мое билось от волнения. Дверь открылась. Передо мной стоял человек с бородкой каштанового цвета, в белом халате. Он спросил меня:

— Что вы желаете?

Я робко признался, что хотел бы брать уроки рисования.

— Пожалуйста, войдите.

Я шагнул через порог и на мгновение замер от неожиданности: в большой комнате на возвышении сидела молодая обнаженная женщина и портрет ее писали люди совершенно различного возраста, мужчины и женщины. Я последовал за Машковым в небывалом смущении, боясь взглянуть на натурщицу. Машков принял меня в студию, и на другой день я начал посещать занятия. Так началось мое художественное образование. Когда Машков предложил нарисовать орнамент, то мне это пришлось не по душе. Я ему сказал. Тогда он дал мне рисовать гипсовую маску. Это мне понравилось. Когда Машков взглянул на мою работу, то сказал:

— У вас хороший глаз, вы быстро проникаете в художественный облик человека. Вам нужно серьезно развивать свои способности.

Студию я посещал после этого регулярно и занимался очень старательно. Буквально упивался творческим процессом и, рисуя, забывал обо всем, кроме художественного замысла. Машков возлагал на меня большие надежды, но художником-профессионалом, как видите, я тоже не стал.

Нашел же я себя, совершенно неожиданно для всех, в авиации.

На этом я вынужден оборвать свои воспоминания о давно минувшем. Ничего не поделаешь, надо переходить к рассказу о главном, ради чего и написаны эти мемуары,— о моей жизни в авиации.

Что ждало меня? Я понимал, что избранная мной, такая редкостная для тех времен профессия вводит меня в сферу неизведанности, где все будет зависеть от моей собранности и зоркости, мастерства и мужества. Не буду скромничать, но ореол, которым окружили люди облик пилота, будил во мне и честолюбие — не собирался же я стать «воздушным извозчиком», а хотелось занять достойное место в авангарде авиации.

И все же достаточно ли ясно представлял я себе, что меня ожидает? Нет, конечно. Вся история авиации убеждает, что в ней нет и не может быть полной удовлетворенности достигнутым, что процесс совершенствования непрерывен и обязателен, а следовательно, аэронавту должно быть чуждо состояние покоя и уверенности в том, что он сделал все что мог. То, что сегодня ново, завтра уже обыденно, а послезавтра устарело. Углубление знаний и совершенствование мастерства всегда обязательны для летчика. Романтика романтикой, а будни буднями, увлеченность и трудоспособность сопутствуют друг другу.

С первых же дней пребывания на курсах я убедился, что прежде чем подняться в небо, надо очень хорошо поработать на земле. А поскольку я сразу попал в казарменную обстановку летных курсов военного времени (шла первая мировая война) и до начала теоретических и практических занятий подвергался муштровке как необученный новобранец, что совсем не соответствовало моему представлению о школе мужества и мастерства, у меня появилась возможность для немедленной внутренней самопроверки: готов ли я выдержать любые испытания на пути к цели, которую я сам поставил перед собой?

Выяснил: готов, выдержу.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВЗЛЕТОМ

— Смир-р-р-но! Равнение напр-р-ра-во!

По этой команде дежурного по курсам мы замирали. В спецзал входил сам Субботин — фельдфебель, живое олицетворение абсолютной власти. Его сопровождали ефрейторы, и они важно и медленно проходили вдоль строя. Начинался утренний осмотр.

Чуть прищуренными глазами фельдфебель внимательно оглядывал каждого, чтобы убедиться в нашем умении «есть начальство глазами». Если после команды «смирно» кто-нибудь хотел чуть поправить недоповернутый носок ноги, Субботин останавливался и молча впивался глазами в нарушителя. Этого взгляда было достаточно, чтобы провинившийся целый день ходил как в воду опущенный. После обхода Субботин подавал команду:

— Первая шеренга четыре шага вперед ша-а-гом арш! И не ходи! (То есть не шевелись.) Руки вперед!

Медленно обходя строй, Субботин осматривал, чисто ли вымыты руки, подстрижены ли ногти, не порвалась ли гимнастерка, до блеска ли начищены сапоги. Затем, отойдя от нас на несколько шагов, выставив ногу вперед, закладывал руки за спину и внимательно оглядывал общий вид шеренги.

Пока мы завтракали, Субботин проверял, как мы заправили постели. Беда, если что не так! В таких случаях он передавал через дежурного:

— Скажите (такому-то), что у него постель не в порядке и что я ему больше напоминать не буду.

Этого предупреждения оказывалось достаточно и напоминать больше не приходилось.

После завтрака все курсанты выстраивались самим Субботиным: шло приготовление к встрече полковника Турчанинова для строевых занятий. Турчанинов, в сущности, проверял деятельность своего фельдфебеля. Это был экзамен состояния нашей готовности и нашего совершенства в несении строевой службы. Когда слышались шаги поднимавшегося по лестнице полковника, поджидавший его дежурный снова вопил команду истошным голосом, так, что душа у всех уходила в пятки. Полковник, напудренный, с тщательно подстриженными усами, выслушав рапорт дежурного о том, что во время его дежурства никаких происшествий не случилось, проходил мимо него с таким спокойным и невозмутимым видом, как будто не только дежурного, а вообще никого вокруг не существовало, хотя серые, всегда тусклые глаза на его окаменелом лице замечали все до тонкости, что касалось нашей выправки и исполнения команд. А мы, двадцать курсантов, стояли вытянувшись в струнку и «ели» его глазами. Так начиналось утро каждого дня, и муштровали нас так с утра до вечера.

Особенно старательно нас обучали искусству приветствовать начальство. Походило это на театральное представление, режиссером которого и главным действующим лицом был сам Субботин. Ефрейторы поочередно выпускали из строя курсантов якобы на прогулку, а в сторонке стоял в небрежной и вместе с тем величественной позе Субботин. Когда курсант приближался к нему, фельдфебель говорил томным голосом:

— Приветствовать меня как поручика! (Или как полковника, или как генерала.)

При этих словах курсант вздрагивал, рубил ногой, косил глазом, вскидывал голову, держа равнение на начальство и выпятив грудь, орал не своим голосом:

— Здравия желаю, ваше благородие! (Или ваше высокоблагородие, или ваше превосходительство.)

Церемониал этот следовало выполнять с исключительным совершенством. Субботин неумолимо заворачивал вспотевшего от напряжения курсанта «кругом марш», и тот вновь и вновь до полного изнеможения повторял этот сложный аттракцион. Субботин и гневался, и одобрял, и иронизировал, но, несомненно, это занятие доставляло ему большое удовольствие: хоть и ненадолго, но... как хорошо быть генералом!

Отпуска на один день разрешались лишь после того, как курсант успешно сдавал экзамен по этому предмету полковнику Турчанинову.

Когда я выдержал экзамены, Субботин разрешил мне сходить домой за штангой, по которой я очень соскучился. А когда курсанты увидели мои жимы, рывки и толчки, они оценили меня по заслугам: я тут же получил прозвище Слон, которое утвердилось за мной на многие годы для всех близко знавших меня людей.

Вспоминая теперь пережитое в те дни и все нелепости фельдфебельской тирании, я не могу, однако, не признать, что курсы были строгой школой дисциплины и порядка, без чего жизнь летчика немислима. Многие полезные привычки сохранились у меня и теперь, когда я пишу эти строки: утром быстро встать, убрать постель, сделать зарядку, побриться, почистить непременно обувь и одежду и обязательно помыться холодной водой. Все это очень нужно для хорошего самочувствия.

Итак, предварительную самопроверку готовности к грядущим испытаниям я прошел успешно. Надо сказать, что и все курсанты не утратили в эти тяжелые дни муштровки романтического представления о своем будущем. Было в этом, правда, и много мальчишеского, что особенно ярко проявилось в том восторженном приеме, который оказали мы приехавшему с фронта воспитаннику наших курсов офицеру-летчику Соболеву. Мы попросили его рассказать нам что-либо из его фронтовых полетов, и он рассказал, как атаковал немца, корректировавшего артиллерийский огонь. Этот эпизод мы восприняли как отважный рыцарский поединок. Не только его рассказ, но и внешний вид его, форма, в которую он был одет, манера говорить и держаться, выправка и жесты вызвали у нас стремление во всем подражать ему. Даже пилотку мы стали носить так же лихо, как носил ее Соболев.

Постепенно строевые занятия отходили на второй план, и мы наконец-то вплотную приступили к теоретическим и практическим занятиям по авиации. Читали специальную литературу, разбирали и собирали моторы, учились управлять автоматикой, участвовали в продувке моделей самолета на небольшой аэродинамической трубе. Конечно, не все сразу шло гладко. Однажды на продувке модели самолета в этой маленькой учебной трубе у нас случилось происшествие. Никто не заметил, что не-

далеко от винта, создающего воздушную струю, стоял стул. Неожиданно для всех вдруг раздался сильный треск и вой электромотора, вращавшего многолопастный винт. Рубильник, к счастью, был кем-то выключен и никто из нас не пострадал, хотя винт разлетелся вдребезги, труба была повреждена, а от стула остались лишь щепки.

Изучали мотор на практике очень тщательно: детали, их назначение, осваивали систему поступления горючего в цилиндры мотора, досконально занимались карбюратором и системой зажигания. Одновременно осваивали технику вождения автомобиля, после чего легко перешли к управлению самолетом.

Обучение по специальности было организовано хорошо. Для шестимесячных курсов объем специальных наук оказался чрезвычайно большим и учеба напряженной. Занятия проводились интересно и на высоком уровне. Достаточно сказать, что теорию нам преподавал корифей молодой авиационной науки Николай Егорович Жуковский, которого В. И. Ленин назвал отцом русской авиации. Он читал нам лекции по аэродинамике. Мы слушали также лекции будущих академиков В. П. Ветчинкина, А. А. Микулина, Б. С. Стечкина, В. С. Кулебакина. Все эти имена неразрывно связаны с историей советской авиации.

Николай Егорович Жуковский в то время был уже стар. Мы любили его лекции, всегда устремленные в будущее. Подчас он забывал, что перед ним совсем еще зеленые юнцы, только что начинающие постигать, что такое аэродинамика. Тогда на доске вдруг появлялась длинная цепь сложных и непонятных нам формул. Заметив это, он улыбался, как бы стряхивал с себя занимавшую его мысль и возвращался к теме своей лекции, стараясь говорить доступно и вместе с тем не снижая уровня необходимых нам знаний.

Владимир Петрович Ветчинкин — большой ученый, человек необыкновенной душевной чистоты, до наивности простой и доверчивый в отношениях с людьми. Он начал учиться летать вместе с нами в московской школе авиации, но способности его в этой области оказались весьма посредственными. Первый самостоятельный полет оказался неудачным — он сломал самолет при посадке. Несколько других попыток убедили его в необходимости оставить занятия летным делом. Но как переживал он свои неудачи и как смущали они его! И как трудно нам было успокоить его, убедить, что попытки овладеть искусством пилотажа только отвлекали его от большой научной деятельности.

Александр Александрович Микулин — талантливый конструктор авиационных моторов. Впоследствии на его моторе мы с Юмашевым и Данилиным установили два мировых рекорда дальности полета без посадки при перелете через Северный полюс в США. Его мотор был установлен в Отечественную войну на исторических «ИЛх». Александр Александрович не только конструктор авиационных двигателей, но и разносторонний ученый, последние годы занимающийся проблемой долголетия.

Борис Сергеевич Стечкин — крупнейший специалист в авиадвигательной области, исключительного душевного обаяния человек, чрезвычайно скромный и доступный всем.

Виктор Сергеевич Кулебакин, впоследствии прославленный ученый, буквально очаровывал всех своим тонким умом и простотой, тактичностью в общении с людьми.

Да, это была «могучая кучка» педагогов-ученых, о которых мы, оставшиеся в живых ученики, с огромной благодарностью вспоминаем как о величайшей удаче, оставившей неизгладимый след во всей нашей жизни.

Несколько лет назад московская общественность и Академия наук СССР чествовали академика А. А. Микулина в день его семидесятилетия. Я рассказал тогда о тех временах, когда он знакомил нас с авиационными двигателями. Особенно ярко запомнился мне один эпизод, и на этой встрече я рассказал о нем. Однажды мы, курсанты, увидели установленный во дворе на станке необыкновенного вида мотор — в отличие от других цилиндры у него расположились в горизонтальном, а не вертикальном положении. Вокруг собрались специалисты, внимательно рассматривавшие эту диковинку. И вот вдруг раздался оглушительный треск, появилось синее облако дыма, и мотор заработал. Надо было видеть радость конструкторов, создателей только что запущенного мотора Микулина и Стечкина, душивших друг друга в объятиях. Мотор назвали начальными буквами имен и фамилий его конструкторов — АМБС. Мне было тогда восемнадцать лет, а им по двадцать три года.

Ну а теперь уместно рассказать о моем первом шаге в воздухе. Нет, еще не о

самостоятельном полете — я еще не был пилотом, а всего лишь пассажиром, — но первое ощущение полета осталось для меня незабываемым. Весной наши курсы в полном составе побывали на лётно-испытательной станции завода «Дукс» при московском аэродроме. Там производились сдаточные полеты самолетов серийного производства. После сборки они шли в первый контрольный полет. Встретивший нас летчик-испытатель Б. И. Россинский сказал, что может взять двух из нас по очереди в полет в качестве пассажиров. Начали тянуть жребий. Одним из счастливых оказался я. Вывели «фарман» из ангара, Россинский сел в кабину, а я сзади него. В мою обязанность входило следить за пульсацией масла в масляном стаканчике: так осуществлялся контроль за правильной работой масляной системы мотора. На самолете перед глазами пилота стоял единственный прибор — счетчик оборотов мотора. Какой контраст с современными самолетами, оснащенными множеством приборов!

В те времена уже существовал прибор, называемый барографом. Он устанавливался на самолете серийного производства в первый, и обычно единственный, контрольный полет. Этот прибор — самозаписывающий барометр — контролировал время пребывания самолета в полете и быстроту подъема на определенную высоту. Но барограф не ставился перед глазами пилотов, потому что летчик в полете не мог бы руководствоваться записью прибора для определения точности пилотирования. Таким образом, и этот прибор использовался только для контроля, а не для управления самолетом.

Итак, Россинский опробовал мотор. Непривычный оглушительный звук поразил мой слух. Отрулив шагов десять от ангара, пилот дал газ, и самолет стал разбегаться, постепенно набирая скорость. Толчки от неровностей поля стали ощущаться все меньше и наконец совсем прекратились — мы поднялись и скоро набрали высоту две тысячи метров. Совершенно непередаваемое ощущение первого полета охватило меня. Впечатления необычайно яркие, но совсем не такие, какие можно себе представить там, на земле. Там казалось, что самолет помчится в воздухе с такой скоростью, что вся земля будет только мелькать, но этого не произошло. После того как набрали высоту, скорость, казалось, совсем исчезла. Полет производил впечатление подъема на воздушном шаре. Даже больше — казалось, самолет совсем не движется, а повис в воздухе. Это ощущение было совсем неожиданное. Потом начало побалтывать, в кабину прорвалось сильное дуновение ветра, и приходилось часто моргать от навертывающихся слез. Когда самолет кренится, то хотелось схватиться за борт, чтобы не упасть. С непривычки казалось, что самолет и человек не единое целое и не спяны друг с другом, а каждый сам по себе.

Но вот мы приземлились и подрулили к ангару, где дожидалась вся группа. Когда я вышел из самолета, то сразу заметил, что ничего не слышу. Товарищи меня обступили, задавали десятки вопросов, а я все время их переспрашивал. Видимо, я кричал в ответ, потому что меня то и дело останавливали и спрашивали:

— Да что ты орешь? Говори нормально.

Часа через полтора мой слух пришел в нормальное состояние. Все курсанты поздравляли меня с боевым крещением.

Вскоре пришло время выпускных экзаменов. Объем знаний, полученных нами, был велик. И мы напряженно готовились к экзаменам. Но не обошлось и без свойственного нам тогда мальчишества. На курсах служил парнишка лет двенадцати, Вася, убиравший классы и хранивший различные учебные пособия, в том числе, как мы узнали, и билеты, которые будут выложены на экзаменационном столе. Вася по нашей просьбе дал нам посмотреть эти билеты, и каждый из курсантов сделал небольшую пометку на том билете, который его больше всего устраивал. На экзаменах, подойдя к столу, каждый сравнительно легко вытаскивал свой билет и отвечал отлично. Пятерки сыпались как из рога изобилия. Но вот один генерал, взглянув на билеты, помрачнел и потребовал дать новые, совершенно чистые. Пятерок стало после этого намного меньше. Одному курсанту генерал задал вопрос, на который тот не мог сразу ответить. Тогда генерал спросил его:

— Вас затрудняет мой вопрос?

Курсант не растерялся:

— О, ваше превосходительство, затрудняет не вопрос, а ответ!

Находчивость выручила его, и генерал поставил ему тройку.

Но в целом, несмотря на все эти мальчишеские выходки, выпуск сдал экзамены на высоком уровне.

По окончании курсов нам предстояло поступить в летную школу. От теории мы переходили к практике. С курсами мы простились навсегда, сохранив о них волнующие воспоминания. Теперь в том здании, где были Теоретические курсы имени Н. Е. Жуковского, находится мемориальный музей его имени. Преемственность многозначительная!

ПУТЬ К ВЫСШЕМУ ПИЛОТАЖУ

Прибыв в школу, мы попали в разные летные группы для первоначального обучения. Инструктор нашей группы солдат Александр Петрович Бобков был отличным летчиком. Объяснениями и поучениями, как другие инструкторы того времени, он нас не баловал. Начались практические занятия, деловая подготовка, а додумывать нерасказанное нам должны были мы сами. Но несомненной заслугой Бобкова было то, что он быстро «вываживал» своих подчиненных в самостоятельный полет, а это, конечно, заветная мечта каждого из нас. Перед самостоятельным вылетом нам предстояло несколько раз собрать и разобрать мотор «гном», собрать и разобрать самолет «Фарман-4», прощупать, так сказать, своими руками все детали и поставить на место. А для этого требовалось и время и терпение. А главное — умение. Необходимое для этого время нам предоставили.

Пользуясь правами вольноопределяющихся, мы уже жили не в казарменной обстановке, а поселились на частных квартирах. Четверо из нас — Александр Надашкевич, Артур Рапп, Сергей Николаев и я — решили жить вместе и сняли комнату у одной старухи на даче в Петровском парке. Свободное от занятий время мы использовали произвольно. Я продолжал тренироваться со штангой и писал маслом картины, рисовал. Надашкевич изобретал пулемет нового типа и, так же как я, рисовал и писал картины. Появилась гитара, и вся наша четверка пела и плясала под струнный перебор. Жили весело и учились дружно.

И наступил наконец день, когда мы приступили к полетам. Торжественно мы вывели «Фарман-4» из ангара. Забавная машина с современной точки зрения: максимальная скорость равнялась шестидесяти километрам в час, в полете был устойчив. Тогда он казался нам чудо-птицей.

Александр Петрович Бобков с присущей ему подвижностью быстро вскочил на сиденье, пошевелил рычагами управления и, убедившись, что рули отвечают на его движения правильно, подал команду:

- От винта!
- Есть от винта! — отвечал запускающий.
- Готово! — скомандовал Александр Петрович и открыл бензиновый кран.
- Контакт? — запросил пускающий мотор, держась за пропеллер.
- Есть контакт!

Сильный рывок за винт — и мотор заработал. Не успели мы моргнуть глазом, как Александр Петрович оказался уже в воздухе. Ликованию нашему не было удержу. Пришел теперь и наш черед. Александр Петрович поочередно сажал обучающихся на сиденье сзади себя. Все управление самолетом — ножные педали от руля поворотов и с правой стороны ручка управления элеронами и рулем высоты — у инструктора. Ученик, не мешая управлению, смотрел за тем, как самолет реагирует на движение рулями.

Полет длился минут пять по кругу над аэродромом на высоте двадцати—тридцати метров. При подлете к месту посадки инструктор выключал контакт, мотор прекращал работу. Одновременно ручка управления энергично отдавалась от себя. Самолет под крутым углом устремлялся носом к земле и затем, как чайка, быстро выравнялся и, немного прокатившись по земле, останавливался. Ученик слезал, садился следующий.

Александр Петрович, пролетав с каждым по два раза, прекращал полеты. На «Фармане-4» полеты проводились только на рассвете и продолжались до семи-восьми

часов утра, пока не было ветра и пока земля еще не прогревалась солнцем и не возникало «рему» (восходящих потоков воздуха): маломощному самолету трудно справиться с такими «стихийными бедствиями».

Налетав, таким образом, полтора часа со мной, Александр Петрович счел возможным посадить меня на переднее сиденье, и я получил весь комплект управления в свое распоряжение. Инструктор сел сзади и контролировал полет, держась вместе со мной за ручку. Однако полет вокруг аэродрома совершался не с одной посадкой, а с тремя — я должен был выключать мотор, производить посадку и вновь взлетать. Такой полет означал, что ученик уже готов к самостоятельному полету без инструктора. При очередной посадке Александр Петрович быстро соскользнул с самолета и задал мне вопрос:

— Ну как?

— Все в порядке,— ответил я.

Он нырнул к винту и произнес:

— Контакт?

— Есть контакт!

И, казалось, неведомая сила подхватила меня — я очутился один-одинешенек в воздухе. Сердце мое билось, как птица в клетке, но я все делал так, как с инструктором. Благополучно облетев по кругу аэродром, я нормально приземлился. Александр Петрович опять задал вопрос:

— Ну как? Еще разок?

— Есть еще разок!

— Контакт?

— Есть контакт!

И я совершил второй полет. Когда я слез с самолета, Александр Петрович поздравил меня с первым самостоятельным полетом. Радость, волнение долго не могли улететь. Первый шаг в самостоятельную летную жизнь, начало пути! Я в тот же день написал об этом событии подробное письмо отцу. Он ответил мне поздравлением, советами и пожеланиями, как всегда немногословными, но глубоко содержательными.

Я особенно гордился тем, что, налетав с инструктором всего один час сорок три минуты, получил разрешение на самостоятельный полет, тогда как полагалось для этого два часа сорок пять минут. Почему же срок обучения и быстрота освоения полета у меня оказались короче, чем у остальных товарищей? В то время я вряд ли мог ответить на этот вопрос, но впоследствии, раздумывая над этим, пришел к глубокому убеждению, что мои успехи в авиации — как первые, так и последующие — были в значительной мере predeterminedены воспитанием характера и развитием способностей, полученных мной в детстве и юности. Физическая подготовка выработала во мне уверенность в своих силах, быстроту реакции, быстрое освоение непривычной, новой координации движений, а предоставленная мне самостоятельность поведения в самых разнообразных случаях повседневной жизни выработала волевою собранность, смелость и решительность. Повторяю, я осознал это значительно позже, но то, что я сразу же после первого успеха написал об этом отцу, говорит о многом. Ну а то, что, выйдя на воздушные просторы, я почувствовал себя там как дома, объясняется моей близостью к природе, возникшей и окрепшей еще в ранние годы.

Историческое событие в жизни страны и всего мира — Великая Октябрьская революция... В первые дни революции, естественно, занятия наши прекратились месяца на два. Начальник школы Руднев и офицерская элита не пожелаали быть красными летчиками и предпочли незаметно исчезнуть с аэродрома. Многие учелы, инструкторы и я в том числе несли только службу по охране школы и ее имущества. Месяца через два в школу прибыла комиссия от Реввоенсовета по проверке личного состава, и некоторых учелов отстранили от занятий. Наша четверка успешно прошла проверку в комиссии, и мы остались для дальнейшего обучения.

В обстановке жестокой классовой борьбы и начавшейся интервенции молодое государство переживало тяжелые времена. Снабжение столицы топливом, продовольствием было крайне затруднено. Коренные преобразования шли с колоссальными трудностями, и это ощущал каждый из нас.

Обстановка в школе была очень тяжелой. Мы первое время голодали и обменивали свое несложное солдатское имущество на конину, которую получали у татар, живших в селе Всехсвятское (ныне этого села нет и в помине, а когда-то оно примыкало к аэродрому). С большим трудом мы добивались снабжения школы продовольствием, обмундированием и горючим для самолетов, но занятия продолжались. Летчики нужны фронту, а в школе остались учелты, преданные партии большевиков и родине, готовые выполнить свой долг.

Наша группа обучалась полетам на «вуазене». Сначала наметили очень краткий курс обучения — девять самостоятельных полетов, и все! Но потом издали приказ, чтобы довести количество самостоятельных полетов до восемнадцати—двадцати. Это уже солидная подготовка.

Помню, что даже после девяти полетов я чувствовал себя королем воздуха и проделывал на подъеме виражи с большим креном, а спирали делал не иначе как с креном до 60 градусов. Экзамены сдал успешно. Требовалось на высоте пятисот метров выключить мотор над местом посадки, спустаться спиралью, а посадку произвести в круг диаметром тридцать метров, разделенный пополам белой чертой. Мне повезло остановиться при посадке на этой черте. При втором полете следовало произвести посадку в тот же круг с пятисот метров с выключенным мотором, но уже планируя по прямой. Мой самолет остановился между чертой и окружностью. Экзамен, повторяю, сдал успешно.

Молодые летчики — наши ученики — получили путевки на фронт, а меня и некоторых других выпускников оставили в школе инструкторами как наиболее способных и теоретически хорошо подготовленных. Мне поручили взять группу учеников на «вуазене», а самому предложили осваивать полеты на «моране» и затем на «нююпоре». Мне это льстило, конечно, ибо такие самолеты доверяли наиболее способным ученикам. А потом нескольких человек, в том числе и меня, направили в группу Александра Ивановича Жукова. Он заведовал обучением на «дебражасе» и «парасоле» (французские самолеты — первый учебный, а второй боевой). Войдя в ангар Александра Ивановича, все были поражены блеском, чистотой и поразительным порядком. Все говорило о необычайной организованности, свойственной этому человеку.

«Дебражас» был самым ехидным самолетом. На нем требовалось сначала рулить быстро по прямой, а затем делать подлеты, то есть отрываться от земли не более чем на метр и, выключив мотор, тут же приземлиться и, конечно, удерживать машину от заворотов. На этом самолете стоял маломощный мотор «Анзани-45НР».

Как-то раз во время сильного тумана очень ранним утром мы упражнялись в подлетах на коварном «дебражасе». Вылезая из самолета, один из учеников зацепил газовой сектор. Мотор прибавил обороты, а летчик уже спрыгнул с самолета. «Дебражас» начал быстро двигаться в тумане «без руля и без ветрил» (без человека). Мы кинулись за самолетом, но он вдруг изменил направление и начал кружить. В тумане можно попасть под винт. Мы рассеялись, прислушиваясь, куда удирать или, если удастся, задержать самолет, а главное — постараться выпрыгнуть в него. Одному из нас удалось схватить его за конец крыла и затормозить. Теперь «дебражас» стал рулить по небольшому кругу. Другой учелт, пристроившись к вцепившемуся в крыло, поймал машину за борт кабины, забрался в нее и закрыл сектор газа. Самолет наконец остановился. Переполох был большой, но, как всегда при благополучном исходе дела, все мы ликovali. Александр Иванович пожурил виновника за неаккуратность и небрежность и прочел нам краткую нотацию.

Благополучно закончив с «дебражасом», мы перешли к «парасолю». Александр Иванович, как всегда пролетев первым, стал по очереди провозить нас и потом выпустить в самостоятельный полет. На этом боевом самолете второго управления для учелта не было. Александр Иванович каждого предупредил, за чем надо наблюдать в покатном полете. Конструктивное несовершенство самолета обязывало к исключительной осторожности в обращении с рычагами управления, рулями и особенно с ножными педалями. Все мы летали на нем благополучно, хотя слава об этом самолете шла далеко не хорошая.

В один памятный для меня день, как всегда, занятия начались контрольным полетом Александра Ивановича. Но что это за чудеса? «Парасоль», на котором никто не

делал виражей с креном больше 30 градусов, вдруг прямо с земли делает вираж с креном почти вертикально и разворотом на 360 градусов! Эффект изумителен. Это было великолепное дерзание. После этого, набрав высоту метров двести, самолет облетел круг над аэродромом и сел около своей группы. Александр Иванович сошел с самолета как ни в чем не бывало и, увидев наши полные восхищения лица, спокойно и тщательно объяснил нам, как удалось ему это сделать. Мы осмелели и после этого делали крены на разворотах и спиральях до 45 градусов.

На другой день Александр Иванович снова идет в первый контрольный полет. Но что такое? Полет затягивается... Его «парасоль» набирает тысячу пятьсот метров, задирает нос, теряет скорость и переходит... в штопор! Мы все знали, что если на «парасоле» сорвешься в штопор, то — аминь, катастрофа неизбежна. Парашютов тогда не было. Многие сняли шапки, некоторые отвернулись, другие, как говорится (и я в том числе), раскрыли рот от удивления... И вдруг вращение прекратилось! «Парасоль» пикирует и постепенно переходит в горизонтальный полет. Подлинно героический поступок, точнее подвиг, не меньшей значимости, чем, например, петля, совершенная Нестеровым, но, увы, никем и ничем в истории авиации он не отмечен.

Когда чествовали Александра Ивановича в день его семидесятилетия, я выступил с речью как его ученик, гордящийся своим учителем. Я высказал ему свое мнение и мнение друзей, знавших его еще с 1917 года, что незаслуженно тогда его не отметили. Осталась неоцененной, по моему мнению, и его деятельность в качестве летчика-испытателя. В заключение я утешил юбиляра Омаром Хайямом:

Ты обойден наградой — позабудь.
Дни вереницей мчатся — позабудь!
Небрежен ветер: в вечной книге жизни
Мог и не той страницей шевельнуть.

Но я продолжаю свой рассказ о том, как мы осваивали «парасоль». Наша группа справилась с этим благополучно. К сожалению, не у всех шли дела гладко. Редкая неделя проходила тогда без одной-двух аварий: подводила малоопытных учеников старая матчасть, ее отказы в воздухе и особенно на взлете, а кроме того, свойственное многим в те времена ухарство и лихачество.

После «парасоля» мы проходили обучение на «моранах». Командование школой в это время принял на себя известный в то время летчик Ю. А. Братолюбов — «моранист», лучший из лучших инструкторов на этой машине. Прославился он, как и летчик К. К. Арцеулов, виртуозным пилотажем на минимальной высоте над землей. Таково было веяние времени: к пилотажу на высоте выше ста метров относились снисходительно. Лихость тогда воспевалась как храбрость. О летчиках отзывались только так — «лихой пилот» или «трус», а такие люди, как Братолюбов и Арцеулов, были не только лихими, но и умельцами.

Я познакомился с К. К. Арцеуловым, когда он был назначен инструктором московской школы. У него было чему поучиться. Он первый в истории авиации творчески разработал и технически обосновал выход из смертоносного штопора (а ведь тогда не было парашютов!). Методом его пользуются и теперь все летчики мира. (Теоретическое обоснование штопора появилось лишь в 1928 году.)

Сколько бы перебилась людей с 1916 по 1928 год, если бы Арцеулов на практике не открыл доступный для всех метод выхода из штопора. Как ни странно, но и на этот раз (что бывало в подавляющем большинстве случаев) сперва летчик практически сделал открытие в воздухе и лишь потом оно было обосновано наукой. Полеты Арцеулова поразили нас, современников, интеллектуальным почерком. Высший пилотаж на «няпопоре» блистал чистотой исполнения и той индивидуальностью композиции, которая была воспринята всеми нами как выдающееся явление в нашей авиации.

Арцеулов был одним из первых советских планеристов, он сам сконструировал планер. Одаренность его природы проявлялась многосторонне. Он был и остается — теперь ему за восемьдесят — талантливым художником, это у него уже в крови: он внук Айвазовского. При первом же знакомстве с ним в авиашколе мы прониклись уважением к этой обаятельной личности. Умен, скромнен, остроумен, но немногословен. И мы не раз убеждались, что, несмотря на скромность, он храбр и смел в самой сложной, любой обстановке в воздухе и на земле.

Говоря о впечатлении, которое произвели на меня Братолюбов и Арцеулов, не могу не сказать о двух других талантливых летчиках-инструкторах московской авиашколы — Веллинге и Агафонове. Впервые я видел их полеты в то время, когда мы только еще приступили к полетам на «Фармане-4».

Веллинг изумительно, непревзойденно летал на «ньюпоре», Агафонов — на «Фармане-30» и «вуазене». Оба они окончили школу во Франции в 1916 году. Когда они сдали экзамены, то начальник французской школы приказал построить весь личный состав школы и **объявил**:

— Сейчас русский офицер Агафонов покажет, как нужно летать на «Фармане-30».

Он, говорят, изумил всех. Этому можно поверить. Когда мы, учлеты, дождалась своей очереди на полет, то внимание всех было приковано к «Фарману-30», на котором взлетел Агафонов. Большой самолет в его управлении казался игрушкой. Разогнав самолет, на высоте немного более полуметра он делал нечто вроде ретурнемана: самолет энергично взмывал вверх, переходя сразу в вертикальный крен, и из верхнего положения, постепенно снижаясь и выравниваясь, доходил до высоты не более метра. Затем без всякого перерыва самолет начинал входить в вираж в другую сторону до вертикального крена, причем нижнее его крыло находилось в момент вертикального крена на высоте не более метра. В этот момент мы, дожидавшиеся своей очереди учлеты, из предосторожности ложились на землю. Такие виражи Агафонов иногда проделывал, опуская крыло между ангарами.

Иногда он брал к себе в самолет учлета для демонстрации ему в воздухе своего искусства. Мне тоже выпала однажды такая честь. Меня поразила его потрясающая тонкость чувства самолета. Так летать, как летал на крупных самолетах того времени Агафонов, никто не мог. Смелые полеты демонстрировались, но у Агафопова было неповторимое комбинационное изящество, художественная тонкость исполнения.

Но не зря говорят: где тонко, там и рвется. Однажды во время полета Агафопова налетел шквал сильнейшего ветра, самолет болтнуло на вертикальном вираже, пилот выровнял, но... высоты не хватало! Моторист Ульянов, сидевший сзади Агафопова, остался жив, покaleчился, а летчик умер в больнице. Его друг Веллинг находился с ним до последней минуты.

Борис Константинович Веллинг до Братолюбова командовал школой. Это был общительный, всегда улыбающийся человек. Каждый день он летал на «ньюпоре» и показывал образцы высшего пилотажа, и, конечно, на минимальной высоте. Затем Веллинг увлекся дальними полетами на пассажирском «юнкере». Он совершил дальний перелет Москва — Тбилиси — Каспийское море — Каракумы протяженностью 10 567 километров. По тому времени выдающееся достижение. Но так же, как и его друг Агафонов, Веллинг погиб, сорвавшись с крутого виража на «юнкере» на малой высоте.

Однако смерть Агафопова и Веллинга на большинство из нас не произвела того угнетающего впечатления, когда опускаются руки. Мы все считали происшествия в летной практике неизбежными. Потери друзей переносили стойко, не малодушествовали. Как-то один наш товарищ при взлете сделал на «ньюпоре» горку, вошел в вираж, но мотор в этот момент забарахлил. Полвитка штопора — и... конец. Мне с другими учлетами пришлось вытаскивать погибшего из остатков самолета. Через десять минут мы уже продолжали полеты. Когда хоронили погибшего, над процессией летали сопроводившие его самолеты, летали так низко, что струей воздуха от винта сдувало цветы, лежавшие на гробе.

Тот, кто шел в авиацию на заре ее возникновения, готов был ко всему неожиданному. Шел сознательно, зная, что это труд смелых, не отступающих ни перед чем — ни перед трудностями, ни перед опасностью. В словах: «Я готов, я полечу!» — заключалось могучее самовнушение.

Когда командовал школой Братолюбов, разрешалось делать пилотаж низко над землей только опытным летчикам. Но, конечно, и те учлеты, которые считали себя уже королями воздуха, проделывали отчаянные номера, зная, что их кумир в лице начальника школы, смотря на такие выходы, про себя улыбается и вопреки своему распоряжению в душе не осуждает.

Несмотря на очень сжатые сроки, вся наша группа проделала весь высший пило-

таж на «моранах» с шестнадцати-четырнадцатиметровыми плоскостями крыльев. Самым неприятным оказалось скольжение на хвост и полет вверх колесами (в перевернутом на спину самолете). Ремни были очень прочны, но застежки ненадежными и примитивными, что приводило к несчастным случаям. Один из учлетов не нашей группы (запомнил фамилию — Воробьев), привязавшись весьма прочно, начав разбег, немного передрал хвост самолета, и винт разлетелся. Самолет замедлил движение, но от удара вспыхнул пожар. Бензобак на «моране» находился сразу за приборной доской, перед лицом человека. Бедняга хотел было отвязаться, но в лицо ударил огонь. Вскрикнул, взмахнул руками... Стоявшие в двадцати—тридцати шагах люди подбежали к самолету, когда он уже был весь обжат пламенем. Только шесть лет спустя после этого печального случая в НОА (научно-опытный аэродром) создали и испытали быстро отстегивающиеся ремни, удобные и прочные.

Изучая причины надежности полетов, я убедился, что, помимо устранения технических недоделок, очень важно воспитывать в летчике умение владеть собой в момент опасности. Эту цель я поставил перед собой и перед учлетами, которых обучал. Беседуя с ними как педагог, я предлагал им решать задачу, как быть в том или другом опасном случае. Задания на волевые преодоления опасности давались с постепенным усложнением по мере усвоения пройденного. Такое преподавание было увлекательным, эффективным и важным для воспитания боеготовности летчиков, которых мы посылали на фронт для защиты молодого Советского государства. А наша школа последовательно и настойчиво готовила кадры военных летчиков, придавая большое значение их технической выучке и вместе с тем всем необходимым летчику душевным свойствам — боевитости, чувству товарищества и готовности к самопожертвованию, неутомимой бодрости духа и одновременно собранности, сдержанности.

Братолобов ввел в нашу авиационную семью традицию: на службе разговаривать с вышестоящим начальством по строгой служебной форме, а вне службы держать себя по-товарищески. Так сложились наши взаимоотношения и в доме, где проживали мы — несколько инструкторов и Братолобов. Он жил на втором этаже, а мы на первом. Вечера мы проводили по-дружески, вместе, увлекались поэзией, художественным чтением, пели песни, декламировали, музицировали, но никогда не позволяли себе ничего лишнего и ни в коем случае не употребляли алкоголя.

Как-то рано утром вдруг раздался сверху голос Братолобова:

— А ну-ка, товарищи инструкторы, быстро всем одеться и прибыть к моему ангару в летной одежде!

Мы не сразу поняли, в чем дело, но приказ немедленно выполнили. В его ангаре, как знали, стояли такие самолеты, на которых летал только он: истребители английской конструкции трехплан «сопвич», «виккерс» и другие. Эти самолеты обслуживал механик Ян Юрьевич Бутан со своими помощниками.

Вскоре из ангара вывели «виккерс», и к этому времени подошел сам начальник школы. Мы быстро построились в струнку и «ели» его глазами. Он поздоровался, мы рявкнули по-военному. После этого он скомандовал «вольно» и объявил:

— За образцовую службу я решил предоставить вам удовольствие пролететь на «виккерсе». Каждый может пролететь как ему нравится. Сначала полечу я сам.

Он поднялся горкой, затем проделал перевороты и красивые круглые петли, какие я видел только у него. После штопора с выходом на высоте не более двадцати метров он приземлился. Весь пилотаж был проделан, конечно, на малой высоте.

Потом начались полеты инструкторов. Все взлетали и проделывали отдельные фигуры высшего пилотажа, разделенные одна от другой промежутками в простом горизонтальном полете. А я раздумывал, чем бы удивить всех. Когда пришла моя очередь, я решил проделать композицию без траты времени на горизонтальный полет между фигурами в виде короткого каскада тех фигур, которые проделал сам Братолобов. Я поднялся горкой, в конце горки сразу сделал замкнутый вертикальный вираж влево, затем быстро из левого перешел в такой же правый. Затем без промедления переворот влево, из него сразу в очень круглую петлю, из нее в правый переворот на высоте не более тридцати метров, еще петля, скольжение влево, вправо и посадка. Я подрулил к ангару, сошел с самолета и увидел идущего ко мне Братолобова. Он крепко пожал мне руку и громко сказал:

— Это почти мой полет. Это лучший сегодняшний полет. Молодец, поздравляю! Для летчика нет большей награды, чем возможность пролететь на новом, еще неизведанном самолете, да еще получить такую оценку от такого мастера пилотажа! После этого полета мнение обо мне как о летчике мгновенно взлетело на высоту, которой достигали немногие.

В эти дни в Москве стало известно о прорыве конницы Мамонтова. Положение создалось угрожающее. В школу пришел приказ организовать отряд из инструкторов и немедленно отправить в помощь на ликвидацию прорыва. Братолюбов собрал нас и объявил:

— Я назначен командиром воздушного соединения, в котором будете участвовать вы. Остается решить, кого оставить в школе. Дело в том, что оставшийся должен уметь летать на самолетах любой системы. Кроме того, на ремзаводе «Авиароботник» выходят из ремонта совершенно разные конструкции самолетов, которые я испытывал. Теперь это должен делать кто-то другой и срочно направлять на фронт.— Недолго подумав, Братолюбов объявил: — Я решил оставить Громова.

Приказ есть приказ. Я только попросил обещать, что как только они вернуться, меня отправят на самый боевой участок фронта.

После их отъезда работы оказалось так много, что спать приходилось часа четыре ночью и разве иногда часок днем. С учетами нужно заниматься на рассвете и вечером дотемна, а днем испытывать вышедшие из ремонта самолеты. Голодно было при этом невероятно.

Вскоре мы получили трагическое известие: Братолюбов, атакуя на истребителе конницу Мамонтова, был подбит пулеметным огнем, пуля попала в мотор. Он сел недалеко от неприятеля. Инструктор Женя Герасимов хотел опуститься рядом, чтобы взять его с собой, но при посадке сломал шасси. Обоих тут же расстреляли.

Прорыв Мамонтова ликвидировали. Инструкторы вернулись, и вскоре я отбыл на фронт тоже. Но летать пришлось мало, так как я сильно заболел, долго пролежал в госпитале, потерял много сил. После выздоровления работал летчиком в войсках внутренней охраны: летал на разведку и разбрасывал воззвания. За успешное выполнение заданий меня наградили грамотой. Затем я вернулся в школу.

Здесь меня как летчика и как педагога ожидала интересная работа. Мне поручили руководство вновь созданным отделением так называемого боевого применения. В ангаре находились английские истребители «мартинсайды», «Фоккеры Д-7», английский двухместный боевой самолет «дехэвиленд» — лучшие конструкции иностранной техники того времени. Я получил возможность много тренироваться и стал отлично владеть полетом, убедился в правильности моих взглядов относительно причин, вызывающих ошибки, и еще глубже познал, от чего зависит качество пилотирования. Для меня стало очевидным, как я уже говорил, что, помимо технических знаний и навыков, успех зависит от волевых свойств летчика, а их можно совершенствовать, работая над собой упорно и систематически.

Обучая курсантов, я пришел к выводу, что сложный комплекс действий по управлению самолетом надо осваивать по частям, по отдельным моментам, возникающим в процессе полета.

По мере освоения первичных навыков включались новые: как сохранить направление полета, как ориентироваться по компасу и карте, как наблюдать за тем, что происходит вокруг. Такое последовательное освоение отдельных элементов комплекса помогало успешнее, а главное, осмысленнее решать неожиданно возникающие задачи. Особенное внимание уделялось тому, чтобы летчик во всех случаях, когда приходилось принимать внезапное решение, не терял необходимую скорость полета: он будет хозяином положения в любой обстановке только тогда, когда скорость сохранена. А неопытные пилоты иногда об этом забывали при разворотах или с опозданием реагировали на остановку двигателя, и это приводило к катастрофе.

И наконец, вырабатывалось умение предварительно продумать все особенности предстоящего полета от начала до конца, подготовиться ко всем возможным случаям. Я убедился сам и убеждал своих учеников, что, отправляясь в рейс, надо, учитывая конкретные условия, предвидеть опасные ситуации, имея в голове возможные варианты выхода из них. Лично я всегда это делал, стремясь совершенствовать свою психологическую подготовку к предстоящему испытанию.

С точки зрения опытных педагогов, в моем методе обучения ничего особенного нет. Но дело-то в том, что среди инструкторов того времени опытные педагоги насчитывались единицами и никакой методикой обучения никто не занимался. Просто отличные мастера пилотажа добросовестно показывали, как они управляют самолетом, а уч-летам надлежало улавливать все тонкости пилотирования, доходить, как говорили, до всего своим умом. У меня же все-таки на вооружении находилась своя продуманная методика.

В свободные вечера я много занимался спортом, главным образом штангой и иногда борьбой. Тренировки завершились выступлением на спортивных соревнованиях на первенство страны. И тогда, в 1923 году, я получил звание чемпиона страны в тяжелом весе. Медаль чемпиона, полученная мной на этих соревнованиях, сейчас находится в Музее авиации и космонавтики. Серьезная физическая подготовка очень пригодилась мне во все последующие годы моей жизни в авиации.

Спортивный задор толкал иногда меня на неожиданные поступки. Как-то весной над нашим школьным ангаром пролетел довольно низко совершенно незнакомый самолет. Все мы, стоявшие около ангара, стали за ним наблюдать и увидели, что он сел, видимо, на аэродроме в Филях. Я решил проучить того, кто дразнил нас. Поставил «мартинсайд» около ангара так, чтобы можно было, никому не мешая, быстро взлететь. Мотор периодически прогревался. Наконец дразнивший нас летчик взлетел в Филях, и я мгновенно прыгнул в свой «мартинсайд»... Взлетаю... Незнакомец шел на небольшой высоте прямо к нашему ангару. Я развернулся над лесом, который тогда еще сохранялся в северной части за аэродромом, и совершенно неожиданно появился на встречном курсе перед ним. Он медленно вошел в крутой вираж, а я сел ему под хвост и не выпускал до тех пор, пока он не пошел прямо на посадку в Филях. Его самолет еще катился по земле, когда я, пройдя над ним на высоте не более десяти метров, взмыл, дал полный газ, сделал над ним замкнутый круг и ушел к своему ангару. Больше этот самолет к нам уже не навещался. Впоследствии оказалось, что это «Юнкерс-21», двухместный истребитель. Мой соревновательный полет был у всех на глазах, и, видимо, начальство сделало кое-какие выводы, положительные для меня и не очень выгодные для «Ю-21».

Московский аэродром с начала Великой Октябрьской революции являлся центром авиационной культуры. На нем разместились авиашкола, НОА, психофизическая лаборатория, ремонтные мастерские самолетов, ангары завода № 1. Затем стали строиться испытательные станции наших конструкторов и первый авиагражданский порт. Таким образом, все, что появлялось здесь нового, оказывалось на виду. Это поощряло нас, летчиков, демонстрировать свое искусство.

В тот период мне удалось вскоре блеснуть еще раз. В Голландии закупили партию «Фоккеров С-4», двухместных разведчиков и одновременно бомбардировщиков. Воинская часть, стоявшая на московском аэродроме, была уже оснащена этими самолетами. Наконец один экземпляр «Фоккер С-4» дали и в школу для ознакомления. Он попал в мой ангар. Представитель фирмы «Фоккер», солидный седой немец, как-то заинтересовался:

— А кто у вас первый полетит на нашем самолете?

Ему указали на меня. Одет я был более чем скромно: на голове папаха из нитяной смушки, поношенная куртка и такие же брюки, выдавшие виды валенки. На лице немца появилось плохо замаскированное ироничное удивление. Я же земли под ногами не чувствовал. С нетерпением ждал окончания сборки. Наконец желанный миг настал. Предстоящий полет, как всегда, настолько обдумал от начала до конца, что, казалось, уже совершал его несколько раз...

У меня, как и ранее, в первом опыте высшего пилотажа на «виккерсе», имелся свой творческий замысел, своя комбинация фигур, сочетавшая техничность и художественность исполнения. Трудно сказать, насколько сознательно я использовал тогда те способности и навыки, которые выработал в себе как художник (рисунок, композиция) и как спортсмен (динамика, пластика движения), но и то и другое, несомненно, сказалось в моей индивидуальной манере пилотажа. В дальнейшем я старался совершенствовать ее, создал свой, как принято говорить, почерк, и товарищи по профессии, увидев в небе фигуры высшего пилотажа, легко определяли: «Это Громов, видно птицу по

полету». Мне трудно доступно рассказать человеку, далекому от авиации, об этом почерке, но какое-то представление о нем я хочу дать (а это я буду делать и дальше), последовательно описав тот каскад фигур пилотажа, который я проделал. Может быть, это и слишком технично, но иной возможности довести до читателя зрительное представление о происходящем в воздухе я не вижу, так как средствами кинорепортажа не располагаю.

Вырулив на старт, я дал полный газ и, как только самолет оторвался от земли, начал спираль с большим креном сначала влево, затем вправо, энергично перешел в горизонтальный полет, а затем сделал переворот влево, из переворота перешел в петлю, из петли в правый переворот и снова две петли подряд. На высоте пятидесяти метров я при выходе из петли поставил самолет с вертикальным креном сначала влево, скользя, переложил вправо и после этого пошел на посадку. Полет кратковременный, но весьма эффектный. Подрулив к ангару, я сошел с самолета и первым встретил немца. С улыбкой уже далеко не кислой он удивленно разглядывал меня. Подарил на память какой-то необыкновенный карандаш, зажигалку и что-то восторженно восклицал на немецком языке. Я был удовлетворен, мои товарищи тоже.

Весной 1923 года наиболее опытных инструкторов московской школы, в число которых попал и я, вдруг направили в Серпухов для обучения и экстренного выпуска нескольких групп учеников. Я огорчился. В то время я уже почувствовал, что такое новый самолет, прогресс в технике, увлекся теми возможностями, которые давала мне московская школа. С этим посчитались и дали обещание осенью снова вернуться в Москву. Сел я в свой «мартинсайд», захватил комплект белья и банку варенья, чтобы по прилете с горя попить чайку (тогда я ничего не пил, кроме молока и чая), и полетел...

В Серпухове опустился на заливной луг с мягкой некошенной травой, как на перину. Механики приняли самолет, а я с маленьким чемоданчиком пошел в монастырь, в котором расположился личный состав школы. Меня пригласил к себе один семейный старый инструктор. Сели, как водится, за чай, я поставил свою банку варенья и сразу почувствовал себя как дома. Гостеприимный хозяин предложил обосноваться у него, но случилось так, что только я поднялся из-за стола и вышел в монастырский двор, меня окликнул знакомый голос московского приятеля Николая Анчутина.

— Слон, идем ко мне! У меня отдельная келья, и я один-одинешенек. Есть лишняя кровать и примус, а по утрам молочница приносит молоко.

Меня это вполне устраивало.

За стеной нашей кельи протекала река Нара. На ее берегах водилось множество лягушек и соловьев. Хор весьма многоголосый и полногласный. К счастью, когда появлялась луна, лягушки умолкали и соловьи без помех давали нам незабываемые концерты. Я выходил из кельи и в безмолвной тишине наслаждался их пением.

Но, увы, келейной жизни не получилось. Анчутин — очень веселый, общительный холостяк — в свободные вечера собирал у себя приятелей, начинались песни, пляски, бражничество. В таких случаях я обычно уходил в гости к инструктору Леониду Александровичу Юнгмейстеру, тоже холостяку, но в отличие от общительного Анчутина жившему замкнуто. Развеселые ребята, посещавшие нашу келью, над ним подтрунивали:

— Он пьет только молоко и любит только свою маму.

А на самом деле он был человеком большой души и большого сердца, любил музыку, поэзию, пел романсы Чайковского и Рубинштейна. Изумительно проникновенно читал он стихи Маяковского и наизусть знал целые страницы из произведений Гоголя. Навсегда запомнилось мне его пение, декламация, лиричность и никогда не покидавший его юмор. Леонида Александровича нет уже с нами, но дружили мы с ним до последнего дня его жизни. Остались друзьями мы и с Анчутиним — полной противоположностью Юнгмейстеру. Каждый из них в какой-то мере характерен для среды летчиков тех времен. Но скажу прямо: для меня, летчика, воспитанного на строгих традициях московской школы, не по душе пришлось излишне разудалые в быту приятели моего друга. Наша четверка тоже умела веселиться, но не так, совсем не так! Впрочем, гулянки в келье вскоре прекратились — начальником школы назначили волевого и требовательного Астахова. Он сразу взялся за укрепление дисциплины и в короткий срок навел в школе образцовый порядок.

Для меня лично эти перемены прошли незаметно — внутренняя дисциплинированность никогда не покидала меня. Вскоре меня заметили и здесь как опытного летчика — многие опытные инструкторы старались перенять мой летный опыт. Моя группа считалась передовой. Когда в серпуховскую школу прибыл Валерий Чкалов, его прикрепили к моей группе, и я проводил с ним занятия по воздушному бою и стрельбе по мишеням. Чкалов летал напористо, храбро, но несколько резковато — такой уж был у него характер, — и с ним не так-то легко было сработаться, но в те дни у нас окрепло взаимное уважение. Астахов внимательно следил за моей работой с группой и моими полетами. Много лет спустя, когда он стал маршалом авиации, а я — уже известным летчиком, меня порадовал его лестный отзыв обо мне: Громову-де не страшны ни вода, ни огонь.

Собственно, такие качества свойственны пилотам по призванию — их не может опугнуть никакая опасность. Вспоминается в связи с этим французский анекдот. Один моряк собрался в плавание. Его спросили: «Где умер твой отец?» «Погиб в море» — был ответ. «А дед твой?» — «Тоже в море». — «А прадед?» — «Тоже в море». — «Так зачем же ты собираешься?» Тогда моряк спросил собеседника: «А где умер твой отец?» «В постели», — ответил тот. «А дед?» — «Тоже в постели». — «А прадед?» — «Тоже в постели». «Так почему же ты не боишься ложиться в постель?» — спросил моряк.

Моряк мне больше по душе.

Выполнив порученное мне задание в Серпухове, я снова вернулся в Москву. Здесь я мог продолжать тренироваться на самых лучших самолетах того времени.

(Продолжение следует)



МАРИЯ БАЛАНИНА



УСТРЕМЛЕННЫЙ К ЗВЕЗДАМ

К 70-летию со дня рождения академика С. П. Королева

I

Сообщения ТАСС о запусках космических кораблей, в создание которых вложен труд моего сына Сергея Павловича Королева, наполняют сердце матери радостью и гордостью. Но это гордость не только за сына, но и за его соратников — последователей идей Циолковского, за нашу великую социалистическую родину.

Мне без малого девяносто лет. Я вырастила сына, внучку, воспитываю правнуков. Много видела и пережила за свою долгую жизнь и потому с уверенностью смею сказать: то, чего добился мой сын Сергей, он смог достичь только благодаря поддержке партии и правительства, всего советского народа. Они дали ему главное — возможность осуществить свои замыслы, начать изучение космического пространства, устремиться в просторы мироздания.

Нельзя забыть полных глубокого смысла слов Леонида Ильича Брежнева, сказанных им о моем сыне и Юрии Гагарине с трибуны съезда комсомола. Вот эти слова. Я их выписала в свой дневник: «Учитель и ученик. Главный конструктор космического корабля и первый космонавт планеты. Выпускник строительной школы 20-х годов и «ремесленник» трудной послевоенной поры. Страна, где люди, начавшие свою трудовую жизнь с подручного кровельщика и ученика литейщика, овладевают высотами знаний, прокладывают человечеству путь к звездам, — замечательная страна! В судьбах Королева и Гагарина — ярчайший пример того, какие широкие просторы и возможности открывает социализм перед человеком труда, перед нашей молодежью».

То, что начал Королев, продолжают его соратники, ученики.

Помню, он однажды прочитал мне стихи:

Кружат в небе планеты,
Сестры нашей Земли.
Твердо верим — ракеты
К ним домчат корабли.

И мое сердце каждый раз радостно бьется, когда я узнаю о новых победах в космосе, когда называют имена новых героев, Гагаринских космических трасс.

II

Вскоре после смерти сына из Житомира ко мне приезжали представители городского Совета и просили вспомнить, где, в каком доме в январе 1907 года родился их земляк. Это стоило мне больших усилий: ведь с тех дней прошло почти шестьдесят лет. Сообща добрались до истины. На карте города мы вначале нашли квартал, затем улицу, а наконец и одноэтажный дом. Позднее мне сообщили, что разыскали даже старушку вроде меня, которая помнит нас, учителей Королевых.

Теперь на доме, где родился сын, укреплена мемориальная доска, а в самом здании находится музей его имени. В июле 1970 года я вместе с Наташей, дочерью Сергея

Павловича, и внуком Андреем приезжала на его открытие. Музей был организован благодаря большому вниманию и заботе, которые проявили Житомирские областной и городской комитеты партии, исполком горсовета, комитеты комсомола, общественность города. Мне порой было нелегко, ведь Сергей собирался жить и жить... Не могу не поблагодарить энтузиастов создания музея О. Чернобривцеву, З. Гурвича, Ж. Белову, Г. Резниченко. Огромную признательность хочу выразить Академии наук СССР, Центральному Комитету комсомола. В день открытия музея на житомирском аэродроме прошел красочный воздушный праздник, собравший тысячи горожан. Там же проходили и соревнования, как говорил К. Э. Циолковский, «юных воздухоплавателей», а по-нынешнему — ракетомоделистов, приехавших в Житомир со всех концов страны. Свои соревнования они посвятили памяти Сергея Павловича.

Трудно забыть встречу и то внимание, которое мне было оказано на родине сына. В центре города ныне установлен великолепный памятник Сергею Павловичу. Ваятель Олейник, хотя и не встречался с моим сыном, создал правдивый, достоверный его скульптурный портрет. Материнское спасибо ему, как и всем житомирцам, бережно хранящим память о своем земляке.

В Житомире мы жили совсем недолго. Примерно через год с небольшим после рождения Сергея мы с мужем переехали в Киев. Я поступила на Высшие женские курсы и окончила германо-романское отделение филологического факультета. Позже я учила сына французскому языку. Немецкий и английский Сергей выучил, уже будучи взрослым. По-английски он читал технические журналы, а по-французски и по-немецки немного говорил.

Годы в Киеве, однако, не принесли радости и счастья. Наша семья вскоре распалась. Тут ни к чему объяснять причины, в жизни всякое бывает. Отец Сергея Павел Яковлевич Королев¹, по профессии учитель, слыл человеком широкообразованным и умным. Прежде чем стать преподавателем гимназии, он окончил филологический институт в Нежине, тот самый, в котором в свое время учился Гоголь. Несмотря на мой отказ, Павел Яковлевич добился от моих родителей Николая Яковлевича и Марии Матвеевны Москаленко согласия на брак со мной. Было мне тогда всего семнадцать. Отец и мать были люди твердых правил и считали, что дочери незачем ехать куда-то учиться, а лучше выйти замуж. У меня были еще два брата и сестра. После разрыва с мужем трехлетний Сережа стал жить в родном для меня маленьком городке Нежине, где у моего отца был свой домик.

III

Грамоте Сережа научился рано. Брат Юрий преподавал в Лодзи и, навещая отца с матерью, дарил мальчишке игрушки и книжки. Дедушка показывал ему буквы, бабушка учила из кубиков складывать слова. Для всех однажды оказалось сюрпризом, что внук уже «грамотный». Писал он слова печатными буквами и довольно своеобразно. Сейчас хранится автограф, где цифра «2» и твердый знак смотрят в обратную сторону. Позднее мальчик некоторое время занимался с учительницей гимназии, поселившейся у нас в доме. Если память не изменяет, ее фамилия Гринфельд. Биографы Королева встречались с ней. Вспоминая тот период жизни, она говорила, что Сережа понравился ей любознательностью, смысленностью и бойкостью. Он уверенно решал задачи на все четыре действия и знал счет до миллиона.

Живя в Киеве, я старалась как можно чаще навещать сына. Мальчик всегда встречал меня радостно, торопясь показать свои невысокие, правда, но красивые сооружения из набора детских строительных материалов. Кстати, еще с детства Сергей не любил пользоваться чьей-либо помощью. Он стремился все делать сам.

В те чудесные украинские вечера, когда я бывала в Нежине, мы часто сидели

¹ Королев П. Я. (1877—1929) примыкал к демократической, революционно настроенной части интеллигенции Житомира. Из документов известно, что, будучи преподавателем гимназии, он выступал в защиту национальных меньшинств, подвергавшихся при царизме всяческим ограничениям. П. Я. Королев бывал в доме у Г. А. Мачтета — автора одной из любимых песен В. И. Ленина «Замучен тяжелой неволей».

с сыном на крылечке и «летали» на сказочном ковре-самолете. Я сама очень люблю эту сказку. Мы фантазировали, фантазировали...

Сын быстро запоминал рассказанное. Память у него всю жизнь была исключительной. Сергей был впечатлительным, хотя и несколько замкнутым, и не по годам серьезным. Наверное, причина тому — окружение взрослых.

IV

В 1916 году я стала женой инженера Баланина², и в 1917 году, взяв с собой Сергея, мы переехали в Одессу. Жили мы на Платоновом молу, на самом берегу моря, в служебной квартире электростанции порта, начальником которой стал мой муж. Из окон было видно море, редкие суда и гидросамолеты, поднимающиеся в воздух. Это тоже располагало мальчика к полету фантазии. И вот однажды за обедом, не помню точно, сколько ему было лет, он попросил:

— Мамочка, дай мне две крепкие простыни, не пожалей.

— Зачем?

— А я по большой трубе электростанции взберусь наверх, привяжу к рукам и ногам простыни, взмахну руками и полечу, полечу, как птица.

Немало усилий пришлось приложить, чтобы убедить его в неосуществимости подобного полета.

Вначале Сережа учился в одесской гимназии, потом ее закрыли, и он какое-то время занимался дома. Когда в Одессе была восстановлена советская власть, сын поступил в Первую строительную профессиональную школу. Она находилась, кажется, где-то на улице Петра Великого. Я не записывала ни дат, ни событий. Разве могла я думать, что моему сыну будут устанавливать памятники, что он заслужит такое признание и уважение народное... По окончании школы Сергей вместе со средним образованием получил специальность каменщика и черепичника. Стал подрабатывать. Школа сыграла полезную роль в формировании его характера и мировоззрения. Там подобрался удивительный по составу преподавательский коллектив, который не только дал подросткам прочные знания и профессию, но также привил им высокие гражданские идеалы. В школе были мастерские. Сергеем они пришлись по душе. Позднее, когда он начал строить планеры, все это ему пригодилось.

Сергей увлекался книгами. Страсть к чтению сохранилась у него на всю жизнь. Когда он умудрялся читать, особенно в последние годы, просто не знаю. Как-то я спросила его, не попадалась ли ему заинтересовавшая меня книга «Туманность Андромеды». Я была поражена, когда он сказал, что уже успел ее прочитать³.

Что он читал в юношестве? Гоголя, Льва Толстого, Есенина. «Войну и мир» перечитывал несколько раз, не переставая восхищаться. Многие отрывки из этого гениального романа знал наизусть. Я уж не говорю о стихах Сергея Есенина. Любил он также слушать произведения украинских писателей, которые я читала вслух. В доме выписывались многие отечественные и зарубежные технические журналы, которые не оставались вне поля зрения сына. Но на полках нашей библиотеки были и Майн Рид, и Фенимор Купер, и Александр Дюма. Сергей мог часами слушать музыку, и особенно Чайковского. Это его самый любимый композитор. Моя мать часто музицировала, и музыка сопровождала Сергея все его детство. Одну зиму Сергей даже учился игре на скрипке. Это было в Одессе, мальчику было уже тринадцать лет. Но вскоре он понял, что слишком поздно взялся за инструмент, да и материальная сторона также сыграла определенную роль. А точнее всего — именно страстное увлечение планеризмом навсегда оторвало Сергея от скрипки. Но привязанность к музыке он сохранил и позже.

² Баланин Григорий Михайлович (1881—1962)—отчим С. П. Королева, был человеком разносторонне образованным, обладал широким научно-техническим кругозором.

³ В журнале «В мире книг» № 4 за 1974 год в статье «Окно в космос» приведены слова С. П. Королева о значении книг: «Без книги, как без воздуха, человек жить не может». Личная библиотека академика насчитывала несколько тысяч томов научно-технической, политической и художественной литературы.



Я уже говорила, что Сережа был мальчиком очень впечатлительным. И тут вспоминается эпизод из далекого детства. В 1910—1911 годах свои полеты на аэроплане демонстрировал знаменитый летчик Сергей Уточкин. Я, например, видела его в Киеве. Был он и в Нежине, где в те годы жил Сережа. Отец мой рассказывал, что они с матерью и шестилетним внуком ходили смотреть аэроплан. Сергей сидел на плечах деда и, затаив дыхание, не сводил глаз с диковинной машины, поднявшейся в воздух. Она не походила на ковер-самолет, о котором я ему рассказывала. Но, возможно, первая увиденная рукотворная птица оставила в душе Сергея неизгладимый след.

И вот Одесса — огромный город-порт. Первые гидросамолеты произвели на сына сильное впечатление. Одесский порт стал для Сергея как бы вторым домом. Гражданских туда не пускали, но разве удержишь мальчишек! Они гоняли там где хотели. В какой-то гавани на глухих молах размещалась авиационная база. Сергей, очевидно, завел там какие-то знакомства. У него уже появился особый интерес к небу, авиации. Однажды, году, кажется, в 1923-м, мы шли с сыном по Пушкинской улице. Между нами произошел примерно такой разговор.

— Мама, дай мне пятьдесят копеек, — попросил сын.

— Хорошо, — ответила я, — но скажи, на что ты хочешь их израсходовать?

— Мне необходимо поступить в летное общество.

А потом в доме появилась всевозможная техническая литература — книги, справочники, учебники, журналы, особенно по авиации и планеризму. Сергей читал их с увлечением, наиболее важное выписывал в тетрадку. Вскоре на листах бумаги появились первые наброски планера. Так незаметно родился первый планер марки «Сергей Королев» («СК»). Мне казалось, что планеризм — временное увлечение сына, и я не придавала этому серьезного значения. Откуда мне было знать, что крылья планера — лишь маленькая, но все же ступень дороги, ведущей в космос. Мало ли ребят в те годы увлекалось авиамоделизмом... Но когда Сергей от карандашных набросков перешел к расчетам не модели, а непосредственно планера, способного поднять на себе человека, стал все чаще обращаться за советами к отчиму-инженеру (кстати сказать, он также участвовал в одном из кружков планеристов), я уже по-другому взглянула на сына. И еще одна деталь: Сергей не только сам проектировал планер, но и читал лекции, руководил занятиями планеристов. Позднее я видела справку о том, что Сергей состоял в кружке планеристов губотдела с июня 1923 года. В ней отмечается активное участие его во всех работах.

Конечно, живя у моря, сын научился плавать и любил с товарищами заплывать далеко. Так, вероятно, они как-то оказались на базе отряда гидросамолетов и зачастили туда. Сережа часами мог смотреть на машины, пока однажды дежурный не сказал:

— Чего зря сидеть-то, помог бы лучше перенести моторы.

И он был счастлив. Потом кто-то из летчиков попросил помочь разобрать мотор.

— Научись же — я тебя возьму, парень, с собой в полет.

Так завязалось знакомство. Я об этом ничего не знала. Он не хотел меня волновать. Но как-то он проговорился. Гуляли мы с Сергеем по городу. День стоял чудесный. Над синим морем в небесной голубизне медленно плыли кучевые облака. Я обратила внимание сына на них:

— Посмотри, как красиво.

— Если бы ты видела, какие они красивые вблизи, когда их золотит солнце!

— Вблизи? — переспросила я, а у самой сердце сжалось.

— Не волнуйся, мамочка, — успокоил меня Сережа. — Это не опасно. Когда я буду летать сам, я подниму и тебя на самолете.

Припоминается, что этот разговор состоялся в конце 1922 — начале 1923 года.

VI

Меня нередко спрашивают, когда у Сергея окончательно созрело решение стать авиационным инженером. Отвечу: еще в Одессе. У нас была долгая беседа по этому вопросу, когда он оканчивал среднюю школу. Он сказал, что хочет непременно учиться в Москве в Академии воздушного флота, которая ныне носит имя Жуковского. Мне, по

правде говоря, вначале не хотелось, чтобы сын стал летчиком. Больше всего потому, что боялась опасности, которая вечно будет подстерегать сына. Но он был настойчив. Он убеждал меня в том, что профессия инженера-летчика — это очень интересная, важная профессия. Он говорил, что наша родина должна стать могучей авиационной державой и этого обязана добиться молодежь. Может быть, именно тогда я впервые почувствовала, что передо мной не мальчик, а юноша со сложившимися взглядами на жизнь. Помню, что наш разговор закончился словами Сергея:

— Я хочу иметь живое, полезное людям дело. Строить самолеты и планеры. Самому летать на них. Мне нужны знания, и я их могу получить только в военно-воздушной академии.

Давно подмечала, что у Сергея есть конструкторская жилка. Нередко любовалась его чертежами, которые поражали меня ясностью и тщательностью. Отчим, инженер-электромеханик, сам прекрасный чертежник, нередко говорил, что у мальчика настоящий талант. Заставала я сына и в таком положении: сидит он на стуле, а перед ним другой и он как будто чем-то управляет. Ему не терпелось увидеть воплощенными свои чертежи планеров. А позднее, уже в Москве, табуретки, стулья и другие предметы домашнего обихода нередко становились как бы частью будущих его конструкций. Бывали случаи, когда сын просил меня сесть в такой «самолет» и спрашивал:

— Тебе удобно, мама? Как ты думаешь, этот прибор не очень далеко?

Сергей еще в юношеские годы разработал конструкцию планера, одобренную авиационно-техническим отделом Общества воздухоплавания и авиации Украины (ОВАУК). Наверное, эта первая одержанная им победа сыграла важную роль в окончательном выборе профессии. Забегая вперед скажу, что в октябре 1930 года на Всесоюзных планерных соревнованиях в Крыму планер «Красная звезда» конструкции Сергея Королева оказался в центре внимания авиационной общественности. Летчик Василий Степанчонок впервые в истории воздухоплавания выполнил на планере в свободном полете петлю Нестерова. Не подумайте, что Сергей изменил своему слову — самому строить, самому испытывать. Просто тяжелый тиф и последовавшие за ним осложнения надолго уложили в постель моего сына.

Настойчивость, с которой Сергей стремился в небо, в авиацию, побудила меня дать согласие на то, чтобы сын поехал учиться в воздушную академию. Решила помочь ему в этом и, кажется, в июле 1924 года приехала в Москву и обратилась к руководителям академии с просьбой о приеме сына в число слушателей. Меня огорчили. Оказывается, слушателем ее мог быть только человек, имеющий звание не ниже лейтенанта. Сергею же тогда исполнилось только семнадцать лет. Я просила сделать исключение для сына, который так страстно хочет стать авиационным инженером. На моего собеседника определенное впечатление произвела лишь справка о разработке Сергеем Королевым планера собственной конструкции.

Приехав домой, сообщила обо всем Сергею. Конечно, мы не питали никаких надежд, что академия откликнется на нашу просьбу. В это время стало известно, что в Киевском политехническом институте открывается механический факультет с авиационным уклоном. В Киеве жил мой брат. Вскоре он сообщил, что сына могут принять без экзаменов. Так Сергей стал студентом Киевского политехнического института (КПИ) ⁴.

Но академия не забыла о нас. В ноябре пришло письмо, извещавшее, что Сергей Королев зачислен слушателем академии. На семейном совете было, однако, решено, что Сергей остается в Киеве.

VII

О главной черте характера Сергея Королева тех лет.

Мне трудно говорить. Я мать. И все же как человек, много проживший и немало познавший, могу сказать: упорство и энергия, жажда знания. Но самое удивительное —

⁴ В КПИ С.П. Королев учился в 1924—1926 годы. Представляет интерес его заявление с просьбой принять в институт. В нем есть строки: «... работал в губотделе общества авиации и воздухоплавания, принимал участие в конструктивной секции авиационно-технического отдела. Мною сконструирован безмоторный самолет оригинальной системы — «К-5». В течение года руководил кружком. Все необходимые знания по отделам высшей математики и специальному воздухоплаванию получены мной самостоятельно, пользуясь лишь указанием литературы специалистов технической секции...»

необычайная целеустремленность. Как часто юноша и девушка мучительно решают: кем быть? Поступают в одно учебное заведение, проучившись год, бросают. Или бывает еще хуже: оканчивают вуз и всю жизнь работают, не любя своей профессии, вполсилы. Сергей уже в пятнадцать твердо выбрал путь в жизни и шел по нему, не отклоняясь ни на шаг. Шел к одной-единственной цели — стать не просто инженером, а строить планеры и самолеты, а позднее — с 30-х годов — конструировать ракеты.

Сергей всегда был человеком удивительного жизнелюбия. Он умел как никто ценить людей. В минуты жизненных испытаний никогда не падал духом, проявлял громадное самообладание, оптимизм. Надо сказать еще об одной его черте. Будучи прирожденным диалектиком, сын рассматривал все в развитии, во взаимосвязи с другими явлениями и процессами, и это всегда помогало ему в принятии важных решений. Сына справедливо называют одержимым. Он отдавал себя любимому делу целиком, без остатка. Но не подумайте, что он был аскетом. Можно сказать, что ничто человеческое не было ему чуждо.

VIII

В Москве, в комнате на Октябрьской, где мы жили после переезда из Одессы, состоялось организационное заседание гирдовцев. Вечером накануне Сергей сказал мне: — Придут товарищи. У нас будет деловой разговор.

Сергей в ту пору был еще холост. Мебели в его комнате стояло немного: письменный стол, на котором всегда лежали листы ватмана. Стол этот имеет свою историю. Он приобретен еще в Одессе. За ним Сергей занимался и делал первые чертежи планеров, а позднее его перевезли в Москву. Здесь сын вместе с друзьями (тогда он учился в МВТУ) проектировал планеры и легкие самолеты. На столе частенько лежала моя записка: «Прошу пользоваться пепельницей. Я не в состоянии все убрать». Свой любимый стол Сергей взял с собой, когда женился и переехал на собственную квартиру. У стены комнаты, в которой жил и работал Сергей, стояли чертежные доски. Висел плакат, написанный рукой Сергея: «Окончил, не забудь уйти!»

Ко времени учебы Сергея в МВТУ относится редкая фотография, где сын запечатлен с логарифмической линейкой в руках. Уже будучи взрослым, он увидел этот фотоснимок, внимательно посмотрел на него, словно вспоминая юношеские годы, потом рассмехался и, обращаясь ко мне, сказал:

— Не правда ли, серьезный парень?

В тот вечер, о котором начала рассказ, я познакомилась с ученым Фридрихом Артуровичем Цандером. Он был старше всех — лет сорока, с небольшой бородкой. Его знали как автора многих теоретических работ по космонавтике. Сергей относился к нему с исключительным уважением. Цандер представился мне: «Фридрих Артурович» — и поцеловал руку.

Познакомилась в тот день и надолго сохранила добрые отношения с Михаилом Клавдиевичем Тихонравовым⁵. В послевоенные годы он вернулся в конструкторское бюро сына и многое сделал для развития отечественной космонавтики. Его заслуги отмечены званием Героя Социалистического Труда и Ленинской премией. В числе гостей был и Юрий Александрович Победоносцев⁶, впоследствии профессор, лауреат Государственной премии, принимавший непосредственное участие в разработке знаменитого оружия — «катюши».

⁵ Т и х о н р а в о в М. К. (1900—1974) — доктор технических наук, член-корреспондент Международной академии астронавтики. С 1932 года начал работать в ГИРДе, создатель первой отечественной жидкостной ракеты «ГИРД-09». С 1956 года до конца жизни работал в конструкторском бюро, руководимом С. П. Королевым, принимая активное участие в создании искусственных спутников Земли и первых космических кораблей.

⁶ П о б е д о н о с ц е в Ю. А. (1907—1973) — доктор технических наук, член-корреспондент Международной академии астронавтики. С 1932 года в ГИРДе, где руководил одной из творческих бригад. Под его руководством была создана первая в стране сверхзвуковая аэродинамическая труба, разработаны и испытаны в полете прямоточные воздушно-реактивные двигатели на твердом топливе. Внес значительный вклад в разработку теории пороховых ракетных двигателей, в создание гвардейских минометов («катюш»).

Собравшиеся сидели долго, горячо спорили и вышли из дому часов в одиннадцать. Сергей проводил их, а возвратившись, радостно сказал:

— Ну вот, мамочка, и объединились. Теперь от разговоров перейдем к конкретным делам.

В тот день внутри ГИРДа родилась научно-исследовательская и опытно-экспериментальная группа. Хорошо помню, что скептики тогда расшифровывали ГИРД как «группа инженеров, работающих даром». Действительно, вначале энтузиасты ракетного дела работали на общественных началах. В это дело вложен и мой «вклад» — пара серебряных ложек. Они понадобились для пайки каких-то деталей, а достать серебро было негде. Вот и пришлось поделиться. Нередко сын занимал у меня деньги:

— Понимаешь, получил зарплату, но надо было заплатить чертежникам. Мы с тобой потом рассчитаемся.

Надо сказать, что Сергей свое слово держал крепко. После того как муж вышел на пенсию (это было в 50-е годы), Сергей всегда охотно восполнял образовавшуюся разницу между пенсией и его прежним окладом. Иногда шутил:

— Это тебе, мамочка, за серебряные ложки.

Мне случалось бывать на Садово-Спасской, где размещались производственные мастерские ГИРДа. Но, конечно же, я не думала, что именно здесь будет положено практическое начало великому делу проникновения человека в космос.

В эти годы Сергей не только много работал как конструктор, но и часто выступал в печати со статьями, пропагандируя ракетное дело, вел широкую переписку с учеными, готовил книгу. Она вышла в 1934 году под названием «Ракетный полет в стратосфере» и открывалась портретами Циолковского и Цандера. Сергей в это время уже работал в Ракетном научно-исследовательском институте, созданном в результате объединения ленинградских и московских энтузиастов ракетного дела. Не раз перечитывала я эту книгу и тогда и уже позже, когда над миром встала заря космической эры. Меня поражала уверенность, с которой Сергей почти за четверть века до первого искусственного спутника Земли утверждал: «В самом недалеком будущем ракетное летание широко разовьется и займет подобающее место в системе социалистической техники».

IX

Вначале труды Циолковского, а потом и личная встреча с Константином Эдуардовичем вызвали у Сергея повышенный интерес к ракетному летанию. Тогда этот термин понимался не так, как в наши дни. Речь шла о создании летательных аппаратов, в основе двигателей которых лежал принцип реактивного движения, сформулированный Циолковским.

Сейчас, более чем десять лет спустя после кончины сына, кое-кто из биографов и историков космонавтики ищет дополнительные доказательства посещения Сергеем Павловичем калужского ученого. Мне хорошо помнится рассказ сына о короткой встрече в 1929 году с Константином Эдуардовичем, которая, однако, потрясла его верой в перспективы космоплавания. Сергей привез из Калуги несколько сочинений Циолковского с дарственной надписью. Я их не только видела, но держала в руках и читала. Книги долго хранились в нашей семье. Как сейчас перед глазами три небольшие брошюры. В годы войны их берегла Наташа. У дочери также находилась и модель ракеты «09» конструкции Тихомирова, что первой в нашей стране поднялась в небо на жидкостном реактивном двигателе. После войны и возвращения Сергея в Москву брошюры и модель ракеты мы с Наташей передали их владельцу. Сын был очень счастлив, что мы берегли эти бесценные реликвии. Модель ракеты сохранилась, а книги...

Меня часто спрашивают: не встречался ли сын с Циолковским в 1932 году, когда тот приезжал в Москву, где всеоюзный староста Михаил Иванович Калинин вручил ему орден Трудового Красного Знамени. Наверное, но содержание встреч память не сохранила. Несколько раньше, когда в Калуге отмечалось семидесятилетие Константина Эдуардовича, Сергей послал юбиляру поздравительную телеграмму от имени гирдовцев и от себя лично. Думаю, что это делается только в случаях личного знакомства. Позднее Сергей писал известному популяризатору науки Я. И. Перельману: «...будет и то

время, когда первый земной корабль впервые покинет Землю». Никогда раньше до встречи с Циолковским, после которой Сергей решил строить ракеты и летать на них, эта мысль так четко им не высказывалась.

Известна также служебная автобиография, написанная Сергеем в июне 1952 года и уместившаяся всего на двух страничках. Но и в ней сын счел себя обязанным подчеркнуть влияние на него идей Циолковского и самой встречи с ним. Он указывает: «С 1929 года, после знакомства с К. Э. Циолковским и его работами, начал заниматься вопросами специальной техники». Это было еще раз данью уважения калужскому ученому, которого Сергей считал своим учителем и перед гением которого преклонялся всю жизнь. Одним из знаков внимания к Циолковскому явился и факт отправки ему книги «Ракетный полет в стратосфере», о которой я уже говорила. Сын не написал обратного адреса, и, по-моему, только потому, что не хотел затруднять пожилого человека необходимостью отвечать, в этом следует видеть прежде всего проявление скромности и тактичности Сергея. Между тем труд сына понравился знаменитому ученому. В письме в стратосферный комитет Константин Эдуардович, упрекнув сына за «забывчивость», попросил: «Если возможно, передайте ему мою благодарность и сообщите его адрес. Книжка разумная, содержательная и полезная»⁷.

Циолковский и Цандер — это те ученые, которые на первых порах, бесспорно, оказали наиболее сильное влияние на сына, на его формирование как ракетчика. Надо сказать, что Сергею вообще всегда везло на людей. Его окружали люди высокого полета мысли. Он относился к ним с уважением, а они с удовольствием делились своими знаниями, сотрудничали с ним, видимо, чувствуя в нем незаурядную личность. Много лет Сергей был связан узами дружбы с замечательными летчиком Михаилом Михайловичем Громовым. Совсем недавно он был моим гостем. Вспоминали прошлое, говорили о Сергее. Работы сына по созданию реактивных летательных аппаратов в начале 30-х годов поддержал Сергей Иванович Вавилов, впоследствии президент Академии наук СССР. Не случайно его фотография висела в доме Сергея, где он жил последние шесть лет. С большим вниманием к ГИРДу и его руководителям относился известный полководец маршал Тухачевский.

Посетители дома в Москве, где сейчас открыт мемориальный музей Королева, не могли не заметить групповой фотографии. На ней во время одной из бесед запечатлены академики Игорь Васильевич Курчатов, Мстислав Всеволодович Келдыш и сын. Всех их объединяло не только чувство долга перед народом, творческое сотрудничество, но и глубокая взаимная симпатия и уважение друг к другу. Я много раз слышала, с каким особым благоговением сын говорил об академике Курчатове. Многие годы совместной работы связывали Сергея с академиком Валентином Петровичем Глушко. Реактивные двигатели, созданные под его руководством, использовались на всех ракетных разработках сына. Я также давно хорошо знакома с ним.

Наверное, нужно назвать еще не одно доброе имя, чтобы полнее представить круг людей, с которыми или дружил, или тесно сотрудничал Сергей. Это и знаменитый авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев, в студенческие годы руководивший дипломной работой Сергея; и прославленный полководец Отечественной войны Георгий Константинович Жуков; и известные ученые Нораир Мартиросович Сисакян, и Василий Васильевич Парин, и Борис Евгеньевич Патон, нынешний президент Украинской Академии наук. Совсем недавно я ознакомилась с воспоминаниями известного ученого-генетика Николая Петровича Дубинина. В его книге «Вечное движение» есть глава, посвященная космической генетике. Николай Петрович пишет: «Внимание С. П. Королева мы ощущали постоянно. Он, как главный конструктор, берег каждый квадратный сантиметр пространства и каждый грамм веса внутри космического корабля. Но для наших биологических объектов всегда находилось место, и они регулярно летали в космос».

Мне запомнилась фраза, которую нередко и многие годы повторял Сергей:

— Ты знаешь, мамочка, я учусь у всех. Без этого нельзя.

⁷ К. Э. Циолковский в письме от 8 февраля 1935 года в стратосферный комитет сообщил: «С. П. Королев прислал мне свою книжку «Ракетный полет», но адреса не приложил... Не знаю, как поблагодарить его за любезность...» (Далее идут слова, приведенные М. Баланиной.) Пока не установлено, был ли послан в Калугу адрес Королева.

X

Нападение фашистской Германии на нашу страну застало Сергея вдали от Москвы. Как специалиста-ракетчика его посылают в одно из конструкторских бюро, работавших на оборону родины. Я процитирую страничку из воспоминаний Валентина Петровича Глушко, которого военная пора снова свела с сыном. «Началась Великая Отечественная война, и в первый же военный год наша организация стала опытным конструкторским бюро по разработке реактивных двигателей. Меня назначили главным конструктором... Мы предложили использовать реактивные двигатели для повышения боевых качеств самолетов. Точнее, мы задумали создать установки для увеличения горизонтальной скорости полета. Самолет, оснащенный таким ускорителем, мог быстро догнать врага, а при необходимости — уйти от него. Кроме того, ускоритель помогал самолету быстрее набирать высоту.

Предложение нашло поддержку у военных организаций. Был разработан двигатель РД-1 с насосной подачей топлива, развивавший тягу до 300 килограммов. Он работал на азотной кислоте и тракторном керосине. Потребовалась установка, которая объединила бы самолет и двигатель в единый комплекс, причем надо было создать ее такой, чтобы не пришлось существенно переделывать самолет.

Конструированием реактивной установки занялся Сергей Павлович Королев, ставший в 1942 году моим заместителем по летным испытаниям. Он горячо взялся за дело и проявил в этой работе весь блеск своего таланта».

В годы войны сын был удостоен первой правительственной награды — ордена «Знак Почета», и всегда очень гордился им, самым первым. А когда гитлеровцы капитулировали, Сергей вернулся к воплощению цели своей жизни — к конструированию ракет. В 1947 году он приступает к выполнению обязанностей Главного конструктора⁸. К тому времени относится и встреча группы ответственных работников оборонной промышленности со Сталиным. В пределах возможного Сергей рассказал мне о ней. Я поняла, что он очень волновался, особенно в те минуты, когда кратко докладывал о разработке ракеты. Всем хорошо известно, как много в те годы весило слово Сталина. Сын говорил, что надеялся на его поддержку. И не ошибся. Вспоминая знаменательную встречу в Кремле, Сергей говорил, что она сыграла важную роль в развитии отечественного ракетостроения.

XI

Хорошо помню выступление Сергея на праздновании столетия со дня рождения К. Э. Циолковского. Было это 17 сентября 1957 года в Колонном зале Дома союзов⁹. Председательствовал академик Несмеянов, президент Академии наук.

В этот вечер состоялось два доклада. Но вначале включили пленку с записью обращения Циолковского к участникам майской демонстрации 1935 года. Это было последнее выступление великого человека. Одна фраза его врезалась мне в память: «Теперь, товарищи, я точно уверен в том, что и моя другая мечта — межпланетные путешествия, — мною теоретически обоснованная, превратится в действительность».

Я с нетерпением ждала доклада сына. Он сидел во втором ряду президиума, недалеко от своего авиационного учителя Туполева. Объявили сына. Сергей быстро шагнул к трибуне. Я старалась не пропустить ни единого слова. Сперва мне показалось, что Сергей очень волнуется, а потому несколько скован. Доклад был написан, и он его читал. Где-то в середине Сергей оторвался от листов и начал просто говорить. Аудитория оживилась, заразившись увлеченностью докладчика, той убежденностью, с кото-

⁸ В 1946 году С. П. Королев возвращается к конструированию ракет, необходимость создания которых требовали интересы обороны родины. В 1948 году под руководством С. П. Королева была сконструирована и испытана в полетных условиях первая советская управляемая баллистическая ракета.

⁹ Незадолго до этого состоялся полет первой в мире межконтинентальной ракеты, созданной в конструкторском бюро, руководимом С. П. Королевым. В сообщении ТАСС от 27 августа 1957 года говорилось: «На днях осуществлен запуск сверхдальней, межконтинентальной, многоступенчатой баллистической ракеты. Испытания ракеты прошли успешно. Они полностью подтвердили правильность расчетов и выбранной конструкции...»

рой он доказывал, что человек обязательно полетит в космос. Когда мы возвращались домой, Сергей спросил:

— Ну как? Не был ли я похож на пономаря?

— Да нет, — успокоила я его. — Тебя слушали внимательно. Мне понравилось. Сергей достал из кармана номер «Правды» с его статьей о Циолковском¹⁰.

— Почти то же самое, что в докладе, только короче, — заметил сын.

Придя домой, я прочитала эту статью.

И через семнадцать дней — первый в мире искусственный спутник Земли. Наш, советский!

ХП

Нет, я не знала даты полета Юрия Гагарина. В тот день, 12 апреля 1961 года, я чувствовала себя неважно и все больше лежала на диванчике. И вдруг — позывные по радио, как во время войны. У меня замерло дыхание. Передают сообщение ТАСС. Я услышала слова: «Юрий Алексеевич Гагарин». Сердце мое бешено заколотилось. Я великолепно понимала, что значит полет в космос для этого юноши и для самого Сергея. Весь час провела в большом волнении. Только одного хотела — чтобы ничего не случилось с молодым человеком и с кораблем. Это было бы крушением давней мечты, всех надежд сына и его соратников, так же одержимых идеей полетов человека в космос, людей, устремленных к звездам. Никогда еще минуты не казались такими длинными. Невероятно великой радостью стало для меня сообщение о благополучном приземлении Гагарина.

Как только Сергей прилетел в Москву, он заехал ко мне. Подошел и крепко обнял. Невольно навернулись слезы.

— Что ты, мамочка!

— Поздравляю тебя, Сергей!

— Спасибо. — Секунду помолчал, словно собираясь с мыслями, а потом сказал с какой-то грустинкой в голосе: — Сам мечтал полететь, сам. Но — годы. И вот — сердце. Да меня и не пустили бы.

— Знаешь, Сергей, как я волновалась все эти минуты.

— А ты думаешь, я не волновался. Был уверен... Но ведь есть во всем доля риска. Могли возникнуть всяческие неожиданности. Я очень, мать, волновался. Теперь все позади. Я виделся, подробно говорил с Гагариным. Настоящий русский богатырь.

Взглянула на Сергея и увидела, каким необычным блеском светятся его глаза.

— Теперь дорога во Вселенную открыта, — с какой-то необычайной уверенностью сказал он. И повторил: — Навсегда открыта его величеству Человеку.

Сергей так громко говорил и так счастливо смеялся, что мне показалось: сын лет на двадцать помолодел. Лицо у него было радостное, одухотворенное, полное энергии.

Сергей в тот раз быстро уехал. У него всегда были дела и день расписан по минутам. Сейчас, вспоминая эту встречу с сыном после полета Гагарина, я могу сказать: он был необыкновенно горд за свою родину, за свой коллектив, тем, что ему удалось первым вывести человека за пределы земной атмосферы. Сергей хорошо сознавал, что этот успех — достижение всего народа. В одной из бесед с журналистом он сказал: «Не забывайте: все, что сделано, делается и будет сделано по созданию ракет-носителей, космических кораблей, подготовке космонавтов, — это результат усилий значительной группы ученых, конструкторов, людей подлинного таланта, целых коллективов. То, чего мы добились в освоении космоса, — это заслуга не отдельных людей, это заслуга всего народа, заслуга нашей партии, партии Ленина».

Но иногда я спрашивала себя: «Кто-то должен был руководить всем этим хозяйством, брать на себя последнее слово в решении того или иного малого или большого вопроса? — И не без гордости отвечала себе: — Этим человеком стал мой сын».

¹⁰ В «Правде» за 17 сентября 1957 года была опубликована статья С. П. Королева. В ней были следующие слова: «Советские ученые работают над вопросами глубокого проникновения в космическое пространство. Сбываются замечательные предсказания К. Э. Циолковского о полетах ракет и о возможности вылета в межпланетное пространство...»

XIII

По телевидению я смотрела приезд Гагарина в Москву, встречу его на Внуковском аэродроме и Красной площади. Сын мне много рассказывал о нем. Сергей всегда говорил о Юрии с любовью к нему, с верой в то, что это будет очень полезный для науки человек.

Надо сказать, что Гагарин понравился Сергею с первой встречи. Теперь известно, что это заметили и друзья Гагарина. Алексей Леонов в воспоминаниях о первой беседе с Главным конструктором пишет, что в тот же вечер он сказал Гагарину: «Ну, Юра, по-моему, выбор пал на тебя». Юрий отшутился. Но время подтвердило верность догадки Леонова.

Как-то случилось так, что личной встречи с героем космоса у меня долго не было. Хотя, не скрою, мне хотелось видеть этого отважного человека, который действительно стал олицетворением молодости нашего народа, как говорил о нем Сергей. И вот встреча произошла. Это было 20 октября 1965 года, я хорошо помню этот день. Дома у Сергея отмечали день рождения его жены Нины Ивановны. Там я впервые и познакомилась с Юрой Гагариным. Сергей подвел его ко мне и сказал:

— Вот моя мама.

За столом мы сидели друг против друга, и я могла наблюдать за ним. Это был очень простой, удивительно веселый, жизнерадостный молодой человек. К сожалению, поговорить с ним не удалось, хотя мне и очень хотелось.

Была произнесена не одна здравица. Сын был в прекрасном настроении и не раз поднимался из-за стола. Он назвал Землю берегом Вселенной. Впервые я услышала из уст Сергея подобный образ, он мне очень понравился. Сергей сказал, что от этого берега космические корабли будут уходить все дальше и дальше в глубь Вселенной. Все собравшиеся заплодировали, но мне показалось, что громче всех бил в ладоши Юрий Гагарин. В этот вечер произносились добрые слова в адрес «новорожденной». С этого начал здравицу и Юрий Гагарин, а затем он обратился к Сергею. Мне хорошо было видно лицо Юры, озаренное той незабываемой улыбкой, которая получала всемирную известность как гагаринская. Он сказал примерно следующее:

— Не прошло и пяти лет после моего полета. Десять моих друзей побывали в космосе. Но еще больше ребят ждут своего звездного часа. Нет, не ради себя, а ради дела, которому они решили посвятить свою жизнь. У ореликов, как вы нас называете, уже крепкие крылья и жажда высоты. Не задержите их на земле.

— Не задержу, не задержу! — откликнулся Сергей и горячо заплодировал Гагарину.

Потом, когда празднество закончилось, я пошла одеваться. Как-то случилось, что Сергея возле меня не оказалось. А я не могла сразу надеть ботики. Тут подскочил Юра, встал на колено и помог мне обуться. Я поблагодарила его и сказала:

— Ну что ж, Юрий Алексеевич, не только за молодыми надо ухаживать, но и за бабушками.

Он рассмеялся, что-то сказал мне в ответ, и мы расстались.

XIV

Последняя встреча с сыном. Так случилось, что мы три дня провели вместе в больнице на улице Грановского. Я долечивалась. 5 января 1966 года лег в больницу и Сергей¹¹. Палаты почти рядом — двадцатая и двадцать седьмая. Судьба! Долгими вече-

¹¹ Первый раз на исследование С. П. Королев лег в больницу 14 декабря, а 17-го вернулся домой с тем, чтобы лечь на операцию после Нового года. 26 декабря академик вместе с женой провел несколько часов в Звездном городке в кругу специалистов и космонавтов.

8 января С. П. Королева в больнице посетили Юрий Гагарин и Андриян Николаев. Вот отрывки из воспоминаний А. Г. Николаева, ныне заместителя начальника Центра подготовки космонавтов, в которых рассказывается об этой встрече:

«Когда мы вошли в палату, то увидели Сергея Павловича сидящего в кресле, напротив него жену Нину Ивановну. На коленях академика лежали заложенная бумажной книгой «Этюды об Эйнштейне», рядом газета «Правда»...

рами мы сидели вместе, вспоминали пережитое, думали о будущем. Но даже здесь, в больнице, Сергей продолжал работать. Он то и дело вынимал из кармана крохотную записную книжечку, которую носил с собой, что-то записывал в нее. Читал книгу Б. Кузнецова «Этюды об Эйнштейне». Звонил на работу, узнавал, как идут дела. Помню, что в один из дней Сергея навестили Юрий Гагарин и Андриян Николаев. Я на их беседе не присутствовала. Настроение после встречи с космонавтами было у сына превосходное.

Сергей был полон новых планов. Как-то мы сидели молча, я смотрела на его голову, обильно покрывшуюся серебром, в его утомленные глаза:

— Ты очень устаешь, Сергей.

— Да. Нет прежних сил, — ответил сын. — Надо кое-что довести до конца, и пора передавать все практические дела молодым. Так хочется заняться разработкой непосредственно теоретических проблем. Их столько! — И через секунду с прежней энергией: — Вот выпишусь из больницы — и на космодром. Мы должны научиться мягко сажать аппараты на Луну. И обязательно научимся.

Я не пропустила в газетах и журналах ни одной статьи, посвященной полетам человека в космос. Естественно, что мое внимание привлекла статья «Шаги в будущее», помещенная в «Правде» в начале 1966 года. Она отличалась обилием фактов, лаконичностью формулировок, убежденностью, что человек поставит себе на службу ресурсы космоса. Я спросила сына, кто написал эту статью.

— А тебе она понравилась? — на вопрос вопросом ответил он.

— Очень.

— Вот и хорошо. — Сергей лукаво улыбнулся, но автора не назвал. — Разве так важно, кто написал статью? Важнее, что она оказалась полезной.

Подпись под статьей была: «Профессор К. Сергеев». Я знала, что это псевдоним сына.

— Ну, как дела? — И в глазах ученого вспыхнул так знакомый нам огонек.

Нам не хотелось утомлять академика рассказом о делах в Звездном городке, хотя и было о чем поговорить. Попытались перевести разговор на житейские темы. Мы с Юрием сказали, что у нас дела идут нормально, в Звездном много снега, что детвора с утра до вечера на улице, что надо бы сходить на охоту, потравить зайцев...

— Значит, на охоту? — иронически переспросил Королев, а потом строго: — Напрасно отвлекаетесь от темы, все равно расспрошу, чем занимаетесь, как идут тренировки. — И увидев, что мы все-таки молчим, улыбнулся. — Ну, тогда я вам скажу. Сейчас заканчиваются последние работы по подготовке к запуску очередного «лунника». — И добавил: — Девятого. — И потом твердо: — Но мы все-таки научимся сажать их на лунную поверхность, мягко сажать, так, чтобы они жили на Луне и передавали нам нужную информацию.

Потом Сергей Павлович завел разговор о том, что завершается пора наземных испытаний нового космического корабля, тогда у него еще не было названия, а позднее он получил имя «Союз». Этому кораблю академик придавал большое значение, заметив в беседе, что он будет более совершенным по сравнению с «Востоком» и «Восходом».

— И вам, Юрий и Андриян, и другим ореликам нужно готовиться к серьезным полетам. Не забывайте наш девиз: дерзать, всегда дерзать!

Помолчал, а потом, строго посмотрев на меня и Юрия, спросил:

— Все же как идет подготовка?

— Все по плану, как намечено, — коротко ответил Юрий.

— Мы уже начали изучать корабль, — добавил я. — Часто бываем в конструкторском бюро и на заводе, где практически знакомимся с конструкцией корабля.

— Это очень хорошо, друзья, — сказал Сергей Павлович, и в голосе его зазвучали довольные нотки.

И начался серьезный деловой разговор.

Юра Гагарин первым почувствовал, что эта беседа не может не утомить Сергея Павловича, и мельком взглянул на меня и на часы:

— Надо закругляться...

Мы пожелали Сергею Павловичу быстрее выздоровления и, попрощавшись с ним и Ниной Ивановой, поехали в Звездный, домой. Конечно, говорили о том, как ученый по-отечески провожал нас в полет, радостно встречал после него, дотошно расспрашивал обо всем, не опуская мелочей.

Мы не думали, что это наша последняя встреча с человеком, которого глубоко уважали, перед энергией и талантом которого преклонялись и который с такой любовью и с таким уважением относился к нам, космонавтам».

Через несколько дней, 14 января 1966 года, Сергея Павловича не стало.

Статья «Шаги в будущее»¹² — последнее выступление сына в печати. В ней есть замечательные слова: «То, что казалось несбыточным на протяжении веков, что еще вчера было лишь дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, а завтра — свершением». Заканчивалась статья решительной интонацией, так характерной для всего облика Сергея: «Нет преград человеческой мысли!»

Вспоминая тот день, я невольно думаю: прошло немногим больше пятнадцати лет, а число землян, побывавших за пределами Земли, скоро приблизится к ста. Всем им открыл дорогу мой сын. И всех их позвал в космос Юрий Гагарин. Так, кстати, и сказал американец Нейл Армстронг, первым ступивший на Луну.

Уже состоялось первый международный полет. Я с волнением следила за ходом работы в космосе наших и американских космонавтов. Больше двух месяцев жили и работали на станции «Салют» Виталий Севастьянов и Петр Климук. И Луна, и Марс, и Венера уже во многом потеряли покров таинственности.

XV

В витрине за стеклом моего домашнего музея космонавтики лежит медаль с изображением академика С. П. Королева и маленькая голубая книжечка. Короткий текст гласит: «Товарищ Баланина Мария Николаевна за воспитание сына — патриота нашей Родины академика С. П. Королева и активное участие в пропаганде достижений СССР в исследовании и изучении космического пространства решением бюро президиума ФАС СССР 10 марта 1975 года награждена медалью им. академика С. П. Королева».

Вначале об этой награде сообщил спортивный комиссар Иван Григорьевич Борисенко, добрый друг нашей семьи. По космическим делам он много раз встречался с моим сыном — регистрировал рекорды в космосе. Я, конечно, была очень растрогана и горда.

Через несколько дней меня и Наташу пригласили в Дом авиации и космонавтики. Там проходили, как я узнала, Гагаринские чтения. Кажется, это было последнее, заключительное заседание. Перед началом одного из докладов академику Борису Николаевичу Петрову, мне и Наташе вручили дорогие нам медали. Аплодисменты присутствующих и торжественность обстановки, конечно, разволновали меня. Я поблагодарила всех за внимание и подумала, что не даром прожила жизнь. В годы, прошедшие после кончины сына, я сделала все что могла — рассказывала людям, как рос, формировался мой сын, как в условиях советской власти он превратился в крупного ученого, заслужив признание всего народа.

Когда Иван Никитович Кожедуб, наш прославленный летчик, вручал мне медаль, я подумала: может ли быть для матери выше награда, чем та, что носит имя собственного сына?..

XVI

В небольшом особняке, окруженном садом, где последние шесть лет жил Сергей, 1 августа позапрошлого года открыт мемориальный музей. К сожатию, я болела и не могла приехать на открытие. Наташа мне потом рассказывала, что все было торжественно, по-праздничному. Церемонию открыл академик В. А. Котельников, он тогда исполнял обязанности президента Академии наук СССР. Присутствовали многие соратники и ученики Сергея Павловича — М. В. Келдыш, В. П. Глушко, космонавт Алексей Елисеев и другие.

Как только поправилась, вместе с Наташей приехала в домик. Вошла во двор и...

¹² Статья академика С. П. Королева опубликована в «Правде» 1 января 1966 года. Надо сказать, что конструктор, несмотря на огромную занятость, на протяжении всей своей жизни часто выступал с различными статьями, посвященными ракетному делу, проблемам изучения и освоения космоса. Он придавал большое значение популяризации идеи о важности и необходимости познавать Вселенную. «Журналистика — большое, многополезное дело, — говорил Королев представителям прессы. — Питал к ней всегда известную слабость и не раз сам охотно брался за перо».

в горле теплый комок. Не была здесь несколько лет; сад разросся — яблоньки стали краше, а березы старше. Постояла, помолчала. Собралась с силами и пошла. Задержалась на секунду возле розария. Сергей любил цветы, когда выпадала свободная минута, ухаживал за ними.

В доме внизу все так, как при жизни сына. Скульптура юноши, запускающего ракету, словно приглашает всех подняться наверх, в кабинет, где Сергей проводил долгие часы в беседах со своими ближайшими сотрудниками, обдумывал планы грядущего.

Наташа помогла мне подняться по деревянной лестнице на второй этаж. Здесь многое по-другому. На стене увеличенный фотопортрет сына, а напротив, где раньше стояли стеллажи с книгами, разместились экспозиция, рассказывающая о его жизни и работе. В витринах фотографии, документы, личные вещи. Не могу на все это смотреть без слез. Уже одиннадцать лет прошло со дня кончины Сергея, а в ушах так и звучит его обычное, когда я приезжала к нему:

— Ну, мамочка, проходи, садись...

...Я рассказывала о гирдовском периоде жизни сына. Сохранилось несколько любительских фотографий. Вот он в кожаном пальто и буденовке среди участников запуска ракеты Цандера «ГИРД-Х». Мне очень дорог портрет, где Сергей в военной форме. На петлицах два ромба: дивизионный инженер (говорят, что это соответствует примерно современному званию генерал-лейтенанта инженерных войск). Снимок относится к 1933 году, ко времени назначения Сергея заместителем начальника Реактивного научно-исследовательского института. В эти же годы снята и семейная фотокарточка: Сергей дома на диване с малышкой Наташей и племянницей Ксаной.

В создании экспозиции музея помогали и по сей день помогают бывшие гирдовцы, товарищи, ученики Сергея, родные и близкие. Сердечная благодарность им всем.

Фотоснимки позволили составить довольно подробный раздел послевоенных лет жизни Сергея. У меня в моем домашнем альбоме тоже есть несколько редких фотографий. На первой Королев в Восточной Германии возле своего автомобиля. На другой — у походного «газика» в обычном рабочем ватнике. Снимок сделан на полигоне в 1947 году во время летных испытаний первых управляемых ракет. Не каждый узнает на снимках Сергея в летном шлеме и неумудренной одежде, в которой он обычно работал на ракетном полигоне. А еще сын запечатлен вместе со своим заместителем Воскресенским. Сергей в потрепанной солдатской шинели и шапке-ушанке, а Леонид Александрович в видавшей виды полувоенной гимнастерке, гражданских брюках, заправленных в кирзовые сапоги.

Не могу оторвать взгляда от снимков. С них Сергей смотрит на меня как живой — то сосредоточенный, то улыбающийся, то грустный...

...А вот безвестный фотограф оставил человечеству снимок: Сергей держит на руках собаку, только что вернувшуюся из внеземного путешествия.

Много, наверное десятка два, снимков запечатлели сына среди академиков Келдыша, Глушко, генерала Каманина и других ученых и специалистов. Сергей с космонавтами Юрием Гагариным, Германом Титовым, Андрияном Николаевым. На одном из них сын поздравляет Павла Поповича с назначением командиром корабля. На другом мы видим его беседующим перед стартом с Владимиром Комаровым, Константином Феоктистовым и Борисом Егоровым. Незабываема фотография, где Сергей, Мстислав Всеволодович, другие ученые и специалисты. Гагарин и Комаров в марте 1965 года встречают вернувшихся из полета Павла Беляева и Алексея Леонова. Это, кажется, один из последних снимков сына на космодроме.

В витрине дома-музея — фотокопия диплома лауреата Ленинской премии, грамота Героя Социалистического Труда. В ней говорится, что сына «за особые заслуги в развитии ракетной техники, в создании и успешном запуске первого в мире космического корабля «Восток» с человеком на борту» Президиум Верховного Совета СССР Указом от 17 июня 1961 года наградил второй Золотой медалью «Серп и Молот».

Потом пришла в кабинет, посидела в кресле. Мне можно. Я ведь особая посетительница. Я любила этот кабинет. Слева застекленные полки с книгами. Справа, у ок-

на, пальма. В центре у стены секретер. На его столешнице книги, журналы, папка с деловыми бумагами. Перед ним глубокое кожаное кресло. Не часто, но я сидела в этом кресле, а напротив — Сергей. И мы порой вспоминали прошлое, говорили о настоящем и будущем.

XVII

В каждой человеческой жизни есть дни, которые навсегда остаются в памяти. У меня, женщины и матери, было несколько таких дней. Первый из них — это, конечно, рождение Сергея. Второй — когда я узнала, что он избран академиком. О запуске спутника, о полете Юрия Гагарина я уже говорила.

Но есть еще один день, который принес мне ни с чем не сравнимые радость и счастье — это 7 октября 1975 года. Включив телевизор, я стала слушать передачу из Дворца съездов, где отмечалось двухсотпятидесятилетие Академии наук СССР. И мне взгрустнулось — Сергей мог бы присутствовать на этом заседании, ведь ему не было бы и семидесяти. Объявили о выступлении Леонида Ильича Брежнева. Слышу знакомые имена деятелей науки. Первым среди них Леонид Ильич назвал гениального Ломоносова. Потом он сказал: «Навсегда прославили отечественную и мировую науку великие ученые Н. И. Лобачевский и Д. И. Менделеев, А. С. Попов и И. И. Мечников, Н. И. Пирогов и И. М. Сеченов, Н. Е. Жуковский и К. Э. Циолковский, И. П. Павлов и К. А. Тимирязев, В. И. Вернадский и А. А. Богомолец, И. В. Курчатов и С. П. Королев».

Чувствую — по щекам текут слезы...

Через пять минут после того, как Леонид Ильич закончил речь, мне стали звонить, поздравлять соратники сына, родные и знакомые, даже незнакомые люди.

Мне хотелось бы закончить воспоминания прекрасными словами Сергея из его статьи «Творчество, вдохновленное Октябрем», опубликованной в «Правде» менее чем за полгода до полета Юрия Гагарина: «Мы живем в замечательное время, когда волею пробужденных Октябрем народов воплощаются в жизнь самые смелые замыслы, когда наша отчизна достигла невиданного в истории величия».

Литературная запись и примечания АЛЕКСАНДРА РОМАНОВА.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ГОРЬКИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ



Среди непреходящих ценностей культуры, прочно вошедших в духовный состав нашего социалистического общества, творческому наследию А. М. Горького принадлежит особое место.

Великий гуманист, вдохновенный Буревестник революции, «безусловно крупнейший представитель пролетарского искусства» (В. И. Ленин), Горький стоит у истоков нашей социалистической культуры как один из виднейших ее корифеев и выдающихся мастеров, как мудрый наставник новых поколений художников. Развитие советского искусства неизменно подтверждало верность и глубину идейно-эстетической программы, разработанной Горьким, зоркость его предвидений, остроту социальной и художественной интуиции.

Уроки Горького с течением лет приобретают все новую силу и злободневность. Художественное и теоретическое наследие Горького для идущих за ним — огромной важности школа последовательно партийного, подлинно классового подхода к явлениям действительности, позволяющего обнажить их сокровенную основу и различить ведущие тенденции времени.

Осознанная партийность в оценке жизненных явлений непременно предполагает — наряду с их анализом и освещением с позиции пролетариата как самого передового класса — горячий пафос революционного переустройства мира на подлинно справедливых коммунистических началах. Революционная энергия, дух активного гуманизма, пронизывающие горьковское творчество, в огромной степени и определяют его неугасающую действенность.

В Отчетном докладе товарища Л. И. Брежнева XXV съезду КПСС с новой силой прозвучала мысль о том, что «деятельность нашей партии, ее устремления направлены на то, чтобы сделать все необходимое для блага человека, во имя человека». Эти слова, выражающие сокровенную суть, внутренний пафос всей практической работы партии — ее неизменную заботу о благосостоянии, духовном росте советского человека, — позволяют в то же время еще лучше постичь, насколько созвучен Горький нашему дню, как близок сам дух его творчества созидательной устремленности общества развитого социализма.

И вполне закономерно, что на недавнем VI съезде советских писателей как один из важнейших встал вопрос о высоте и четкости гуманистических критериев, которыми руководствуются наши мастера слова, создавая образ современника, показывая жизнь страны в ее неуклонном движении к коммунизму. Всем ходом, внутренней логикой, энергией этого движения проблема человека, столь волновавшая Горького, поднята у нас на новую высоту.

Известно, что в процессе живого развития искусства социалистического реализма происходит обогащение и самого творческого метода, основы которого были заложены Горьким. При этом горьковское наследие, как художественное, так и теоретическое, участвует в движении и обогащении метода нашего искусства.

Исходя из того, что тема «Горький и современность» заслуживает сегодня особенного пристального внимания, «Новый мир» обратился к ряду видных советских писателей, критиков, литературоведов с просьбой рассказать о месте Горького в их творческой судьбе, поделиться мыслями о том, как горьковская традиция обнаруживает себя на нынешнем этапе общественной и духовной жизни советского общества, и в част-

ности — как преломляется в нашем современном искусстве горьковская концепция человека, каково в сегодняшней практике решение проблемы положительного героя в свете уроков Горького, какой видится линия преемственности, идущая от знаменитого очерка «В. И. Ленин» к современной Лениниане, в каких формах обнаруживает себя творческое единство разноязычных советских литератур, у истоков которого стоял Горький.

Публикуемые ниже писательские выступления, разнообразие содержащихся в них мыслей и конкретных оценок (среди которых встречаются и достаточно субъективные) убедительно подтверждают, на наш взгляд, непреходящую современность великого наследия Горького. Рассматривая горьковские традиции как постоянно действующий фактор развития литературы социалистического реализма, редакция будет продолжать публикации выступлений писателей и критиков на тему «Горький и современность» — на тему, которая приобретает особое значение в шестидесятую годовщину Советской страны, советского строя и советской культуры.

С. АЛЕШИН. Ясный голос Горького. Любопытная картина наблюдается сейчас на мировой театральной сцене: теперь, после насыщения и перенасыщения западных театров абсурдистскими пьесами, все чаще и шире обращаются там к драматургии Горького. Причем, что особенно поучительно, происходит это в странах с наибольшим материальным благосостоянием (в Скандинавии, США, ФРГ). Очевидно, в этих странах, где нравственные проблемы не находят позитивного разрешения, а внутренние противоречия и общественные контрасты достигают наибольшей силы и запутанности, как раз и возникает все более необходимость услышать ясный голос Горького.

Драматургия М. Горького как никакая другая пропитана социальными проблемами своего времени. Но выяснилось: и нашего также! Видимо, именно поэтому горьковская драматургия все более и более злободневно звучит на Западе.

Есть еще одно обстоятельство, которое стоит отметить и оценить. Пьесы Горького ставят главным образом не на коммерческих сценах и не на подмостках официальных, государственных театров с постоянной труппой и устойчивым репертуаром. То есть не в тех театрах, где репертуар определяется городскими (муниципальными) или иными властями или владельцами, озабоченными прежде всего кассовым успехом, строящими расчет на «звезду». Ставят в небольших театрах, на сто — сто пятьдесят мест. Труппа в таких театрах бывает подобрана специально для данного спектакля, который актеры и играют изо дня в день. Эти театры зачастую расположены в более или менее удачно приспособленных подвальных помещениях. Все это позволяет свести расходы на постановку к минимуму. Зато выбор пьес ради постановки далеко не случаен. Он всегда диктуется не побочными, а прямыми творческими и гражданскими интересами. Вся труппа и режиссер «заболевают» именно этой и никакой другой пьесой и хотят играть только этот спектакль.

Цены на билеты в подобных театрах невысокие, доступные трудовому зрителю. И, соответственно, зритель здесь самый демократический. Качество постановок и игра артистов бывают самого высокого уровня. И резонанс от спектакля весьма ощутимый. Актеры, играющие на сценах подобных театров, не получают высоких гонораров, им скорее только-только хватает на жизнь. Но им ясно: то, что они делают, кровно необходимо зрителю. И отклик зала для них тем ощутимее, что сценическая площадка часто бывает расположена посередине зала, окружена зрителями, актеры играют, так сказать, «глаза в глаза». Артисты просто чувствуют дыхание зрителя, а зритель как бы участвует в спектакле. Причем зритель здесь не случайный и забрел сюда не в поисках пустого развлечения, а человек трудовой, у которого каждая копейка на учете. Тем **острей** у труппы сознание своей нужности зрителю.

И если драматургия Горького находит живой отклик у демократической аудитории за рубежом, то какова же глубина душевных контактов между Горьким и советским зрителем! Горьковские спектакли становятся частью биографии этого зрителя, питают его ум, помогают понять то, что происходит вокруг, разобраться в себе.

Пьесы М. Горького, кроме того, что они круто замешаны на самых существенных проблемах современности, всегда еще и умны. И наполнены большими страстями, а

значит, обладают большой эмоциональной заразительностью, позволяя труппе широко использовать весь арсенал сценических средств для наиболее полного воздействия на зрителя.

Люди в пьесах Горького — вспомните, скажем, «Вассу Железнову» или «Егора Булычова», «Достигаева» или «Дачников», «Мещан» или «Врагов» — всегда на переломе, перед решающим выбором, в поисках радикального выхода из положения, куда их загнала жизнь. А потому актеры имеют богатую возможность развернуть перед зрителем всю сложность мотивировок каждого решения, широко и полно показать правду жизни. Вот потому актеры так любят играть Горького, а зрители — ходить на его пьесы. Да и не только на пьесы. И у нас и на Западе идет немало инсценировок горьковской прозы. Особенно часто инсценируют роман «Мать».

Разумеется, чтобы создать в пьесе столь органичное сплетение социально значимого с бытовым, с обиходно-житейским, как это было доступно Горькому, нужен и талант достойный. Простой босяк, люмпен говорит у Горького, как философ, и это не вызывает у зрителя ощущения натяжки. Спор на сцене во время зауряднейшего чаепития может принять форму открыто публицистическую, почти митинговую, и зритель ни на секунду не теряет веры в правдивость ситуации. Простая перебранка между супругами вдруг предстает в таком смысловом повороте, что перед нами обнажается трещина не в семье, а в обществе. Почти в каждой пьесе Горького легко найти примеры неожиданного перехода от узкобытового плана к социальному, общезначимому. В этом, наверное, один из секретов неугасающей действенности горьковской драматургии. А тем, кто хочет, следуя его высокому примеру, добиваться сходного сплава, придется искать с в о й секрет.

БОРИС БЯЛИК. Возрождение человека. Сейчас об этом странно и даже смешно вспоминать, но что было, то было. Когда в начале 30-х годов я выбрал для своей кандидатской диссертации тему «Эстетические взгляды Горького», она не получила одобрения. Во всяком случае, на первых порах. Меня стали уверять, что она не даст материала для целой диссертации, что ее надо как-то расширить. Если тему все-таки утвердили, то лишь благодаря активной поддержке трех ученых, которых есть все основания относить к зачинателям науки о Горьком: В. А. Десницкого, Н. К. Пиксанова и С. Д. Балухатого. Однако и после этого работа над диссертацией чуть не оборвалась в самом начале. В. А. Десницкий рассказал о ней одному человеку, а тот решительно заявил, что никаких диссертаций о Горьком писать не надо, тем более об его эстетических взглядах, которых у него вообще нет. Этим человеком был Алексей Максимович Горький.

Нас не должно удивлять такое заявление. Примерно в то же время, отмеченное подъемом интереса к его драматургии (сыграл роль его всенародно отпразднованный юбилей и не меньшую роль — факт его возвращения после долгого перерыва к драматургическому творчеству, появление гениального «Егора Булычова»), Горький, опровергая утверждение критика, что «горьковский театр надо изучать», писал в статье «О пьесах»: «Нет, изучать — не надо, потому что — нечего изучать. Я написал почти двадцать пьес, и все они — более или менее слабо связанные сцены, в которых сюжетная линия совершенно не выдержана, а характеры — недописаны, неярки, неудачны».

Невозможно сомневаться в искренности подобных заявлений. Они были продиктованы предельной требовательностью к себе, желанием подчеркнуть значение опыта предшественников (статья «О пьесах» кончалась призывом «учиться писать пьесы у старых, непревзойденных мастеров этой литературной формы, и больше всего у Шекспира») и пониманием всей огромности задач, которые стоят перед литературой и искусством новой эпохи. Но, совершенно искренние, они были безусловно несправедливы. В. И. Ленин не сомневался в том, что М. Горький оказывает своими «великими художественными произведениями»¹ громадное влияние на революционное движение России и всего мира, что он — «великий художник»². Не сомневались в этом и многие крупнейшие художники слова XX столетия.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 19, стр. 153.

² Там же, т. 31, стр. 75.

Давно ли, однако, стали естественно звучать в литературоведении и критике такие темы, как «Мировое значение Горького» или «Горьковская концепция человека»? И так ли уж для всех сегодня бесспорно — даже в нашей среде — громадное влияние горьковского творчества на всемирное революционное движение, на мировую литературу, на сознание людей XX века? Конечно, за последние двадцать — тридцать лет в понимании и оценке горьковского наследия многое изменилось. В наши дни тема «Эстетические взгляды Горького» никому не показалась бы слишком узкой, скорее она показалась бы (несмотря на то, что к ней уже обращались десятки исследователей, а возможно, именно поэтому) слишком широкой даже для докторской диссертации. И все же вопрос о том, какие стороны художественного и теоретического наследия Горького имеют в наши дни, в 70-е годы, особенно важное значение и действительно ли их значение принципиально важно не только для нас, для нашей страны и социалистического лагеря, а и во всемирном масштабе, неясен для многих. Некоторый свет на этот вопрос могут пролить — недаром же говорят, что со стороны виднее! — факты ценнического воплощения горьковских пьес за рубежом (я сейчас работаю над этой темой).

Одно из примечательных явлений в духовной жизни последнего времени — победное шествие драматургии Горького по сценам многих стран мира. В числе этих стран должны быть названы крупнейшие капиталистические государства — США, Англия, Франция, ФРГ (в Японии увлечение горьковскими пьесами наблюдалось в более ранний период). О США можно сказать, что они открыли для себя драматургию Горького лишь в 70-е годы. Если раньше американцы видели в своих театрах только пьесу «На дне», то теперь они смогли познакомиться с постановками «Врагов» (почти одновременно в Нью-Йорке и Вашингтоне), «Последних», «Чудаков», «Зыковых», «Егора Булычова».

Особенно удивителен и вместе с тем характерен успех (не только в США) такого острополитического произведения, посвященного главному классовому конфликту эпохи, как «Враги». Еще недавно эта пьеса третировалась большинством буржуазных критиков и литературоведов как «агитка», в которой талант автора раздавлен «партийной догмой». А сейчас, после того как «Враги» (в постановке Эллиса Рабба) были уже не раз показаны по американскому телевидению в программе «Театр в Америке» и стали известны в США миллионам людей, американские критики называют горьковскую пьесу лучшей из всех, какие были включены в эту телевизионную программу. Вообще горьковские спектакли в США и других странах получили очень много откликов в газетах и журналах самых разных направлений. Отклики эти, разумеется, весьма далеки от единодушия, но в них преобладает тон признания большого значения Горького как художника, герои которого (вопреки уверениям советологов) не «идеологические манекены», а живые, сложные и интересные характеры, помогающие читателям и зрителям лучше понять окружающий мир и самих себя.

Чем все это вызвано? Общим потеплением международной атмосферы, связанным с неуклонно развивающимся (несмотря на все сопротивление реакционных сил) процессом разрядки? Несомненно! Но дело не только в этом. Идеологическая борьба не смягчилась, а стала еще более острой, и именно ее обострение заставило представителей разных политических и художественных течений обратиться к горьковскому творчеству, в котором глубоко и страстно поставлены важнейшие проблемы нашего века, нашей эпохи. Само это творчество стало ареной напряженных идейных столкновений, захватывающих и сферу политики, и сферу философии, и сферу художественных исканий.

Оценивая постановку «Врагов», осуществленную Эллисом Раббом, газета американских коммунистов «Дейли уорлд» высоко оценила пьесу, «запрещенную царем в России, а Джо Маккарти — в Америке», и отдала должное режиссеру и исполнителям, которые «держат зрителей в состоянии волнения на протяжении всего спектакля». Но газета отметила и уязвимую сторону постановки: превосходно выразив обличительный пафос «Врагов», спектакль затемнил раскрытую в пьесе историческую перспективу. А между тем, как справедливо отметила газета, «Враги» — это не «просто исследование загнивающей среды», а произведение, обращенное к будущему.

В спектакле отброшен, вычеркнут горьковский финал, в котором звучат слова героев-рабочих, полные уверенности в победе, а вместо этого дана совсем иная концовка, напомнившая американским критикам финалы некоторых чеховских пьес: Яков Бардин выходит на сцену и стреляется, повергая в смятение всех окружающих (статья

в «Дейли уорлд» имела очень выразительное заглавие — «Живая премьера Горького, пронзенная режиссерской пулей»). Такая концовка, перемещающая центр тяжести с борьбы разных классовых лагерей на судьбу той интеллигенции, которая, оберегая свою внутреннюю свободу, стремится поставить себя вне борьбы, — эта концовка дала повод газете «Нью-Йорк таймс» заявить в рецензии на спектакль, что «в пьесе показана умирающая цивилизация». В другой статье та же газета даже поставила под сомнение тот факт, что Горький считал «настоящим лидером России» рабочий класс, а не интеллигенцию. Зато газета «Дейли ньюс» не мудрствуя лукаво утверждает, что в своей оценке рабочих, в своем сомнении относительно их способности обновить мир жена Якова Бардина Татьяна была более права, чем автор «Врагов».

В американской прессе разгорелся спор о том, насколько оптимистично смотрел Горький на будущее человечества, и — в этой связи — о сходстве и различии «горьковского» и «чеховского». Если прежде для большинства буржуазных критиков было несомненным превосходство Чехова как художника над Горьким, то теперь в ряде статей утверждается, что каждый из них имел свои преимущества и что преимущество автора «Врагов» и «Булычова» заключалось в более высокой оценке человеческой активности.

Любопытно, что к обычной параллели Чехов — Горький в американской прессе добавилась в последние годы и параллель Горький — Шекспир. Это связано с некоторыми конкретными обстоятельствами. Во-первых, увлечение драматургией Горького началось в США после гастролей английского театра Королевского шекспировского общества с горьковскими спектаклями, поставленными Дэвидом Джоунсом. Во-вторых, Эллис Рабб до Горького ставил Шекспира. В-третьих, выдающийся американский артист Морис Карновский, который, по отзывам критики, замечательно сыграл роль Булычова (этот трагический образ потряс многих), был известен до этого как лучший исполнитель ряда шекспировских ролей. Сопоставление напрашивалось, и оно привело к постановке вопроса об отношении Шекспира и Горького к Человеку, к его возможностям, к его грядущей судьбе.

Можно ли в связи с этим говорить: со стороны виднее? Те американские театральные деятели и критики, которые взглянули на творчество Горького с той или иной мерой предвзятости, многого в нем не увидели и не поняли. Но те из них, кто не ослеплен политическими пристрастиями и кого по-настоящему захватило могучее дарование Горького, взглянув на него со стороны, заметили такие черты его творчества, которые для нас являются как бы само собой разумеющимися и которым мы уделяем внимания меньше, чем следует. Многих зарубежных театральных деятелей, критиков, зрителей взволновала постановка в произведениях Горького вопроса о правах и обязанностях личности, о том, каким путем она может обрести подлинную внутреннюю свободу. Ответы, которые даются ими на этот вопрос, часто очень далеки от истины. Но то, что многие поняли значение этого вопроса для Горького, и то, что многих под воздействием его творчества стала волновать проблема ответственности человека перед обществом, перед историей, — знамение времени.

Осознать подлинную остроту этой проблемы значит вплотную подойти к очень важной особенности «горьковского»: к ощущению начала нового Ренессанса. Того Ренессанса, который в отличие от прежнего, шекспировского, предварявшего торжество капитализма, предвещает и приближает его гибель — да, гибель капитализма, а не цивилизации! — и создает реальную, непоколебимую и непреходящую основу для возрождения человека.

ДАНИИЛ ГРАНИН. Герою его книг был мыслящий, думающий человек труда.

Сравнительно недавно у меня был случай поделиться с читателями некоторыми соображениями о Горьком в предисловии к горьковской автобиографической трилогии. Думаю, не будет большого греха, если в своем кратком ответе на вопросы «Нового мира» я некоторым образом повторю самого себя. Вот несколько разрозненных мыслей.

Горький обладал великолепной способностью переводить разнообразное, пестрое кипение окружающей жизни в жизнь слова. вспомните, как конкретно изображена у него и Нижегородская ярмарка, и работа в пекарне, в иконописной мастерской — со

всеми тонкостями, различиями византийских, и фряжских, и итальянских манер письма.

Труд у Горького всегда физически опутим, профессионально выверен, будь то несложный труд прачки, или приемы торговли, или красильное дело, или работа волжских грузчиков. Для Горького труд заключает всегда еще и моральную ценность — труд воспитывает, труд лечит душу. Еще маленький Алеша Пешков учился красотой труда мерить достоинство человека.

Редко кто из писателей понимает необходимость так выписывать быт. Это не только художественный прием, в этом есть и сознание историчности пережитого. И действительно, подробности эти оказываются драгоценнейшими. Со временем они повышаются в цене, ибо сохраняют безвозвратно исчезнувшие приметы прошлого.

Жизнь, которую чаще всего описывал Горький — жизнь городская, нижегородская, казанская, — жизнь рабочих районов, доходных домов, улиц, застроенных ремесленными мастерскими, лавками, трактирами. В книгах Горького часто открываются сельские просторы и поля, природа отодвинута, малозаметна. Городская жизнь непозитична, некрасива. Но ведь город прежде всего был средоточием тех грандиозных социальных конфликтов, исследование которых как раз и составило важнейшую грань творческой деятельности Горького. «Мне нравятся рабочие,— признавался он,— я отчетливо вижу преимущества города, его жажду счастья, дерзкую пытливость разума, разнообразие его целей и задач».

Меня всегда покорял горьковский оптимизм, его умение видеть, как «победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе — человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой».

Ленинград.

ЛЮБОМИР ДМИТЕРКО. Глашатай революции, правды и прогресса. Мне посчастливилось видеть Горького. Было это в 30-е годы в Киеве. Алексей Максимович возвращался из Италии домой. На вокзальном перроне собралось несколько тысяч киевлян. Тихо подошел поезд Одесса — Москва. Опустилась оконная рама вагона, и в пролете окна появилось знакомое лицо.

В тот незабываемый день моей молодости Горький тысячам своих киевских поклонников улыбался плача. Улыбка была приветливая, дружелюбная, а слезы катились от радости и волнения. Строящий новую жизнь народ радушно встречал Буревестника революции, человека с пламенным сердцем Данко.

Горького я и мои ровесники читали запоем. Еще в средней школе прочел сначала «Троих», потом «Мать», «Фому Гордеева», «Мальву», «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина»... В более зрелом возрасте приобщился к горьковской драматургии, и здесь мне повезло: с упоением, десятки раз я смотрел и во время гастролей в Киеве и на мхатовской сцене спектакль «На дне» с участием И. М. Москвина, В. И. Качалова и всей славной плеяды сподвижников К. С. Станиславского. И до сих пор я каждый раз поражаюсь той силе драматизма, той борьбе страстей и мыслей, какими насыщены «Варвары», «Дачники», «Чудаки» (эту пьесу я перевел на украинский язык для Харьковского академического театра имени Т. Г. Шевченко), «Последние», «Дети солнца», «Васса Железнова», «Егор Булычов», «Старик» и другие шедевры, скромно называемые Горьким «сценами». Драматургия А. М. Горького — неисчерпаемый клад для человеческих страстей и характеров — дала благодатный материал не одному поколению талантливых артистов и режиссеров для становления и совершенствования их мастерства.

Колоссальное воздействие на людей моего поколения имела публицистика Горького. Статьи и выступления основоположника социалистического реализма стали могучим стимулом постоянно крепнущих связей многонациональной советской литературы с жизнью и борьбой народа, активно и наглядно учили, помогали широкой общественной деятельности Союза писателей.

К Горькому я то и дело обращаюсь по самым различным поводам: то ищешь достоверное свидетельство о жизни и нравах ушедшей эпохи, то в полемике опираешься на Горького как на неопровержимый авторитет, то хочешь проверить правильность

того или иного вывода. Чаще же просто чувствуешь потребность еще раз прильнуть к источнику подлинной поэзии. Горький для меня великий поэт не только как автор «Девушки и Смерти», «Буревестника» или «Сокола», но и той же повести «Трое». Убежденно считаю эту вещь поэмой, как по-своему называл Гоголь поэмой «Мертвые души». Вообще для меня разные виды литературного творчества — стихотворения, романы, драмы, если они талантливы и вдохновенны, — всё поэзия.

Почему из огромного горьковского наследия я так преданно люблю «Троих»? Может быть, потому, что это первая любовь...

Популярность Горького в мире возрастает. Его читают на всех континентах. Могу сослаться на личные впечатления. Как-то во время моего пребывания в Нью-Йорке в Постоянное представительство СССР при ООН зашли несколько юных американок. Это были воспитанницы женского колледжа, расположенного невдалеке, на Парк-авеню. Со свойственным юности темпераментом девушки, торопливо произнесла слова извинения, энергично просили дать им хоть одну книгу Горького в оригинале (английский перевод у них был) для изучения и дискуссии. А несколько лет спустя на другой части планеты, в Буэнос-Айресе, ко мне обратились с такой же просьбой мужчина и женщина, удивительно красивые представители горной провинции Жужуй, активисты кружка по изучению русского языка и советской жизни. Три года назад я участвовал в работе Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, и меня поразили данные о тиражах горьковских книг в обоих полушариях.

При этом надо отметить, что популярность Горького имеет и свой особый оттенок. В книжных магазинах Нью-Йорка, Парижа, Брюсселя, Рима и других городов мира вы увидите произведения многих выдающихся русских классиков, прежде всего Льва Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. Эти авторы общепризнанны, перед ними преклоняются, их изучают на филологических факультетах прославленных университетов. А Горький постоянно как бы в эпицентре идеологической борьбы, социальной непримиримости. Одни его чтят не только как большого художника, но и глашатая правды, прогресса, революционных преобразований, другие именно поэтому проклинают и низвергают, в слепой злобе отрицая его великое эстетическое значение для развития мировой цивилизации. Ничего не поделаешь, такова классовая сущность этих буржуазных лжеценителей и фальсификаторов!

Произведения Горького по-прежнему очень популярны во всех республиках нашей страны. Это понятно и закономерно. И я говорю об этом только потому, что кое-что мы должны были бы сделать еще. Так, мне кажется, было бы своевременным ежегодно проводить в столицах братских республик Горьковские чтения, фестивали горьковских спектаклей и кинофильмов. С приглашением зарубежных друзей, с широкой трансляцией по радио и телевидению.

Любовь к Горькому — не только чтение и изучение его томов, а и повседневная пропаганда горьковских мыслей, горьковского видения мира, горьковского понимания литературного творчества и литературного процесса, горьковской верности бессмертным заветам Ленина.

Горький — не канонизированный классик.

Горький — живое дейное и эстетическое орудие.

Киев.

МУСТАЙ КАРИМ. Вдохновитель братства литератур. Я всегда смущаюсь, когда мне предлагают высказаться о значении великих писателей. Кажется, будто ты претендуешь на единственно правильный ответ, на исчерпывающую истину. Тем временем столь многое уже сказано. И сейчас испытываю то же чувство.

Горький настолько велик, что любая грань его творчества и его личности представляется неохватной, как целая судьба. Поэтому очень рискованно отвечать даже на частные вопросы. Есть, конечно, всеобщий Максим Горький, который как никто в мировой литературе перекинул мост, соединяющий культуры двух эпох. Это было бы не под силу «чистому художнику», каким бы гениальным он ни являлся. Для такой задачи еще необходим был художник-политик, мыслящий широкими категориями эпохи. Горький органически соединил в себе эти два начала. Это, бесспорно, идеал писателя

для всех времен — от Гомера до наших дней. Творчество Горького — яркий пример плодотворного «сотрудничества» гениального революционного творца с революционной эпохой, началом преобразования мира.

Кроме «общеизвестного классика», в душе каждого, видимо, живет свой Шекспир, свой Пушкин, свой Горький. У меня есть тоже свой Алексей Максимович. Он уже живет как-то помимо книг, им написанных. Мой Горький болен человеком. Порой мне кажется, что он, глядя, как Прометей, на темную землю, ночами плакал, жалеючи людей; не просто несчастных, обездоленных или грешных, а людей, которые живут только мыслью о смерти или о ней совсем забывают, неразумные. К познанию и возвышению их он шел путем сострадания. Но, выстрадав свою правду о человеке, он приходит к утверждению его величия. И дальше. Человек, самоутвердившись, уже берет на себя социальную и нравственную ответственность за общество. В этом именно я вижу горьковскую концепцию человека, которая, на мой взгляд, и находит свое плодотворное воплощение в современном советском искусстве.

И до Максима Горького лучшие представители русской художественной интеллигенции не были безразличными к духовным ценностям народов и племен нашей общей родины. Но в практике Алексея Максимовича этот интерес приобрел общегосударственное звучание. Во взаимообогащении национальных культур Горький справедливо усмотрел главную проблему развития всей нашей культуры. Как любой великий творец, он был великим мечтателем. Вот его слова: «Идеально было бы, если бы каждое произведение каждой народности, входящей в Союз, переводилось на языки всех других народностей Союза...» Каждое! Нужно полагать, при этом он имел в виду все-таки произведения высокого идейно-эстетического достоинства. Мимходом замечу, что, поняв буквально эту мечту учителя, порою мы бываем малотребовательны к переводимым на другие языки, особенно на русский, произведениям. Не уверен, что Горький остался бы вполне доволен, загляни он сейчас в наш переводческий цех. Это уже на нашей совести, на совести потомков — то, что, осуждая на всех перекрестках посредственность, мы в немалом количестве ее производим, переводим и печатаем.

Роль Максима Горького, его непосредственное участие в формировании, развитии многих литератур, особенно младописменных, так велика, как велик его творческий вклад в мировую литературу. Горький внес колоссальный вклад в создание атмосферы братства литератур, особого уважения и внимания к молодым литературам. Словосочетание «братские литературы» очень точно определяет существо наших взаимоотношений и нашего взаимовлияния. В мире были великие писатели, которых окружали единомышленники, ученики, последователи, подражатели. Но история не знает другой личности, кроме Горького, вокруг которой объединялось бы столько литературы стольких народов.

Каждое поколение, каждое время по-своему будет открывать Горького, иногда, быть может, даже вступая с ним в спор. Так и должно быть. Ибо великий писатель и сам был великий спорщик, бесстрашный открыватель новых путей. Но высокий творческий дух, облагораживающая мысль его всегда будут согревать, обновлять, расковывать человеческую сущность. Горький никогда меньше не станет. Новые времена наделят его новым величием.

Как-то среди поэтов зашел разговор об Омаре Хайяме. Один сказал, что есть рубаи, приписываемые Хайяму, а в сущности, они созданы последующими поколениями сообразно своим духовным потребностям, что от них следует очистить поэта. Другой возразил:

— Не надо очищать художника. Счастье его именно в том, что его постоянно дополняли и обновляли. Такой доли заслуживают лишь поэты, пришедшие в мир навсегда.

Уфа.

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ. Действительность социалистического гуманизма. Считаю в высшей степени своевременным обращение «Нового мира» к теме, которую можно условно обозначить «Горький и мы». Своевременным прежде всего потому, что накопленный нашей литературой за последние годы положительный опыт нуждается — вос-

пользуюсь профессиональным словом топографов — в надежной и точной привязке к хорошо проверенным ориентирам.

Создавая духовные ценности сегодня, откликаясь на запросы современности и вглядываясь в очертания грядущего дня, всегда полезно выверить маршрут по твердым ориентирам, поразмыслить над капитальными вопросами преемственности.

Я не знаю в нашей литературе более живой традиции, чем горьковская, и попробую сейчас разобраться в своем чувстве неизменного присутствия Горького среди нас.

Можно ли, например, преувеличить значение для советского искусства горьковской концепции человека? «Человек — вот правда!» — провозгласил Горький на самой заре XX века одну из главнейших заповедей своей гуманистической веры, отбросив модные в ту пору поиски «возвышающего обмана» как иллюзорного противовеса мрачной реальности и объявив, что главную надежду на выход из нее надо искать в самом человеке, в его нераскрытых возможностях коренного обновления мира. Писатель делал ставку на порыв к лучшему, на духовные ресурсы того, «кто независим и не жрет чужого», основывая свой исторический оптимизм на убеждении: в человеке — «все начала и концы!», «...для лучшего люди живут». Причем гуманистическая вера Горького находила для себя живые основания даже там, где, казалось бы, все глухо, нет «независимых», есть сброшенные за ненадобностью на дно.

Энергия горьковской веры в человека пробивала заслоны пессимистических теорий, выраставших на почве циничной практики подавления личности. Даже на раннем этапе пути, когда Горький еще не совсем отчетливо различал подлинного героя истории, призванного совершить коренные социальные преобразования, мысль о гордом человеке, который перестроит мир на справедливых началах, была для него незыблемой и путеводной.

Горьковский гимн человеку, пройдя сквозь десятилетия, стал сегодня реальностью нашего мышления. Идеал писателя конкретизировала сама история социалистического общества. Сегодняшняя деятельность наших художников слова, верных помощников Коммунистической партии, можно сказать, проходит под горьковским девизом «все — в человеке, все — для человека!» и направлена на формирование гармонической личности строителя коммунизма. И если Горький, обозначая высоту своего идеала, порой прибегал к категориям обобщенно-романтическим (вспомним хотя бы поэму «Человек» или знаменитые монологи Сатина), то нам, современным советским писателям, черты гармонического человека, строителя и созидателя, открываются в живом кипении сегодняшних будней. И наша профессиональная задача — распознать и запечатлеть эти черты, помогая им окрепнуть, войти в плоть и кровь новых поколений.

Усваивая уроки Горького, важно видеть подлинную масштабность его гуманистических требований и представлений, которые, как нам известно, наиболее полное соответствие нашли в запечатленном им образе В. И. Ленина.

Одной из замечательных особенностей очерка М. Горького «В. И. Ленин» я считаю философское наполнение каждой из житейских, портретных или психологических подробностей, передающих в своей совокупности человеческую неповторимость вождя пролетарской революции. Читаем ли мы о ленинском заразительном смехе или энергии жеста, перед нами не просто лепка характера и живопись словом, но всегда напряженная мысль художника о совершенном человеке, чья практика — живое подтверждение самых высоких гуманистических представлений. Горький обладал колоссальным преимуществом перед другими писателями, обращавшимися (тем более обращающимися) к ленинской теме, — преимуществом долголетнего, притом близкого, знакомства с Ильичем, которое давало уникальные свидетельства о личности вождя. Уникальности свидетельств отвечала уникальность их осмысления. И сегодня равняться на Горького значит усваивать масштабы его проникновенного, высокого гуманистического мышления. Думаю, что горьковская близость и сотрудничество — в широком общественно-культурном плане — с Лениным неотрывны все от той же концепции человека: художник шел одним путем с вождем пролетарской революции, в ком был для него персонифицирован этический идеал...

Хочу сказать о двуединстве художника и политика в лице Горького, то и другое — разные ипостаси пролетарского гуманиста, который и средствами искусства и в формах организаторской деятельности внедрял в мир новое представление о достоин-

стве и назначении человека, о социальной практике, отвечающей этому достоинству. Удивительно ли, что Горький и как художник и как общественный деятель неизменно вдохновлялся ленинскими принципами и указаниями в области культурного строительства? Примеры здесь, что называется, на виду. Сошлюсь на известное положение о том, что «основным героем наших книг мы должны избрать труд, т. е. человека, организуемого процессами труда... человека, в свою очередь организующего труд», — положение, ставшее центральным в докладе Горького на I Всесоюзном съезде советских писателей. Оно непосредственным образом вытекает из ленинских идей о труде масс как решающем факторе социального прогресса. Или более частный вопрос — критика Лениным Пролеткульта за попытку создавать новую культуру в некоем вакууме, в отрыве от духовных богатств, накопленных человечеством за его многовековую историю. Пафосом именно этого ленинского неприятия сектантской узости в деле организации новой культуры проникнуты и выступления Горького против линии рапповского начетничества и вульгаризации марксизма.

Впрочем, плодотворное сотрудничество Горького с Лениным, с марксистской партией имеет продолжительную и весьма насыщенную историю. Самой логикой своих творческих поисков писатель был подведен к ленинской линии. И 1901 год, когда им впервые был создан образ сознательного пролетария (Нил в пьесе «Мещане»), можно считать началом его партийной биографии. Одна из славных ее вех, конечно же, роман «Мать», героями которого стали убежденные революционеры-марксисты и который насквозь пронизан предчувствием грядущей победы пролетариата, хотя подавление революции 1905 года, казалось бы, не располагало к оптимизму. Иными словами, Горький широко раздвинул рамки своего социального зренья, овладел искусством предвидения и предчувствия грядущих исторических перемен. Хочу еще раз упомянуть о концепции человека: какими бы новыми художественными открытиями ни обогащалось искусство Горького, свою высшую силу и действенность они получали в идеях и реалиях социалистического гуманизма.

И современность Горького во многом определяется тем, что свою гигантскую творческую энергию он сосредоточил как раз на том направлении, которое является главным и для сегодняшних наследников ленинского дела, — на решении созидательных задач нашей революции, нашего общественного развития, в процессе которого происходит формирование новой человеческой личности.

Горький соединял в своем лице замечательного художника и глубокого теоретика искусства. И это опять-таки две неделимых его ипостаси. Теоретические открытия писателя находили блестящее воплощение в его художественной практике, практика же питала собой теоретическую мысль. Разработка принципов социалистического реализма, плодотворно ведущаяся сейчас в нашей науке о литературе, во многом опирается на горьковское наследие, теоретическое в частности.

В одной из своих статей 30-х годов Горький писал о «гордом, радостном пафосе», которым проникается советское искусство, вдохновляемое «достижениями настоящего», и «который придаст нашей литературе новый тон, поможет ей создать новые формы, создаст необходимое нам новое направление — социалистический реализм...». В этом высказывании мне хотелось бы выделить слова о новых формах, характерные для Горького — неумолимого открывателя непроторенных путей в искусстве. В горьковском понимании социалистический реализм — это реализм нового типа, оплодотворенный социалистической концепцией мира и человека, вдохновляющийся идеей революционного переустройства действительности, идеей подлинного гуманизма. Социализм — это и есть реальный гуманизм, подкрепленный всем богатством и многообразием форм социалистического образа жизни.

Горький был всегда непримирим к схоластическому упрощению искусства, эстетической узости, противоречащим реальному многообразию жизни, богатству и сложности духовного мира человека.

Горьковский опыт учит нас, что новаторский характер социалистического реализма, присущее ему многообразие проявляются и в использовании писателями реалистической условности и в экспрессивных формах художественного обобщения.

Новые формы, о которых говорил Горький, служат выражению нового, неуклонно обогащающегося содержания социалистической жизни, обусловлены практикой сози-

дания социалистической культуры. Горький считал, что литература социалистического реализма — это фронт идейной борьбы, в котором не существует «ничейной полосы», и что средства художественной выразительности не безразличны к воплощаемому содержанию. Свидетельство этому — собственная практика великого писателя.

Окидывая мысленным взором художественное наследие Горького, я всегда с удивлением останавливаюсь на таком поразительном эпическом создании, как «Жизнь Клима Самгина». Это глубочайшее исследование самых различных пластов русской жизни за четыре предреволюционных десятилетия, гигантская панорама социальных типов, запечатленных с поистине рембрандтовской мощью. Убежден, что среди самых значительных художественных открытий XX века эпопее Горького принадлежит одно из первых мест. И вот характерный показатель значительности этой вещи: мир социального неравенства, то есть мир капиталистический, запечатлен здесь далеко вперед. С поразительным проникновением в завтрашний день буржуазного общества вскрыта психология самгинщины, лицемерно льнущей к революции в пору ее подъема и мгновенно относимой к враждебному берегу первой же откатной волной; сорваны покровы мимикрии с либералов, состоящих на иждивении у буржуазии, и философствующих приспособленцев... Считаю, что в отношении политическом, идеологическом и философском «Жизнь Клима Самгина» — одно из наиболее злободневных, неизменно актуальных произведений нашей литературной классики. Глубоко современен здесь и арсенал изобразительных средств.

Мы много говорим о психологизме Достоевского, меньше — о горьковском. А между тем Горький умел достигать колоссального эффекта как психолог. «Беседы с Никоновой» награждали его чувством почти физического облегчения, и он все чаще вспоминал Дьякона: «Слова — помет души»...» Это о Самгине. «...рукой, синеватой в сумраке, как бы бестелесной, Нехаева касалась лица своего, груди, плеча, точно она незаконченно крестилась или хотела убедиться в том, что существует» — о Нехаевой, читавшей Самгину стихи. Горьковский психологизм не расщепляет, а как бы прессует; штрих, жест, деталь здесь становятся своего рода концентратом личности.

Сейчас в нашей прозе заметно увлечение излишне дотошным, дробным бытописанием. Вещественная среда, приметы обихода подвергаются скрупулезной инвентаризации. Опыт Горького — отличное лекарство от этой болезни. В бытовом окружении героя Горький брал у л и к у времени. Притом активную, передающую не только состояние, но и движение.

Однако главные приметы личности Горький искал в сфере ее непосредственной деятельности, т р у д а. Именно мера трудовой активности гражданина Страны Советов была для Горького основным показателем его внутреннего человеческого совершенства. Наша сегодняшняя литература своей зоркостью к процессам труда во многом обязана Горькому. И не случайно на VI съезде советских писателей при обсуждении темы рабочего класса в литературе большинство ораторов ссылались на горьковскую художественную практику, на его теоретические высказывания.

Художественное наследие Горького неистощимо. Оно обогащает человеческую культуру на всю глубину открытого сегодняшнему взору времени. И, разумеется, от нас, писателей, требуется быть рачительными наследниками доставшегося нам богатства.

ГРИГОРИЙ КОНОВАЛОВ. Широка познания мира. На мой взгляд, самое важное в Горьком — громадная не просто художественная, но и нравственная мощь таланта, воссоздавшего из материала реальности ярчайший мир идей, характеров, высоких человеческих устремлений. Обладая стойкой сопротивляемостью духовному стандарту, он был дерзок и проницателен в угадывании негленных проявлений человеческого духа. Это редкостное свойство важно и сейчас: ведь ситуация противостояния и противоборства высокой человечности с силами разрушения, обрисованная, скажем, в «Девушке и Смерти», принадлежит к вечно актуальным.

Одна из удивительных особенностей Горького — его умение гармонически сочетать интерес к коренным проблемам духа с острым и точным политическим зрением. Думаю, что для нас, современных писателей, это горьковское качество — тот самый

идеал, который всегда впереди. К сожалению, мы нередко решаем публицистические задачи слишком размахисто, полагаясь на свое всезнайство и уверенность хватки. И тогда образуется некий дифферент на борт злободневной проблематики, общественная тема начинает звучать слишком голо. Так что школу горьковского злободневного письма нам бы следовало посещать со всем усердием.

Особенной художественной высоты горьковская политическая мысль достигает в литературном портрете великого политика — В. И. Ленина. Ленин живет в сознании каждого советского художника, каких бы сторон жизни он ни касался. И в зависимости от творческой индивидуальности писателя различные черты личности Ленина получают особенное освещение; этим и объясняется поучительность уроков одного художника для другого. Ленин — океан. Много ли можно зачерпнуть пригоршнями?

Горький, умея видеть Ленина в «океанских» масштабах, ближе всех подошел к постижению его человеческой неповторимости. Думаю, что сегодня иные сочинители средних способностей подступают к ленинской теме без должной «амуниции», полагаясь больше на свое красноречие, чем на вдохновение и творческую зоркость. Так что опасения Маяковского насчет «венчика» и «приторного еля» пока не сняты нашей практикой. И очерк Горького остается, на мой взгляд, сильнейшим врачующим средством против легкомысленных подступов к этой ответственной теме.

Один из важных уроков Горького, который нам не худо бы покрепче усвоить, содержится в его выступлениях как теоретика искусства и критика, в самой обостренности горьковского внимания к этой стороне литературной работы. Причем в своей критике Горький был всегда нелицеприятен и исходил только из интересов успешного развития нашего искусства. К сожалению, наша сегодняшняя критическая мысль порой робеет перед авторитетами и, обращаясь к творениям маститых, становится излишне комплиментарной.

В свое время наша наука не сумела по достоинству оценить открытия, сделанные в таких, скажем, областях, как генетика и кибернетика. Но недостаток внимания к научным открытиям грозит обернуться прямым экономическим ущербом. Здесь ошибки на виду. И есть очевидная материальная нужда в их скорейшем преодолении. Другое дело литература. Последствия самоуспокоенности, самообольщения в этой области не столь осязаемы и не скоро скажутся. Да, не скоро, но окажутся уроном художественно-нравственным, который трудно восполним. Горький же как раз учит такого урона избегать.

Для каждого из нас чрезвычайно полезны раздумья над горьковской поэтикой, которая очень точно отвечала задаче «широкоформатного» изображения социальных сдвигов и переломов. В романах и повестях Горького прослеживается, как правило, жизнь нескольких поколений. Например, «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина».

Широкий эпохальный охват жизни в ее историческом развитии — свидетельство смелости художественного стратегического мышления писателя.

Одно из поразительных свойств горьковского письма — философская объемность взятых им жизненных ситуаций: в пьесе «На дне» можно мысленно поднять действия этажом выше, а правда и глубина человеческих характеров не нарушится от этого. Примерно то же в рассказах.

Наша литература в целом довольно широко захватывает жизнь, однако все еще робко углубляет борозду, как будто распахивает заминированное поле. Я бы мог назвать несколько имен крепко талантливых авторов, чей смелый прорыв в самую глубь жизненных явлений очень радует, но воздержусь, ибо не уверен в своем праве зачислять в школу Горького. А литература наша успешно наследует не только традиции Горького, но и Бунина, Л. Толстого, Достоевского, Лескова, Шолохова, Леонова.

Но есть проза смелости необыкновенной в описаниях интима, она плодovitа и раскованна. Будто после великого поста, выломав замки, дорвалась до спальни. Понять такую прыть, конечно, можно, ибо совсем недавно редакторы вымарывали в сочинениях, скажем, упоминания о разводах, вдохновляясь при этом высокими соображениями об укреплении семьи. Но не слишком ли сегодня обременяется эрос разного рода эстетическими заданиями? Видимо, серьезное обращение к опыту Горького способно ввести в разумные рамки столь распространенную слабость к «откровенным» описаниям.

Книги Горького полны мощных жизненных токов, молодой дерзкой силы, романтической веры в торжество завтрашнего светлого дня. Он оставил нам в наследство свою отвагу Буревестника революции, веру в творческие возможности человека, в его способность перестроить мир на началах социальной справедливости.

Саратов.

АЛЕКСАНДР ОВЧАРЕНКО. Горький нам нужен. Посвятив почти всю жизнь изучению Горького, написав о нем несколько книг, было бы по крайней мере неуместно объясняться в любви к нему. Но только теперь я стал по-настоящему осознавать, что над большинством исследователей жизни и творчества Горького тяготеез узкопедагогический подход: «Горький изображал...», «Горький писал...», «Горький говорил...» Между тем в подходе к Горькому, так же как к Шолохову, Леонову и другим зачинателям советской литературы, необходимы совершенно иные масштабы и критерии, соответствующие тем действительным масштабам и критериям, с которыми эти художники воспринимают все, что становится объектом их изображения. Горький открывает новую страницу в художественном развитии человечества прежде всего потому, что с новых позиций, новыми масштабами измеряет все, начиная с маленького человека. Человек честного труда, в прошлом человек маленький, для него главная созидательная сила жизни, поэтому бури, бушующие в уме и сердце этого человека, писатель проецирует на мировой экран, изображает их так, что они становятся интересными для всех людей, живущих в разных концах земли. Не теряя своей социальной конкретности и определенности, бытовой, что ли, наполненности, образы эти всегда содержат в себе элемент общечеловеческой значимости. Каждый человек у Горького несет свою, лишь ему принадлежащую часть истины, без которой человечество неполно. Знание же самим Горьким жизни таково, что не допускает в художественном творчестве никаких искусственных построений, никакой полуправды. Оно опрокидывает их с первых же слов повествования. В произведениях Горького всегда господствуют жизнь и глубокое размышление о ней. И нет ничего удивительного в том, что для возможно полного изображения новых героев, новых жизненных путей Горькому потребовался весь арсенал художественных средств мировой литературы, непрестанная трансформация их, изыскание новых приемов художественного раскрытия мира и человека. А так как писатель всегда показывает действительно большую, всех увлекающую правду, форма в его произведениях неизменно ведет себя в отношении этой правды в высшей степени скромно.

М. Горький охотно читал рукописи своих товарищей по перу, будь то начинающий или маститый литератор. Но еще важнее помнить о том, что он никогда не поступался строгими критериями, какое бы место в литературе ни занимал автор рукописи, первой или последней книги. Он был увлечен идеей создания социалистической литературы. Он ориентировал ее мастеров на самые значительные вершины в художественном развитии человечества. Незадолго до смерти своей он снова напомнил советским писателям, что их новаторство должно прежде всего опираться на лучшие достижения реализма, в особенности русского реализма, представленного такими гениями, как Достоевский и Толстой. «Вот их два — Достоевский и Толстой — интернациональные писатели, — сказал он. И с гордостью добавил: — Таких явлений на Западе, как эти двое, — не было». По мнению Горького, развитие их достижений, обогащение на почве углубленного художественного изображения жизни, человека, социалистической нови открывает путь к подлинному новаторству, соединяющему поэзию и правду, проникновенность и ясность.

Следование этим советам Горького и придавало нашим художникам широту и глубину видения мира, дерзость и неутомимость в творческих исканиях, увенчавшихся созданием таких шедевров, как «Барсуки» Л. Леонова, «Петр Первый» А. Толстого, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Василий Теркин» А. Твардовского. «Горький, — вспоминает М. Шолохов, — заразил нас, молодых писателей, мыслью создать литературу, которая станет частью общепролетарского дела. И мы самозабвенно, до жестоких споров между собой, искали новые пути в литературе, новые формы, способные выразить и объять наши стремления. Теперь, через толщу времени, четко проглядывается гражданская, партийная да и художественная зрелость этих спорщиков, выставлявших под мяг-

ким, добрым крылом Алексея Максимовича, иногда и бранившего нас за «плохие писания»...»

В недавней беседе другой крупнейший современный писатель, Леонид Леонов, сказал: «Горький до сих пор нужен мне... сходить бы к нему повидаться... Показать рукопись... Поговорить... Просто помолчать, глядя на него... Как он нужен мне... Нужен всей советской литературе».

Наполнить конкретным содержанием эти мысли о Горьком я и мечтаю как литературовед.

ЮРИЙ РЫТХЭУ. Уроки гражданственности. В творческом и чисто человеческом облике Горького меня прежде всего покораляет преданность своему народу, народу-труженику, народу — созидателю, творцу и автору всего лучшего, прекрасного.

Лично для меня самыми близкими и буквально настольными книгами из тех, что созданы Алексеем Максимовичем, остаются «Детство», «В людях» и «Мои университеты». Может быть, потому, что какими-то своими чертами мое детство походило на детство Алеши Пешкова. Но дело скорее всего в том, что в этих книгах прослеживаются истоки возникновения феномена новой русской литературы, феномена, протянувшего прочный и надежный мост от вершин литературы русской конца XIX века до вершин советской литературы.

Когда я писал «Время таяния снегов», то чувствовал за спиной присутствие этих трех великолепных книг и, не стесняюсь в этом признаться, частенько оглядывался на них.

Художник и политик... Довольно часто западные критики пытаются разъединить эти два рода деятельности, утверждая, что вмешиваться в повседневную политическую жизнь не только не пристало истинному художнику, призванному судьбой стоять в стороне, «над схваткой», но и даже некоторым образом унижительно.

Сегодня советский писатель не мыслит себя вне связи с повседневной жизнью всей нашей страны, всего народа. Свидетельство тому: многие видные писатели нашей страны являются депутатами местных органов советской власти, Верховных Советов республик и СССР, членами руководящих партийных органов. Отрешить советского писателя от участия в общественно-политической жизни — это отрешить его от писательства, от чувства нужности своему народу. В эпоху развитого социализма «горьковское» двуединство художника и политика становится решающим условием жизни писателя.

Алексей Максимович, как известно, всегда призывал к глубокому изучению классических образцов литературы — от произведений устного поэтического творчества до выдающихся произведений новейшей литературы. Само творчество Алексея Максимовича Горького является ярким примером глубокого освоения традиций классики. Он как бы протянул мост от нее к рождающейся новой, советской культуре.

В течение долгих лет я все больше укрепляюсь в мысли, что русское искусство, русская литература, особенно конца XIX — начала XX века, обладали несомненными чертами общечеловеческой универсальности. Они понятны и близки любому человеку земли, какой бы национальности и какого бы цвета кожи он ни был.

Я читал первые в моей жизни книги Алексея Максимовича Горького, живя в яранге, находясь в условиях еще более скудных, нежели те, какие описывал Горький. И все же та реальность, которая вставала со страниц горьковских книг, была понятна и близка мне, как близки и понятны мне были герои книг Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. С. Тургенева, стихи А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова.

Велика заслуга Горького как одного из родоначальников Ленинианы. Пожалуй, впервые именно в горьковском описании Владимир Ильич Ленин предстал перед читателями, особенно теми, кто непосредственно не общался с великим вождем пролетарской революции, земным человеком, близким и доступным. Причем здесь не было ни намека на упрощение образа человека, гениальность которого признается даже заклятыми врагами. Владимир Ильич Ленин в описании Горького — человек, сконцентрировавший в себе гений, мудрость и прозорливость русского народа, рабочего класса России. Лениниана советской литературы, начатая плодотворно Алексеем Максимовичем Горьким, продолжается **поныне в основном в горьковских традициях.**

Вопрос о положительном герое в литературе достаточно сложен. Психология читательского восприятия такова, что человек скорее сочувствует герою, нежели им любуется или видит в нем некий непререкаемый эталон. Еще герои церковной литературы — мученики, страдальцы — вызывали именно сочувствие. Положительный герой в книгах Алексея Максимовича прежде всего борец. Борец за дело рабочего класса, заступник угнетенных и обездоленных. Это реальный человек, с многогранностью именно человеческого характера, а не прямолинейностью и заданной определенностью манекена.

Горьковская концепция человека — одна из вершин мысли великого пролетарского писателя. Воинственный гуманизм Горького стал знаменем многих литератур, борющихся за мир и прогресс. Горьковская концепция человека с особой, пронзительной силой обнаружила себя в лучших произведениях современной русской советской литературы. Горьковская любовь к человеку нашла новое выражение в произведениях Михаила Шолохова, Федора Гладкова, Александра Фадеева, Георгия Маркова, Чингиза Айтматова, Федора Абрамова, Валентина Распутина, Абдижамила Нурпеисова, Ивана Мележа, Эдуардаса Межелайтиса и многих других. Она является определяющей чертой лучших образцов нашей советской литературы.

Мы привычно говорим: труд — творчество. Но ведь и само творчество — это довольно тяжкий труд. В нашем социалистическом обществе труд давно стал творческой радостью миллионов и миллионов. Созидательный труд, радостный труд, направленный на благо человека, — это естественное состояние человека. А естественное чаще всего прекрасно. Пока человек работает — он человек.

Социалистический реализм как творческий метод прошел с честью более чем полувековое испытание. Социалистический реализм, на мой взгляд, включает в себя все лучшее, и традиционное и новаторское, что может быть найдено в неустанных поисках художником. Это широчайший взгляд на мир, умение воспринять, пересоздать в слове, краске явления окружающего мира, порой далекие от границ эстетического. Социалистический реализм — это служба гуманизма, прогресса, свободы в современном обществе.

Как известно, Алексей Максимович Горький в разработке повествовательных жанров шел в русле лучших образцов русской и мировой классической литературы. Эти завоевания искусства являются непреходящими, испытанными ценностями. Да ведь и лучшие книги современности написаны в привычных, традиционных формах. Новаторство Горького состояло, на мой взгляд, в самом наполнении этих форм. Главный герой у него — прежде всего человек. И чаще всего человек из самой гущи народа. Именно это и было привлекательным для меня. Героем литературного произведения оказывался человек, который как бы только что сидел вот тут, рядом с тобой, вдруг встал и переселился на страницы книги, чтобы оттуда глядеть на тебя. В свое время это навело меня на мысль: значит, и мое окружение тоже может быть предметом художественного изображения, материалом для рассказов, повестей и романов.

Роль Горького в развитии литератур народов нашей страны велика и плодотворна. Ни один современный советский писатель не может отрицать благотворного влияния горьковских традиций на его творчество. Создание, по определению Максима Горького, единой социалистической культуры в настоящее время идет полным ходом. Многие литературные явления, где бы они ни возникали — в Узбекистане, на Украине, в Прибалтике или на Крайнем Севере, — становятся явлениями общесоветской культуры.

Далеко не всем известно, что Алексей Максимович Горький принял сердечное и активное участие в редактировании и публикации произведения первого юкагирского писателя Текки Одулка «Жизнь Имтеургина-старшего». Эта повесть и поныне читается с захватывающим интересом.

В свое время мне пришлось переводить рассказы Алексея Максимовича Горького. Это была трудная, но радостная работа.

Нельзя переоценить огромную важность для каждого из нас школы горьковской публицистики. Это прежде всего высшая школа причастности писателя к современности. В университетские годы мне пришлось заниматься ранними публикациями Алексея Максимовича — его газетными фельетонами, заметками, статьями и зарисовками с Нижегородской выставки, подписанными еще псевдонимом Иегудиял Хламида. Это его

работы — увлекательное чтение, постоянный урок гражданственности самого высокого накала. Ибо писательская гражданственность по-особому ярко и открыто проявляется как раз в публицистике, в откликах и размышлениях на темы животрепещущей современности.

Ленинград.

СЕРГЕЙ САРТАКОВ. Художник, видевший даль времени. Мне особенно дорога в Горьком его публицистическая страстность, соединенная с высоким мастерством и dokonальным знанием предмета, о котором он ведет речь. Четко выраженное мировоззрение художника. Его неустанная борьба за чистоту, емкость и выразительность родного языка. Его смелость и уверенность в исследовании самых сложных житейских, психологических и социально-общественных проблем.

С Алексеем Максимовичем встречаться мне не приходилось, не состоял я с ним и в переписке. Печататься начал после его кончины. Но Горький всегда для меня был одним из высших литературных авторитетов. Безотчетно, сам не знаю почему. Он убеждал меня не то железной силой своей логики, не то строгой и в то же время романтически приподнятой манерой своего письма («Старуха Изергиль», «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике»), не то душевным обаянием своей личности по рассказам других. А может быть, «Мои университеты» — первая книга А. М. Горького, прочитанная мною, — так сразу покорила меня. И я отыскивал в них сходство с собственным детством — не столь тяжелым, как у Алеши Пешкова, но близким по стремлению все же кое-чему научиться. Эта книга и по сие время очень любима мною. Еще люблю перечитывать его письма. И особо люблю его пьесу «На дне», которую мы, минусинские драмкружковцы, в начале 30-х годов поставили как программную, открыв в ней огромный заряд социальных идей и возвышенных человеческих чувств, обогащавших каждого из нас.

Мне кажется, что слово «политик» в высшей степени приложимо к Горькому. Он был человеком всеохватной мысли, видящим глазом художника жизнь во всех ее многообразных проявлениях и сердцем гражданина стремящимся ее усовершенствовать. Как точнее назвать такой слава? Не знаю. Но это двуединство было органическим свойством Горького, пламенного выразителя марксистско-ленинского мировоззрения через художественные образы своих произведений. Во многом как литератору ему приходилось протаптывать первые тропы.

Художник развитого социализма, естественно, стремится как можно глубже постичь противоречия мира, руководствуясь марксистским диалектико-материалистическим методом. Но активное владение нашим методом непременно требует и принципиального спора с тем подходом к явлениям жизни, который чужд социалистической идеологии. Вот здесь уверенно побеждает только тот художник, который целостен как мастер в своем деле и как общественная личность. Как гражданин.

Скажу несколько слов о знаменитом очерке Горького, посвященном вождю пролетариата. Ленин у Горького глубоко человечен. И удивительно прост, не усложнен в портрете. Несколько фраз, точных, лаконичных, — и перед тобою Ленин. В движении. Подчеркиваю, в движении. Не только в физическом смысле, а главным образом в движении мысли, в ее раскованном полете. Ленин у Горького многомерен, скульптурен, но не бронзов. Ленин, великий стратег революции и философ, необходимо сосредоточенный в высоких материях абстрактного мышления, не подавляет в себе душевно открытого для всех человека, вникающего в любые повседневные заботы.

Современная Лениниана, на мой взгляд, развивается успешно, хотя уроки Горького она могла бы усваивать более активно. Все еще порою чувствуется у ряда авторов, даже очень талантливых, как бы раскавыченная цитатность, когда передается образ мыслей Ленина, его живая речь. И не хватает в полной мере той уважительной смелости, с какою Горький рисовал Ленина — просто человека.

Диалектика притяжения и отталкивания в подходе Алексея Максимовича (если иметь в виду прежде всего его собственную творческую лабораторию) к традициям классики не была простой. Но простой была вот такая общая истина — традицию он рассматривал как союзницу в движении молодой советской культуры вперед. От ясно видимой точки отсчета к столь же ясно видимой цели. Художественная практика Горь-

кого вбирала в себя все богатство мировой культуры, оставленное великими предшественниками. Классическая традиция — это тот вечно бьющий из земли родник, без которого не было бы Волги, все ширящейся по мере ее бега к морю.

Сейчас, мне кажется, уже нет лихих отрицателей ценности прошлого для настоящего и будущего, а Горький, все удаляясь от нас во времени, тем не менее своим творческим опытом остается по-прежнему близким и увлекающим за собою.

...Не может быть палки об одном конце. Невозможно создать полноценное художественное произведение, так сказать, из однополюсных героев. Всегда кто-то или что-то будет противостоять другому. А результат противостояния, затем борьбы, непременно окажется неодинаковым. Либо восторжествует Добро, либо на какое-то время верх возьмет Зло. Однако Горький верил — и доказывал это всем своим творчеством, — что при любом наисложнейшем переплетении человеческих судеб, в самых драматических ситуациях положительный герой, в собирательном, конечно, своем значении, не будет сломлен. Отдельная личность — да, но не положительное начало жизни в целом. На этом мир стоит. Вот эта убежденность, мне кажется, пронизывает яркой чертой и все лучшие произведения нашего времени.

«Человек! Это — великолепно! Это звучит... гордо!» — вот та грань, которая особенно выделяется, а хочется, чтобы выделялась и еще больше, своей немеркнувшей силой света в современном искусстве. «Все — в человеке, все для человека!»

Одно время так называемая производственная тема в художественной литературе порядком ее оскуднила. Писатели увлекались дотошным беллетризованным изложением технологических процессов, искали источники конфликтов главным образом в отношениях новаторов и консерваторов между собою (что вообще-то, конечно, имело и имеет место в повседневной жизни). А человек, по Горькому, в высоком смысле «преобразуемый процессами труда», оставался где-то лишь при машинах, в грохоте паровых молотов и экскаваторов, скребущих каменистую землю.

И вдруг радостная перемена. Человек решительно вышагнул вперед от машины к читателю, сквозь шум станков голос его стал отчетливо слышен. Сразу осозналась и труд человека как творчество, как первейшая для него обязанность. Фамилий авторов и в качестве примеров названий их романов, повестей, стихов и пьес не привожу — не тот повод. Важно сейчас другое: горьковская мысль о первостепенной значимости труда в развитии прогресса, культуры и духовной сущности человека победительно шествует в современной литературной практике.

Конечно, было бы очень и очень неплохо, если бы писатели в публичных печатных выступлениях не пренебрегали и вопросами теории. Но большинство из нас, кажется, подобны сороконожке, которая уверенно и быстро бегает, не зная между тем, в какой последовательности ей следует перебирать ногами. Возможно ли здесь что-либо изменить? Вряд ли. Во всяком случае не путем наставнических упреков писателям, что, дескать, не желают они почему-то заниматься научной разработкой вопросов теории литературы. У Горького теория и художническая практика соединялись органично, он был в равной степени творцом и того и другого, а это ведь не всякому дано.

Горький превосходно владел мастерством и романиста, и повествователя, и драматурга. Но особо, пожалуй, я выделил бы горьковские романы. Они по структуре своей многоплановы и, как правило, многослойны в социальном разрезе. И эта многослойность отнюдь не пресловутое «представительство», это естественные встречи на одной площадке тех противоборствующих сил, которые применительно к изображаемой автором эпохе существуют и в реальной жизни. Горький, на мой взгляд, ввел в свои романы значительно большую социальную остроту, чем его предшественники, также разрабатывавшие в художественных образах политические проблемы. Вместе с тем Горький в своих романах предстает как очень тонкий психолог, стремящийся делать обобщения не из внешней логики действий, поступков человека, а вторгаясь в самые сокровенные уголки души человеческой, подтолкнувшей его к этим действиям.

Сознательно я ни в чем не пытаюсь подражать Горькому и ничего из его художнической практики не стремлюсь заимствовать. Но в творчестве Горького я вижу высокий образец общественного служения, и это, возможно, в какой-то степени отражается и на моей писательской работе.

Думаю, что горьковское влияние на развитие современной прозы продолжается. Более всего — в рассмотрении острых социальных проблем и в углубленной психологической разработке характеров литературных персонажей.

Мечта Горького о том, чтобы «каждое произведение каждой народности, входящей в Союз, переводилось на языки всех других народностей Союза», в принципе сбылась — с таким широким размахом ведется у нас переводческое дело. А на практике понадобится еще какое-то, и немалое, время для подготовки все новых и новых кадров переводчиков, ибо в этом весь гвоздь вопроса. Да еще нужна бумага и полиграфические мощности в огромных количествах, чтобы издательства смогли вплотную приблизиться к идеалу, изображенному Горьким.

Вообще же роль Алексея Максимовича в развитии национальных литератур огромна и не стираема временем. Его статьи и публичные высказывания на эту тему свежи и поныне.

Памятное обращение А. М. Горького: «С кем вы, мастера культуры?» — удивительно сжато и точно определяет его взгляд на проблему «художник и время». Вряд ли нужно к этому что-либо еще добавлять. Вопрос Горького словно пепел Клааса стучит и посейчас в сердце каждого, кто по достоинству причислен народом к званию мастеров культуры. А влияют ли они, мастера культуры, на политический климат планеты нашего времени? Очень влияют. К их голосу прислушивается весь мир, они — совесть мира. Только надо действовать, действовать, действовать.

По поводу воздействия Горького на современную драматургию и сценическую практику отвечу лишь как зритель: мне кажется, горьковские традиции в театре слабеют. Сам Горький ставится еще без существенного отхода от хрестоматийных канонов. А школы Горького в произведениях современных драматургов, спектаклях тем более, как-то и не чувствуется. Мало чувствуется.

Публицистика Горького, на мой взгляд, характерна тем, что она и очень конкретна в фактах, и в то же время, я бы сказал, весьма живописна в своей словесной ткани. Главное же, конечно, заключается в ее отчетливой идейной целеустремленности. И не эфемерности. Любую публицистическую статью Горького перечитываешь и сейчас с живейшим интересом, отыскиваешь и находишь в ней прямые созвучия с нашим временем. А ведь, казалось бы, этот жанр литературы прежде всего злободневен и не слишком уж призван адресоваться к грядущим поколениям. В этом важный урок А. М. Горького. Публицисты наших дней, думается мне, отлично его усвоили. В наследовании заветов горьковской публицистики мы очень сильны.

Почаще бы надо вспоминать, что Горький — это глыбца и его время — целая эпоха в создании, становлении и развитии советской многонациональной литературы. И еще: Горький всегда современен. И потому он с нами.

ВИТАЛИЙ СЕМИН. «Мне давно и упрямо хочется знать...». «Интересно умирал один мой знакомый» — начинается один горьковский рассказ. Человек этот, «благовоспитанный и симпатичный... любил естественные науки и хорошие сигары», а умирал «в тесной, грязенькой кухне; его койка была выдвинута на середину пола, и прямо пред глазами у него — закопченное жирным дымом чело печи...». Краски и дальше положены жестко. И картина смерти дана без всякого снисхождения к умирающему.

Любой интерес угасает, когда силы отталкивания перевешивают. Если сердце стеснено, глаза сами собой бегут в сторону, много ли увидишь? Для любопытства необходимо какое-то душевное расположение. И наконец, есть же граница, перед которой останавливается художественное исследование! А между тем на тесной кухне, где негде койки развернуть, не то что духу развернуться, любопытных двое. Умирающий и тот, кто его провожает. Умирающий говорит немислимые слова: «...сверх всего, это любопытно — умирать». И спрашивает с удивлением: «Отчего у вас такое унылое лицо?» Он говорит и многое другое. Но это неистовое любопытство мне хотелось выделить. Не смерть, а жизнь его возбуждает. В смерти нет загадки, загадка — в жизни.

«Мне давно и упрямо хочется знать...» — говорит автор в другом рассказе. А

знать хочется, как прожил свою жизнь тюремный надзиратель Курнашов — «человек сухонький, спокойный, похожий на икону угодника божия».

Много лет назад один писатель читал свою пьесу актерам. Ему сказали:

— Меньшевик у вас слабо выписан.

Он ответил:

— Много чести будет хорошо его выписывать.

Не для анекдота я привел этот клинический случай. Вещи, от которых мы отталкиваемся, кажутся нам неинтересными. Образуется что-то вроде бытового предрассудка — отделять интересное от неинтересного. Что-то вроде ложной уверенности: неинтересное мы превзошли!

Самостоятельность в суждениях горьковских «скучных», «неинтересных» людей поразительна. Как будто каждую свою жизненную теорему они доказывали сами, не пользовались ничьим жизненным опытом, ничьей подсказки не брали на веру. «Терпение,— говорит тот же Курнашов,— оно тоже, знаете, довольно опасно, иногда в нем такая гордость скрыта, что сил нет снести ее». И он же размышляет: «Рассказы — не научат, научает рассуждение. Рассказать можно все что захочется, и будет — ложь, а рассуждение — тут не всякий соврать может. Голое слово обязует, как цифры, а цифра — не совет, как ее ни поворачивай». Каждое слово здесь весит ровно столько, сколько весит жизненный опыт Курнашова. А жизненный опыт даже такого человека, как Курнашов, на вес золота. Да и «фигурность мысли», по горьковскому же выражению, что-то значит. В ней тоже что-то свое, курнашовское. Автору кулаком хочется ударить по «маленькой узколовой головке». Но он всматривается в изгибы этой перекрученной, переломанной жизни, как всматривается и в лицо умирающего. И у нас дух захватывает от погружения в какие-то глубины. И смысл погружения ясен. И почему автор «давно и упрямо» хочет знать — никто, кроме Курнашова, его этой дорогой не проведет.

Интересность «простых» людей — вот что у Горького меня всегда поражало больше всего. Тексты я привел не хрестоматийные. Но и в хрестоматийных все было бы так же.

Кажется, что это автор так умен за своих героев. Но в словах «мой университет» гораздо больше прямого значения, чем контрольного — «в университете не учился». И очень скоро начинаешь понимать, зачем Горький так тщательно исследует жизненные пути своих негероических, нелитературных, что ли, персонажей. По своей жизни они лучшие проводники. А собранные вместе жизненные дороги должны привести к важной отгадке. Формула отгадки может звучать примерно так: «...я думаю, что когда-нибудь люди победят смерть. У меня нет иных оснований верить в победу над смертью, у меня только одно основание — вот, умирает человек, и это так просто, так ненужно». У формулы могут быть другие слова: «...в душе моей росло внимание к человеку — ко всякому, кто бы он ни был, скопьялось уважение к его труду, любовь к его беспокойному духу... жизнь наполнялась великим смыслом». Все горьковские формулы чем-то тебе близки. И хотя жизненные пути многих горьковских персонажей пресекаются смертью, гибелью духовной или чем-то другим враждебным человеку, изначальное, природное, родовое их стремление к великому смыслу очевидно.

Великий смысл, которым измеряется самая «неинтересная» жизнь, — это тоже всегда потрясало меня в Горьком.

Попытавшись выделить в наследии Горького часть, я сразу почувствовал прикосновение к необъятному и понял, что это нормальная необъятность. И что она тоже всегда поражала меня. Создавая свои произведения, Горький создавал и эталон писателя, человека. И в этом эталоне необъятность — норма. И норма эта — рабочая. Без нее не было бы великого смысла, освещающего каждое произведение писателя. Не было бы и неистового любопытства, интереса к заведомо неинтересному.

«Неинтересное» — это почти всегда сфера нашей некомпетенции. От кого мы только здесь не зависим! От редактора, критика, приятеля. От собственной косности... В иные времена сфера «неинтересного» так разрастается, что остающееся на долю «интересного» уже почти совсем не заслуживает доверия. Над Горьким это слово никогда не висело.

Для меня все это и является самым главным в наследии А. М. Горького.

Ростов-на-Дону.

МИКОЛАС СЛУЦКИС. Высокое напряжение духа. В мир моих чувств и воображения Максим Горький ворвался в годы Великой Отечественной войны, когда меня, тринадцатилетнего мальчишку, судьба внезапно забросила в Россию, в далекую Кировскую область. Все там было странным, непривычным, начиная с образной, богатой диалектизмами речи местных жителей и кончая контрастами природы: сразу же за непроходимой чащобой начиналась лесостепь. Живя в детском доме, я вскоре научился читать по-русски, и одним из моих любимых писателей стал Горький.

Чем очаровал он подростка? Тогда я не смог бы объяснить, если бы кто-то и спросил меня. Попытаюсь сделать это теперь, выделив два момента, хотя прекрасно понимаю, что несколькими замечаниями исчерпать такую тему невозможно.

В книгах Горького, как бескрайний океан, бурлила Россия. Та самая, которая приютила нас и которую мы, сироты войны, жаждали постичь. Только так могли мы отблагодарить за щедро предоставленный кров. Жили мы на берегу Вятки, но влекла к себе Волга, ширь и даль страны, поднявшейся на смертный бой с гитлеровскими орадами. Здесь-то особенно дорог оказался Горький...

Ни один другой писатель не дал мне столько «знаний» о России, о ее людях, жизни и обычаях, как Горький. Слово «знания» я заключаю в кавычки не потому, что сомневаюсь в их достоверности. Горький в сущности своей не бытописатель, тем более не писатель-этнограф, хотя отлично живописует и обычаи, и разные ремесла, и колоритные типы людей. Горьковское «знание» раскалено в горниле эмоций, оно проникает под кожу, врезается, как татуировка, и остается на всю жизнь. Ни о чем не писал Горький холодно и равнодушно. Даже такой специфический рассказик, как «На соли», где речь идет, казалось бы, о характере производства в старой России, апеллирует прежде всего к чувствам читателя.

Без рук и без ног возвращались с фронта солдаты, с песнями уходили на войну безусые паренки, а их матери, смахнув слезу, впрягались в плуги. Где черпали они силы? Я брал Горького, его легенды о далеких и безвозвратно ушедших временах и начинал что-то угадывать, понимать. Я чувствовал — иначе и не скажешь, именно чувствовал! — почему простой русский крестьянин, голодный и разутый, так героически переносит испытания и ужасы войны, почему он не теряет веры в победу и жертвует для нее последним, оторванным от семьи куском. «Загадочная русская душа» — говорят на Западе, а Горький очень рано помог мне понять, что эта «загадочность» — неумное стремление к свободе и счастью, глубинное чувство правды, нередко трагически испытываемое на перепутьях истории. Поэтому часто столь драматичны судьбы героев Горького.

Так в свои юные годы я учился у Горького тому, чему невозможно научиться ни в одной школе.

Наряду с познанием души русского человека я хотел бы выделить и другой очень важный момент, связанный с Горьким. Я имею в виду ранний период его творчества, его романтические произведения. Признаюсь откровенно: они произвели на меня огромное впечатление и, возможно, побудили к занятиям литературой. Без душевного трепета не мог я читать «Макара Чудру», «Деда Архипа и Леньку», «Старуху Изергиль», «Челкаша» и многие другие рассказы подобного типа. Сегодня я отношусь к ним гораздо сдержаннее, но не перестаю поражаться тому, сколько в них энергии, открытости, острой и дальновидной мудрости. Как старое, выдержанное вино, пьянили эти рассказы, казалось не на бумаге написанные, а на широком небосводе раскаленной, искрящейся головешкой выведенные...

Кто еще умел так гордо, чувственно и одновременно так благородно говорить молодым о любви? Достаточно вспомнить две поэмы Горького, одну написанную в прозе — «Двадцать шесть и одна», другую в стихах — «Девушка и Смерть», чтобы в полный рост предстала идеальная сторона его творчества, не чурающаяся ничего земного и человеческого и вместе с тем побуждающая преодолевать страшную силу земного тяготения.

В эти дни я заново перечитал «Фому Гордеева» и почувствовал, как погружаюсь в потрясающие по своей откровенности и способные довести до безумия духовные искания человека. Да, я прекрасно знаю, что в романе изображены социальные противоречия русской жизни в канун решающих классовых битв — как и в других своих произведениях, Горький безжалостно обнажает здесь язвы буржуазного общества, — однако

меня покорила душевная неуспокоенность, вечные, обращенные к самому себе вопросы: кто я, во имя чего живу? В каждую эпоху эти вопросы обретают конкретное социальное содержание, но они не перестанут звучать до тех пор, пока жив будет род человеческий. Духовность произведений Горького потому так особо ценна, что не в риторике она выращена, а извлекается из земных страстей и страданий, настолько земных, что человек близорукий, возможно, и не заметит сияющего над ними зарева духовности.

Акцентируя прежде всего социальное содержание творчества Горького, не рискуем ли мы тем самым произвольно засушить наследие великого писателя, превратив его в иллюстрацию истории? А между тем оно продолжает оставаться действенным воспитателем души, не только мировоззрения. Такого Горького, заставляющего мыслить, глубже чувствовать и дальше повседневности видеть, мы должны вернуть молодому читателю. В век науки и техники, который отличается, увы, не столько фантазией, сколько буйно расцветшим практицизмом, по-прежнему необходима страстная вера в величие человеческого духа.

Перевела с литовского Б. ЗАЛЕССКАЯ.

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ. Горький — талант властный. В его книгах всегда виден указующий перст, слышна поучающая нота, против которых порой хочется бунтовать. Но, встретившись с ним, снова покоряешься его художественной воле, снова идешь за ним всюду, куда поведет. Отчего же так?

Раздумывая над этим, приходишь к мысли, что у него талант хоть и властный, но не своевольный. Чувствуешь, он и сам подчинен какой-то более высокой власти, каким-то более суровым закономерностям, чем закономерности сюжета и стиля. Высшей властью для Горького, от имени которой он так наставительно говорил, была жизнь, а знал он ее как никто другой.

Секрет его властности и в том, что, как великий зачинатель, он закладывал основы нашего нравственного бытия. Они — в нас. Через книги Горького начинаешь отчетливее узнавать духовные истоки нашей советской жизни, глубже понимать ее историческую закономерность. В этом я и вижу его значение как основоположника советской, а теперь уже мировой социалистической литературы.

Как большинство великих зачинателей, Горький универсален — поэт, прозаик, драматург, публицист, историк, общественный деятель, редактор, издатель. Во всем объеме своей поистине великой деятельности он для меня един, но все же я для себя особо выделяю в нем прозаика и драматурга. Признаюсь: как поэт, за исключением двух стихотворений, он не производил на меня большого впечатления. Вершины русской поэзии были для меня за другими именами, но его прозу и драматургию всякий раз как бы воспринимаю заново. Особенно злободневен и тематически глобален, на мой взгляд, даже у нас не в полную меру оцененный роман «Жизнь Клима Самгина».

Среди действующих лиц этого романа, вернее в качестве антипода деградирующему Климу Самгину, я почти всегда вижу отсутствующего, даже не названного в нем Александра Блока. Они для меня два самых типических характера русской интеллигенции в жизни и революции. Если Блок представляет в ней неустрашимость поиска правды и справедливости, то Самгин олицетворяет всю слабость ее промежуточного, межклассового положения. «Он выучился искусно ставить свое мнение между да и нет, и это укрепляло за ним репутацию человека, который умеет думать независимо, жить на средства своего ума».

В своей социальной неустойчивости всю жизнь он камуфлировал себя, начиная с дымчатых очков, еще в детстве без нужды воздетых на острый носик, всю жизнь стремился придать себе значительность, даже исключительность, хотя вся жизнь его была цепью малых и больших предательств. Падать все ниже и ниже помогала ему скедгическая формула: «Да — был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?»

Видимо, присутствие Блока при чтении «Жизни Клима Самгина» объясняется той ассоциацией, что в своей публицистике тот, как и Горький, был занят такими проблемами, как интеллигенция и народ, интеллигенция и революция. Все эти проблемы поставила в прошлом наша революционная история. Сегодня, в эпоху освободительных войн и революций, в эпоху опасности атомной войны и гибели, они стали проблемами уже мировыми, и уже глобально звучит вопрос: с кем вы, товарищи интеллигенты?

ЛЕВ ЯКИМЕНКО. Подвиг Горького, опыт Горького. В нашем доме было два имени, которые произносились всегда с особым чувством преклонения и восхищения: Чехов и Горький.

Отец мой, сельский учитель, не получил систематического образования. Медный пятак — вот все, с чем он отправился пешком в ново-московскую учительскую семинарию сдавать экзамены на школьного учителя. Отец его, бедный крестьянин, не мог дать ему больше ни копейки. Долгие мытарства — и наконец-то полученная работа в Ново-Александровском уезде (нынешняя Запорожская область). Он много читал, учился сам, ездил в Москву на знаменитые Курсы Шанявского. И вот из тех молодых лет отец вынес две привязанности. Он часто читал вслух Чехова; не раз звучало в нашей маленькой хате в селе на Днепропетровщине и слово Горького.

Помню, как блстели глаза отца, когда он говорил о Горьком или рассказывал о революционных событиях 1905 года в украинском селе, где учительствовал. Все это сплеталось для меня в единое светлое чувство. С тех лет для меня Горький — один из тех писателей, которые пробуждают прежде всего веру в человеческое достоинство.

Подлинное искусство всегда вдохновляется верой в человека, в его исторические возможности. Без такой веры искусство утрачивает свой подлинный смысл и назначение. В этом отношении Горький, может быть, один из самых современных писателей. В наш век — в век, когда в буржуазном мире многие беззастенчиво пытаются унижить достоинство и честь человека, пытаются доказать, что человек бессилён что-либо изменить, что он обречен на одиночество, на страдания, на страх, — жизнь Горького, творчество Горького являются негаснущим факелом веры, разума и справедливости.

Горький — художник героического склада. В музыке рассказов Горького для меня всегда звучат героические интонации музыки Бетховена. Героическое в творчестве Горького возникало на основе веры в человека, веры в то, что человек сам способен создать для себя обстоятельства, в которых раскрылись бы все его способности и возможности.

Одно из лучших произведений Горького, на мой взгляд, — пьеса «Егор Булычов и другие»; удивляет, что она так давно не звучала на московской сцене. А ведь это драма, в которой идет извечная битва жизни и смерти, драма, в которой перед нами предстает сильная человеческая личность, мучительно и бесстрашно ищущая ответа на вопрос о цели, смысле человеческого существования. Трагедия и ирония, пафос и обличение создают поразительное полифоническое звучание этой мощной драмы, в которой время и человек раскрыты во всем многообразии их связей и отношений.

В нашем литературоведении мало говорится об одном из важных свойств таланта Горького. Я как-то прочитал у Томаса Манна в его лекции об искусстве романа о том, что эпосу необходима ирония. И вот когда я размышляю о «Жизни Клима Самгина», я не только восхищаюсь подвигом Горького-художника, но изумляюсь тому, как он смог сочетать, казалось бы, несоединимое в своей эпопее. Уже сам герой Клима Самгин антиэпичен, кажется, по самой своей сущности. Но с каким искусством Горький использует характер этого интеллигента средней стоимости для создания грандиозной картины русской жизни на протяжении почти сорока лет! Энциклопедическая широта и размах, с которыми изображена жизнь Клима Самгина, сочетаются с глубоким внутренним анализом поступков и действий героев. Мотивы действий и поступков исследуются и в том историческом потоке, который воспроизведен Горьким в этой эпопее, и в сфере подсознания героя. Возникает грандиозная картина, в которой каждый человек со своим неповторимым обликом, со своими мыслями, надеждами, стремлениями и все вместе — Россия эпохи двух русских революций, все вместе — человеческий рой в его бытии и осуществлениях.

Давно мечтаю написать статью или книгу «Уроки Горького». Хотелось бы определить значение творчества Горького для нашей современности и прежде всего выявить то, что живет сегодня в самом пафосе нашего искусства, в его целях и обретениях, иногда, может быть, даже растворившись, потеряв индивидуальные горьковские очертания. Так, горьковское я вижу в лейтенанте Княжко из «Берега» Ю. Бондарева, в той гуманистической идее, которую он воплотил своим подвигом. Но вряд ли Ю. Бондарев как художник вышел из горьковской школы. Горьковская традиция в искусстве часто шире учебы и даже влияния.

В современной критике часто говорится, например, о значении быта как одной из сфер, где проявляется социальная нравственность. Горький — один из тех писателей, которые превосходно знали быт дореволюционной России. Горький знал быт, пожалуй, так полно, как никто другой. Его окурковский цикл тому очевидное свидетельство. Но он умел и ненавидеть, презирать застойную силу быта и всегда находил то, что способствовало преодолению косности. И в этом, я думаю, для нашей литературы опыт Горького особенно своевременен и значителен.

Мне представляется, что творчество такого одаренного и яркого писателя, как Виктор Астафьев, во многом связано с опытом, традициями Горького. Это очевидно, когда мы говорим, положим, о «Последнем поклоне». Бабушка в «Детстве» и «В людях» и бабушка в «Последнем поклоне» — какая замечательная эстафета любви, преданности, уважения к истинно народному, неиссякаемому источнику добра, справедливости, чести, достоинства. Горьковское в произведениях Виктора Астафьева — и в реализме, с которым он описывает своих героев, и в высоких нравственных критериях. Я не пытаюсь здесь осветить хоть в какой-то мере труднейшую и сложнейшую проблему традиций Горького. Я говорю скорее о том непосредственном чувстве, которое возникает, когда читаешь многие современные произведения и видишь, как все то доброе и значительное, что входило в литературу с Горьким, продолжается и живет в новых художественных открытиях.

Я часто перечитываю письма Горького, и всегда меня удивляет его душевная отзывчивость, его чуткость, его щедрость. В нашей критике часто вспоминают слова Леонида Леонова: «Все мы выпорхнули из широкого горьковского рукава». Как он много читал, сколько рукописей, книг! Скольких писателей поддержал на трудном пути, скольким помог обрести уверенность в своих силах! К скольким произведениям привлек внимание широких читательских кругов! И иногда с грустью думаешь: как же мы бываем порой невнимательны к работе друг друга. С горечью вспоминаются слова Константина Федина, который говорил о том, что любить работу ближнего становится почти утраченным искусством. Как редко на съездах писателей, на совещаниях, обсуждениях прозвучит доброе слово о новом, неизвестном ранее имени. Мы почти утратили радость открытия таланта. Не часто руководители Союза писателей позволяют себе порадовать своих товарищей по писательской работе добрым словом, письмом, отзывом об их труде. Кажется, один Александр Фадеев может быть в какой-то мере сопоставлен с Горьким в его отношении к работе своих товарищей.

Вот этого горьковского не хотелось бы забывать!

Какие прекрасные слова произнес Горький в своей заключительной речи на I съезде писателей: «...партия и правительство отнимают у нас... право командовать друг другом, предоставляя право учить друг друга. Учить — значит взаимно делиться опытом. Только это. Только это, и не больше этого».

Все последние партийные решения по вопросам литературы и искусства, Отчетный доклад ЦК КПСС XXV съезду, где дан глубокий анализ современного состояния литературы и искусства, пронизаны этим духом ленинского демократизма, который воплощал в своей жизни, в своей работе, в своем творчестве и Алексей Максимович Горький — гениальный художник XX века.

Когда думаешь о жизни и творчестве Горького, думаешь о подвиге. Другого слова тут не подберешь.

Героическое искусство Горького выражало мятежный героический дух великолепной человеческой личности, прошедшей через страдания, утраты, через самую смерть к утверждению величия и непобедимости жизни.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Алла Марченко. «Стал он кликать золотую рыбку...» — У. Гуральник. Первая книга критика.— **Олег Ефремов.** Уроки великого режиссера.— **П. Балашов.** Логика трудных решений.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ю. Шарапов. Преемник первого чекиста.— **Валентин Зорин.** Не точка и не в конце.— **Г. Ашин, Р. Додельцев.** Процесс разрядки и идеологическая борьба.

Литература и искусство

«СТАЛ ОН КЛИКАТЬ ЗОЛОТУЮ РЫБКУ...»

Виктор Астафьев. Царь-рыба. Повествование в рассказах. «Наш современник», 1976, №№ 4—6.

В том, что астафьевская «Царь-рыба» в отличие от предшествовавших ей «Кражи» и «Пастуха и пастушки» вызовет взрыв критической разногласицы, можно было и не сомневаться. Но того, что под обстрел попадет язык писателя, я как-то не ожидала. Вежливые замечания, а порой и сдержанные упреки в адрес языковых экспериментов В. Астафьева раздавались и прежде. Но тут уж от былой сдержанности и следа не осталось, хотя именно «Царь-рыба», как мне представляется, вещь в языковом отношении и целостная и органичная. Простонародное слово здесь не торчит, подобно экзотическим лаптям на новомодной кухне, а живет, дышит, работает, создавая удивительную своей свободой и нестандартностью языковую атмосферу книги.

Но вот, по утверждению Б. Можаяева, сугубо «сибирские» слова и обороты в «Царь-рыбе» — «это не диалектизмы, это не те слова из широкого народного обихода, которые обогащают «общепринятый» язык. Это слова-уродцы, слова-паразиты, затемняющие смысл и коверкающие русскую речь» (см. «Литературную газету» за 9 июня 1976 года). Рискну допустить, что резкость эта вызвана не столько разницей вкусов, сколько непониманием тех задач, которые ставил перед собой В. Астафьев, и прежде всего жанрового своеобразия вещи в целом.

Виктор Астафьев утвердился в нашем сознании как мастер короткой новеллы и

небольшой компактной повести. Такой его репутации не поколебал и «Последний поклон». Вещь эта сложена из «отдельных рассказов», но ее вроде бы автономные «главки», как боровички в грибной год, отличаются друг от друга разве что объемом. А в «Царь-рыбе» что ни рассказ, то новый склад и новый лад, у каждого своя скорость, свой стиль и своя вроде бы отдельная идея. Совместить все это с нашими представлениями о романе, пусть даже о романе из отдельных рассказов, трудно. Куда легче и читать и оценивать рассказы вразбивку, вытягивая из цельного повествования куски и главы по своему вкусу (кому про браконьеров, кому про природу, кому про любовь — благо всего так много, что глаза разбегаются).

А как неосмотрителен В. Астафьев, во всяком случае на первый взгляд, в выборе героев! Вспомните его давнее интервью с К. Щербаковым (оно было напечатано в «Комсомольской правде»). «...в ваших книгах, — полуспрашивал - полуутверждал К. Щербаков, — трудные, часто драматические судьбы, характеры жесткие и отнюдь не дистиллированные. Но в каждом из них вы ищете ростки доброты, проблески душевного света. Отыскав, увлекаетесь, выписываете героя любовно и тщательно. Если найти не удастся, если душа оказывается темна, неотзывчива, глуха к доброте и участию, вы попросту утрачиваете интерес

к персонажу, даже недоделываете...» И В. Астафьев в принципе согласился с критиком: «Нельзя сказать, что намеренно недоделываю. Но в общем да, очевидно, таков склад способностей — я с удовольствием пишу о хороших людях, и если что удастся мне, так это они. Скверных людей писать не умею — получается нежизненно, карикатурно. Любкой литератор что-то умеет делать хорошо, что-то хуже, чего-то не умеет вовсе».

И вот, зная за собой все эти «слабости», В. Астафьев строит свое «повествование в рассказах» так, что в самом центре его оказываются «скверные» браконьеры, то есть сознательно берется за то, чего «не умеет вовсе»! Правда, незаурядная астафьевская зоркость, редкая его памятьливость на слова и лица порой настолько сглаживают «нежизненность» отрицательных героев, что мы почти забываем о том, что перед нами не типические характеры, испытываемые на прочность в типических обстоятельствах, а лишь по-разному аргументированные мысли писателя.

Впрочем, если, отсекая боковые и слишком «затейливые» сюжетные линии, выделить в «Царь-рыбе» лишь ее публицистическое ядро, можно и без особой натяжки увидеть в ней остроактуальное сочинение, выводящее на чистую воду таежных «пиратов», а заодно и нерадивых хозяйственников, «за сиюминутной пользой забывающих о долге перед будущим». И тогда недостаточность психологических мотивировок вполне может быть объяснена требованиями «наглядности» и «доходчивости», что, к примеру, и сделал С. Чупринин, который, рецензируя в «Литературной газете» «Царь-рыбу», отнес к самым сильным страницам повествования как раз те, где автор клеймит «браконьеров всех сортов и мастей».

Согласна: Астафьев не чурается ни прямой публицистики, ни статистических выкладок, ни открытого обсуждения как экологических, так и хозяйственных вопросов. Но будь в «Царь-рыбе» только это, мы бы имели еще один, сибирский, вариант «Деревенского дневника». Однако перед нами не просто дневник, хотя, может быть, начиналась «Царь-рыба» именно с лирико-публицистического дневника. И эта внутренняя установка на исповедь, освободив Астафьева от разного рода жанровых скреп, придала его публицистическому выступлению широкий философский смысл.

Перечитайте ключевой эпизод повествования — единоборство Игнатича с Царь-рыбой.

«Игнатич захлестнул тетиву самолова за железную уключину, вынул фонарик, воровато из рукава осветил им рыбину с хвоста. Над водой сверкнула острыми кнопками круглая спина осетра, изогнутый хвост его работал устало, настороженно, казалось, точат кривую татарскую саблю о каменную черноту ночи. Из воды, из-под костяного панциря, защищающего широкий, покаты лоб рыбины, в человека всверливались маленькие глазки с желтым ободком вокруг темных, с картечину величиною, зрачков. Они, эти глазки, без век, без ресниц, голые, глядящие со змеиной холодностью, чего-то таили в себе».

Тьма стоит кромешная, «каменная», рыба — редкостной, почти сказочной величины, а человек, освещая крохотным фонариком ее спину с хвоста, видит не только голову, но и лоб, не только лоб, но и глаза, не только глаза, но и цвет радужного ободка вокруг зрачков и даже — выражение этих крохотных, с картечину величиной, зрачков рыбины! Художнику менее дотошному подобная промашка могла бы и с рук сойти. Но Астафьев-живописец в тех случаях, когда он твердо следует за натурой, подобных промашек не допускает. К тому же это не единственное «преувеличение», которое он позволяет себе в эпизоде поединка: чем дольше длится противостояние, тем тяжелее символическая нагрузка на каждый микроповорот сюжета, на каждую деталь. И надо полагать, если В. Астафьев идет на подобные отступления от реалистической, вернее буквальной, точности, значит, есть на то и резон и умысел. Ну что ж, попробуем понять писателя.

Среди многих непривычных, но на редкость выразительных и емких словечек в «Царь-рыбе» есть и такое — «связчики». И не ради шегольства употребляет его Астафьев вместо общепринятого «товарищ по работе». За ним и содержание иное: не обычное содружество, подмога, помощь, а та жизненно необходимая связь, разрыв которой в силу специфики северного промысла чреват самыми трагическими последствиями.

Без «связчиков» не мыслит своего дела, своего писательского «промысла» и Виктор Астафьев. Эпиграфы и цитаты в его книге, от Н. Рубцова до Н. Новикова, от Халдора Шепли до Уолтера Мэкина, — это не про-

сто поэтические и интеллектуальные «заставки». Это знаки связи. Однако в эпиграфы вынесены, как мне кажется, мысли и имена лишь тех, кто в данный момент, при данном повороте оказался на слуху и на памяти. Имен своих главных «связчиков» Астафьев не называет, словно бы предлагая нам самим угадать их. И мы угадываем.

Первый и самый главный — Есенин. Это он незримо, но властно является нам всякий раз, когда Астафьев остается «один на один с природой» и, прислушиваясь к тому, что происходит в «младенчески чистой душе ее», учится «прорастать глазами, как эти листья, в глубину». Нет, Астафьев не подражает Есенину; он работает совсем в другой манере, куда менее импрессионистичной. Его сибирские пейзажи при всей их поэтичности в сравнении с есенинскими кажутся сделанными слишком тщательно (поэт словно заключил союз с натуралистом!); да и количество подробностей, приходящихся на единицу художественной площади, так велико, что для воздуха, для «легкодымной пелены» вроде бы и места не остается. Но именно этот, казалось бы, «натуралистический» сдвиг и придает живописи Астафьева непривычную, оригинальную выразительность — такой Сибири, такой тайги и особенно такой тундры мы, пожалуй, еще не видели. И все-таки внутренняя связь с Есениным чувствуется и здесь; она — в умении превратить живописный «задник» в сюжет, и притом не побочный, а главный, в редкостном, может быть, уникальном даре заставить нас пережить драму природы (пережить, а не всего лишь увидеть!) с той же дрожью сочувствия и соучастия, с какой переживаем мы смешное и трогательное, великое и ужасное в жизни человеческой!

И Есенин не единственный из литературных «связчиков», помогающий В. Астафьеву сладить свое «повествование в рассказах». Свою долю в это «строительство» внес, как мне кажется, и автор «Старика и моря». Во всяком случае, в сравнении с рыцарским благородством хемингуэевского Старика мы отчетливее, не суживая и не щуря глаз, видим неблагообразное, липенное даже профессионального достоинства поведение азартных охотников за рыбой. Но не одним профессиональным неблагообразием погубителей Царь-рыбы оскорблен В. Астафьев. Перед ним вопрос: как быть с их ненасытной, пределов не знающей (отнюдь не бытовой только) алчностью, с их отношением

к природе как к бесхозной кладовой — хватай сколько ухватишь, а после хоть трава не расти?

Может быть, вызвать «на связь» Пушкина, горькую мудрость «Сказки о рыбаке и рыбке», которая теперь, когда и чувство вины перед природой и боязнь возмездия за нарушение ее законов перестали быть привилегией поэтов и провидцев, и читается-то не так, как читалась не только сто, но и лет двадцать назад? Прежде мы, например, не слишком задумывались над тем, почему это «государыня рыбка» «ушла в открытое море» лишь тогда, когда зарвавшаяся в своем размахе старуха пожелала стать «владычицей морскою». Еще двадцать лет назад мы видели в этой притче только урок и лишь теперь, кажется, начинаем понимать и заключенный в ней намек...

Материал, собранный В. Астафьевым, давал возможность подойти к проблеме и с исторической стороны, ведь Сибирь веками не только закаляла и воспитывала суровый «сибирский характер», но и развращала его несметностью своего богатства: поле не мерено, овцы не считаны, а даяху далеко...

Трудно сказать, какую из этих вероятностей выбрал бы Астафьев — в сторону остроумной, слегка романизированной притчи (для которой он недостаточно ироничен) или слегка старомодной полуэпопеи (для которой он слишком лиричен) качнуло бы «Царь-рыбу», — если бы привередливое рыбацкое счастье да золотая рыбка писательской удачи не повязала бы его с «хануриком» по имени Аким.

Долго и недоверчиво приставтривается к Акиме Астафьев, и чем пристальнее приставтривается, тем медленнее движется повествование, а чем медленнее оно движется, тем явственнее проступают в нем романские черты (рассказ об Акиме образует как бы роман в романе, и традиционность «внутреннего» романа только подчеркивает нетрадиционность романа большого).

Мы сразу же ощущаем это замедление скорости, но поначалу объясняем его тем, что Астафьев набрал-таки на удобный ему типаж, тот самый, в котором при хорошо организованном внимании можно рассмотреть «ростки доброты» и «проблески душевного света». И обрадованные этим сходством Акима с уже известными нам по прежним произведениям Астафьева мечтателями и бессребренниками, мы впло-

не допускаем, что и с этим «недетопей» серьезная Сибирь расправится так, как когда-то разделалась с Кулышом: потерпит-потерпит да «оскинет», отторгнет от становой своей «жилы» как нечто чужеродное, лишнее. По давней традиции (вспомним хотя бы тургеневского Калиныча) созерцательность и «недетовство» Акима неотрывны от его способности остро чувствовать красоту природы, что для Астафьева не чудачество, но своего рода «масонский знак», по которому все мечтатели в его произведениях узнают друг друга. Сразу же приходят на память символические стародубы в одноименной повести и в «Последнем поклоне» (глава «Монах в новых штанах») или же фантастическая по красоте саранка, описанная в «Царь-рыбе».

Но что такое скромные стародубы и даже экзотическая туруханская лилия по сравнению с тем чудом, какое В. Астафьев «подарил» своему Акиму (или наоборот — Аким Астафьеву?):

«Парнишка упал, отдышался, стал подниматься на руках и замер, увидев перед носом цветок на мохнатой ножке...

Цветок караулил солнце. Коснувшись ледышки, солнечные лучи собирались в пучок, будто в линзе, и грели маковку, тоже уютанную в мохнатую паутинку на дне чашечки цветка. Лыдинка подтаивала, оседала, шире распирая празднично сияющие лепестки, будто створки ворот, и тогда чашечка, почти выворачиваясь живым зевом, подставляла маковку солнцу, а лыдинка оборачивалась в светлую каплю, питая цветок и назревающее в нем семя. До ухода солнца, до самой последней секунды заката цветок дышал теплом светила, поворачивая вслед ему яркую головку, после чего лепестки, с исподу отепленные шерсткой, сразу плотно закрылись, грустно опала его головка, слилась с серой порослью тундры, но внутри, под лепестками, не кончалась неприметная работа. Жилкой вонзившегося в мерзлоту корешка цветок втягивал влагу и обращал ее в зеркально-тонкую, прозрачную лыдинку, которая утром снова поймает и соберет в пучок лучи солнца».

С этой то ли сказочки, то ли поэтической микронвеллы и начинается история бедолаги Акима. И чем глубже уходит Астафьев в перипетии его судьбы, тем явственней ощущается, что чудо вовсе не в том, что цветок этот ярко и неожиданно красив (на фоне окружающей серости), но в том, как упорно, наперекор «мокро-

глятине» совершает он дело своей жизни, и что сказочка и не сказочка вовсе, а сжатый до размеров поэтической метафоры «исторический роман» о том первом русском переселенце, с которого «есть пошла» сибирская Русь, та, что не только усыновила и поставила на ноги «бесхозного» Акима, но и воспитала в нем человека. Все большее и большее количество подробностей собирает в «пучок» В. Астафьев, и, следя за направлением его «луча», мы не без удивления обнаруживаем, что Аким, несмотря на свою непутевость, и есть тот самый надежный и сильный герой, которого искал Астафьев на славной своей силой земле сибирской. Вот ведь как обернулось! Ждали мы ждали, когда же серьезная Сибирь накажет неосновательного Акима, а оказалось... Больше того, в конце концов мы убеждаемся и в том, что этот с виду вроде бы непрактичный «ханурик», а на деле хватко знающий ремесло и лишь предела доброты и жизнестойкости своей не знающий человек и есть тот самый настоящий «сибирец», по сравнению с которым не только гоги герцезы, но и жадные до добычи игнатичи с командорами кажутся «неловким подражанием». Я сознательно употребляю и прямую цитату из Лермонтова и непривычное «сибирец» по аналогии с лермонтовским «кавказец» (применительно к тем «русским кавказцам», на чью долю выпали все тяготы освоения «теплой Сибири»), так как имею основания считать, что ситуация Аким — Эля — Гога Герцев скрывает в себе сознательно проведенную автором параллель как с «Героем нашего времени», так и с его же «Кавказцем», где Лермонтов подытожил тот документальный материал, на котором возник его Максим Максимыч. Подобно Григорию Печорину, вольный таежный человек Георгий Герцев, повинуюсь внезапно капризу, умыкает Молоденькую девушку по имени Эля, и эта юная Эля, подобно еще более юной горянке по имени Бэла, загипнотизированная магнетическим обаянием своего похитителя, забывает ради него и отца, и дом, и всю свою прежнюю московскую жизнь. Сумасбродная эта прихоть дорого бы обошлась мечтательной москвичке, если бы Аким, вынужденный по случаю трагической и внезапной «кончины» ее похитителя взять на себя заботу о тяжело больной девушке, не вырвал бы ее из лап неминуемой смерти. Что же получил он за великодушье, за тот подвиг человечности, кото-

рый совершил ради этой непонятной, чужой, но такой дорогой ему девушки? Примерно то же, что получают во все времена все Максимы Максимычи, — «холодно», хотя и «с приветливою улыбкою» протянутую на прощание руку!

«Ей... хотелось в чем-то покаяться, за что-то попросить прощения, а как это сделать, какие слова сказать — она не знала. Скорее бы все кончилось! Ждала нетерпеливо, чтоб Аким ушел первым — ей неудобно первой-то, не мучил бы ее своей неуклюжей вежливостью».

Речь, конечно же, идет не о заимствовании у классика, а о диалоге, который как бы подключает к действию ассоциативный багаж читателя, притом подключает, на мой взгляд, весьма целенаправленно. Вспомните хотя бы тот эпизод «Царь-рыбы», где Эля пытается разгадать загадку Гоги Герцева, а Астафьев — вычислить родословную «ненастоящего сибирца».

«Наконец подошли высказывания любимого героя юности в давней, больше других потрепанной тетради, проложенной нехитрыми, в прах обратившимися травками принципитутского сквера иль городских бульваров. Эту тетрадь, словно чистый грех юности, берег Герцев, никому не показывал... «Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки. Я глупо создан; ничего не забываю, ничего...»

Ах, Герцев, Герцев! Вот это-то тебя, видать, и освещало для меня, — приостановив чтение, поникла Эля. — Печорин и мой любимый герой! А я все гадала: что нас объединяет?»

Конечно, это «истолкование» несет на себе резкую печать духовного уровня да и душевного состояния Эли. Взгляд Астафьева на «печоринство» Гоги Герцева и разветвленной и глубокой, но литературная параллель проведена им не зря. И не слу-

чайно. Делая свой выбор в пользу Максимов Максимычей, В. Астафьев утверждает и отражает не только свой личный опыт, и человеческий и писательский, но и общую тенденцию современной русской прозы с ее резкой антипатией к герою, культивирующему свою исключительность, и не менее явной усталостью от всех видов эгоцентризма.

Факт этот столь же отраден, сколь и печален... ибо на одних Максимах Максимычах (хотя «рабочая» эта лошадка на редкость надежна) в наш сложный век даже в литературе далеко не уедешь, не говоря уж о том, что постоянная сосредоточенность на давно понятном, привычном и любимом способна приглушить энергию поиска. Это видно даже на примере «Царь-рыбы». Прекрасно зная, откуда берутся современные Максимы Максимычи, Астафьев не только не знает, но даже и знать не хочет, где, как и на каких хлебах вырастают современные печоринцы!

В результате полнокровного образа (или пусть хотя бы типажа, но по остроте художественного исследования способного стать в ряд с Акимом — его принципиальным антагонистом) перед нами «фарс, затянутый в корсет» (если слегка перефразировать широко известные слова Ник. Полевого о «Повестях Белкина») глубокой авторской неприязни ко всякого рода аристократизму, ко всякой претензии на исключительность.

Недооценивать потенциальные последствия этой плохо управляемой антипатии, на мой взгляд, не следует, и прежде всего в интересах самого В. Астафьева. Но не следует недооценивать и его попытку преодолеть детскую болезнь современной прозы, а именно робость, с какой вступает она в «диалогические отношения» с русской классикой, а главное — меру того влияния, которое «Царь-рыба» может оказать на литературный процесс.

Алла МАРЧЕНКО.



ПЕРВАЯ КНИГА КРИТИКА

Юрий Томашевский. Встречи (Литературно-критические сюжеты). Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство. 1975. 152 стр.

Юрий Селезнев. Вечное движение (Искания современной прозы 60-х — начала 70-х годов). М. «Современник». 1976. 237 стр.

Литературными критиками рождаются или ими становятся? На такой вопрос затруднительно ответить однозначно. По-

видимому, одни «рождаются» критиками, другие ими становятся. Однако во всех случаях критики довольно рано заявляют

о себе как индивидуальности. В истории литературы примеров тому более чем достаточно.

У нас от случая к случаю вспыхивают споры о формах, приемах, методике подготовки молодых литературно-критических кадров. Последняя по времени полезная дискуссия на эту тему состоялась в журнале «Литературное обозрение» (конец 1975 — начало 1976 года). Участники дискуссий говорят о «молодых критиках». А как, собственно, расшифровывается это устойчивое словосочетание? Во всяком случае, его не стоит путать с понятием «начинающий». Начинаящий поэт, начинающий прозаик, начинающий драматург — словосочетания не только привычные, но и, так сказать, вполне законные. Начинаящим обычно многое прощается в порядке авансирования — неопытность, незрелость мысли. Был бы виден талант. Критик же с самого начала, с первого самостоятельного шага в литературе выступает в роли судьи: ему дано право обращаться к читателю с оценкой писательского труда. И тут уже совсем другая шкала ответственности.

Уже первая книга критика, в которую он обычно отбирает лучшее из того, что им создано на старте, может служить достаточно веским основанием для обстоятельного разговора о направлении его поиска, характере мироотношения, эстетическом кредо. По первой книге можно прогнозировать его развитие. Первая книга критика — его стартовая площадка.

«Встречи», «Вечное движение» — в самих названиях книг, о которых пойдет речь, заметно стремление обозначить динамику нашего времени. Непохожие авторы. Разные голоса. А заботы общие. Этих критиков, о чем бы они ни писали, в первую очередь интересуют духовный мир и нравственные идеалы нашего современника. Ю. Селезнев приводит авторитетное суждение М. Пришвина: «Может быть, не разумом, главное, отличается человек от животного, а стыдом». Таков один из основных «ценностных критериев» критика, который убежден, что «у подлинного писателя непременно прорастают общечеловеческие, коренные вопросы бытия». Под этим углом зрения Юрий Селезнев рассматривает литературного героя, героя нашего времени «в том смысле, что в его судьбе ярко отразился важный социальный процесс духовного самоопределения молодого нашего современника».

Авторов, как мы в этом убедимся, меньше всего интересуют «преходящие» приметы бегущего дня, реалии, подробности быта. Их внимание сосредоточено именно на «процессе самоопределения личности». Отсюда привязанность к таким общим категориям, как добро и зло, чистое сердце, истинные ценности жизни, ценностные ориентиры. Категории эти, к сожалению, не всегда наполняются достаточно определенным социологическим содержанием, иные из них нуждаются в «дешифровке». Тем не менее интересы критиков крепко связаны с актуальными вопросами духовного становления современника. И, безусловно, прав автор «Вечного движения»: «...обращение к народным темам, характерам, к проблеме совести, болящей за все живое на земле, за сохранение любви и добра в нашем современнике, — не сказочная старина, а насущная задача литературы, продиктованная самим временем».

И Юрий Томашевский, в свою очередь, пишет не «очерки творчества» и не привычные «портреты». Он, по его словам, «скрупулезно выуживал» из книг мысли писателей о жизни вокруг, их общественные чаяния и мечты о будущем «выстраивал в сюжеты». «Встречи» открываются главой «Чтобы жизнь на земле была чело-вечной...». Эмоционально более сдержанный Юрий Селезнев тоже склонен к формулам-декларациям примерно того же типа: «Быть человеком», «В одно сердце с людьми», «Мужество добра», «Мудрость души народной»... Кстати, и авторы критического сборника «Молодые о молодых», недавно выпущенного «Молодой гвардией», настаивают на необходимости повышения нравственной требовательности к героям произведений, призывают более пристально исследовать далеко не простые жизненные коллизии (например, статья Сергея Чупринина «На пути к себе» или Николая Котенко «Чтоб не распалась связь времен»).

Преобладающее внимание к духовному миру героя, к его нравственному облику — своего рода знамение времени. Напомним, что на XXV съезде КПСС, в Отчетном докладе Центрального Комитета, в других важнейших документах этого исторического форума видное место отведено кругу проблем, связанных с воспитанием народа, в особенности подрастающих поколений, в духе высокой коммунистической нравственности, интернационализма, верности

идеалам подлинного гуманизма. Достаточно пролистать общественно-политические и литературно-художественные наши журналы последних лет, чтобы убедиться в том, как серьезно и широко эта проблематика ставится, с какой требовательностью и глубиной разрабатывается философами, социологами, деятелями других общественных наук.

Следовательно, критики, акцентирующие внимание на «прорастании общечеловеческих, коренных вопросов бытия» (воспользуемся формулой Ю. Селезнева), отнюдь не выступают в этой области первооткрывателями.

Как же именно они включаются в столь важный разговор?

Книжка Юрия Томашевского «Встречи» концептуальна. Богата мыслями, наблюдениями. Эмоционально крепко заряжена. Свои «литературно-критические сюжеты» — именно так обозначен жанр работы — автор предварил обращением к читателю. «Критика пишет не о литературе. Она, как и литература, пишет о жизни. С той только разницей, что в своих суждениях опирается на произведения литературы». Мысль не очень новая, но напоминать о ней изредка не вредно: уж слишком прочно в иных умах утвердилось представление о вторичности критики, призванной «припльсывать перед «родительницей», петть с ее голоса, только лишь вторить тому, что пишет литература».

Хотя материалом книги Ю. Томашевского и служит творчество писателей Центрально-черноземной полосы (или когда-то живших в ее пределах), отнюдь не «литературно-краеведческий» принцип определяет отбор имен и произведений. «Встречи» — книга о шести писателях: Г. Бакланове, Е. Носове, Г. Троепольском, К. Воробьеве, Ю. Гончарове, Е. Дубровине. «Не потому, что они сильнее и известнее других, а потому, что их позиция в жизни мне ближе, их мысли чаще пересекаются, перекрещиваются с моими, — заявляет критик. — Из этого скрещения и родилась книга».

То же самое, вероятно, мог сказать и Юрий Селезнев о принципе отбора имен и произведений, анализ которых составляет содержание его книги о современной прозе. Размышляя о том, кто должен быть подлинным героем литературы, о той правде, которую литературный герой несет стране, миру о времени, о народе — «нравствен-

ном центре» искусства слова, критик пытается ответить на эти капитальные вопросы, обратившись к творчеству строго определенной группы писателей. Это В. Астафьев, В. Белов, Е. Носов, В. Распутин, В. Лихоносов, В. Потанин и несколько других; они-то и составляют в нашей литературе, по словам Юрия Селезнева, «новое направление», которое «заслуживает названия традиционной школы». В обосновании выдвинутой им историко-литературной концепции он по-своему последователен, однако явно увлекается, безоговорочно присваивая лишь одной части советской литературы честь и право прямого освоения «органических начал русской классики».

Книга «Встречи» открывается статьей о литературе, посвященной Великой Отечественной войне. Ю. Томашевский здесь обозначил тот круг этических проблем, который сравнительно недавно вновь стал предметом критических баталий, особенно в связи с проблематикой романа Ю. Бондарева «Берег». Статья Ю. Томашевского написана раньше.

«Вот идет война, перед тобой враг. А ты столько сил и нервов тратишь на то, чтобы разоблачить какого-то мелкого подлюгана. Оправданно ли это?» Своим анализом повестей Бакланова критик убеждает в законности, оправданности обостренных этических поисков писателя, которые находят частное выражение в образе «антигероя». Именно гуманистическая природа нашего искусства, его высокая идейность диктуют необходимость, говоря о беспримерном массовом героизме советского народа на войне, сказать и всю правду об обывателе, одетом в военную форму.

С таким ходом мысли можно было бы вполне согласиться, тем более что Ю. Томашевский указывает на «локальность» своего разговора. Однако эта «локальность» не оберегла молодого критика от иных поверхностных историко-литературных обобщений. По его логике выходит, что объемное и точное изображение войны — привилегия одного поколения наших прозаиков-баталистов, а есть поколения, которым это «не дано». Схема остается схемой, с какой стороны к ней ни подойди: перед нами рецидив былых споров об «окопной правде», исчерпанность которых, казалось бы, должна исключать всякую однозначную позицию...

В книге Ю. Томашевского подкупает своим этическим пафосом раздел «О по-

вестях Евгения Дубровина, веселых по форме и грустных по содержанию». Этот критический «сюжет» острее своим направлением против людей бездуховных, становящихся рабами вещей, посвящающих свою жизнь накопительству. Как и в ряде других случаев, критик наблюдателен, точен в выборе характерных деталей, в анализе весьма неоднозначных сюжетных коллизий. Но местами автор переступает ту грань, где стилистическая легкость и бойкость оборачиваются теоретическим любительством (когда Ю. Томашевский пишет: «Да, это уже не первый случай в литературе, когда писатель, начинавший свой путь как сатирик... в какой-то момент, будто объевшись негодным продуктом, сбивается с взятого ранее тона и принимается напрямую учительствовать, назидать, морализировать», — он, сам того не желая, ставит под сомнение полноправность сатирического жанра).

Нам многое в книге «Встречи» импонирует. Состоялась встреча с литератором, который выбирает нехоженые тропы. «Я не хотел повторять других», — признается Ю. Томашевский. Это похвально. Но, должны мы сказать, свои возможности даровитый критик не всегда реализует до конца.

...«Вечное движение» — книга цельная, хотя отдельные главы написаны в разных жанрах и различаются по глубине проникновения в материал. Наиболее удачны, пожалуй, не ширококвотельные проблемно-теоретические или обзорные главы, а маленькие монографии. Автор, как правило, точен в определении пафоса творчества исследуемых им художников слова, чуток к тому, что их роднит, объединяет.

Собранные вместе рассказы и повести Виктора Астафьева, говорит критик, составляют своеобразную единую книгу, которую можно назвать «Историей современника». Коренной вопрос творчества Астафьева, по Ю. Селезневу, — «как в судьбе конкретного поколения отразились ценность человеческой личности, отношения человека к человеку, миру, природе». «Где бы и когда бы ни жил человек, кем бы он ни был, он так или иначе вовлечен в общий ритм жизни, в борьбу добра и зла — в тех или иных конкретно-исторических, социальных или духовных проявлениях». Эти «тезисы» красной нитью проходят через всю книгу «Вечное движение».

Программное значение для критика, судя

по всему, приобретает глава о Василии Белове — «Современность традиции». Именно здесь, в этой главе, сформулирована ведущая мысль книги:

«Прогресс, изменение, новаторство — двигатели жизни, но только в том случае и до тех пор, пока они находятся в пределах устойчивости, сбережения наиболее существенного в том, что они изменяют...

Вечное движение. Уже в самом этом сочетании воплощен закон единства традиции и новаторства — вечного, то есть того, что существует всегда, и движения — изменения этого вечного».

Мысль в общем своем виде справедливая, хотя и далеко не новая. Только ведь бесспорность общих формулировок всегда носит как бы предварительный характер. Подлинной проверкой им служит факт, прочность опоры на фактическую основу. А Ю. Селезнев, к сожалению, не всегда заботится о такой прочности.

Трактуя «многие бытовые, конкретные образы» В. Белова, которые видятся ему «в общечеловеческом, философском плане», он, случается, сбивается с анализа на «возвышенное» красноречие. Глава «Слово живое и мертвое» оснащена у него ссылками на авторитеты от Ивана Срезневского до Вадима Кожинова, от Махатмы Ганди до Петра Палиевского. Приглашая задуматься над тем, «что есть современные проблемы и каково истинно современное слово», автор не раскрывает аргументированной системы суждений, местами сбивается на монтаж разнохарактерных цитат из более или менее случайных источников. В подобных случаях мысль критика начинает «буксовать», он в который раз варьирует уже сказанное в предыдущих главах.

Автор «Вечного движения» по-настоящему убедителен в тех случаях, когда отказывается от «заклинаний» и спокойно, трезво исследует художественную ткань произведений. Содержательна, к примеру, характеристика прозы Вал. Распутина, убедительно, с привлечением многих подробностей показано, как она «исподволь наполняется высоким гражданским пафосом». Потому и выглядит обоснованным авторский вывод: «Подробности быта, конкретные приметы времени — явно не цель писателя и не последнее его слово. Валентин Распутин не бытописатель и не хроникер текущего. Он ищет возможности общего художественно-философского охвата жизни, учится этому у великих русских писа-

телей». Именно в таких случаях, когда общие суждения критика находят твердую опору в анализе художественного текста, они звучат весомо и убедительно.

Суждения автора «Вечного движения» выиграли бы в убедительности, если бы творчество писателей «традиционной школы» действительно рассматривалось «в общем контексте исканий» в сей нашей литературы, на широком фоне современного советского многонационального историко-литературного развития. Но круг имен и произведений, упоминаемых Ю. Селезневым, пока узок. Любопытно, что, посвятив содержательную главу повестям В. Быкова, заявив, что в творчестве этого писателя «чувствуется не просто влияние русской

классики — метод его художественного восприятия обязан русской школе Льва Толстого и Федора Достоевского», критик ухитрился забыть, что речь-то идет о белорусском литераторе. А ведь проблема национального характера в том или ином ее аспекте занимает не последнее место в работе Ю. Селезнева!

Подытожим: первые книги обоих критиков во многом показательны. При том, что их авторам свойственна некоторая личность оценок, книги говорят о литературных способностях, эрудиции молодых критиков, о заинтересованном, «личностном» подходе к живым явлениям культуры.

У. ГУРАЛЬНИК,

доктор филологических наук.



УРОКИ ВЕЛИКОГО РЕЖИССЕРА

И. Виноградская. Жизнь и творчество К. С. Станиславского. Летопись в четырех томах. 1863—1938. М. Всероссийское театральное общество. Т. 1, 1971, 558 стр.; т. 2, 1971, 511 стр.; т. 3, 1973, 611 стр.; т. 4, 1976, 583 стр.

Обширная литература о Станиславском, составляющая целую библиотеку книг, исследований, научных и популярных статей, мемуаров, пополнилась новым фундаментальным трудом — четырехтомной летописью «Жизнь и творчество К. С. Станиславского» И. Виноградской.

Летопись относится к произведениям документального жанра, получившего в последнее десятилетие широкое признание у читателей. Это первая полная хроника жизни и творчества великого реформатора театра, построенная исключительно на документах и фактах. В ней использованы малоизвестные и совсем неизвестные материалы, режиссерские разработки, записные книжки, протоколы репетиций, стенограммы заседаний, переписка с писателями, учеными, художниками, актерами, письма зрителей, свидетельства современников, отрывки из газетных и журнальных статей, рецензии.

В летописи дан необычайно объемный и цельный портрет художника, которого мы видим в процессе становления и развития. Видим как актера, режиссера, общественного деятеля, основателя Художественного и оперного театров, педагога, теоретика, создателя школы актерской игры, борца за прогрессивные идеи своего времени, за традиции русского реализма.

Летопись представляет интерес как для изучения творческого пути Станиславского, так и истории Художественного театра и русской культуры второй половины XIX — первой половины XX века. Она и точный справочник и пособие для будущих исследователей. Но для меня важнее всего — острое чувство современности, пронизывающее всю летопись, благодаря которому работа воспринимается как глубоко актуальная, нужная и живая для нас, практиков театра.

Четырехтомный труд читаешь как увлекательную повесть, он захватывает активностью авторского взгляда на животрепещущие проблемы театра наших дней. Мы находим здесь отклик на наши размышления, наши сегодняшние переживания в искусстве, на наши насущные творческие вопросы.

Особую динамичность повествованию сообщает прием композиционного контраста, которым очень умело пользуется автор. Приведу только один пример. 1919 год. Художественный театр вместе со всей страной переживает трудную пору. Нет новых пьес, нет новых спектаклей. Критика нападает на якобы устаревший репертуар театра, прежде всего на Чехова. В конце февраля — первый спектакль «Дяди Вани»

в Пресненском районном рабочем театре со Станиславским в роли Астрова. И тут же рецензия: «Чеховское сейчас отодвигается в историю, как и то время, которое это чеховское породило, — годы реакции и спада общественной волны».

А 9 марта «Дядю Ваню» смотрит В. И. Ленин.

«Владимир Ильич пришел к нам в театр на «Дядю Ваню», на спектакль, который многие считали ненужным советскому зрителю, — вспоминал один из актеров МХАТа.

...Я подошел, поздоровался, назвал себя. Затем немного погодя спросил:

— Владимир Ильич, не скучно ли вам смотреть спектакль?

— Скучно? — отвечал он. — Нет, что вы! Замечательный автор, замечательные слова, замечательные артисты».

Тут же свидетельство Н. К. Крупской о посещении Лениным «Дяди Вани»: «Ему понравилось».

Мысль о высоком гражданском назначении искусства была основой всех исканий Станиславского. Чувство гражданского долга определяло его деятельность. Вряд ли мы назовем другого человека в мировом театре, который так остро сознавал бы ответственность перед своим народом, перед человечеством.

В канун революции 1905 года Станиславский писал Немировичу-Данченко, что он теперь хочет «широкой общетеатральной деятельности на всю Россию... общественной и гражданской... Давайте работать так, как обязан работать теперь каждый порядочный человек».

Требования гражданственности, идейной целеустремленности искусства неразрывно связаны у Станиславского с понятиями сквозного действия и сверхзадачи.

На занятиях в своей последней Оперно-драматической студии Станиславский предупреждал учеников: «Теперь, когда вы будете читать мою книгу, знайте, что я не сумел сразу начать со сквозного действия и сверхзадачи. Это мой авторский недостаток, и если бы я мог, то непременно это сделал».

На конкретном материале И. Виноградская показывает, как Станиславский в процессе работы над спектаклем искал и находил наиболее точную, ударную сверхзадачу и сквозное действие, как он постепенно подводил актеров к самой зна-

чительной, интересной и боевой перспективе роли.

Я особо останавливаюсь на этом вопросе, широко освещенном в летописи, потому что с ним связаны важнейшие проблемы развития нашего искусства, и прежде всего искусства Художественного театра.

Сейчас все научились говорить о сквозном действии и сверхзадаче, но к осуществлению их в практической работе подходят нередко примитивно, легковесно, а порой и конъюнктурно. На первый взгляд кажется, что сквозного действия добиться в спектакле очень легко, но, как предупреждал Станиславский, к этому «надо тянуться всю жизнь». Это целая наука. Здесь и высокое мастерство актера и режиссера, и ансамбль, и умение вскрыть сущность произведения, и подход к переживанию на сцене, к творческому вдохновению.

Сверхзадача и сквозное действие должны совпадать с замыслом писателя, но и обязательно находить отклик в душе артиста, вызывать в нем живое человеческое переживание. Если у актера не будет непрерывного активного стремления к достижению основной творческой цели, тогда самая прекрасная сверхзадача спектакля или перспектива роли окажется лишь формальной заявкой.

«Когда актер выходит на сцену, какая у него должна быть перспектива? Прежде всего — бой, — говорил Станиславский. — В этом бою у него должен быть свой план, план, как добиться победы. Как может при таком отношении надеться роль? Тем более если у вашего партнера будет такая же контрзадача... Отговорка, что «у меня нет вдохновения», — это глупость, вдохновение к дураку никогда не придет...»

Если у вас еще шевелится что-то внутри, то вы должны вытравить у себя все трючки и гадости, загрязняющие перспективу роли. Помните, чем гениальней трючек, тем сильнее черное пятно».

Будем откровенны. Ведь есть у нас актеры да и режиссеры, которые жертвуют своим профессиональным достоинством ради дешевого успеха у невзыскательного или недостаточно подготовленного зрителя, «показывают себя, а не проводят мысль автора», нимало не смущаясь неверной реакцией публики.

Мне понятен гнев Станиславского, когда он видел, как актер на репетиции или спектакле вместо полной творческой самоотдачи подсовывал приобретенные для

сцены «манеры», «штампы», «навыки» и ломал перспективную линию произведения.

«Когда в наших спектаклях случается, что в публике вдруг кто-то захохотал в том месте, где этого не должно быть,— это позор,— говорил Станиславский.— Помню, когда в начале существования театра это случилось в чеховских пьесах, то мы мучились, мы искали путей к уничтожению этого смеха».

Станиславский хотел видеть артистов мыслящих, убежденных, стремящихся донести до зрителя большую человеческую тему, знающих, ради чего они выходят на подмостки. Поэтому первостепенное значение он придавал этике, формированию мировоззрения актера. Этика Станиславского — это его философия жизни в искусстве, она неотделима от «системы», от творчества.

Искусство психологической правды, идущее вглубь в осмыслении современности, требует подготовленного, культурного зрителя. Не случайно Станиславский рассчитывал, что его книги будут не только руководством для актеров, но что их прочтут зрители, задумаются над виденным в театре и поймут разницу «между подлинной правдой и наигрышем».

В летописи не обходятся стороной, как это нередко делалось, и сложные для трактовки обстоятельства жизни и деятельности Станиславского. По-новому предстают перед нами его отношения с Мейерхольдом, Вахтанговым, многими соратниками и учениками, отчетливо показано их единение в творчестве и их разногласия, в чем они шли одной дорогой и в чем расходились.

Не затушевываются в летописи трещины в отношениях Станиславского с Немировичем-Данченко, сложности совместного существования в театре двух больших художников. Разногласия и споры Станиславского и Немировича-Данченко были частью их долгой совместной творческой жизни, в которой они шли к общей цели.

Станиславский говорил в один из наиболее острых периодов столкновений с Немировичем-Данченко, когда они решили отдельно друг от друга работать над спектаклями (1906—1908):

«Надо было временно разойтись по разным путям, чтобы потом заинтересовать друг друга тем новым, что найдено в период отдельной работы. Это не разлад, не разъединение, а художественная свобода... Мы

можем ругаться, но разойтись мы не имеем нравственного права. Повторяю, в наших руках русское искусство».

И в другом месте Станиславский подчеркивает, что им никогда нельзя расставаться как «участникам общего мирового дела. Поддерживать его — наша гражданская обязанность».

Первостепенное значение имеет для нас проходящая сквозь всю летопись проблема литературы, театра и критики, взаимоотношений театра, режиссуры с драматургом, драматурга и театра с критикой.

Обширны и разнообразны личные связи Станиславского с деятелями литературы — его современниками. Достаточно вспомнить имена авторов, с которыми он вел переписку, встречался, которых привлекал к сотрудничеству с театром, читал их пьесы, давал советы и т. п. Не считая таких близких Художественному театру писателей, как Чехов, Горький, Л. Н. Толстой, здесь и А. Блок, В. Брюсов, Л. Андреев, С. Сергеев-Ценский, К. Тренев, Ю. Балтрушайтис, К. Бальмонт, М. Метерлинк, Джером К. Джером, Ш. Аш, Шолом-Алейхем, сербский писатель Й. Косар, польские писатели С. Пшибышевский, Т. Мициньский и многие другие.

Современная драматургия всегда занимала главенствующее место в репертуаре Художественного театра, она определяла общественно-политическую линию театра, «главным начинателем и создателем» которой был А. М. Горький. Станиславский в свое время немало заботился о том, «чтоб сделать из Горького драматурга, чтоб приохотить его к этой, новой для него, литературной форме». Он старался уберечь автора от враждебных нападков критики, от выпадов со стороны недругов революционного писателя.

Огромно значение Художественного театра и Станиславского в формировании молодой советской драматургии. После революции Станиславский усиленно искал и привлекал к театру талантливых писателей, он помогал им в их творческом росте, прививал им лучшие традиции русской реалистической школы. Можно сказать, что Станиславский боролся за каждого одаренного советского драматурга, и в этой борьбе проявились и прозорливость художника, и бескомпромиссность и твердость характера. Обстановка на театре в 1920-е годы была сложная. Критика так называемого Левого фронта, представители Пролеткульта и

РАППа жестоко нападали на МХАТ, на его творческие принципы, и в первую очередь на репертуар.

Читая летопись, мы понимаем, какая нужна была настойчивость и уверенность в своей правоте, чтобы отстоять первую пьесу М. Булгакова «Дни Турбиных». Благодаря усилиям Станиславского и поддержке Луначарского эта пьеса вошла в репертуар МХАТа и стала одним из его наиболее значительных спектаклей.

В летописи показана работа Станиславского с начинающими драматургами — Вс. Ивановым, Л. Леоновым, В. Катаевым, А. Афиногеновым, В. Массом. Воодушевляя Вс. Иванова на создание пьесы к десятилетию Октябрьской революции «Бронепоезд 14-69», Станиславский давал практические советы автору, уточнял характеры действующих лиц, переставлял картины, заменял отдельные эпизоды другими. Известно, как плодотворно сказалось такое тесное содружество театра и автора. Спектакль «Бронепоезд 14-69» продолжал общественно-политическую линию театра, став одной из ее вершинных точек.

В пьесах Вс. Иванова, Л. Леонова, А. Афиногенова, Ю. Олеши и других талантливых советских писателей Станиславский уловил черты нового героя современности и предоставил ему достойное место на подмостках театра.

Станиславский и Немирович-Данченко заставляли нас правило: без современной драматургии театр не может развиваться, не может отвечать непрерывно растущим потребностям времени.

«В течение всей своей деятельности МХАТ считал для себя обязательным откликаться на важнейшие вопросы современности, которые волновали передовые круги,— говорил Станиславский в 1933 году. — Теперь перед нами стоит задача еще глубже и еще ответственнее понять и передать вопросы, образы и чувства наших дней, не снижая, а развивая и утончая наше мастерство».

Этот завет своих учителей я не забываю и делаю все от меня зависящее, чтобы широко открыть двери Художественного театра герою сегодняшнего и завтрашнего дня, человеку-созидателю, образу рабочего коллектива, герою с новыми, более глубокими понятиями о честности, мужестве, нравственности в труде и в жизни, о долге отдельной личности перед обществом.

Я не мыслю своей деятельности как глав-

ного режиссера театра вне связи с литературой, с вопросами репертуара, вне самой активной живой работы с молодыми писателями, драматургами, даже сценаристами. Новая драматургия, как это обычно бывало в Художественном театре, потребовала пересмотра, поднятия несколько стабилизировавшегося, я бы сказал, «осевшего» актерского мастерства. Перед нами встали задачи «возвращения» мхатовского ансамбля, практического освоения сверхзадачи и сквозного действия, освобождения актерской игры от внешнего подражания жизни ради искусства внутренней большой правды и больших чувств.

Думаю, что такие спектакли, как «Сталевары» Бокарева и «Заседание парткома» А. Гельмана, откликающиеся на насущные проблемы жизни нашей страны, вопросы воспитания гармонической личности советского человека, выражают в настоящее время идейно-художественную позицию театра и намечают перспективу развития общественно-политической линии МХАТа.

Мне жаль тех поклонников старого Художественного театра, которых пугает неизбежное обновление его репертуара современными пьесами и которые хотели бы видеть на сцене только классику. Мы, естественно, не можем исходить из подобного консерватизма, в корне противоречащего самой сути искусства Художественного театра. Конечно, каждая постановка новой пьесы еще не зарекомендовавшего себя автора способна вызвать много споров, здесь возможны и неудачи театра. Этот путь не обеспечивает спокойной жизни, но мы не вправе от него отступить.

Иным критикам следовало бы внимательно почитать летопись, особенно те разделы, где идет речь о первых постановках М. Булгакова, Вс. Иванова, Л. Леонова, В. Катаева... Я разумею критиков, возмущенных тем, что сегодня на афише Художественного театра нет столь же крупных писательских имен. Но должен заметить, что их подход к оценке наших драматургов, в том числе молодых и начинающих, мало чем отличается от позиции рецензентов давних времен, «защищавших» нашу сцену от «Дней Турбиных», «Утиловска», «Растратчиков», а еще раньше — от первых пьес Горького и Чехова. История всегда поучительна.

Плодотворная деятельность театра немислима без поисков и экспериментов. И экспериментировать надо шире, энергичнее.

Я не считаю, что мы в Художественном театре использовали все возможности, создали все условия для привлечения талантливой литературной молодежи. Может быть, следует организовать при театре специальный литературный отдел наподобие литературно-художественной коллегии, которая была при Станиславском и Немировиче-Данченко, привлекая к участию в этом отделе наших уже маститых писателей, а также журналистов, критиков, театроведов, установить более прочные связи с прогрессивными зарубежными драматургами.

Станиславский и Немирович-Данченко всегда заботились о том, чтобы современная драматургия, оставаясь определяющей линией в репертуаре Художественного театра, гармонично сочеталась с произведениями классики. Сценическая интерпретация классического наследия — животрепещущая проблема нашего театра.

Насильственное навязывание пьесе извне привнесенной тенденции, идущей вразрез с замыслом автора, калечит пьесу, «ломает ее спиной хребет», как любил выражаться Станиславский.

Но произведение классики не музейный экспонат. Оно омолаживается от естественно, органично привнесенной в него современной идеи, считал Станиславский. Не выходя за пределы авторского замысла, не нарушая стиля пьесы, Станиславский создавал спектакли социально заостренные, которые отличались яркой изобретательностью, смелой неожиданностью режиссерских и актерских решений и безупречным вкусом.

Станиславский пользовался всяким поводом, чтобы «освежать» и давно идущие спектакли, с годами ставшие классическими, вносить в них новые акценты, продиктованные движением жизни.

Подходу к классике я стараюсь учиться у Станиславского. Классическое наследие настолько богато и разнообразно, что театр и режиссер всегда могут выбрать произведение, наиболее им близкое и вместе с тем созвучное сегодняшнему дню. И я думаю, что классика широко должна приходиться в театр после того, как творческий коллектив в работе над современными пьесами ощутит необходимость в тех или иных конкретных классических произведениях.

Сейчас мы увлеченно работаем над пьесами Чехова «Иванов» и Горького «Дачники». Вообще я убежден: Чехов и Горький должны занять почетное место в репертуаре Художественного театра.

Станиславский посвятил значительную часть своей жизни воспитанию театральной молодежи.

В последние годы его особенно тревожила проблема подготовки режиссера нового типа.

В настоящем режиссере, по мысли Станиславского, должны сочетаться «режиссер-учитель, режиссер-художник, режиссер-литератор, режиссер-администратор». Таких режиссеров, способных не только поставить спектакль, но и возглавить театральный коллектив, «запланировано» создать невозможно. Режиссер не создается, а рождается, утверждал Станиславский, и задача состоит в том, чтобы помочь его развитию, подготовить почву, «хорошую атмосферу, в которой он может вырасти». При этом Станиславский неоднократно подчеркивал, что не всякий даже очень талантливый режиссер пригоден для Художественного театра. Он различал режиссеров результата и режиссеров корня, режиссера-постановщика и режиссера — психолога, учителя.

Мхатовский режиссер «корня» ставит пьесу и воспитывает актера, помогает раскрыться его индивидуальности, он в работе всегда опирается на непосредственные впечатления жизни, на законы органической природы. Он должен уметь увлечь артистов и «незаметно толкать их творческие поиски в верную сторону», все доносить до зрителя через актера-человека и все делать для раскрытия жизни человеческого духа. Подготовка режиссеров этого направления — одна из наших самых главных и самых трудных забот.

Сейчас в театрах появилось немало режиссеров, которые ловко «делают», «лепят» или конструируют спектакли. Самовыражение — их главная забота. Они владеют набором модных приемов, пользуются подчас надуманными, заданными мизансценами, которым подчиняют волю актера.

Станиславский, подсказывая мизансцену актеру как манок для возбуждения его эмоции, говорил на репетиции «Талантов и поклонников»: «Очень скверно, когда актер не чувствует себя хозяином мизансцены, а каким-то флюгером, посаженным режиссером на некий шпиль, с которого нельзя сойти». К сожалению, мы нередко видим спектакли с актерами — флюгерами своих режиссеров, по образному выражению Станиславского.

Подготовка режиссеров в Художественном театре в настоящее время осуществляется по двум направлениям. Во-первых, мы организовали группу режиссеров-стажеров. Эта форма подготовки творческой молодежи является, по определению Станиславского, школой на ходу. Одновременно в студии при МХАТе пять лет назад впервые был набран курс студентов-режиссеров. Руководя режиссерами-стажерами и режиссерским курсом в студии, я стараюсь сплотить как бы небольшой молодежный коллектив режиссеров с едиными целями, ясными и крепкими основами в искусстве. Это наши первые опыты, они требуют еще проверки и уточнений.

По книгам летописи мы можем проследить за рождением и развитием «системы» Станиславского. Причем мы познаем ее не столько по теоретическим выкладкам и обобщениям Станиславского, сколько на конкретных примерах режиссерской работы над спектаклями самыми разными по стилю, по смелым, неповторимым решениям. Сам Станиславский отметил в своей записной книжке, что его «система» отвечает коммунистическому изречению «бытие определяет сознание», «т. е. я иду от жизни, от практики к теоретическому правилу».

Станиславский считал, что в творчестве коллектива Художественного театра заложены лучшие традиции русского психологического реализма. Это искусство школы переживания «живое и, как все существующее, находится в непрерывном развитии и движении». Именно поэтому он предъявлял особенно высокие требования к актерам МХАТа, к их упорной и постоянной работе над собой. «Не теряйте времени! Бросайте все, учитесь снова, все очень отстаи! Искусство открывает все новые

законы!» — взывал Станиславский к уже известным и опытным актерам театра в 1936 году.

Станиславский — оптимист в искусстве. Он удивительно много сделал для совершенствования человека, «для роста его духовной красоты и силы», как писал А. М. Горький.

В летописи приводится множество писем разных лет, в которых деятели литературы и искусства всего мира, а также простые зрители благодарят Станиславского за то, что он помогает им жить, бороться за свои идеалы, «пробуждает совесть», дает «пример бодрости и подъема», поддерживает в минуты слабости, помогает в «борьбе против фашистского варварства, за великое свободное человеческое искусство».

По мысли Станиславского, театр в нашей стране стал «подлинной трибуной, проповедующей культуру, политические идеи или мысли. Какой ужас жить на сцене актеру или актрисе для того, чтобы по вечерам публично раздеваться и одеваться, показывать свои красоты, смешить на основании низких страстей и жизненной пошлости! И как отраднo быть актером, который сознает свою воспитательную, общественную и политическую роль!.. Мы несем рядом с красным знаменем — пальмовую ветвь мира».

Я поделился небольшой частью мыслей, которые возникают при чтении труда «Жизнь и творчество К. С. Станиславского». Летопись будоражит совесть, толкает к действию, заставляет каждого из нас выверять свой путь в искусстве.

Олег ВФРЕМОВ,

народный артист СССР,
главный режиссер МХАТа.



ЛОГИКА ТРУДНЫХ РЕШЕНИЙ

Джеймс Олдридж. Горы и оружие. Роман. Перевод с английского. М. «Прогресс». 1976. 355 стр.

Джеймс Олдридж. Джули отрешенный. Повесть. «Огонек», 1976, №№ 35—49.

То и другое произведения видного английского писателя, лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Джеймса Олдриджа представляют собой дальнейшее развитие уже известных его читателю творческих

замыслов. В романе «Горы и оружие» находят продолжение сюжетные линии «Дипломата», повесть «Джули отрешенный» примыкает к австралийскому циклу, навеянному воспоминаниями юности.

Создание циклов таит в себе подводные

риффы: опасность повторов, кружения на месте. Писатель, однако, нашел новые повороты в освещении глубоко его занимающих тем и драматических коллизий.

Мне представилась возможность в 1973 году, когда Джеймс Олдридж прибыл в Москву в связи с награждением Ленинской премией, познакомиться с первым вариантом рукописи романа «Горы и оружие» (одно из первоначальных названий было «Прощай, мой друг»), и уже тогда можно было сказать, что это очень сильное, впечатляющее произведение о долге честных и прогрессивных людей Запада поддерживать освободительное движение народов Востока. Писатель, однако, был не удовлетворен рядом решений, особенно финалом, и подверг рукопись основательной доработке.

Своей революционно-гуманистической устремленностью, пафосом утверждения гражданской активности человека роман Джеймса Олдриджа противостоит ущербной философии и пессимистической эстетике, крикливо провозглашающей в качестве своего девиза: пустота летит в пустоту! «...подлинным авангардом,— по справедливому замечанию М. А. Шолохова,— являются те художники, которые в своих произведениях раскрывают новое содержание, определяющие черты жизни нашего века». Джеймс Олдридж в их числе. Для него не безразлично то, как складывается в мире соотношение социальных сил. Верный принципу активного вторжения искусства в живые процессы действительности, он тщательно исследует расстановку противоборствующих сил, в частности умело показывая, как в молодежном движении обнаруживают себя тенденции анархистского и левацко-экстремистского характера, представители которых крикливо претендуют на роль «тегемонов» целого поколения.

В центре романа — два важных события, которые у каждого на памяти и еще не успели стать достоянием истории: борьба реакционных и прогрессивных сил в иранском Курдистане и майские волнения 1968 года в Париже.

Герой романа Мак-Грегор, хорошо знакомый нам по «Дипломату», далеко не сразу, не без колебаний решился помочь Курдскому Комитету отыскать следы курдских денег, затерявшихся где-то в европейских банках и предназначенных для закупки оружия. Он видел, как опасен и коварен злобный ильхан и его сын Дубас, готовые во имя сохранения старых, феодальных порядков

пойти на любой сговор с реакцией. Его симпатии на стороне людей, преданных делу национального освобождения. И он верит в их конечную победу, хотя ему известно об извечных курдских раздорах и печальном исходе прежних восстаний.

Следя за тем, как Мак-Грегор осуществляет свою миссию, сталкиваясь при этом с банкирами, дипломатами, изворотливыми продавцами оружия, мы видим в действии механизм буржуазного своекорыстия, маневры и интриги влиятельных лиц Запада, рассчитывающих прибрать к рукам природные богатства (нефть, газ) Курдистана. Перед нами цепь драматических столкновений в горах Курдистана, где царят нищета и обездоленность коренных жителей; эпизоды варварских налетов на эту страну, совершаемых наемниками, которые обрушивают на детей и женщин бомбы с напалмом; напряженная атмосфера на парижских улицах, бурные демонстрации молодежи — все это изображено в романе с подлинным драматизмом, впечатляющей живостью и верностью деталей. С большим интересом мы следим за перипетиями судьбы Мак-Грегора, входим в круг его раздумий о завтрашнем дне Курдистана, о разумном разрешении внутреннего кровавого конфликта; ощущаем, насколько подлинны горечь и боль Мак-Грегора из-за все возрастающего разлада с Кэти, женой. Она считает, что Мак-Грегор не должен брать на себя опасную миссию посредника, а следует ему быть подальше от того, что ей представлялось вечной курдской неразберихой.

Удачно показаны автором безнадёжные попытки героя самолично проникнуть в банковский мир и коридоры власти. Мак-Грегор в Европе, где он чувствует себя одиноким, не то, что Мак-Грегор в горах Курдистана, где он поглощен исследованиями земных недр.

Не одобряя миссии Мак-Грегора и жестоко с ним ссорясь, Кэти все же вводит его в мир светской элиты, где он сможет найти ключи к недоступным для него банкирским домам. Кэти помогает ему познакомиться с теми людьми, которые в той или иной мере определяют направление политики западных стран — прежде всего Франции, Англии и США — по отношению к иранскому Курдистану. Перед читателем романа проходит целая галерея «деловых людей». Здесь весьма целеустремленный турецкий полковник Сероглу; сухонький «восковой старичок» Кюмон, представляющий французские интересы; лорд Эссекс; американец Кэсплан,

цинично провозглашающий, в чем именно суть американских, далеко не бескорыстных вожделий. Знакомая с этими лицами, читатель получает вполне отчетливое представление об истинных целях тех кругов, чьи интересы они выражают. Все эти персонажи, с которыми сталкивается Мак-Грегор, даны в романе в ясно очерченном индивидуальном облике.

Среди портретов деятелей, столь изощренных в закулисном маневрировании, особенно выразителен портрет влиятельного Ги Мозеля, главы коммерческого банка. Род Ги Мозеля еще в 80-е годы прошлого века, «покинув» свои старые феодально-аристократические позиции, сбросив расшитые галунами мундиры придворных и дипломатов, основал по всей Европе обширную финансово-политическую разведывательную службу — глаза и уши французских банков. Служба эта стала столь же необходимой для французской международной валютной политики, как Второе отделение (Deuxième Bureau) для французской государственной безопасности». Внешне англазированный, сухощаво-строгий, сохранивший еще родовые поместья в Нормандии, которыми он управлял «жестко и деловито», Ги Мозель воплощал в своем лице «власть богатства», и весь его облик, весь уклад жизни, весь антураж составляли резкий контраст с традиционным обликом французского буржуа. Мозель — вполне современный тип делового человека, не обременяющего себя соображениями этики.

Композиция романа наглядно отражает нарастание драматизма той политической борьбы, в которую вовлечены герои, прежде всего борьбы в Курдистане, где ильхан и его сподручные стремятся узурпировать власть и сковать действия Комитета. Происходящее в Курдистане по-своему отзывается и на жизни старинного особняка тети Джосс на тихой улочке Барбе-де-Жуи, где расположились Мак-Грегоры, а вместе с ними их дочь Сеси и приехавший из Оксфорда в дни майских событий их сын Эндрю. Уже нет былой теплоты и сердечности в супружеских отношениях, все сгущенней атмосфера разлада, все больше Кэти отдается развлечениям светской жизни, в то время как перед Мак-Грегором, человеком идеи и чести, неотступно возникает образ Курдистана, взывающего о помощи.

В один узел стягиваются в романе мотивы личные и социальные. Реальной перспективой становится разрыв с Кэти, с которой

Мак-Грегор прожил счастливо больше двадцати лет. Холод отчуждения сковал их личную жизнь. В памяти героя вспыхивают знакомые строки, которые как нельзя лучше отражают печальное положение вещей. «Пусть каждую ночь проводишь ты на ложе с любимой,— процитировал Мак-Грегор по-персидски,— но если она замыкает свой сад от тебя, то неминуемо роза увянет и от страсти останутся лишь черепки, как от разбитого кувшина».

Взаимное понимание, дружба и сердечная привязанность прочно связывают Мак-Грегора с сыном Эндрю. Зная, что люди коварного ильхана способны на любую подлость, Эндрю был всегда начеку, заботясь о безопасности отца. Эндрю делится с ним своими сокровенными думами: он явно разочаровался в Оксфорде и хотел бы направиться учиться в Тегеран. Для него жизненный путь отца — пример, достойный уважения и восхищения. События в Париже вызывают в нем глубочайший интерес, и он достаточно трезво их оценивает.

Лирическую ноту в повествование вносит описание встреч и бесед Мак-Грегора с Жизель Маргоз, женщиной, далекой от политических интересов, но испытывавшей на себе силу духовного обаяния Мак-Грегора... Глубоко интимное, личное освещается в романе с той силой выразительности и нравственной чистотой, которая всегда свойственна этому художнику.

С убеждающей наглядностью показаны в романе события парижской весны 1968 года: всеобщая забастовка в стране, уличные стычки с полицией, выступления студентов, выдвигающих пестрейший набор политических лозунгов... Здесь студенты анархистского толка, левые экстремисты, единомышленники крикливого Кон Бендита.

Диалектика бурных социальных коллизий выявлена Олдриджем с большой глубиной и достоверностью. Он показал столкновение и борьбу идей, закулисную игру темных социальных сил, направляющих оружие не к тем, кто жаждет свободы и ведет за нее яростную схватку, а к тем, кто в корыстных целях стремится любой ценой затормозить общественный прогресс. Роман знакомит с новым этапом в жизни Мак-Грегора, человека, верного нравственному долгу, сторонника справедливой борьбы гордых и независимых курдов. Произведение, глубоко проникнутое идеей социалистического интернационализма, написанное на высоком художественном уровне, этот роман служит достойным продолжением «Дипломата».

В основе замечательного австралийского цикла рассказов, повестей и романов Джеймса Олдриджа — впечатления детства и юности. Лирико-драматический по своей окраске, австралийский цикл — живое и закономерное развитие одной из линий в творческих исканиях Олдриджа, вновь и вновь припадающего к чистому и живительному роднику воспоминаний.

В прозе Олдриджа по-разному возникают и освещаются трагедийные и драматические коллизии: гибнет в неравных боях с фашистами героический английский летчик Джон Квейль, осознавший свое место в борьбе за передовые идеалы; бессмысленно погибает Гордон, не сумевший преодолеть предубеждений индивидуалистического характера; перспектива опасного отрыва от людей и превращения в лесного бродягу встала перед звероловом Роем Мак-Нэйром. Острый разлад с эгоистичной и корыстолюбивой средой переживает Жизи Маргоз, стремящаяся в общении с Мак-Грегором обрести духовную опору, разрушить барьер, отделяющий ее от людей. Крайне трудно сходится с людьми феноменально одаренный юноша-музыкант Джули Кристо, герой повести «Джули отрешенный», гению которого в силу социальных обстоятельств не суждено до конца раскрыться.

Образ рассказчика Кита Куэйла, повествующего о Джули, нам хорошо знаком по роману «Мой брат Том». Кит остро чувствует внутренний драматизм жизни необычного героя, его разлад с ближайшим и более далеким окружением — с теми, кто встречался на его пути в городке Сент-Эллен, где разворачивается действие повести. Рассказчик все знает очень досконально: он близко общался с героем, с его ласковой и гостеприимной матерью, с ее жильцами-евангелистами. Он может взглянуть на минувшие события с далекой дистанции, по-новому их оценить, прояснив то, что ему как непосредственному участнику трагических событий было в ту пору неясно. От широкого социально-психологического полотна, каким предстает роман «Горы и оружие», писатель переходит к изображению более узкого, более замкнутого мира Сент-Эллена.

В центре внимания художника — внутренний мир самоуглубленного Джули. «Не тронь меня. Подальше, подальше!» — словно говорил непроницаемый взгляд «недотроги». Джули был сдержан в выражении своих чувств даже с матерью, которую любил, и решительно противился любым попыткам

сверстников заглянуть в его душу. Но при всей своей отрешенности Джули бывал очень смел, решителен: не умея плавать, он бросается в глубокую реку, смело вступает в драку с обидчиком, хотя ему известно, что тот гораздо его сильней.

Главной страстью Джули была музыка. И никто из окружающих не мог помешать его участию в музыкальном ансамбле — ни мать, ни ее жильцы-евангелисты, считавшие занятия в джазе делом греховным. В своем сектантском ослеплении некоторые из них, как мисс Майл, доходили до того, что сжигали доставшиеся по наследству книги Вальтера Скотта, Уитмена, Торо, Теннисона, Элиот, сохраняя как бесценное сокровище лишь Евангелие.

Повесть построена по новеллистическому принципу. Каждая глава — новый эпизод из жизни героя, посвященный, как правило, его новому знакомству. В частности, знакомству с кем-то из девушек Сент-Эллена. Что влекло их к этому нелюдиному человеку? Почему вызывающе дерзкая Норма Толмедж едва ли не с материнской заботливостью опекала юношу? Почему Бетт Морни, девушка во всех отношениях «положительная», прониклась к «недотроге», порой очень колючему, глубокой симпатией? Норма и Бетт верили в его нравственную чистоту. И когда на Джули было возведено обвинение в убийстве родной матери, обе девушки ни на миг не усомнились в его невинности.

Блестяще написана в романе сцена суда. Адвокату Куэйлу удалось доказать невинность юноши и добиться его оправдания. Защитительная речь Куэйла переросла в суровое обвинение всего косного уклада городка. Горестно звучит финал «Джули отрешенного»: блистательно одаренному юноше, так и не реализовавшему своих возможностей, выпала роль скромного семьянина (он женился на Бетт Морни), помогающего торговцу-тестю в его мясной лавке. Повесть, таким образом, таит в себе заряд острой социальной критики буржуазного общества, в котором задатки необычайного дарования не смогли раскрыться.

«Джули отрешенный» вызвал положительные отклики в английской печати, справедливо подчеркивающей напряженность драматического конфликта, высокое мастерство психологического анализа писателя. «Острота действия в этой книге, — писал обозреватель «Таймса» Питер Тиннисвуд, — неужи-

данно смягчается моментами нежности. Образ Джули — мастерское создание художника, и Олдридж развивает знакомую тему правды, справедливости, мук совести с присущей ему вдумчивой проникновенностью и состраданием. Это превосходная книга».

Джеймс Олдридж — писатель остросоциальный. Прослеживая закономерность участия в революционных событиях нашего времени таких героев, как Мак-Грегор, он умеет обнажить механизм взаимодействия и противоборства социальных сил в современном западном мире, показать, как представители прогрессивных кругов ведут борьбу за разрядку международной напря-

женности. Рисуня сравнительно малые полотна, такие, как «Джули отрешенный», художник и здесь, в рамках локального сюжета, обнажает пружины тех общественных отношений, которые то явно, то скрыто влияют на судьбы его героев. Социальной зоркостью Джеймса Олдриджа, пафосом действенного гуманизма, пронизывающим его творчество, уверенным и вдохновенным мастерством, которое он демонстрирует в своих работах, как раз и определяется горячий читательский интерес к произведениям этого глубокого и оригинального прозаика.

П. БАЛАШОВ,

доктор филологических наук.



Политика и наука

ПРЕЕМНИК ПЕРВОГО ЧЕКИСТА

Михаил Барышев. Особые полномочия. Повесть о Вячеславе Менжинском. М. Политиздат. 1976. 446 стр.

Когда в декабре 1917 года на заседании Совнаркома решался вопрос о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии и Владимир Ильич Ленин сказал, что во главе такого необычного учреждения советской власти должен встать пролетарский якобинец, все присутствующие разом обернулись к Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Вопрос был решен немедленно и необыкновенно удачно. История ВЧК — ОГПУ неразрывно связана с легендарным именем Ф. Э. Дзержинского.

Летом 1926 года Феликса Эдмундовича не стало. Сердце «рыцаря Октября», истощенное тюрьмой и ссылкой, не выдержало беспредельной перегрузки работой. Ф. Э. Дзержинскому не было в то время и пятидесяти...

На посту председателя ОГПУ Ф. Э. Дзержинского заменил его заместитель Вячеслав Рудольфович Менжинский. Ему и посвящена книга писателя Михаила Барышева «Особые полномочия», выпущенная в серии «Пламенные революционеры». Автор не ставил целью дать полное жизнеописание своего героя. В книге показаны три важнейших этапа биографии В. Р. Менжинского — работа на посту наркома финансов в первые месяцы революции, его роль в раскрытии крупного заговора контрреволюции летом — осенью 1919 года и, наконец, ответственнейшая деятельность в качестве заместителя, а затем и председателя ОГПУ.

Главное достоинство документальной повести Михаила Барышева — исторически достоверная и художественно точная обрисовка характера В. Р. Менжинского. До Великого Октября Вячеслав Рудольфович стал закаленным профессиональным революционером. И вместе с тем он был образованнейшим, интеллигентным человеком, за плечами которого — Петербургский университет, занятия юриспруденцией, финансами, математикой, музыкой, знание почти полутора десятков иностранных языков...

История большевизма знает немало случаев прихода в революцию, к трудящимся массам людей иного социального круга, молодежи из обеспеченных слоев — из дворян, интеллигенции, купечества. К примеру, Елена Стасова была племянницей выдающегося русского критика-искусствоведа, Инесса Арманд — женой фабриканта, Николай Бауман — ветеринаром. Но все они добровольно отказались от благополучного существования, выбрав нелегкий и опасный путь профессиональных революционеров, ради счастья народа встав на борьбу с социальным злом.

Отец В. Р. Менжинского был преподавателем Петербургского кадетского корпуса, мать — одним из организаторов знаменитых Бестужевских курсов. Гимназия, юридический факультет столичного университета — все это позади, когда юный Вячеслав

Менжинский стал подпольщиком. Он действовал под руководством Е. Д. Стасовой. Спустя сорок лет он писал ей:

«...могу смело сказать, что до сих пор не встречал работников, которые, вступивши на поле подпольной деятельности, сразу оказались такими великими конспираторами и организаторами — совершенно зрелыми, умелыми и беспровальными.

Твой принцип — работать без провалов, беспощадно относясь ко всем растяпам, оказался жизненным и после Октября, даже в деятельности такого учреждения, как ВЧК — ОГПУ. Если мы имеем большие конспиративные успехи, то и твоего тут капля меду есть — подпольную выгучку, полученную в твоей школе, я применял, насколько умел, к нашей чекистской работе».

Вот характерный эпизод. У одного из заговорщиков найден сложный шифр. Профессор математики нагло утверждает, что чекистам его не разгадать, это, мол, не стрелять и не саблями размахивать. Менжинский поручает дешифровку молодому сотруднику ЧК, недавнему студенту Решетову. Вячеслав Рудольфович отправляет своего юного коллегу в библиотеку Румянцевского музея, называет имена ученых, работами которых следует поинтересоваться, советует выяснить специализацию профессора-заговорщика (это обязательно скажется на характере шифра). Но предварительно Решетов... укладывают спать. На три часа. Ни минутой меньше. Результат? Через сутки шифр был разгадан. И Решетов справедливо отвечает Менжинскому, что главная заслуга в этом начальника Особого отдела ВЧК, а не его, Решетова.

В. Р. Менжинский отличался глубокими знаниями, блестящей образованностью. Автор не просто декларирует это, а убедительно показывает всем ходом своего повествования. Вот Вячеслав Рудольфович приходит в первый же месяц советской власти в государственный банк. Чрезвычайная миссия, маузером тут не возьмешь. Действовать надо точно и законно — законно с точки зрения финансовой дисциплины. Ведь денежные воротилы были отнюдь не простаками. Вынужденные подчиниться новой власти, они требовали строгого соблюдения порядка банковских операций. Большевикам в буквальном смысле пришлось овладеть государственным банком России. Михаил Барышев показывает, как В. Р. Менжинскому вместе с товарищами удалось

добиться этого. Пригодилась Вячеславу Рудольфовичу служба в эмиграции в банке «Лионский кредит». Финансовым тузам пришлось убедиться, что они имеют дело не с дилетантом, а со знатоком. И бронированные сейфы открылись. Рабочие Питера получили заработную плату. Финансы стали впредь служить революции.

Мягкость, заботливость в общении с товарищами по партии, по работе сочетались у В. Р. Менжинского с непреклонной твердостью и решимостью по отношению к врагам революции. Начальник Особого отдела ВЧК в годы гражданской войны, поистине правая рука первого чекиста — Ф. Э. Дзержинского, Вячеслав Рудольфович был беспощаден к тем, кто посягал на завоевания Октября. Автору удалось раскрыть эту сторону характера, облика своего героя на примере борьбы с контрреволюционным «Национальным центром», разоблачения матерых белогвардейских и иноземных шпионов и диверсантов. Одним из них, как известно, был крупный авантюрист Борис Савинков.

Перед писателем, взявшимся за перо, чтобы рассказать об операции под кодовым наименованием «Трест», стояли огромные трудности. О ней создан и неоднократно демонстрировался многосерийный телевизионный фильм. И хотя М. Барышеву не удалось до конца преодолеть инерцию зрительского восприятия этого фильма, он все же восполнил сюжет существенным вкладом. И прежде всего рассказом о роли Ф. Э. Дзержинского и В. Р. Менжинского в разработке операции.

В телефильме, как известно, руководители ВЧК — ОГПУ не показаны, они лишь упоминаются. В повести «Особые полномочия» роль В. Р. Менжинского обрисована с достаточной полнотой. Вот Вячеслав Рудольфович беседует с Артуром Христиановичем Артузовым, ближайшим своим помощником:

— Развитие нашего плана надо строить на том, что Савинков честолюбив. Чудовищно честолюбив. А честолюбие, Артур Христианович, — это такая бочка, куда всегда можно влить лишнее ведро. Но тут потребуются продуманная и осмотрительная работа.

В ходе этой работы наступил такой момент, когда казалось, что замысел чекистов не удался. Дела зашли в тупик — Савинков не поддавался на призывы своих едино-

мышленников самому приехать в Советскую Россию.

— Давайте сделаем паузу в развитии событий. Пусть Борис Викторович повисит на собственных нервах, — предложил Ф. Э. Дзержинский, выслушав очередной доклад о ходе операции.

И Савинков, перестав получать столь нужную ему, направляемую чекистами информацию, не выдержал, выехал из Парижа в Берлин, а затем и в Минск, где был арестован на явочной квартире.

За успешное проведение операции «Трест» В. Р. Менжинский был награжден орденом Красного Знамени.

Неукоснительное исполнение своего революционного долга сочеталось у Вячеслава Рудольфовича с величайшей скромностью, беззаветной отдачей всего себя работе, часто в ущерб здоровью. Менжинский героически преодолевал болезнь (грудную жабу), нередко ему приходилось отлеживаться, чтобы снова встать в строй. В книге приведена характерная ленинская записка:

«...предлагаю ЦК постановить:
обязать т. Менжинского взять отпуск и

отдохнуть немедленно впредь до письменного удостоверения врачей о здоровье. До тех пор приезжать не больше 2—3 раз в неделю на 2—3 часа.

Ленин»¹.

В книге Михаила Барышева три части. Это как бы литературный триптих жизни и деятельности В. Р. Менжинского.

Наряду с известными историческими личностями в повести встают образы чекистов и их врагов, созданные писателем на основе изучения богатого документального материала. Это упоминавшийся уже студент, пришедший работать в ВЧК, — Решетов, ярый контрреволюционер лесозаводчик Ауров и другие. Автор нашел для них верные краски, показал, с одной стороны, тесную связь чекистов с трудящимися массами и с другой — коварство врагов революции и оторванность их от народа.

Думаю, что повесть о преемнике первого чекиста В. Р. Менжинском займет достойное место в серии «Пламенные революционеры».

Ю. ПАРАПОВ,

кандидат исторических наук.



НЕ ТОЧКА И НЕ В КОНЦЕ

Александр Кривицкий. Точка в конце... Очерки. М. «Советский писатель». 1976. 271 стр.

Александр Кривицкий — вряд ли это имя нуждается в особых рекомендациях. Многие годы каждое выступление этого публициста привлекает к себе внимание самых широких кругов читателей.

Журналисты моего поколения чьются Кривицкого среди своих наставников, тех, у кого мы учились партийной страстности и литературному мастерству. Широкий кругозор, разящий сарказм и теплый лиризм публицистики Кривицкого вызывали наше восхищение, желание подражать.

С тех пор прошло немало времени. Мы набрались опыта, заговорили собственными голосами, но и сегодня мастерство того, кем восхищались мы в годы журналистской юности и ученичества, служит для нас ориентиром и профессиональным эталоном. В этом снова убеждает выпущенная недавно издательством «Советский писатель» новая книга Александра Кривицкого «Точка в конце...». Если с чем и не могу

я согласиться, то это с заглавием книги. Не точка и не в конце!

Многие страницы книги посвящены последним дням войны, победной точке, которую поставил советский народ в конце своего героического ратного пути длиной в 1418 дней. И в этом смысле название отвечает теме, но только в этом. Что же касается творчества Кривицкого, его неиссякаемого темперамента, сверкающего все новыми гранями литературного мастерства, то каждый, кто прочтет его новую книгу, с радостью убедится, что до точки еще далеко.

Впрочем, дело не в знаках препинания. Прошагавший трудными дорогами войны, писатель вновь и вновь возвращается к теме, которая стала для него главной в жизни. Журналист, первым, по горячим следам рассказавший миру о подвиге двадцати восьми героев панфиловцев, сделавший знаменитым ожегший сердца возглас

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 53, стр. 13.

героев: «Велика Россия, а отступать некуда!» — вновь возвращает читателя к тем дням, когда в подмосковных перелесках, на полях под Курском и Орлом, у стен Будапешта и Праги, на подступах к Берлину решались судьбы человечества.

Вместе с автором — очевидцем и участником событий, ставших ныне достоянием истории, читатель проходит улицами поверженной столицы «тысячелетнего» фашистского рейха, присутствует на акте подписания безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии, встречается с людьми, имена которых звучат сегодня легендой. Обо всем этом за минувшие десятилетия написаны сотни тысяч страниц писателями, историками, авторами многочисленных мемуаров. Но в том-то и состоит сила подлинного таланта, что, казалось бы, известное, описанное многожды, под его пером приобретает краски новые, яркие, необычайно достоверные. Мы не просто читаем о событиях известных. Мы как бы становимся их участниками и свидетелями.

Но не только это заставляет читать книгу Александра Кривицкого с необычайным интересом и душевным волнением. Кривицкий не просто возвращается к событиям прошлого, не просто реконструирует и воссоздает незабываемые страницы дней минувших. Он смотрит в это прошлое с позиций дня сегодняшнего. Умудренный опытом, повидавший немало в годы послевоенные, не раз вновь побывавший там, куда его три десятка лет назад приводили дороги войны, близко видевший кухню тех, кто в минувшие годы делал да и сегодня делает все для того, чтобы вытравить из памяти народов бессмертный подвиг советских людей, спасших человеческую цивилизацию от коричневого варварства, он думает, сопоставляет, продолжает пером публициста борьбу, которой посвятил свою жизнь.

Вот характерный пример. Битва на Курской дуге — одно из решающих сражений второй мировой войны. Кривицкий знает о нем не из книг. Вместе с автором мы снова переживаем события величайшего сражения в истории войны, рассказанные ярко, необычайно емко, достоверно. Мы не можем не разделять негодования свидетеля этого сражения, который, листая тома псевдоисторических исследований, выходящих ныне на Западе, обнаруживает явление поистине фантазмагорическое: буржуазная историография умудрилась вы-

черкнуть из истории второй мировой войны одно из главных ее событий. На десятках и сотнях страниц описывая события мало или совсем незначительные, буржуазные авторы уделяют в своих книгах битве на Курской дуге по несколько невнятных строк. «Происходит какой-то странный аукцион — кто меньше?» — саркастически замечает автор. И тут же вскрывает нечистую подолеку подобной фальсификации. Здесь не только размышления очевидца — здесь глубокий и умный анализ того, что происходит в мире сегодняшнем: противоборства идей, порождающих многие проблемы времени нынешнего.

Читая эти страницы книги, я вспомнил о встрече, которая произошла у меня всего за несколько месяцев до того, как довелось прочесть книгу Александра Кривицкого. Дело происходило в Атланте, главном городе американского штата Джорджия, куда занесла меня журналистская судьба. В один из вечеров я оказался в доме видного журналиста, руководителя местного телевидения. У него собрались, что называется, сливки местной интеллигенции: журналисты, преподаватели Атлантского университета, мэр города, известный архитектор, преуспевающий писатель. Хозяин дома и его гости были людьми относительно молодыми — между тридцатью и сорока. Разговор зашел о войне, в которой наши страны были союзниками. Велико же было мое удивление, когда выяснилось, что ни один из присутствующих и слухом не слыхал о сражении на Курской дуге. Мой коллега, телевизионный комментатор, по образованию историк, а его жена — преподавательница истории в университете Атланты. Все остальные участники встречи, о которой я рассказываю, — обладатели университетских дипломов, люди, вполне благожелательно относящиеся к нашей стране. И тем не менее они имели лишь самое смутное представление о роли, которую сыграла Советская Армия в ходе войны с гитлеровской Германией. Кроме Сталинградской битвы, никто из присутствовавших не смог назвать ни одного другого сражения, выигранного Советской Армией. Мой рассказ о Курской битве был выслушан вежливо, но с явным оттенком недоверия.

Через несколько дней меня разыскал хозяин дома, гостем которого я был. «Вы знаете, — сказал он мне, — мы с женой порылись в архивах, полистали газеты

того времени и пришли к выводу, что ваш рассказ о битве на Курской дуге не содержал никаких преувеличений. Не могу понять только, как могло случиться, что эта великая битва не вошла в университетский курс, который мы прослушали. Я был бы вам очень признателен, если бы вы, вернувшись домой, не забыли о моей просьбе и прислали нам советские книги по истории второй мировой войны, в том числе и о битве на Курской дуге. Если не удастся найти материалов на английском языке, пришлите на русском». Я выполнил эту просьбу моего коллеги из Атланты. Принаюсь, что среди книг, которые я ему послал, была и «Точка в конце...».

Возможно, что те, с кем я встретился несколько месяцев назад на юге Соединенных Штатов Америки, сегодня более осведомлены о подлинных событиях минувшей войны, нежели их соотечественники. Но это не меняет того факта, что нынешнее поколение американцев, да и не только

американцев, а многих вполне добропорядочных и честных людей на Западе, оказалось в плену у буржуазных фальсификаторов истории.

Нет, не ностальгией, не приверженностью привычной теме, а настоятельной необходимостью сегодняшнего дня продиктовано возвращение к теме войны, борьбы с фашизмом и реакцией, которой посвящена новая книга Александра Кривцкого. Она свидетельствует о верности его боевым традициям советской публицистики, всегда находившейся и находящейся на передовой линии огня.

Рассказывая о минувшей судьбе родной земли, он смотрит на нее глазами дней нынешних, а события наших дней соотносит с прошлым, видя нерасторжимую связь времен, что придает книге масштабность и широту.

Валентин ЗОРИН,
профессор.



ПРОЦЕСС РАЗРЯДКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА

Борьба идей в современном мире. Под общей редакцией академика Ф. В. Константинова. В 3-х тт. Т. 1. Основные линии и коренные проблемы идеологической борьбы. 1975. 319 стр. Т. 2. Современный капитализм: противоречия и доктрины. 1976. 399 стр. М. Политиздат. 1975—1976.

Идейные диспуты имеют многовековую историю. На страницах литературно-художественного журнала вполне уместно, нисколько не умаляя серьезности рецензируемого труда, напомнить об описаниях по меньшей мере двух идейных схваток: спора Панурга с «ученым мужем» Таумастом, дискутировавшим знаками, в бессмертном романе Ф. Рабле и о знаменитом «Диспуте» Генриха Гейне.

...Остроумный Панург закончил спор на высокой ноте: он «приставил два главных пальца к углам рта, растянул его сколько мог и оскалил зубы, а затем большими пальцами сильно надавил на веки и скорчил, как показалось собравшимся, довольно неприятную рожу». Затянувшийся спор закончился обедом и выпивкой «до растягивания пуговиц на животе».

Обстановка спора у Генриха Гейне уже менее панибратская: капуцин и раввин во главе своих клезретов, кроме аргументов и бранных слов, вооружены также культурными приспособлениями для обращения в веру. Их диспут длится целый день, а о примирении не может быть и речи.

XX век, конечно, не зачеркнул полностью роли индивидуальных идейных схваток, но главная тяжесть борьбы сейчас перенесена на широчайшую международную арену, где ставкой является сознание миллионов людей, оружием — мощные, оснащенные самой современной техникой средства массовой пропаганды, а противниками — классы, партии, политические системы.

Борьба идей сегодня — это борьба за перспективы социального развития, за судьбы человечества. Поэтому выход двух томов «Борьбы идей в современном мире», раскрывающих широкую панораму идеологического противоборства, без сомнения, привлекает самое серьезное внимание.

Учитывая изменившееся в пользу социализма соотношение сил на международной арене, в том числе и в духовной сфере, буржуазная идеология маневрирует: она перестраивает свое терминологическое обличье (временами прибегая даже к марксистским терминам), вместо открытого идейного противоборства и насаждения собственных идей делает ставку на пропаганду якобы нейтрального «потребитель-

ства», призванного «разложить социализм изнутри», и т. п. На службу идеологии ставятся могущественные технические средства, быстро растут ассигнования США и стран Западной Европы на пропагандистские цели. Так, например, в конце 60-х годов на нашу страну вещало 35 радиостанций на 19 языках народов СССР (200 часов в сутки). В настоящее время 40 западных станций ведут свои передачи свыше 250 часов в сутки на 25 языках. Цели такой массивной «атаки» очевидны. Директор «Немецкой волны» В. Штайгнер признал: «Наши идеи нужно протаскивать в общественную жизнь коммунистических государств всеми средствами, не пренебрегая ни искусными психологическими методами, ни приветливостью и сочувствием к тем, кого в действительности мы ненавидим». Вот почему чрезвычайно актуально звучат слова В. И. Ленина о том, что важнейшая задача коммунистов — «побороть все сопротивление капиталистов, не только военное и политическое, но и идейное, самое глубокое и самое мощное»¹.

Бескомпромиссная борьба марксистской идеологии с буржуазной на современном этапе приобрела ряд новых черт: расширился ее фронт, углубилась проблематика, сузилась «нейтральная полоса» (вспомним принципиальные споры о проблемах экологии или вокруг достижений нейрохирургии), повысились требования к конструктивности критики. Известную специфику придали ей также внешнеполитическая разрядка — сейчас, полтора года спустя после Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, настоятельно стоит вопрос об устранении элементов «холодной войны» в идеологических отношениях. В новой международной обстановке идеи значительно легче проникают через государственные границы. В потоке идеологической продукции, поступающей к нам из капиталистического мира, до сих пор нередко встречаются идеологические уловки, мифы, антигуманистические концепции, прямая клевета, что значительно деформирует соотношение противоборствующих идей. Марксисты всегда выступали за открытую, демократически организованную дискуссию, они постоянно были против приращивания к честному спору демагогии, извращения взглядов оппонентов, проповеди человеконенавистничества, расизма,

вражды между народами, то есть всего того, что входит в арсенал «психологической» и «холодной» войны. Инерция определенных кругов на Западе, пытающихся в своих интересах использовать и законсервировать инертность мышления некоторых групп населения, требует от марксистских идеологов углубления их работы. «Положительные сдвиги в мировой политике, разрядка создают благоприятные возможности для широкого распространения идей социализма, — говорил Л. И. Брежнев в Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду. — Но, с другой стороны, идейное противоборство двух систем становится более активным, империалистическая пропаганда — более изощренной. В борьбе двух мировоззрений не может быть места нейтралитету и компромиссам. Здесь нужна высокая политическая бдительность, активная, оперативная и убедительная пропагандистская работа, своевременный отпор враждебным идеологическим диверсиям». Свой вклад в эту работу вносит и авторский коллектив «Борьбы идей...».

Основным пристанищем «холодной войны» в сфере идей сейчас остается антикоммунизм. Разоблачение мифов о советской угрозе Западу, об отсутствии демократических свобод в социалистических странах и т. п. существенно важно для очищения мировой идейной атмосферы. И не случайно критика антикоммунизма во всех его обличьях — и вулгарного, «уличного», как его порой называют на Западе, и академического, рафинированного, — оказывается в центре внимания авторов рецензируемого двухтомника.

Ныне даже буржуазные исследователи признают усиление пропагандистской направленности выдвигаемых на Западе философских, социологических, экономических концепций. Еще сравнительно недавно буржуазная идеология была ориентирована главным образом на «внутреннее потребление» в среде своего класса. Теперь же теоретические построения в области идеологии все чаще оказываются изначально направленными на обработку самых широких масс. Вырождаясь, буржуазная идеология видит теперь свою задачу не столько в решении теоретических проблем, сколько в социальной демагогии: она превращается все более в технику внушения, в орудие воздействия на массовую аудиторию любыми способами. Поэтому во втором томе «Борьбы идей в современном

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 406.

мире» наряду с критическим рассмотрением философских и социальных доктрин анализируется и разветвленный механизм буржуазной пропаганды, направленный на огульное масс.

Не следует, однако, переоценивать способность буржуазных средств массовой пропаганды коренным образом воздействовать на массовое сознание. В книге справедливо говорится о том, что ныне речь идет не просто об устарелости тех или иных приемов манипулирования, но «о кризисе манипуляторской практики в целом, о конце эпохи духовно-психологического воздействия». В подтверждение приводятся слова Генерального секретаря компартии США Гэса Холла: «Миллионы американцев отказываются от обычного способа мышления. Они отвергают старые концепции. Придя в движение, громадное число людей исследует все области капиталистического образа жизни и ставит под сомнение сложившиеся представления. То, что вчера принимали за нечто само собой разумеющееся, сегодня отвергают; люди уже не принимают старые штампы и не верят демагогическим обещаниям».

Критика современной буржуазной идеологии в рецензируемом двухтомнике является аргументированной и глубоко дифференцированной. В работе дается широкая панорама идеологических течений современного капитализма — от правозэкстремистских до леворадикальных, причем авторы для углубления критики тщательно анализируют взаимную полемику различных философских и социологических направлений (например, придерживающихся «сциентистской» и «гуманистической» ориентации). Буржуазная идеология давно миновала период подъема и в настоящее время переживает глубокий кризис, прикрывая свою внутреннюю противоречивость и неоднородность внешней эклектической интегрированностью.

Значительное место и в первом и во втором томе уделено различным буржуазным интерпретациям социальных последствий научно-технической революции. Основным приемом буржуазных идеологов стала подмена социального содержания современной эпохи чисто техническими проблемами, причем смысл социальной революции низводится ими до экономической «модернизации» той или иной страны. В этом ключе написана шумевшая в США книга

З. Бжезинского «Между двумя эпохами. Роль Америки в технотронную эру». Аналогичные методологические установки лежат в основе теории «постиндустриального общества» Д. Белла, «нового индустриального общества» Дж. Гэлбрейта, «посткапиталистического общества» Р. Дарендорфа. Эти модные ныне концепции отражают некоторые реальные стороны общественного процесса — повышение роли науки во всех сферах общества и неспособность традиционного капитализма соответствовать масштабам научно-технической революции, — но дают им неверную интерпретацию. Странники этих теорий, на словах отмежевываясь от капитализма, на деле защищают его основные принципы и институты. Так, Д. Белл в отличие от некогда модной теории конвергенции считает, что «постиндустриальное общество» может быть и капиталистическим и социалистическим. Но вместе с тем картина, казалось бы, «нейтрального будущего» на поверку обладает существенными признаками капитализма — сохраняется социальное неравенство, разрыв между правящей элитой и управляемыми массами. Разделы, посвященные критике теории «постиндустриального общества», привлекают внимание важностью темы и убедительностью критики.

Авторы первого тома уделяют значительное внимание критике таких современных социально-политических доктрин, как национализм, расизм, сионизм, доктрин, призванных опровергнуть важнейший принцип международного коммунистического и рабочего движения — принцип пролетарского интернационализма. В книге убедительно показано, что эти концепции всего лишь орудие в руках наиболее реакционных группировок господствующего класса, что и составляет классовую сущность этих идейных течений. Вместе с тем глава, посвященной критике сионизма, хотелось бы пожелать большей глубины. У читателя может сложиться впечатление, что изобретательность и умение приспособиваться здесь вдруг изменяют буржуазным идеологам и они всего лишь пережевывают идеи полувековой давности.

Последние три главы первого тома посвящены ближайшим пособникам империалистической идеологии, прикрывающимся, однако, лозунгами общественного прогресса, демократии и социализма, — социал-реформизму, правому ревизионизму и «левацкому» раскольничеству. Все эти направле-

ния оказываются вне научного социализма и из-за своей демагогической оболочки нередко представляют большую опасность, чем «чистые» разновидности буржуазной идеологии.

Создав в целом обстоятельный и интересный труд, авторы первого тома не смогли, однако, добиться желательной композиционной стройности: одни и те же идеологии, одни и те же теории рассматриваются в различных главах и не всегда это можно объяснить многоплановостью исследования. И уж совсем непонятно, почему одна и та же цитата З. Бжезинского приводится дважды (т. 1, стр. 33 и 110), да еще в разных переводах. Этот же недостаток, хотя и в меньшей мере, свойствен и второму тому. Впрочем, в результате сужения проблематики и лучшей структуры (в частности, введения основных разделов) его отличает более четкая композиция. Анализ современных идеологических концепций всюду производится на фоне нынешнего этапа общего кризиса капитализма.

Во втором томе неоднократно подчеркивается принципиально важная мысль, что, с одной стороны, представления массового сознания неизбежно зависят от идеологических воззрений, насаждаемых господствующим классом, а с другой стороны, буржуазные теоретические концепции все чаще оказываются «массовыми иллюзиями, возведенными в ранг доктрины». Так, в книге убедительно раскрыта зависимость сциентизма от массовых иллюзий в отношении капиталистической организации науки и производства. Этот весьма плодотворный подход нуждается в дальнейшем развитии, здесь требуется более полное представление об уровнях идейной жизни общества, дифференциация различных сфер обыденного массового сознания.

В качестве еще одной особенности современного идеологического кризиса в развитых капиталистических странах отмечается своеобразный, как правило, весьма ограниченный критицизм буржуазной идеологии. Но, как заметил английский социолог Моллибэнд, цена таким критикам — «две штуки на пенс», ибо это «критицизм» во имя улучшения и дальнейшего существования капиталистической системы. Отмечая отдельные недостатки системы, буржуазные идеологи отстаивают целое. Этот прием одновременно служит им инструментом идеологического воздействия на массы, маскировки апологе-

тической сущности проповедуемых ими теорий.

Современные буржуазные идеологические течения расчленяются авторами второго тома на три основные разновидности: их официальное ядро, где важное место принадлежит разного рода технократическим воззрениям и концепциям «организованного общества», либеральные и консервативные доктрины и разнообразные течения правого и «левого» радикализма (фашизм и неофашизм, с одной стороны, «новое левое» движение — с другой).

Миф об «организованном обществе» является следствием современной разновидности фетишизма, «фетишизма технико-организационных и пропагандистско-манупляторских мероприятий». Центр этого мифа — доказательство «разумности», «естественности» «корпоративной» экономики. Технократизм, пройдя этап агрессивности по отношению к буржуазно-демократическим институтам, в последние десятилетия перешел на позиции апологии государственно-монополистической структуры и сосредоточил свой критический пафос на определенных методах руководства монополистическими организациями, на отходе от «рационально-бюрократических» принципов.

Крайний правый полюс буржуазной идеологии образуют фашизм и неофашизм, которые, естественно, вынуждены внешне видоизменяться по сравнению с фашизмом образца 30—40-х годов. При этом они сохраняют стремление опереться на широкие социальные слои, прежде всего мелкобуржуазные, для чего эксплуатируют глубокое недовольство пороками капиталистической системы у обездоленной части общества. Идеология современного фашизма ассимилирует наиболее реакционные установки империалистической идеологии: патологический антикоммунизм, ультраконсерватизм, расизм и шовинизм.

Наиболее яркой формой «левого» радикализма, глубоко недовольного капиталистической системой и стремящегося к активным действиям, является движение «новых левых». В книге убедительно показано, что это движение в ходе своей эволюции колеблется между культурно-просветительской и радикально-политической ориентациями. Его социальной основой является часть интеллигенции, еще не ставшей пролетариатом, но уже переставшей быть буржуазией («люмпен-буржуазия»), и значительная часть студенчества. Справедливо

подчеркивая утопизм идеологического сознания «новых левых», автор главы не вполне точен, когда утверждает, что пока отсутствуют леворадикальные утопии-проекты. Нам известна по крайней мере одна такая попытка — изданная в ФРГ книга «Veränderung die Gesellschaft. Sechs konkrete Utopien» (1971). Другой вопрос — насколько эта утопия оригинальна.

Третий раздел второго тома посвящен анализу буржуазных концепций по вопросу о судьбах капитализма, что уже имело место на страницах первого тома. Поэтому рассмотрение буржуазных футурологических теорий во втором томе неизбежно ведет к определенным повторениям. Так что упрек в некоторой композиционной рыхлости авторам и редакторам каждого из томов может быть обращен и к композиции всего двухтомника. Следует отметить, что нарисованная во втором томе картина современной буржуазной футурологии выглядит более полной и дифференцированной, хотя вряд ли это оправдывает повторное появление уже известного нам Д. Белла с его концепцией «постиндустриального общества». Футурологические концепции 60—70-х годов направлены на преодоление вызванного общим кризисом капитализма пессимистических настроений масс в отношении их собственного будущего и будущего своей страны. Преобладающими в этих футурологических концепциях остаются иллюзии технологического детерминизма. Однако авторы третьего раздела справедливо отмечают, что в прогностике

последних лет усиливается социально-кризисная струя.

В последнем разделе, по нашему мнению, одном из наиболее содержательных, анализируется идеологическая полемика по вопросу о роли рабочего класса в условиях капиталистического общества, раскрывается возрастающая роль рабочего класса в современном мире.

В заключение скажем, что вышедшие книги написаны хорошим языком, стиль их в целом лаконичен, отметим лишь некоторую перенасыщенность специальными терминами и злоупотребление двояными терминами вроде «культурно-цивилизованный порядок» и т. п. Несколько удивило появление в научном лексиконе слова «задействован», слова, принадлежащего к жаргону и вряд ли уместного в научной работе.

В небольшой рецензии мы не имели возможности осветить все главы и разделы объемистого двухтомного исследования. Оно привлекает широтой нарисованной авторами картины современной идеологической борьбы, концептуальностью, умением мыслить крупномасштабно. Компетентность, глубина, комплексность труда делают его серьезным вкладом в марксистскую литературу, посвященную проблемам современной идеологической борьбы.

Г. АШИН,

доктор философских наук.

Р. ДОДЕЛЬЦЕВ,

кандидат философских наук.



КОРОТКО О КНИГАХ



ЮРИЙ КОРИНЕЦ. Володины братья. Повесть. М. «Детская литература». 1975. 175 стр.

В произведениях Ю. Коринца очень редко встречаются качества, издавна почитаемые главными в детской литературе,— острая фабула, динамически развертываемый сюжет, драматизм назревающего конфликта... Но, вчитавшись в этот замедленный, неторопливый рассказ, похожий на непрекращающийся внутренний монолог, чувствуешь: от него уже трудно оторваться.

Сюжет повести несложно. Одиннадцатилетний мальчишка — сирота, внук лесника и охотника — пошел к деду через тайгу, заблудился, чуть не погиб от лесного пожара, но, преодолев все ужасы голодного блуждания по тайге, все же добрался до места.

Подлинное содержание повести далеко выходит за рамки этой несложной истории. Перед нами жизнь небольшого, но очень характерного сообщества, к которому принадлежит одиннадцатилетний мальчик Володи. В этом маленьком деревенском сообществе присутствует то главное, что отличает всю систему нашего общественного бытия: благородный и осмысленный труд, искреннее стремление людей формировать свои отношения, строить повседневный уклад на высокой нравственной основе. Жизнь этого человеческого коллектива передается автором как бы преломленно, через восприятие маленького героя, который у нас на глазах проходит важные этапы нравственного возмужания, усваивая те общежитийские и социальные нормы, которые господствуют в окружающем его широком мире. В «Володиных братьях» между героем и повествователем очень тесна, так сказать, стилистическая и композиционная связь. Идет один непрерывный монолог автора и Володи. В этот внутренний монолог вкраплены сны, видения голодного и усталого ребенка, миражи заблудившегося путника. Все это — отражение совершенно реалистического восприятия мира, в котором живет Володя, его физического и нравственного состояния.

Для Володи природа — нечто живое, равное ему. И вовсе не враждебное, а умное, дружелюбное, не имеющее никаких оснований относиться плохо к человеку, если этот человек хороший. Так думает не только герой книги, так думает ее автор.

Мир нетронутой природы естественно сочетается у Ю. Коринца с цивилизацией, со всеми приметами современности. Для

мальчика, выросшего в тайге, вертолет, моторка, радио, телевизор, принимающий Москву через систему «Орбита», так же понятны и близки, как река и луг, как горы и лес...

Ю. Коринцу вообще свойственна полемичность по отношению к канонической форме детской повести. Даже в своем предыдущем романе «Привет от Вернера», написанном для младшего и среднего возраста, он ввел целый ряд условных приемов, характерных для «взрослой» прозы. И в повести «Володины братья» есть элементы «монтажа» сказочного и реального, которые не столь уж часто встречаются в литературе для детей.

К сказанному следует добавить, что язык «Володиных братьев» живой и пластичный, характеры обрисованы выпукло и запоминаются. У нас есть все основания надеяться, что новая повесть Ю. Коринца будет с интересом встречена как юным, так и взрослым читателем.

Лев Разгон.



ВАДИМ КОВДА. Полустанок. Стихи. М. «Советский писатель». 1976. 118 стр.

Успех первой книги поэта нередко определяется именно тем, что эта первая. Новизной имени. Гораздо труднее поэту укрепить свою творческую репутацию во второй книге, доказав, что он не случайный гость в стране Поэзии.

Прочитав вторую книгу Вадима Ковды «Полустанок», нельзя не признать, что ее автор справился с этой задачей. Тем, кто читал его первую книгу, вышедшую пять лет назад, вероятно, запомнились многие строки, проникнутые пристальным и пытливым взглядом молодого поэта на мир, его горячим желанием разобраться в сути своего времени, в его бурных ритмах, ярких и подчас противоречивых приметах. Вадим Ковда, думается, справедливо включил в «Полустанок» несколько лучших стихотворений из предыдущего сборника. К ним, например, относится драматическая миниатюра: «Если только в мое парадное ходят три пожилых инвалида, значит, сколько же было ранено? А убито?» Присутствие таких стихов во второй книге подчеркивает непрерывность в разработке поэтом его основной темы. А эту тему можно обозначить так: мужество человека в со-

временном мире. На первый взгляд это определение может показаться слишком громким, ибо в книге не идет речь «о подвигах, о доблести, о славе», нет прямого «изображения» тревожных событий века. Но особенность художественной манеры В. Ковды в том и состоит, что грозный, насыщенный бурями мир как бы «вынесен за скобки» — и при этом его неровное дыхание становится еще более ощутимым почти в каждом стихотворении. Поэзию Ковды отнюдь не назовешь тихой, хотя голос его спокоен, уверен, не сбивается на выкрик. А эти слова, если использовать строчку Маршака, говорят «не о чем-то, а что-то». Поэт идет не от внешних черт своей биографии (достаточно, впрочем, интересной), а от глубоких, выношенных, выстраданных чувств и мыслей. Мужество человеческое он видит в том, чтобы человек оставался собой в меняющемся мире, был верен высоким идеалам правды, добра и сострадания и к людям, и к природе, и к «братьям меньшим».

Лирический герой «Полустанка» остро ощущает биотоки своей эпохи, размышляя о «таинственной связи огромной между небом, землей и людьми». Точно и пластично передается в стихах состояние человека, трудом и жизнью связанного с миром металла и бетона, однако испытывающего неистребимую тягу к трепетной плоти лесов, озер и рек. Необходимость мудрого разрешения противоречий именно такого рода стала стержнем многих стихотворений В. Ковды. Но «экологическая тема» не является самодовлеющей в его книге. Речь идет прежде всего о человеке, о его желании защитить все живое в мире, и не только то, что именуется «окружающей средой». Речь идет о любви, о желании быть понятым людьми, о том, чтобы не рушилась естественность диалектических процессов бытия:

Как береза из церкви растет —
камень ест, чтобы к солнцу тянуться,
мотылек у стекла вопиет,
чтобы лапкой к огню прикоснуться...
Так и ты — знай устои свои,
страх забудь и не ведай корысти.
Никогда не противься любви,
как ОНИ не противятся жизни...

Не могут не тронуть пронзительные стихи В. Ковды о матери: чувство потери близкого человека слито в них с желанием не замыкаться в горе, а, напротив, открыть свое сердце для людей, для их радостей и невзгод. Эту черту мироощущения поэта, несущую в себе, думается, подлинно общественное звучание, видишь, угадываешь на многих страницах сборника.

Не всегда, правда, удается поэту выразить свои мысли на высоком уровне художественного обобщения. Отдельные его вещи, в особенности стихи об увиденном в пути, о дорожных впечатлениях, грешат дневниковостью, поспешностью строки. Вряд ли Ковда добавил что-то свое, новое к осмыслению образа Пушкина в стихотворении «Святые горы» — это всего лишь довольно умело запечатленный пейзаж. Не поднимается выше уровня зарисовок и ряд других «путевых» стихотворений, например

«Копет-Даг». Порой, желая передать асимметрию, непостоянство в мире и судьбе, поэт вносит в строку неровный, сбивчивый ритм, что делает ее рыхлой. Однако при всем том, что в «Полустанке» можно выделить и очень хорошие и менее удачные страницы, это цельная книга — пустых, нетипичных для автора стихов в ней нет.

Ст. Золотцев.



А. И. ШИФМАН. Толстой — это целый мир. Очерки и рассказы. Тула. Приокское книжное издательство. 1976. 278 стр.

В своих документальных рассказах и очерках доктор филологических наук А. И. Шифман — знаток творчества, биографии и колоссального архива Л. Н. Толстого — повествует о многих обстоятельствах жизни, о подробностях, относящихся к творческой деятельности великого художника, драгоценных для каждого читателя и далеко не всем известных.

Артиллерийский офицер во время Крымской войны, Толстой пишет героические и трагические «Севастопольские рассказы», составляет план издания журнала «Солдатский вестник», который должен был быть адресован солдатам; цель издания — поддерживать «хороший дух в войске», печатая «описания сражений, не такие сухие и лживые, как в других журналах». На сева-стопольском бастионе Толстой сочиняет «Проект о реформировании армии», не осуществимый без уничтожения крепостного права, преобразования страны. Таковы некоторые из «сюжетов» у А. Шифмана. А вот Толстой-антимилитарист; Толстой, следящий за развитием науки, глубоко знающий и изучающий физику, химию; Толстой-педагог, не жалеющий сил и времени для приобщения крестьян к культуре... Всем этим темам посвящен первый раздел книги. Здесь же рассказывается о встречах и беседах Толстого с Горьким, Чеховым, Шалыпиным, Бальмонтом («Крымские встречи»); о великой скромности великого писателя, упорно отказывающегося от Нобелевской премии; о Толстом, читающем Маркса, протестующем против карательной практики правительства в стальнойскую пору в набатом прозвучавшей на весь мир статье «Не могу молчать».

Главная тема второго раздела книги — Толстой и Восток: переписка Ганди с Толстым; первый, стилизованный в японском духе перевод-пересказ «Войны и мира» на японский язык; Назым Хикмет — переводчик «Войны и мира» на турецкий язык. Здесь же очерк об архиве Толстого и о громадной, кропотливой работе текстологов над его рукописями (в переиздававшемся ранее тексте одного лишь романа «Война и мир» они обнаружили и исправили около двух тысяч опечаток).

Сто лет назад Толстой задумал «крестьянский роман» «на сюжет Робинзона» — о крестьянской общине переселенцев, увле-

ченных из Средней России в башкирские степи стихийным стремлением выбиться из нищеты и бесправия, начать «вольную» жизнь, возделывая «новые земли», вдали от жестоких властей. Анализируя обширный материал, автор книги показывает, что эта крестьянская мечта близка утопии самого Толстого о спасении патриархального уклада от власти царизма и капитализма. Но не утопична вера Толстого в негибимость русского национального характера, породившая робинзонскую тему, вера в подспудную его силу и мощь, способные преобразить жизнь.

Рассказ «Трагедия» посвящен уходу Толстого из дома — теме, в последние годы весьма популярной. Говоря о популярности темы, я прежде всего имею в виду целый ряд ее беллетристических разработок, где идейный, духовный кризис, пережитый писателем в ту пору, словно бы отходит в тень перед эпизодами семейной драмы. Строго документальный рассказ литературоведа А. Шифмана, лишенный искусственной драматизации, обнажает истинную трагическую основу ухода Толстого; не могла его гуманистическая и поэтическая, его религиозно-нравственная утопия о переходе общества к подлинно человеческому бытию восторжествовать над жестокой прозой царившего уклада, над консервативной обыденностью.

Располагая огромным материалом, А. Шифман уверенно черпает из него сюжеты для своих литературоведческих рассказов и очерков, отличающихся глубиной и точностью анализа и написанных легким пером журналиста.

Н. Миловидова.



РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ. Лирика. Перевод с немецкого. Составление, предисловие и примечания М. Рудницкого. М. «Художественная литература». 1976. 158 стр.

Каждая новая книга Рильке, выходящая у нас, несет в себе радость открытия его поэтического мира. Радостен и тот факт, что «русский» Рильке начинает со временем все больше становиться реальностью.

Освоение пространств поэзии Рильке всегда протекало нелегко, и свидетельство тому — нынешняя обширная рилькеана, насчитывающая сотни томов на разных языках. Они и в самом деле необходимы, эти исследования. «Усложненная» поэзия, как принято ее сейчас называть, требует от читателя не рассеянного перелистывания страниц, но вдумчивого, самоотверженного чтения, которое заставляет то и дело возвращаться к прочитанному, еще и еще раз вслушиваться в звучание стиха.

В романе Рильке «Записки Мальте Лауридас Бригге», который еще ждет у нас своего переводчика, есть запоминающаяся фраза: «Он был поэтом и ненавидел приближительное». Зрелые стихи самого Рильке свободны от какой бы то ни было приближительности, это их главная особенность.

Строгие философские размышления о мире и человеке обретают в устах поэта особую эмоциональную достоверность, они открывают читателю «ширь вокруг живого чувства» (перевод Б. Пастернака), помогают осознать вечный, непреходящий характер подлинных человеческих ценностей.

Все большую угрозу этим ценностям видел поэт со стороны окружавшего его буржуазного общества, где превращались в товар самые заветные человеческие ценности. Хотя бы в стихах, считал Рильке, необходимо было сохранить, сберечь для других поколений богатство мыслимого и переживаемого мира, свободного от законов купли-продажи, мира, притворяющегося человеку «забытое лицо вещей».

Кто вправе обладать из нас? Как может владеться то, что и само себя лишь на мгновение ловит и, ликуя, бросает в воздух, точно детский мяч?
(Перевел Б. Пастернак)

Вовсе не случайно пронесенные через всю жизнь симпатии поэта к миру бедняков, отверженных, входя в который остаешься «с горечью людской наедине».

В свое время А. В. Луначарский признал в Рильке «одну из крупнейших индивидуальностей... немецкого Парнаса». Прошедшие годы как бы расширили масштабы этой оценки, и сегодня Рильке для нас — одна из крупнейших индивидуальностей поэтической культуры XX века. Отмечавшийся недавно во всем мире столетний юбилей поэта подтвердил правильность такого высокого критерия.

Переводить Рильке трудно. Роберт Музиль как-то заметил, что у Рильке «немецкий стих впервые достиг совершенства». Действительно, раскованные, свободно текущие стихи Рильке — пример и образец непреднамеренности формы даже там, где форма, казалось бы, задана с самого начала, как, например, в сонетах.

В новый сборник вошло немало новых переводов Рильке. Стали доступны широкому читателю еще две переводческие работы Бориса Пастернака — «Реквием по одной подруге» и «Реквием по Вольфу Калькрейту», произведения большой внутренней силы, ощущение которой умело сохранено в переводе. Вообще печатью высокого мастерства отмечено абсолютное большинство переводов, вошедших в эту книгу, представляющую собой новый шаг на пути освоения рильковского наследия.

Н. Литвинец.



РОМЕН РОЛЛАН. Последние квартеты Бетховена. Л. «Музыка». 1976. 240 стр.

Можно с уверенностью сказать: два писателя XX века оказали огромное влияние на формирование современного восприятия музыки позднего Бетховена. Это Томас Манн и Ромен Роллан. Что касается Манна, то мы имеем в виду незабываемые несколько страниц «Доктора Фаустуса», где обсуждается вопрос, «почему в фортепианной со-

нате опус III Бетховен не написал третьей части». Ромен Роллан, в свою очередь, создал огромный цикл исследований под общим названием «Бетховен. Великие творческие эпохи». И хотя перед нами различные по объему работы, в них есть общее — в обоих случаях это глубочайшие высказывания подлинных художников. Ни один из писателей нашего времени не оставил столь проникновенного и восторженного повествования о музыке Бетховена, как Манн и Роллан.

«Последние квартеты Бетховена» — последняя музыковедческая работа Р. Роллана, опубликованная при жизни писателя. Эта книга — одно из звеньев труда о композиторе, чье творчество, как писатель сам говорил, было его «надежнейшим спутником в самые скверные дни». Во вступительной статье Б. Урицкая приводит план всего цикла книг о Бетховене. Здесь мы лишь отметим, что эта книга — то немногое, что не переводилось на русский язык ранее. Таким образом, мы теперь получили недостававшее звено в этом цикле работ Роллана.

Читатель, знакомый с творчеством писателя, конечно, помнит, что другие книги этого цикла были опубликованы в собраниях его художественных произведений. Они, безусловно, являются в равной степени и оригинальной художественной литературой и обстоятельным музыковедческим исследованием. О музыке здесь пишет поэт. Это, пожалуй, самое существенное, что отличает труд Роллана от основного потока разноязычной музыковедческой литературы.

Р. Роллан раскрывает историю создания каждого квартета, воссоздает духовную атмосферу эпохи и душевное состояние композитора. Вместе со «Вступлением к пяти последним квартетам» эта книга, как отмечает Б. Урицкая, рисует эволюцию квартетного жанра в творчестве Бетховена. О самом этом жанре Роллан пишет: «Струнный квартет сравнивают с рисунком двумя-тремя цветными карандашами — черным, мелом, сангиной и тушью. Известно, что рисунки мастеров стоят их лучших картин; можно даже предпочесть их, если они вышли из рук Рембрандта или да Винчи. В звучащем рисунке квартета, если линия бедна, не помогут никакие увертки».

Сугубо музыковедческий анализ у Роллана всегда подчинен анализу художественному и психологическому. Вместе с писателем мы как бы присутствуем при самом рождении нового произведения. Так, например, по поводу медленной части из XII квартета Роллан пишет: «Мы подходим к одной из святынь искусства, Парфенону — к *Adagio ma non troppo*, полному высочайшего изящества. Это не только одна из вершин музыки, но... это святилище. Ибо здесь нас ожидает волнующее разоблачение одной из тайн творчества. Мы обладаем почти всеми эскизами... Мы хорошо знаем, что Бетховену почти никогда не удавалось выразить свою мысль в законченном виде сразу, с первого броска. Ему всегда было необходимо без устали, вновь и

вновь класть железо в огонь и бить по нему молотом на наковальне». Далее следуют поэтичайшие страницы, воссоздающие процесс работы композитора над произведением.

Раскрывая сокровенный смысл и значение квартетов своего кумира, Роллан рассеивает некоторые легенды и ошибочные суждения. Так, в связи с XV квартетом (от себя добавим, что приводимое ниже высказывание справедливо и для всего творчества композитора) Роллан пишет: «Здесь необходимо выступить против легенды, согласно которой стремятся его (образ Бетховена.— А. М.) драматизировать и тем самым упрощают; поскольку последние квартеты сочинены на пороге смерти, хотя в них видеть ее, тень и считают, что Бетховен и сам думал так же... Однако Бетховен судил иначе». Заметим, что это высказывание отражает значительную эволюцию самого Роллана в отношении к Бетховену, так как в ранней своей «Жизни Бетховена» (1903) он сам совершил подобную ошибку. Образ Бетховена в «Последних квартетах» воссоздан с гораздо большей точностью.

Другое ошибочное мнение, против которого выступает Роллан (кстати, до сих пор бытующее в музыковедении), — якобы полное непонимание творчества Бетховена, особенно позднего периода, его современниками. Конечно, не все и не всеми было понято в равной степени, однако и Бетховен знал минуты удовлетворения от оцененности его творчества современниками. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать о премьеры XII квартета.

Для каждого, кто знаком с квартетами Бетховена, книга Роллана раскроет в них новые черты. Незнакомых же, надо полагать, заставит обратиться к этим шедеврам мировой музыки. Закончить рецензию хочется словами писателя: «*Tondichter* (поэт в музыке) — звание, на которое с законной гордостью притязал Бетховен. Нужно слушать его без посредников. Когда вы прочтете эту книгу, закройте ее, забудьте нас... И слушайте!»

А. Майкапар.



ОСНОВЫ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИИ КУЛЬТУРЫ. М. «Высшая школа». 1976. 303 стр.

Анри Барбюс сравнил социализм, вместе с материальной мощью рождающий новую культуру, с электричеством, дающим одновременно энергию и свет. Образ этот становится особенно наглядным сегодня, когда стремительно нарастает материальный и духовный потенциал советского общества, мира социализма.

Культура — понятие исключительно емкое и многоликое. Ему придают сотни различных значений и оттенков и в обыденном и в научном обиходе. Изучение закономерностей развития культуры — дело столь же необходимое, сколь и трудное.

У марксистского обществознания здесь имеются прочные и глубокие традиции. Что

же касается последних лет, то они отмечены буквально взрывом интереса к многоаспектным проблемам культуры. И хотя появляется еще немало серых и будничных работ, в целом нельзя не увидеть качественных сдвигов в уровне научных обобщений. Это, несомненно, связано в первую очередь с тем, что все настойчивее пробиивает дорогу, завоевывает все большее признание, можно сказать, конституируется в нашем обществоведении молодое и исключительно перспективное научное направление — марксистско-ленинская теория культуры.

Наука о культуре проходит пока негладкий путь становления, ищет свое место в системе общественных наук. Выход «Основ марксистско-ленинской теории культуры» — знаменательная веха на этом пути. Заметим сразу, что многое в книге предопределено ее жанром. Это учебное пособие для студентов институтов культуры и вузов искусств. Но это не только учебник. В данном случае мы имеем дело с широко охватывающим научным трудом, с первым опытом систематизированного изложения основных категорий и положений марксистской культурологии. Перед нами книга, в которой достаточно четко и аргументированно обосновывается специфика предмета и задачи науки, очерчивается ее проблематика. Особый акцент сделан на анализе взаимосвязей различных сторон и элементов культуры, соотношения в ней общечеловеческого и классового, национального и интернационального, принципов партийного руководства культурным строительством, на раскрытии таких категорий, как «субъект культуры», «культурные ценности», «социалистическая культурная революция» и других. В фокусе внимания — проблемы человека и культуры, духовного развития личности. Ведь культурный прогресс — это главным образом возрастание материальных и духовных возможностей для формирования социально активной, творческой личности.

Разрабатывая прежде всего «верхние этажи» науки, ее методологическую проблематику, авторы не позволяют себе витать в мире голых абстракций. Общетеоретический анализ, как правило, оснащен солидным фактическим материалом. В книге обобщается опыт культурного строительства в нашей стране, в других социалистических странах. Авторы не ищут и не предлагают легких решений крайне сложных и противоречивых проблем культурного строительства. Скажем больше: книга предостерегает от бытующего еще, к сожалению, в нашей литературе поверхностного подхода к вопросам управления культурным развитием, от всякого рода некомпетентных «рекомендаций», скороспелых «советов», не выверенных на оселке объективного и всестороннего научного анализа.

Именно глубокое осмысление общетеоретических проблем культуры дает ключ к научному обоснованию культурной политики на всех ее уровнях и во всех звеньях нашего неохватного культурного хозяйства. Выход теоретических исследований в прак-

тику связан с дальнейшим укреплением материальной базы культуры, рациональным распределением духовных ресурсов, постоянным совершенствованием всех форм и каналов их распространения, организацией эффективной культурно-массовой и просветительской работы, улучшением подготовки кадров и т. п. Книга эта еще раз напоминает о том, что нет ничего более практичного, чем хорошая теория.

Не все разделы книги, естественно, равноценны. Встречаются здесь и «проходные» страницы, нуждается, на наш взгляд, в совершенствовании сама структура книги. Словом, большому авторскому коллективу (руководитель — профессор А. Арнольд) есть над чем подумать при подготовке второго издания. Ведь первое с тиражом в 15 тысяч разошлось, едва увидев свет.

И. Верховский,
кандидат исторических наук.



ВОРОНЕЖСКИЕ ДАЛИ. Под редакцией заслуженного деятеля науки РСФСР профессора Ф. Н. Мьялкова. Воронеж. Издательство Воронежского университета. 1976. 119 стр.

Книги о родных или полюбившихся писателю краях неизменно вызывают читательскую симпатию и часто надолго остаются в памяти. Достаточно вспомнить «Поездку в Полесье» И. Тургенева, «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» С. Аксакова, «Мещорской стороной» К. Паустовского, «Владимирские проселки» В. Солоухина...

Совсем недавно вышла еще одна книга такого рода, которую, очевидно, заметит читатель. В отличие от названных она написана не одним человеком, а коллективом авторов (в основном это сотрудники университета), объединенных любовью к среднерусской природе, к своей области, Воронежской в данном случае... Воронежская область — никакой вам экзотики, тысячекратно изученный и исхоженный вдоль и поперек клочок земли. Но обратите внимание, как обострила любовь к родному краю зрение авторов, какие чудеса (выраженные, кстати, уже в заголовках) обнаружили они на своей земле: «Горы на равнине» (В. Федотов), «Черноольховые топи» (Ф. Мильков, и его же «Белый покров земли»), «Кривоборье» (В. Козин), «Соленый яр», «В песчаном царстве» (К. Скуфьин), «Провальные озера» (В. Михно), «В заповедном лесу» (О. Кротова), «Лебяжье озеро» (К. Дроздов)...

«В самое сухое, знойное лето, когда рыжеют выгоревшие на пойме луга, а дубравы начинают отливаться ранней желтизной, черноольшаники поражают взгляд своей сочной темной зеленью. Крупные клейкие листья черной ольхи, блестящие на солнце, всегда свежи и кажутся только что вымытыми дождем. Черная ольха — одно из самых удивительных деревьев Воронежского

края...» Не сразу поверишь, что строки эти написаны автором большого количества сугубо научных трудов, но, читая книгу, постепенно открываешь этот секрет.

Составленные из небольших мозаик, «Воронежские дали» могли бы оказаться сборником милых миниатюр. К счастью, этого не произошло, и прежде всего благодаря единому настрою, заданному редактором книги Ф. Мильковым (ему и принадлежат приведенные выше строки).

Пока не существует такой науки или области искусства — «художественное ландшафтоведение». Но Ф. Мильков, известный советский физико-географ, давно настаивает на выделении в сложном спектре современного миропонимания и такого — на стыке географии и художественной литературы — подхода к природе (книга и начинается со статьи «Несколько слов о художественном ландшафтоведении»).

Имеются ли для этого основания? Безусловно. И в подтверждение можно привести по меньшей мере два вполне объективных довода. Во-первых, художественное отношение (очень трудно подобрать точное слово!) к природе, не будучи изначально в человеческом мировосприятии (древним грекам оно, например, не было свойственно), все-таки уже несколько веков, с эпохи Возрождения, прочно утвердилось и в живописи, и в прозе, и в поэзии. Не сразу, но человек научился художественно воспринимать пейзажи. Во-вторых, сегодня, когда человек столь стремительно и, к сожалению, временами несовершенно изменяет лик Земли, становятся особенно важными не только природоохранные, но и эстетические, художественные критерии при формировании новых культурных ландшафтов — Земля должна быть для человека не только полезной, но и прекрасной.

И еще одно замечание исторического плана. В географической литературе, в том числе сугубо научной, всегда и всюду ценились не просто точные, но и красочные характеристики природы. Мировая географическая литература в этом отношении имеет свою классику. Чтобы не перегружать текст примерами, упомяну лишь «Картины природы» немецкого географа А. Гумбольдта, книги нашего известного путешественника Н. Пржевальского. Позволю себе привести отрывок из рецензируемой книги: «Из географов непревзойденным мастером художественного ландшафтоведения был А. Н. Краснов. Вот как он описывает лесную... зону Тянь-Шаня: «Свежие, пестреющие миллионами разнообразнейших и красивейших цветов луга и склоны... Повсюду журчат ручьи, бьют ключи, шумят каскады. Склоненные ели и рябины купают свои ветви в пенящихся водах шумных рек... Степные цветы, виды с крупными венчиками, украшающие сухие каменистые осыпи, одевают облитые ярким светом живописные скалы, и такие склоны на противоположных берегах реки резко оттеняются откосами с темным, манящим своею тенью и мягким ковром лесов». Это отрывок не из популяр-

ной статьи, а из магистерской диссертации А. Н. Краснова», — свидетельствует Ф. Мильков.

К сожалению, читатель крайне редко встречает такие описания в географических книгах, выпущенных издательством «Наука». Научная книга «должна» быть скучной, лишенной красочности и образности, — таков никем не утвержденный, но реально существующий вердикт. «Воронежские дали», написанные в основном научными работниками, — это, кроме всего прочего, и протест против бытующей еще наукообразной скуки.

И. Забелин.



МИР ВОКРУГ НАС. Беседы о мире и его законах. Составитель Е. В. Дубровский. М. Политиздат. 1976. 191 стр.

Широкий читатель, которому адресована эта книга, сможет почерпнуть из нее массу интереснейших сведений. Он узнает, например, что в VI веке н. э. Козьма Индиколов представлял мир в виде сундучка с двойной крышкой (а между крышками — «небесное царство»); что плотность иных звезд-сверхгигантов в десятки тысяч раз меньше плотности обычного воздуха; что Вселенная наша возникла около восемнадцати миллиардов лет назад, но звезды рождаются и в наши дни; что Земля весит около 6 000 000 000 000 000 000 тонн; что мы, по всей вероятности, вступаем в начало нового ледникового периода; что кислород атмосферы обновляется каждые две тысячи лет; что отличить растение от животного в некоторых случаях почти невозможно и т. д. и т. п.

Обычно такого рода информацию мы черпаем из научно-популярных журналов и сборников типа «Эврика», где она, естественно, представляет собой пеструю смесь из разрозненных и разнокалиберных фактов и предположений. Обретенные таким путем знания зачастую никак не со стыковываются в нашем сознании с представлениями о мире, полученными когда-то из школьных учебников.

Мы как-то упускаем из виду, что, забросив учебники на антресоли, мы практически уже нигде не получаем систематических знаний о мире и фундаментальных законах бытия. Короче говоря, глядя свысока на учебники, отставшие от современных открытий науки на десятилетия, мы иногда невольно переносим это отношение на проблемы мировоззренческие, и сознание наше начинает обретать вид лоскутного одеяла, где каждое явление, каждый раздел науки как бы существуют «сами по себе». Это, думаю, серьезнейшая проблема. В подтверждение можно было бы привести огромное количество фактов фантастической доверчивости современного, вполне образованного читателя ко всякого рода «потрясающим» открытиям и сенсациям. Тут и скелеты циклопов, и «чувствующие» добро и зло растения, и чудеса четырехмерного пространства, и всякого рода ясновидение, пророчества... Я уж не говорю о прямых религиозных

фантазиях, порой излагающихся известными учеными. Самая богатая, но разрозненная научная информация, увы, может ужиться с мировоззренческим невежеством.

В условиях разобщенности сведений ключеватость знаний грозит превратиться в «стиль времени», резко снижая общий творческий потенциал личности.

Книги, подобные рецензируемой, с одной стороны, напоминают нестареющие «школьные истины», вбирают энциклопедические сведения по кардинальным проблемам бытия, а с другой — соединяют предельно широкие представления с новейшими данными наук.

«Мир вокруг нас» из необъятного конгломерата человеческих знаний выбирает те его разделы, которые являются ключевыми для выработки материалистического мировоззрения. И нужно сказать, что хотя отдельные беседы далеко не равноценны по своей значимости и занимательности изложения (самой удачной мне показалась беседа о законах развития живого), в целом книга дает богатую пищу для размышлений и обобщений. Притом к материалистическим убеждениям она подводит не навязчиво, в лоб, а непринужденно, излагая факты в системе, раскрывая фундаментальные законы физики, биологии, антропологии и т. д. Книга хорошо издана, богато оснащена схемами, рисунками, репродукциями картин.

И вот только о чем стоило бы еще, наверное, сказать. Мировоззренческая литература — важнейший вид научной публицистики и как таковая непременно требует страсти, личностного подхода, яркости формы. Некоторым беседам этого явно не хватает. И еще. Обращение к фундаментальным проблемам, незабываемым законам мироздания не исключает обращения к вопросам нерешенным, дискуссионным, неясным. Они, кстати, открывают широкий простор для личных суждений авторов, позволяют обратиться к разговору в раздумье, в задушевную откровенную беседу с читателем, беседу, в которой автор, вооруженный материалистическим мировоззрением, смело идет навстречу всему, что вызывает острые споры.

А. Нуйкии.



А. П. РОМАНОВ. Ракетам покоряется пространство. («Герои Советской Родины») М. Политиздат. 1976. 111 стр.

«Относительно того, насколько я интересуюсь межпланетными сообщениями, я Вам скажу только то, что это является моим идеалом и целью моей жизни, которую я хочу посвятить для этого великого дела...» Слова эти принадлежат ныне известному ученому, академику, дважды Герою Социалистического Труда, конструктору жидкостных ракетных двигателей Валентину Петровичу Глушко. Написаны они были более пятидесяти лет назад и адресовались К. Э. Циолковскому. В. Глушко шел тогда

пятнадцатый год. Он заканчивал Одесскую профтехшколу, увлекался астрономией, мечтал о полетах к другим планетам.

Детская любовь к книгам Жюль Верна, интерес к научной фантастике, дружеские напутствия основоположника теоретической космонавтики, упорная учеба и повседневный труд привели В. Глушко к вершинам конструкторского искусства. Созданные им и под его руководством миллионноисильные ракетные двигатели и установки вывели на околоземную орбиту и первый в мире космический корабль «Восток» с человеком на борту. Этот выдающийся успех советского народа навечно записан в историю величайших достижений человечества. Есть в этой истории и страница, посвященная академику В. Глушко — основоположнику отечественного ракетного жидкостного двигателестроения.

Небольшая, но содержательная книга журналиста А. Романова раскрывает многие стороны биографии и творчества выдающегося советского конструктора, вводит читателя в сложнейшую область человеческой деятельности — конструирование и создание ракетных двигательных установок. Автор подробно и увлеченно рассказывает об атмосфере, окружавшей героя в юношеские годы, о влиянии на его мировоззрение семьи, школы и о внимательном отношении к «юному воздухоплавателю» К. Э. Циолковского. Переписка В. Глушко с «калужским мечтателем» велась в течение семи лет.

В 1930 году, будучи уже сотрудником ленинградской Газодинамической лаборатории, положившей вместе с ГИРА (Группа изучения реактивного движения) начало планомерным научным исследованиям в области ракетной техники, В. Глушко писал К. Э. Циолковскому: «Ясно, что смысл имеет реактивный летательный аппарат как самостоятельная конструктивная единица. Комбинация же самолета с реактивным двигателем имеет смысл только в применении к разгону и торможению самолетов реактивным путем». В музее Циолковского в Калуге сохранились многие письма В. Глушко. На конверте последнего из них ученый пометил: «Глушко (о ракетоплане). Интересно. Ответено».

Не остается незамеченным и то влияние на формирование конструктора, которое оказала Одесская профтехшкола, где, кроме общеобразовательных предметов, были и производственные дисциплины. В школе обучали слесарному и токарному делу. Прежде чем выдать дипломы, выпускников направляли на полгода на завод. «Мне потом, — вспоминает В. Глушко, — очень пригодились заводские специальности. Особенно когда настала пора заняться конструкторской деятельностью». В 1929 году В. Глушко окончил Ленинградский университет.

Подробно, со знанием дела и обстановки А. Романов рассказывает о полете в космос Ю. Гагарина, о той роли, которую играл В. Глушко в подготовке и проведении полета. Техническим руководителем полета был Сергей Павлович Королев, Вален-

тин Петрович Глушко входил в состав Государственной комиссии. Много лет работали ученые рука об руку, они были соратниками, единомышленниками.

Единодушие ведущих ученых проявилось в сложной обстановке конца 50-х годов, когда после успешного запуска первого спутника Земли некоторые ученые считали посылку человека в космос преждевременной. Аргументами в пользу их доводов были громадные финансовые затраты, неуверенность в безопасности летящего в космос человека. В ход пускались слова Макса Борна, заявившего в свое время, что «изучение космоса — трагическое заблуждение умов». Доказательства других ученых, а именно С. Королева, М. Келдыша, В. Глушко, Н. Сисакяна, В. Парина, выступавших за полет человека в космос, оказались более убедительными. И полет этот состоялся. Страницы о заседании в Академии наук СССР, на котором шла полемика, читаются с особым интересом, так как документальная литература, публицистика не часто балуют нас рассказами о трудно-

стях, присущих научному эксперименту, исследованию, в том числе и исследованию космоса.

Рассказывая о В. Глушко, автор касается многих других отечественных и зарубежных ученых, связавших свою судьбу с ракетной техникой и космосом. Перед читателем раскроются направления в развитии ракетной техники за рубежом, действия политических деятелей в напряженных ситуациях времен появления ракетного вооружения.

Книга, написанная в ключе интервью с академиком В. Глушко, с авторскими отступлениями и комментариями, будет, на мой взгляд, прочитана с интересом. И не только потому, что это первое публикуемое свидетельство о большой жизни ученого и патриота, но и потому что книга насыщена богатым документальным материалом, многие ее страницы посвящены истории зарождения отечественной космической науки.

Г. Резвяченко.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Уроки московского восстания.— На дорогу. 23 стр. Цена 3 к.

В. И. Ленин. Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата. 16 стр. Цена 3 к.

В. И. Ленин. Критические заметки по национальному вопросу.— О праве наций на самоопределение.— О национальной гордости великороссов. 111 стр. Цена 14 к.

А. Кириленко. Избранные речи и статьи. 511 стр. Цена 85 к.

В. Корнилов. Устремленные в будущее. («Коммунисты в современном мире») 231 стр. Цена 85 к.

Устав Коммунистической партии Советского Союза. 62 стр. Цена 3 к.

XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет. В 3-х тт. Т. 3. 311 стр. Цена 56 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Арбузов. Выбор. Пьесы. 383 стр. Цена 1 р. 21 к.

В. Воронов. Чингиз Айтматов. 231 стр. Цена 45 к.

А. Горелов. Три судьбы. Ф. Тютчев. А. Сухово-Кобылин. И. Бунин. 622 стр. Цена 60 к.

Д. Гранин. Иду на грозу. Роман.— Эта странная жизнь. Однофамилец. Повести.— Выбор цели. Киноповесть. 710 стр. Цена 1 р. 42 к.

Б. Дубровин. Разлуки и встречи. Стихи. 127 стр. Цена 31 к.

А. Кодру. Сыновья. Стихи. Перевод с молдавского. 118 стр. Цена 35 к.

Г. Корин. Автопортрет. Стихи. 134 стр. Цена 33 к.

М. Луконин. Стихи и поэма. («Библиотека произведений, удостоенных Государственной премии СССР») 151 стр. Цена 73 к.

Ю. Туулин. Можжевельник выстоит и в сущь. Документальный роман. Перевод с эстонского. 174 стр. Цена 29 к.

В. Файнберг. Утренние города. Стихи. 80 стр. Цена 24 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Андрич. Избранное. Повести, новеллы, эссе. Перевод с сербскохорватского. («Библиотека югославской литературы») 606 стр. Цена 2 р. 16 к.

Т. Аргези. Избранное. Стихи и очерки.— **М. Бенюк.** Избранное. Стихи и новеллы. Перевод с румынского. («Библиотека литературы Социалистической Республики Румыния») 446 стр. Цена 1 р. 83 к.

Х. Ботев. Избранное. Перевод с болгарского. («Библиотека болгарской классической литературы») 252 стр. Цена 48 к.

А. Гонгарь. Избранное. Перевод с еврейского. 318 стр. Цена 1 р.

Х. К. Онетти. Прощания. Повести и рассказы. Перевод с испанского. 267 стр. Цена 92 к.

Е. П. Якобсен. Нильсон Люне. Роман. Перевод с датского. 173 стр. Цена 34 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ч. Айтматов. Ранние журавли. Повесть. Перевод с киргизского. 111 стр. Цена 18 к.

Актуальные проблемы теории и политики КПСС в свете решений XXV съезда партии. 32 стр. Цена 5 к.

В. Богомолов. Сердца моего боль. 543 стр. Цена 1 р. 5 к.

Б. Грибанов. Фолкнер. («Жизнь замечательных людей») 352 стр. Цена 95 к.

И. Драч. На дне росы. Стихи. Перевод с украинского. 95 стр. Цена 31 к.

Н. Жогин, Э. Мельникова. Закон обо мне и мне о законе. 351 стр. Цена 59 к.

Подвиг. (Повести Ю. Бондарева, В. Быкова и др. «Библиотека героики и приключений») Т. 2. 416 стр. Цена 87 к.

Пять тысяч любимых строк. Сборник стихотворений русских и советских поэтов. 207 стр. Цена 45 к.

«СОВРЕМЕННОСТЬ»

Г. Владимов. Три минуты молчания. Роман. («Новинки «Современника») 382 стр. Цена 84 к.

Ю. Грибов. Семь домов у Кунь-горы. Повести и рассказы. Предисловие Г. Маркова. 399 стр. Цена 91 к.

П. Замойский. Лапти. Роман. («Библиотека российского романа») 797 стр. Цена 1 р. 58 к.

А. Кубанов. Азрет будет жить. Повесть. Авторизованный перевод с караеавского. («Наш день») 190 стр. Цена 34 к.

О. Фокина. От имени серпа. Книга стихов. 143 стр. Цена 56 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Барто. Стихи детям. В 2-х тт. Т. 2. 382 стр. Цена 97 к.

А. Валентинов. Твои друзья и помощники. 175 стр. Цена 40 к.

Г. Гончаренко. Битва на Волге. Документальные очерки о защитниках Сталинграда. 95 стр. Цена 31 к.

А. Дельвиг. Стихотворения. Составление и вступительная статья В. Коровина. 174 стр. Цена 28 к.

Ф. Исангулов. Дубы на опушке. Повести. 222 стр. Цена 53 к.

В. Коржинов. Волны словно кенгуру. Повесть о дальнем плавании. 223 стр. Цена 69 к.

Л. Либединская. Герцен в Москве. Художественно-документальный очерк. 206 стр. Цена 1 р. 19 к.

Л. Матвеева. Шесть тетрадок. Повесть. 176 стр. Цена 36 к.

П. Неруда. Я буду жить... Стихи, проза и фотодокументы. Перевод с испанского и составление П. Грушка. 127 стр. Цена 96 к.

ВОЕНИЗДАТ

Г. Березно. Дом учителя. Роман. 423 стр. Цена 98 к.

С. Жемайтис. Не очень тихий океан. Роман. 366 стр. Цена 71 к.

Наша эстрада. Репертуарный сборник. 142 стр. Цена 46 к.

А. Шевченко. Солдатская совесть. Рассказы. 192 стр. Цена 37 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

И. Васильев. Пять будних дней. («Писатель и время. Письма из деревни») 85 стр. Цена 11 к.

В. Дмитриева. Повести и рассказы. Вступительная статья и составление А. Пряжкова. 368 стр. Цена 76 к.

М. Исаковский. Стихотворения. Составитель А. И. Исаковская. Вступительная статья А. Туркова. 126 стр. Цена 70 к.

Г. Марнов. С тобою, партия! («Писатель и время») 61 стр. Цена 9 к.

Б. Ручьев. Стихотворения и поэмы. Составление и послесловие Д. Старикова. 238 стр. Цена 1 р. 6 к.

Л. Третьякова. Дмитрий Шостакович. Очерки творчества. 240 стр. Цена 1 р. 22 к.

В. Чивилихин. Деревья и люди. Очерки. («Писатель и время») 88 стр. Цена 11 к.

«ПРОГРЕСС»

У. Бехер. Охота на сурков. Роман. Перевод с немецкого. 667 стр. Цена 2 р. 9 к.

К. Б. Клеман, П. Брюно и Л. Сэв. Марксистская критика психоанализа. Перевод с французского. («Критика буржуазной идеологии и ревизионизма») 282 стр. Цена 89 к.

Т. Недреос. В следующее новолуние. Перевод с норвежского. («Современная зарубежная повесть») 272 стр. Цена 46 к.

Д. Слобин и Д. Грин. Психоллингвистика. Перевод с английского. («Общественные на-

уки за рубежом. Философия и социология») 350 стр. Цена 1 р. 39 к.

«НАУКА»

Ф. М. Достоевский и А. Г. Достоевская. Переписка. Издание подготовили С. Белов и В. Туниманов. 483 стр. Цена 2 р. 54 к.

Материалистическая диалектика и частные науки. Сборник статей. Ответственный редактор Е. Солопов. 267 стр. Цена 88 к.

Новые черты в русской литературе и искусстве. XVII—начало XVIII в. Сборник статей. Ответственный редактор А. Робинсон. 286 стр. Цена 1 р. 53 к.

Рабочая книга социолога. Ответственный редактор Г. Осипов. 511 стр. Цена 2 р. 49 к.

П. Рену. Третья клятва. Рассказы. Перевод с хинди. Предисловие и составление Л. Чернышева. 104 стр. Цена 28 к.

Русская советская повесть 20—30-х годов. Под редакцией В. Ковалева. 454 стр. Цена 2 р. 16 к.

Русско-болгарские фольклорные и литературные связи. В 2-х тт. Редакторы В. Вазанов и др. Т. 1. 375 стр. Цена 1 р. 85 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Абхазские сказки. Сухуми. «Алашара». 314 стр. Цена 80 к.

С. Вургун. Моя клятва. Стихи. Перевод с азербайджанского. Баку. «Гянджлик». 120 стр. Цена 52 к.

А. Донши. Путешествие из Бухары в Петербург. Перевод с таджикского. Душанбе. «Ирфон». 280 стр. Цена 59 к.

Народное слово на дорогах войны. Сборник. Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство. 135 стр. Цена 51 к.

М. Е. Салтыков-Щедрин и Тверь. Сборник статей и материалов. «Московский рабочий». 103 стр. Цена 18 к.

Сиямгар. Сказание мордовского народа. Саранск. Мордовское книжное издательство. 239 стр. Цена 1 р. 36 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулецов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян, К. А. Федин**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 1/XI 1976 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 31/XII 1976 г.
Формат бумаги 70×108^{1/8}, 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 09248. Тираж 185.000 экз. Заказ 3481.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в типографии № 1 ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зав. 087

Цена 70 коп.

70636